

НОВАЯ
МИРА

НОВАЯ
МИРА

8



1973

1973

ИЗВЕСТИЯ И МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 8

Август, 1973 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ПУБЛИЦИСТИКА

- ВАДИМ НЕКРАСОВ** — **Америка в дни визита.** Заметки специального корреспондента 3
- К V конференции писателей стран Азии и Африки*
- ГОЛОСА ДВУХ КОНТИНЕНТОВ:** **Анвар Паша** (Бангладеш) — Эти лампы; **Бернар Буа Дадье** (Берег Слоновой Кости) — Белый брат; **Суан Зиэу** (ДРВ) — Новая черепица; **Салах Абд ас-Сабур** (Египет) — Видения; **Шубхаш Мукерджи** (Индия) — По пятам; **Надер Надерпур** (Иран) — Завтрак, Яблоки и души; **Фуад аль-Хиши** (Ливан) — Моя деревня; **Мухамед Азиз Лахбаби** (Марокко) — Клятва писателей; **Дашидоржийн Нацагдорж** (МНР) Осень; **Бегцин Явуухулан** (МНР) — Первый зал; **Пурна Бахадур Байдия** (Непал) — Как увижу ноги свои...; **Амир Хамза-хан Шиввари** (Пакистан) — Пастух; **Эитони Делиус** (ЮАР) — Великое разделение; **Блок Модисане** (ЮАР) — Черные блюзы; **Тхавь Хай** (Южный Вьетнам) — Гимн весне; **Сатоси Кадокура** (Япония) — Память; **Тосабуро Оно** (Япония) — Подсолнухи; **Сайсэй Муро** (Япония) — Колыбельная песня; **Сиро Мурано** (Япония) — Олень. Стихи. Перевели **Ф. Бурташов, Александр Ревич, Георгий Ашкинадзе, Татьяна Глушкова, В. Кляшторина, Валерий Краснопольский, Александр Милитарев, В. Сикорский, Анатолий Мамонов** 18
- ХОСРОУ ШАХАНИ** — **Ураган**, рассказ. Перевел с персидского **Дж. Дорри** 37
- ДЭН ДЖЭКОБСОН** — **Образ жизни**, рассказ. Перевели с английского **В. Постников и И. Золотарев** 41
- МУХТАР АУЭЗОВ** — **Моя Индия.** Перевел с казахского **Алексей Пантилев.** Предисловие **Ануара Алимжанова** 48
-
- ВАЛЕНТИН КАТАЕВ** — **Фиалка**, рассказ 74
- ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ** — **Стихи разных лет.** Публикация **Т. Стрешневой** 96
- А. КАШТАНОВ** — **Заводской район**, повесть. Окончание 101
- ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР** — **Савдро из Чегема**, роман 152

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ — Дело всей жизни. Продолжение	189
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ — Открытое в жизни, в себе самом открытое	213
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) Статьи пятая и шестая	225
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лебедева. Время творчества.— А. Марченко. Вопросов больше, чем ответов.	261
<i>Политика и наука</i>	
Вл. Канторович. Анализ процессов миграции.— Марк Поповский. Погода номер четыре.— С. Десятков. Трезвый взгляд на миражи Форин оффиса.	268
КОРОТКО О КНИГАХ — С. Почивалова.— Владимир Корнилов. Сказать не желаю... Повесть о Викторе Обнорском. ◆ В. Каменев.— Иван Касаткин. Путь-дорога. Избранные рассказы. ◆ Г. Койранская.— Андрей Никитин. Цветок папоротника. ◆ А. Турков.— Блоковский сборник. II. ◆ В. Скатерщиков.— Карл Либкнехт. Мысли об искусстве. ◆ Л. Осповат.— Хулио Кортасар. Другое небо. Рассказы	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
«НОВЫЙ МИР» В 1974 ГОДУ	287

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАДИМ НЕКРАСОВ



АМЕРИКА В ДНИ ВИЗИТА

Заметки специального корреспондента

Вот она опять под ногами, американская земля. Суматошливый нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Десятки и десятки самолетов у разбросанных по громадному полю ангаров. Сотни разноцветных автомашин, ползущих во всех направлениях,— излишне громоздких наземных кораблей, ставших своеобразным символом современной американского образа жизни, его гордостью и проклятием. Влажная, пропитанная бензином жара, типичная для летнего Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, Вашингтона и Чикаго, одним словом, для большинства американских городов, где скучены тысячи людских жилищ.

Каждый из нас, прибывших сегодня сюда советских журналистов, не раз и не два бывал в Соединенных Штатах. Нам не предстоит «открывать для себя Америку», потому что в общем и целом мы знаем, что нас ожидает. Но очень интересно увидеть, что нового она нам покажет, ощутить собственной кожей, какие ветры дуют здесь сегодня, оценить перемены и сделать соответствующие выводы. Ведь мы прибыли сюда в знаменательный момент: через несколько дней начинается визит в Соединенные Штаты Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Предстоит декада, заполненная важнейшими политическими переговорами. За их ходом, за результатами встреч и бесед будут с неослабевающим интересом следить во всем мире. Наступили дни больших перемен в международном климате, отступают ледники «холодной войны», в душах миллионов людей рождаются и крепнут надежды на то, что и завтра и через много лет над миром будет светить мирное солнце, а призраки ядерной войны отойдут в прошлое как еще одна грозная опасность, которую человечеству удалось обойти на длинном и многотрудном пути, уготованном ему историей.

Прошло немногим более года после визита в Советский Союз президента Соединенных Штатов Р. Никсона. Результаты его встреч с советскими руководителями не просто живы в людской памяти. Они — в конкретных делах международных отношений. Подписанный тогда в Москве принципиальный документ «Основы взаимоотношений между СССР и США», исходящий из принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем, добросовестно осуществляется обеими сторонами. Наши государства договорились тогда о политическом сотрудничестве в такой важнейшей области, как предотвращение опасности ядерного столкновения. Были подписаны первые соглашения об ограничении ядерных вооружений. Заключен ряд соглашений, касающихся вопросов двустороннего сотрудничества. За двенадцать месяцев был накоплен положительный опыт конкретных связей в разных областях. Теперь речь идет о том,

чтобы закрепить достигнутое, сделать новые шаги вперед, придать советско-американским отношениям прочный, устойчивый характер.

Последний раз мне довелось быть здесь в феврале прошлого года. Оглядываясь назад, сегодня можно сказать, что это была еще другая эпоха. Поездка президента в Советский Союз представлялась американцам в неясном свете. Что она даст? Не окажется ли вновь несбыточной мечта о прочном мире? В Юго-Восточной Азии еще полыхало пламя войны, и американские газеты продолжали публиковать списки убитых и пропавших без вести военнослужащих интервенционистской армии. Антивоенные протесты звучали по всей стране. Свежа была память и о массовых выступлениях студентов, требовавших положить конец агрессии во Вьетнаме, покончить с расовой дискриминацией, демократизировать систему высшего образования, и о кровавых столкновениях в негритянских гетто, и о выстрелах, оборвавших жизни братьев Кеннеди, пастора Лютера Кинга.

Но в далекой отсюда Москве уже состоялся XXIV съезд КПСС. Принятая им Программа мира прозвучала на весь мир как призыв покончить с «холодной войной» и распахнуть двери к добрососедскому, взаимовыгодному сотрудничеству народов и государств на всей нашей планете. Президент Никсон уже выступил со своей речью при вступлении в должность на второй срок, и вся Америка запомнила его слова о переходе «от эры конфронтации к эре переговоров». В воздухе явно пахло большими переменами.

Так было полтора года назад.

«Америка — страна безграничных возможностей и неограниченных ресурсов», — гласят традиционные рекламные проспекты. Да, США действительно большая страна, с большими возможностями. Расстояние от атлантического до тихоокеанского побережья составляет 4,5 тысячи километров. Включая Аляску и Гавайские острова, площадь США охватывает 9 миллионов квадратных километров. Сегодня в Соединенных Штатах проживают более 208 миллионов человек. Но это и страна резких контрастов, доведенных порой до гиперболических размеров. Страна обнаженных противоречий, принимающих зачастую уродливые формы, которые пугают остальную мир, страна сложная и однолинейная, разнообразная и стандартизованная.

Но не будем углубляться в глобальные обобщения. Посмотрим, чем же живут Соединенные Штаты сегодня, какие новости находятся в центре внимания.

Эти новости обрушиваются на тебя каждый день шквалом газетных страниц. 60 миллионов экземпляров ежедневных газет. И большинство из них на 20, 40, а то и на 80 страницах. Отсейте рекламу, занимающую приблизительно семь восьмых объема газет. Из оставшегося уберите еще примерно три четверти площади, отведенной для местных незначительных происшествий, сплетен и пустой болтовни, гороскопов, разных кулинарных рецептов и прочей мелочи. А то, что осталось после отсева, еще раз разделите пополам, отказавшись читать сугубо специальную информацию, касающуюся деятельности той или иной фирмы, состояния дел на бирже, в торговле землей и недвижимой собственностью. Оказывается, материалы для чтения по действительно важным и интересным вопросам не так-то и много. Но не изучив газетных лабиринтов, попробуйте найти это самое интересное. Человеку, не знакомому с американской печатью, понадобится, пожалуй, не меньше недели, чтобы научиться ее читать.

И все же печать в современной Америке, а если быть более точным, небольшая группа влиятельных газет, является мощной политической силой. Прав был американский обозреватель Ричард Вильсон,

который писал: «Отнюдь не будет преувеличением констатировать, что никогда еще в этом веке печать, и я имею в виду печатное слово, не оказывала столь мощного воздействия на общественные дела». Вильсон утверждает, что крушение надежд на президентское кресло двух ведущих претендентов от демократической партии, сенаторов Маски и Макговерна, было в значительной мере обусловлено кампанией против них, которую повела печать. Ныне огонь большинства ведущих американских газет сконцентрирован на президенте Никсоне. Отталкиваясь от некоторых обстоятельств прошлогодней избирательной кампании, и прежде всего ставшей известной попытки установить подслушивающую аппаратуру в вашингтонской штаб-квартире демократической партии, печать повела массированное наступление на президента Соединенных Штатов, пытаясь косвенно возложить на него ответственность за происшедшее. Эта кампания в печати, причины которой сложны и многообразны, продолжается и по сей день. По существу, речь идет о единоборстве группы ведущих американских газет против администрации. Что случится, спрашивает тот же Вильсон, если газетные ищейки потеряют след, прежде чем он доведет до Белого дома? И отвечает: в таком случае пресса будет признана виновной в серьезном и опасном превышении прав.

Мы рассказываем обо всем этом, чтобы было понятно, в какой обстановке начинался визит в Соединенные Штаты Л. И. Брежнева. Ибо, говоря о ней, нельзя не упомянуть о передовой в «Нью-Йорк таймс», появившейся за несколько недель до начала визита и бездоказательно призывавшей отложить его на неопределенное время «ввиду слабости позиций президента». Нельзя не упомянуть и о назначенном на дни визита слушании в специальной сенатской комиссии по расследованию показаний Джона Дина, одного из главных «героев» эпопеи с подслушиванием. Подаваемое с сенсационной помпой «слушание» явно должно было в глазах американской общественности оттеснить на второй план пребывание в стране высокого советского гостя. Но вмешательство лидеров обеих партий в сенате, Мэнсфилда и Скотта, предотвратило и этот маневр. По их предложению работа комиссии была перенесена на более поздний срок.

Однако так ли уж могущественна американская печать? Ни для кого не секрет, что многие и многие американцы воспринимают мнение газет, как здесь выражаются, «с щепоткой соли на языке», то есть без большого доверия. Во всяком случае, более 40 процентов опрошенных институтом общественного мнения США заявили в эти дни, что им надоело читать и слушать об истории с подслушиванием. К тому же у газет есть не менее мощный соперник — телевидение. Телевизионные комментаторы могут, конечно, вести свою линию. Но сила воздействия «магического электронного глаза» не столько во мнении комментаторов, сколько в изображении происходящих событий. Зрительное впечатление оказывается не менее сильным и даже более массовым по своему воздействию, нежели печатное слово, ибо оно дает возможность человеку составлять свое мнение, освобождая его от опеки посредника-интерпретатора. Зритель ждет показа событий, и телевизионные компании, конкурирующие друг с другом (успех той или иной компании у зрителей в конечном счете определяет ее доходы, получаемые от рекламодателей), стремятся сделать это возможно полнее. Обстановка на фронте массовых средств информации в США является, таким образом, далеко не однозначной.

До прибытия Л. И. Брежнева на американскую землю оставалось несколько дней. У нас, советских журналистов, было время прикинуть

что к чему и осмотреться. Сводя воедино все, что было высказано в Соединенных Штатах по вопросам советско-американских отношений в дни, предшествовавшие визиту, необходимо прежде всего отметить признание, которое хотя и не высказывалось откровенно, но тем не менее лежало в основе большинства комментариев, в том, что времена надежд на мировую гегемонию США прошли, что обстановка в мире существенно изменилась и что надо быть реалистами. «Под руководством Брежнева Советский Союз достиг ядерного равенства с Соединенными Штатами» — так коротко и безапелляционно сформулировал этот тезис журнал «Тайм». А раз так, то из фактов должны следовать необходимые выводы. И они были сделаны многими американцами: «Льды «холодной войны» уже взломаны», — говорили нам одни собеседники. «Жребий брошен. Нормализация началась», — подчеркивали другие.

Подводили итоги проделанному, отмечая, что прошедший год был отмечен большим числом соглашений, чем весь предшествовавший период советско-американских отношений со дня их установления в 1933 году. Обе стороны считают, отмечали информированные наблюдатели, что достигнутые результаты «солидны, ценны и реальны».

Обозреватель «Нью-Йорк таймс» писал:

«Две великие ядерные державы уже не противостоят друг другу практически по всем мировым вопросам, и их руководители больше не видят друг в друге врага или просто соперника. Упор сегодня делается на сотрудничество, и хотя соперничество все еще существует, оно притушено. Соединенные Штаты и Советский Союз не согласны по многим вопросам. Но на первый план теперь выдвигается сотрудничество, а не конфликт».

По-иному, но в том же ключе высказывался обозреватель «Вашингтон пост»:

«Мы вступили в период, когда существенный вопрос состоит не в том, можно ли избежать войны или как ее избежать, возможно или желательно смягчение напряженности. На эти большие вопросы даны положительные ответы. Теперь основной вопрос в том, каково должно быть реальное содержание новых отношений. Никакой подходящей модели или прецедента пока что не существует».

Те, кто цеплялся за прошлое, все еще думали наполнить новое, нарождающееся к жизни старым содержанием. Автор редакционной статьи в вашингтонской «Ивнинг стар» призывал потребовать «сокращения советской помощи Северному Вьетнаму», «переориентации советской политики на Ближнем Востоке», одностороннего сокращения советских вооруженных сил в Центральной Европе и даже какой-то «либерализации» советской внутренней политики. Раздавались и более наглые заявления («Подлинной проверкой смягчения напряженности может стать готовность советской стороны изменить свою внутреннюю систему»), свидетельствовавшие о том, что апостолы «холодной войны» отнюдь не опустили рук, которые в течение полувека благословляли американских политиков на крестовый поход против большевизма. Но голосок из прошлого звучало сравнительно немного. Более близкие к главному потоку жизни комментаторы обращали внимание на другое. Например, на «растущее в Соединенных Штатах убеждение, что красная угроза давно исчезла и что в ретроспективе вьетнамская война представляется многим американцам ошибочным антикоммунистическим походом». Что же касается «либерализации советской системы», то американцы обращались к ее поборникам с письмами, аналогичными опубликованному «Лос-Анджелес таймс» письму

Д. Бахура из Голливуда: «Пора кончать восхвалять и обласкивать тех, кто пытается вмешиваться во внутренние дела другой страны».

Многое свидетельствовало о резкой перемене во взглядах Америки за последние полтора года. Тогда, в начале 1972 года, господствовали настороженность, подозрительность, зыбкие надежды. Теперь газеты, публиковавшие комментарии с оговорками и двусмысленностями, тем не менее признавали, что «по отношению к русским господствуют настроения сердечности». «Народ Соединенных Штатов, — писала «Нью-Йорк таймс» в день прибытия советского гостя, — несомненно встретит господина Брежнева с уважением, достойным лидера великой страны, с которой он желает жить в мире и дружбе»...

«ИЛ-62» с Генеральным секретарем ЦК КПСС приземлился на военной базе «Эндрюс» вблизи Вашингтона под вечер 16 июня. С этой базы отправляются обычно в далекие путешествия американские президенты. Сюда прибывают все зарубежные гости правительства США.

Развевались по ветру советские и американские флаги, но не было ни оркестров, ни фанфар, ни речей. До официальной встречи у Белого дома гостю предоставлялась возможность отдохнуть, акклиматизироваться, привыкнуть к другому часовому поясу (при разнице во времени между Москвой и Вашингтоном в семь часов для прибывших из Советского Союза была уже глубокая ночь). После краткой приветственной церемонии гости в сопровождении государственного секретаря У. Роджерса и его заместителя У. Стесселя на вертолетах направились в загородную президентскую резиденцию Кэмп Дэвид в горной гряде Катоктин.

О следующих полутора сутках журналистам мало что было известно. Президент находился в своей южной резиденции Ки Бискейн во Флориде, готовясь к предстоящим переговорам. Его сотрудники подготовили ему специальное досье, состоявшее из шести больших блокнотов, в каждом по сто страниц машинописного текста. С президентом находился его советник по вопросам национальной безопасности Г. Киссинджер. Затем Киссинджер перелетел из Ки Бискейн в Кэмп Дэвид. Шли последние консультации по подготовке переговоров.

Утром 18 июня Р. Никсон возвратился в Белый дом, и вслед за этим неподалеку от так называемой Южной лужайки Белого дома приземлились вертолеты, доставившие сюда Л. И. Брежнева и сопровождавших его советских представителей. Визит начался официально. С этой минуты телевизионные камеры использовали каждую предоставлявшуюся им возможность, чтобы запечатлеть те или иные эпизоды пребывания советского гостя на американской земле. Телеэкраны ввели его в миллионы американских домов. Впечатления? «Он ведет себя совсем как американец!» — с видимым удивлением говорили многие. Годами печать рисовала американцам советских руководителей мрачными, замкнутыми, подозрительно смотрящими на мир людьми. И вдруг за несколько минут этот устоявшийся пропагандистский стереотип был опрокинут действительностью. «Он настоящий парень!» — восклицали люди. В устах американцев это звучало весьма высокой похвалой.

Забегая вперед, можно сказать, что для большинства далеких от политики жителей США основным итогом визита были не столько подписанные соглашения, в деталях которых они не очень-то разбирались и потому принимали их, как говорится, на веру, сколько впечатления, полученные с телевизионных экранов, дающие представле-

ние об облике и манере поведения советского гостя, в котором они видели как бы символ всего советского народа. И этот облик представлял перед ними как облик «миролюбивого, достойного доверия, умудренного опытом партнера» по переговорам, имеющим важнейшее значение для судеб всего мира. Отдавая должное деятельности Л. И. Брежнева по укреплению международного мира, телевизионные комментаторы, авторы выступлений в газетах и журналах говорили о нем как о большом политическом деятеле, живом и общительном, пронизательном и близком к интересам простых людей.

Буквально спустя несколько минут после церемониальной встречи в Овальной комнате, как называют президентский кабинет в Белом доме, начались советско-американские переговоры. Визиту был сразу же задан рабочий, деловой тон. «Впереди десять дней, которые помогут сблизиться двум величайшим державам и вычеркнуть из действительности последние пережитки «холодной войны»,— писал в те дни журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт». Главную задачу встречи американская печать видела в том, чтобы продолжить строительство здания мира, начатое обоими государствами за год до того в Москве, поддержать и усилить инерцию движения вперед.

По установившимся нормам отношений между Востоком и Западом, говорили в американской столице, начинающиеся встречи будут носить «исключительно теплый характер». Руководящие правительственные чиновники отмечали, что США вплотную подходят к моменту, когда они должны решить, могут ли социалистическая и капиталистическая системы установить подлинно органические взаимоотношения, идущие дальше совместной заинтересованности в предотвращении войны и в заключении некоторых коммерческих сделок. Ответ в основном давался положительный. В то же время признавалось, что переговоры будут носить упорный характер. «Нет сомнения,— писала «Вашингтон пост»,— что основные советские взгляды на мир, проникнутые марксистско-ленинской идеологией, остаются резко отличными от наших».

Переговоры, переговоры. Они-то и составили главное содержание визита. Им было отдано почти сорок шесть часов всего времени пребывания Л. И. Брежнева на американской земле. Из них десять часов продолжались переговоры, как говорится, с глазу на глаз, в присутствии лишь одного переводчика. В остальных встречах принимали участие советники с обеих сторон. Кроме того, шли переговоры между специалистами по разным вопросам. Конечно, кое-какие из этих вопросов были достаточно подготовлены в ходе предварительных контактов. И это дало возможность уже на второй день, 19 июня, подписать четыре новых двусторонних соглашения — о сотрудничестве в области сельского хозяйства, транспорта, исследования Мирового океана и общее соглашение о контактах, обменах и сотрудничестве. На следующий день была подписана конвенция по вопросам налогообложения. 21 июня было подписано еще два документа — соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и «Основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений».

Большинство этих соглашений, определяя принципы и цели сотрудничества в той или иной конкретной области, в силу своей природы имеют ограниченный характер, но, взятые в комплексе, явились убедительным подтверждением успешного развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Они, как заявил в беседе с журналистами Киссинджер, «позволяют нам продвигаться вперед одновременно широким фронтом, дают возможность обоим руководителям, исходя из широких перспектив, приобщиться ко многим сферам деятельности,

несущим прямые выгоды нашим народам». Так же оценивал достигнутые соглашения и один из ведущих американских обозревателей Рестон:

«Соглашения говорят о вере двух самых могущественных государств в то, что они больше выиграют, сотрудничая, а не сталкиваясь друг с другом, и что даже ограниченные соглашения в области контроля над вооружениями, развития атомной энергетики, торговли и культуры могут повести к созданию более надежного мирового порядка. Нельзя создать никакого мирового порядка, не избавившись от недоверия, что так отравляло отношения между Вашингтоном и Москвой на протяжении всех лет после войны. И это самое главное, происходящее ныне. Наши страны занимаются скорее воссозданием доверия, а не обменом одних товаров на другие».

Естественно, что главное внимание привлекли к себе документы, связанные с проблемами как мирного, так и военного использования атомной энергии. Непосредственная цель долгосрочных соглашений по вопросам вооружений, как отмечали в Вашингтоне, состоит в том, чтобы наложить ограничения на наиболее дорогостоящую часть военных расходов — многомиллиардные расходы на техническое совершенствование ядерного арсенала. Если год назад речь шла о постоянном замораживании оборонительных видов оружия и пятилетнем количественном ограничении наступательных, то теперь стало возможным говорить и об их качественном ограничении. Участники советско-американских переговоров по ограничению стратегических вооружений занимаются сложнейшей из проблем, которые когда-либо обсуждались двумя суверенными государствами. Теперь они получают надежные ориентиры для своей работы. Сокращение вооружений, как показывает опыт, дело медленное. Тем более приятно, что если в соответствии с московской договоренностью окончательное решение вопросов об ограничении наступательных вооружений откладывалось до 1977 года, то теперь участники бесед пришли к выводу о возможности достичь этого уже в будущем году.

О значении соглашения по сотрудничеству в области развития атомной энергетики хорошо высказалась председатель американской комиссии по атомной энергетике Дикси Рей. Наше сотрудничество, заявила она журналистам, может принести доказательства практической возможности превращения водородных атомов в электрическую энергию в течение двух, пяти, самое большое десяти лет. А это значит, что где-то на рубеже XXI века мы добьемся использования термоядерного синтеза для промышленного производства электроэнергии.

Ограничивались ли конкретные практические результаты встречи этими соглашениями? Уже в первый день визита корреспондент «Вашингтон пост», говоря о его программе, заметил: «Сообщают, что будет также подписано соглашение-сюрприз». О каком сюрпризе шла речь? Журналисты занялись догадками и поисками какой-либо информации. Однако поиски оказались безуспешными, в тайну проникнуть не удалось. И только 22 июня стало известно, что речь идет о предотвращении ядерной войны — соглашении подлинно историческом. В тот день Восточный зал Белого дома уже к полудню оказался заполненным до отказа. Здесь, чтобы присутствовать на церемонии подписания, собрались руководящие деятели государства, виднейшие сенаторы и члены палаты представителей, сотни журналистов. Раздались громкие, долго не смолкавшие аплодисменты, когда документ был подписан. И Л. И. Брежнев и Р. Никсон оценили его как историческое соглашение, имеющее действительно важнейшее значение, которое трудно переоценить. Соглашение было единодушно одобрено руководящими

деятелями конгресса США, которых президент информировал о его содержании за час до подписания.

«Поздравляю вас всех с большим успехом, достигнутым на переговорах!» — так начал свою передачу, посвященную подписанию соглашения, один из старейших американских радиожурналистов Л. Томас. Миллиарды и миллиарды долларов, писала столичная «Ивнинг стар», были истрачены за последние десятилетия на гонку вооружений. Только подумать, какую пользу эти средства могли принести американским городам, или советскому сельскому хозяйству, или делу покорения рака и других болезней, мучающих человечество!

Обсуждение соглашения о предотвращении ядерной войны продолжается. Естественно, что у него находятся не только сторонники, но и противники, хотя последних неизмеримо меньше. Конкретизирующее и развивающее подписанный год назад принципиальный документ «Основы взаимоотношений» нынешнее соглашение явилось провозглашением решимости обеих стран сделать окончательно необратимыми нынешние процессы упрочения в мире, в том числе между Советским Союзом и Соединенными Штатами, отношений мирного сосуществования.

Дважды в течение визита Леонид Ильич Брежнев встречался с представителями руководящих кругов политического и делового мира Соединенных Штатов — членами сенатской комиссии по иностранным делам и группой финансовых и промышленных деятелей. На встрече с законодателями речь шла об основных принципах ленинской миролюбивой внешней политики нашей страны, деятельности Центрального Комитета, верховного органа руководящей и направляющей силы нашего общества Коммунистической партии, и Советского правительства по осуществлению решений XXIV съезда КПСС в области внешней политики. Один за другим сыпались вопросы. Сенаторов интересовало многое во внешней политике Страны Советов, и они стремились составить для себя ясное представление о стране, с которой их разделяли десятилетия враждебности и непонимания. На все вопросы они получали обстоятельные, аргументированные ответы, подкреплявшиеся большим фактическим и цифровым материалом.

Встреча затягивалась. Расписание мероприятий, как правило, соблюдавшееся с большой точностью, на этот раз было нарушено. Президент Никсон в течение сорока пяти минут ждал ее завершения, чтобы приступить к очередному туру переговоров с Л. И. Брежневым. Ждал, как сообщали вездесущие репортеры, терпеливо: кто-кто, а глава исполнительной власти США знает, какими большими возможностями в силу конституционных положений располагают американские законодатели для того, чтобы противостоять политическим решениям Белого дома.

Американские конгрессмены — народ, как говорится, тертый. У каждого из них за спиной длинный и сложный путь к вершинам власти, закаливший их в политической борьбе. Каждый из них имеет многочисленные связи с влиятельными в стране закулисными силами (одни из них дружественные, другие враждебные, третьи на какой-то период и по каким-то вопросам нейтральные) и должен учитывать разнообразные воздействия. Каждый знает, что в недалеком будущем ему вновь придется вступить в схватку со своими политическими соперниками за право вновь быть избранным в конгресс. Вот почему участники встречи резервировали свое мнение по существу вопросов, ставших предметом обсуждения, и не торопились выложить его любопытствующим журналистам. К окончательным выводам они будут приходить с учетом многих соображений и влияний.

Тем более примечательны их отзывы об атмосфере встречи с советским гостем и впечатления о нем. Говоря о личных качествах Л. И. Брежнева, сенаторы отмечали его «скромность, утонченность, находчивость, а также силу его убеждения и политическую опытность». Они называли Генерального секретаря ЦК КПСС «сильной личностью, которая производит глубокое впечатление», отмечали, что он «активен как человек, стоящий у руля руководства», что он человек глубокого духовного содержания. «На меня,— сказал сенатор-республиканец Г. Бейкер,— произвела большое впечатление заинтересованность советского лидера в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а также его забота об оздоровлении всего международного климата». Что же касается журналистов, то они отмечали «большую политическую прозорливость» советского руководителя, который правильно оценил роль конгресса в политической жизни страны, говорил на языке, понятном для американских законодателей.

Встреча с представителями делового мира носила несколько другой характер. На эту встречу прибыли более сорока представителей банков и фирм, которые либо уже имеют деловые связи с нашей страной, либо намереваются их завязать. Их интересовали практические вопросы: возможные сферы сотрудничества и торговли между нашими странами, формы и пути развития такого сотрудничества. Однако конкретный разговор по экономическим проблемам неизбежно выходил за рамки цифр и расчетов, вторгаясь в область экономической политики государств, являющейся неотъемлемой частью общего политического курса.

Нужно сказать, что практические вопросы торговых и, если брать шире, коммерческих отношений между двумя странами не были предметом сколько-нибудь детального рассмотрения в ходе самих встреч на высшем уровне. Соответствующие соглашения, заключенные за истекший год, создали необходимую объективную основу для дальнейшего развития и существенного роста этих отношений. Не правительства стран капитала, а то, что принято называть деловым миром, выступает здесь в качестве главной движущей силы экономических контактов и связей. Однако в Соединенных Штатах сегодня вопросы торговли с Советским Союзом приобрели ощутимую политическую окраску.

Каждый американец, следящий за политикой, знает о позиции группировки американских конгрессменов, возглавляемых сенатором Джексоном, которая избрала вопросы торговли главным полем для боя, который они дают проводимой администрацией политике в отношении Советского Союза. Пользуясь тем, что торговый договор с СССР, предусматривающий предоставление нашей стране в торговле с США так называемого принципа наибольшего благоприятствования (обычный принцип в международных коммерческих отношениях, политический смысл которого в том, чтобы подчеркнуть позитивный подход к этим отношениям правительств), должен быть ратифицирован конгрессом, группировка Джексона выступила против ратификации, если Советский Союз не пойдет на политические уступки, которые, по сути дела, являлись бы принятием вмешательства во внутренние дела нашей страны. Торговый договор остается до сих пор еще не ратифицированным американским конгрессом.

В канун визита и в дни его американская буржуазная печать в поисках каких-то «позиций силы» на предстоящих переговорах начала усиленно муссировать тему «жизненной важности» для Советского

Союза торговли с Соединенными Штатами. Один раз задав себе этот тезис, она в дальнейшем исходила из него как из аксиомы, не желая прислушиваться к аргументам иного плана. Кое-кому из американцев после чтения публикаций на эту тему могло показаться, что если б не торговля с США, советская экономика вот-вот развалится. Старый, давно надоевший пропагандистский прием, но он продолжал использоваться с механическим автоматизмом.

Таким образом, вопросы советско-американских экономических отношений стали одним из элементов фона, на котором происходила встреча. Советская сторона терпеливо и упорно объясняла, что эти отношения могут строиться лишь на основе взаимной выгоды и взаимной заинтересованности. Обе стороны обладают крупнейшими экономическими потенциалами. И если они будут подходить к вопросу широко, масштабно, имея в виду долговременную перспективу, то перед нами откроются огромные возможности.

Это признают и трезво мыслящие американские эксперты в области экономики. Они указывают, в частности, что развитие связей с Советским Союзом поможет США преодолеть назревающий энергетический кризис и в какой-то мере облегчит дефицит американского торгового баланса. Впрочем, сами за себя говорят уже цифры. В 1972 году товарооборот между нашими странами превысил, по данным американской печати, 600 миллионов долларов, то есть утроился по сравнению с предыдущим годом. Подписано несколько принципиальных соглашений, осуществление которых должно значительно увеличить объем связей. По подсчетам американских специалистов, он может возрасти за десятилетие еще в несколько раз, достигнув цифры где-то между 2,5 и 5 миллиардов долларов. Многие представители американского делового мира по-серьезному относятся к этой перспективе. «Торговые соглашения парафируются и подписываются,— комментирует один из американских деловых экспертов Б. Уэйнер.— Делегации в головокружительном темпе пересекают Атлантику в обоих направлениях».

Сам по себе отказ от применения принципа наибольшего благоприятствования не в состоянии смертельно подорвать советско-американскую торговлю. При нынешнем характере связей и тенденций их развития он, как считают американские эксперты, может неблагоприятно сказаться лишь на 20 процентах объема советских поставок в Соединенные Штаты. На протяжении десятилетий советская экономика развивалась вне какой-либо зависимости от торговли с США и, несомненно, способна успешно развиваться и в дальнейшем. Вопросы, связанные с принятием принципа наибольшего благоприятствования, имеют в большей степени политический, нежели экономический характер. Они являются составной частью советско-американского соглашения по торговле и, следовательно, ставят проблему общего отношения сторон к этому соглашению. В то же время заключение долгосрочных торговых контрактов помогало бы значительному укреплению доверия между двумя странами и имело бы существенное политическое значение.

Борьба вокруг вопросов торговли с Советским Союзом будет еще продолжаться в Соединенных Штатах хотя бы потому, что американские противники смягчения напряженности и развития советско-американского сотрудничества не складывают оружия. Разношерстная и разнокалиберная их компания давала знать о себе и в дни визита и будет продолжать действовать в предстоящий период. На главной политической сцене эти круги, как уже отмечалось, концентрируются зо-

круг сенатора Джексона. В дни визита он неоднократно появлялся на публичных митингах, охотно позировал перед телевизионными камерами. И мотив его выступлений был один: Советский Союз сначала должен доказать, что его внутренняя система изменяется (совершенно очевидно, какого рода изменений и в чью пользу жаждет этот сенатор — рупор военно-промышленного комплекса), прежде чем можно будет говорить о развитии советско-американского сотрудничества.

В роли соратников Джексона, который, как считают осведомленные американские наблюдатели, собирает вокруг себя реакционные силы в надежде стать их знаменосцем на будущих президентских выборах, оказались Мини, один из руководителей американского профсоюзного движения, и окружающая его реакционная верхушка профбюрократов. Этим людям, давно продавшим свои души монополистическому капиталу, в происходящих событиях не нравится одно: что Советский Союз — социалистическое государство, где власть и все национальные богатства принадлежат трудовому народу; им хочется ни много ни мало — всего лишь реставрации в нашей стране капиталистических порядков. Со схожих позиций выступают и руководители сионистских группировок, избравшие Советский Союз чуть ли не единственной мишенью своих провокационных вылазок, а также другие ультрареакционные организации.

Вся эта пестрая компания усердствовала, не жалея живота своего. Но ни попытки настроить общественное мнение против Советского Союза с помощью выступлений в печати и по телевидению, ни малочисленные, хотя и буйные сборища, долженствовавшие продемонстрировать «взгляды свободных американцев», не приносили им желаемых результатов. Ветры явно дули в противоположную сторону.

...22 июня закончилась вашингтонская часть визита. Президентский самолет «Дух 76-го года» (в 1776 году была провозглашена независимость Соединенных Штатов, в 1976 году, таким образом, США исполнится двести лет) унес советского гостя и американского президента через весь континент на тихоокеанское побережье, в западную резиденцию Сан-Клементе. За ним в воздух взмыла многоместная машина, увозившая туда же большую группу журналистов. Центр событий переместился в Южную Калифорнию. Здесь, среди пальмовых и апельсиновых рощ, под ровный гул океанского прибоя завершилась деловая часть визита — последние переговоры, доработка последних деталей совместного коммюнике, последние встречи с представителями общественности, на этот раз калифорнийской.

А жизнь в Соединенных Штатах с ее сложными проблемами столкновениями противоречивых интересов, с ее тревогами и радостями продолжала течь своим путем. Нам, специальным корреспондентам, освещавшим визит, особенно некогда было вдумчиво вглядываться в многообразие американской действительности. Однако чтение газет, разговоры с людьми, представлявшими разные политические, социальные, профессиональные круги населения, оставляли отпечатки в памяти, день за днем формируя представление о сегодняшнем дне Америки.

Проблемой номер один в их повседневной жизни называли американцы быстрый рост цен на все товары широкого потребления. Никогда еще за весь послевоенный период цены в магазинах, говорили они, не росли с такой быстротой, как в эти последние месяцы. Они называли конкретные цифры в долларах и центах, а за этими цифрами вставали обобщенные статистические данные: только за три последних месяца стоимость продовольственных товаров возросла в среднем на

3 процентов, а по сравнению с маем прошлого года — на 12 процентов. За эти же три месяца цены на промтовары возросли на 4,5—5 процентов. Рост заработков не поспевал за ростом цен, покупательная способность рядового американца сократилась за год в среднем на 0,5 процента. Рост цен продолжался, становясь лавинообразным, и проблема начинала приобретать политическую остроту. В середине июня президент объявил о новых экономических мерах, сводившихся к замораживанию цен в магазинах на их нынешнем уровне сроком на два месяца и к введению некоторых ограничений на экспорт американских товаров за границу. Более двух тысяч инспекторов из ведомства внутренних доходов отправились по магазинам и универсамгам с заданием следить за выполнением принятого решения. Некоторым компаниям, вновь повысившим цены на свою продукцию, было приказано отменить повышение. Было отменено также объявленное повышение цен на пользование авиационным, железнодорожным и автобусным транспортом, повышение почтовых, телеграфных и телефонных тарифов. Хозяев магазинов обязали вывесить на видных местах номера телефонов ближайших правительственных учреждений, куда могли звонить покупатели, чтобы проверить, не самовольничает ли магазин с ценами.

А результат? «Слишком мало и слишком поздно» — таково было почти единодушное мнение потребителя. О реакции делового мира свидетельствовало последовавшее за решением падения курсов акций на биржах. «Это всего лишь временная, сдерживающая мера», — заявили экономические эксперты, большинство которых предвидит в недалеком будущем значительное снижение деловой активности и, следовательно, новый рост безработицы. «Мало надежд, что до конца текущего десятилетия восстановится нормальное положение» — так суммировал ситуацию У. Хоудли, один из вице-президентов «Бэнк оф Америка».

В сложном положении экономика в целом, в кризисной ситуации оказывается ряд ее отраслей. «Энергетический кризис!» — кричат газетные заголовки. Он связан прежде всего с усиливающейся нехваткой в стране жидкого топлива — продуктов нефтеперерабатывающей промышленности. Америка привыкла к автомашинам, может показаться, что она жить без них не в состоянии. В стране насчитывается 115 миллионов автомашин, мотоциклов, тракторов и других, как говорили в старину, «самодвижущихся экипажей» с двигателем внутреннего сгорания. Их число растет с каждым годом. Полагают, что потребность в бензине в текущем году превысит прошлогоднюю на 6—8 процентов. Между тем нефтеналивные хранилища не заполнены по сравнению с прошлым годом на одну десятую объема. Не хватает нефти-сырца. Не хватает нефтеперерабатывающих мощностей.

Виданное ли дело, чтобы на американских бензозаправочных станциях, где раньше каждому заливавшему полный бак своей машины в порядке поощрения дарили какой-нибудь сувенирчик, теперь отказывались закачать более четырех—шести галлонов! Но именно так обстоят дела приблизительно на каждой второй бензоколонке. Многие из них закрываются на несколько часов раньше положенного времени, и найти бензин в позднее время где-нибудь далеко от центра города почти невозможно. Общественность обвиняет крупнейшие нефтяные монополии в том, что они искусственно в целях конкурентной борьбы обостряют бензиновый голод. Монополии отвечают, что виновато правительство, не позаботившееся о развертывании необходимого дорожного и прочего строительства. Между тем кое-где в стране уже появился «черный рынок» торговцев бензином втридорога.

Специалисты считают, что нефтяной кризис будет обостряться по меньшей мере в течение двух-трех лет, пока не будет построен новый нефтепровод из Аляски и не расширены нефтеперерабатывающие предприятия. А в целом нехватку бензина предрекают еще на десятилетие вперед. И в любом случае предстоит новое существенное повышение цен на жидкое топливо. Пока же первой жертвой его нехватки окажутся американские города. Уже и сейчас в особенно жаркие дни, когда включаются все установки по охлаждению воздуха, в городской электрической сети, например Нью-Йорка, ощутимо падает напряжение, лампочки горят вполнакала, электроприборы не справляются с нагрузкой — электростанциям не хватает топлива. Полагают, что предстоящей зимой, если она окажется не особенно теплой, не хватит нефти для отопительных агрегатов больших городов.

К заботам о транспорте, отоплении, освещении примешиваются заботы о чистом воздухе, об охране окружающей среды. Не приходится много говорить, как загрязнен воздух в американских городах — об этом рассказано много. После каждого дымного тумана, периодически накрывающего Нью-Йорк, Лос-Анджелес, многие другие крупные города и промышленные центры, газеты ведут подсчет числа людей с легочными и сердечными заболеваниями, ставшими его жертвами.

Три года назад в Соединенных Штатах был принят закон о чистом воздухе, потребовавший, чтобы к 1975 году местные власти осуществили необходимые меры по ликвидации загрязнения атмосферы. Сегодня уже очевидно, что положения закона не будут выполнены в отведенные сроки — в борьбу против них включились могущественные автомобильные корпорации и другие монополии. Они требуют пересмотра принятых решений, заявляя, что их осуществление поведет к большим переменам в технологических процессах и, следовательно, к резкому вздорожанию автомашин и других видов продукции.

В качестве противника монополий выступает идущее на подмогу властям отдельных штатов федеральное агентство по охране окружающей среды. В июне нынешнего года оно выступило с программой решительных действий, рассчитанных на существенное сокращение автомобильного движения на улицах больших американских городов. В соответствии с предложениями агентства автомобильное движение должно быть запрещено в центральных деловых районах городов, должно быть закрыто большинство мест для стоянок автомобилей в районах центральных улиц, а за проезд по мостам должна взиматься высокая плата. Предлагается полностью запретить появление грузовых автомашин на улицах городов в дневные часы. Рекомендуются уменьшить число заправочных станций и резко поднять плату за бензин, а в некоторых местах ограничить его продажу с помощью карточной системы. В то же время агентство поддерживает предложения о расширении сети общественного транспорта, предоставлении автобусам больших преимуществ в правилах уличного движения по сравнению с частными автомобилями. Общий смысл предложений: оставляя автомашину как средство загородных передвижений, максимально затруднить пользование ими в городских условиях. «Мы намерены,—говорят представители агентства,—шоковым способом внести изменения в американский образ жизни, который в опасной степени стал зависим от автомашины».

Они понимают, что им предстоит длительная и серьезная борьба и против автомобильных корпораций и укоренившихся привычек миллионов людей, и готовы вести эту борьбу по всем правилам военного искусства, наступая там, где это возможно, маневрируя в других слу-

чаях. Обсуждается также возможность с помощью финансовых средств перейти к производству в США компактных автомашин, в меньшей степени загрязняющих воздух.

Мы рассказали лишь о некоторых новых проблемах, с которыми сталкивается американское общество сегодня. И это отнюдь не значит, что исчезли проблемы, которые можно считать уже старыми,— проблемы расовых взаимоотношений и проблемы молодежи, ищущей свое место в мире, быстро меняющемся под воздействием научно-технической революции, проблемы роста преступности и наркомании, проблемы городов, которая выражается в быстром росте трущоб в центральных городских районах. Список подобных проблем велик. Они уже в первые дни дают знать о себе любому человеку, прибывшему сюда из-за океана.

Американец отдает себе отчет в том, сколь сложны политические, экономические, социальные проблемы, стоящие перед его обществом. И все большее число людей здесь приходит к выводу, что способствовать если не окончательному решению, то, во всяком случае, успешному наступлению на них лучше всего может обстановка прочного мира, сокращения военных расходов, взаимовыгодного международного сотрудничества, кооперирования усилий с другими народами в борьбе против того, что американцы называют «отрицательными последствиями научно-технического прогресса». В осознании этого — одна из важных причин благоприятных перемен в общественном климате США, наглядно выявившаяся в ходе визита Л. И. Брежнева.

...Последние дни пребывания высокого советского гостя на американской земле. Утром 24 июня предстоял отъезд Л. И. Брежнева. Проводить его в Сан-Клементе прибыли многие представители здешней общественности, ближайшие сотрудники президента Никсона. Генеральному секретарю ЦК КПСС были представлены космонавты П. Конрад, Д. Кервин и П. Вейтц, только что вернувшиеся после успешного завершения своей космической миссии на орбитальной лаборатории «Скайлэб». Л. И. Брежнев тепло приветствовал космонавтов, пожелал им успехов в их деятельности на благо науки. От Сан-Клементе до базы «Эль Торо» на вертолете советского гостя провожал президент. Затем вновь перелет через континент и на следующий день — отбытие за океан с базы «Эндрюс».

Наступало время подведения итогов. Для этого в распоряжении американских журналистов было достаточно материалов: публичные выступления участников переговоров и замечания, сделанные ими в беседах с корреспондентами, тексты заключенных соглашений и совместного советско-американского коммюнике, выступление Л. И. Брежнева по американскому телевидению. Миллионы американцев, слушавших это выступление, получили возможность подробнее узнать о жизни Страны Советов, политике мира и дружбы между народами, которую проводит КПСС на международной арене. Они узнали также о достижениях и грандиозных планах советского народа, об оценке советской стороной важных результатов состоявшихся переговоров, о стремлении нашей страны и впредь целеустремленно и последовательно развивать и укреплять мирное, взаимовыгодное сотрудничество с Соединенными Штатами в самых различных областях. «Уже сейчас,— говорил товарищ Л. И. Брежнев в прощальной речи на аэродроме «Эндрюс»,— можно смело сказать: нам удалось значительно продвинуть вперед то большое и нужное дело, начало которому было положено в Москве... Мне кажется, есть все основания считать, что

то доброе и полезное, что заложено нами в международную почву сегодня, будет действовать многие годы».

Общее мнение о визите вырисовывалось с достаточной ясностью и достаточно быстро: прошедший визит явился важнейшим событием в отношениях между двумя странами. Он будет иметь самое существенное значение для дальнейшего развития советско-американских отношений и окажет благоприятное воздействие на процесс дальнейшего укрепления международного мира.

«С первой встречи 18 июня стало очевидным,— писал журнал «Юнайтед стейтс ньюс энд Уорлд рипорт»,— что вторая встреча на высшем уровне между двумя руководителями оправдывает возлагавшиеся на нее надежды и большинство официально выраженных ожиданий». Новый характер советско-американских отношений, как говорили в Америке, превратился из желательной перспективы в реальность. Эти отношения приобрели стабильный характер. Переговоры, писала газета американских коммунистов «Дейли уорлд», «открыли путь к совершенно новым отношениям между Соединенными Штатами и Советским Союзом».

Десять соглашений и документов, подписанных в дни визита, американская печать назвала «внушительной серией документов по широкому кругу вопросов». Рассматривая их в комплексе, комментаторы США отмечали большое значение достигнутого для дальнейшего потепления международного климата. Импульс к дальнейшему упрочению советско-американского сотрудничества они видели прежде всего в высказанном участниками переговоров намерении провести в будущем году новую советско-американскую встречу на высшем уровне.

...Как будто бы ничего и не изменилось существенно в американской обстановке за те две недели, что мы провели в Соединенных Штатах. Тот же летний зной, та же уличная суматоха, те же заботы. Но уезжали мы, советские журналисты, с ощущением, что события, свидетелями которых нам довелось стать, уже стали частью американской действительности и будут оказывать свое влияние на многие жизненные процессы. Видимо, те же мысли были и у многих наших американских коллег, прощавшихся со словами: «До следующей встречи, на этот раз на советской земле!»

Нью-Йорк — Вашингтон —
Сан-Клементе — Вашингтон.



ГОЛОСА ДВУХ КОНТИНЕНТОВ



АНВАР ПАША

(Бангладеш)

Анвар Паша — активный участник освободительного движения 1971 года. Стихотворение взято из сборника «Стихи поэтов Бангладеш», вышедшего в дни решающих боев перед провозглашением республики.

Эти лампы

Небо разорвано красной кометой,
всюду пылают огни.
Мама, скажи, могут лампы светом
жизнь озарить в эти дни?

Вот наши лампы, но мертвы их души,
нету в них масла, дитя;
их фитили пламя сразу разрушит,
в пепел их все обратя.

Где же огонь этот, мама, что ночью
светом наш дом озарит?
Он же в глазах твоих, милый сыночек,
в каждой улыбке горит.

Мама, но как же огонь в клубах дыма
может сражаться с врагом?
Он же горит в твоём сердце, родимый,
в сердце бесстрашном твоём.

Мама, поставь тогда лампы повыше,
рядом с кометой поставь,
пламени ярость, что бьётся над крышей,
в наши огни переплавь.

Перевел с бенгали Ф. БУРТАШОВ.

БЕРНАР БУА ДАДЬЕ
(Берег Слоновой Кости)

Бернар Буа Дадье — один из наиболее известных поэтов современной Африки, автор ряда поэтических сборников. Его стихи знакомы советскому читателю по переводам, публиковавшимся в нашей печати.

Белый брат

Мой белый брат, давай перешагнем
Воздвигнутые между нами горы,
Отбросим предрассудки и раздоры
И песню нашей дружбы запоем.

Пусть в этот день великих испытаний
Исчезнет отчужденность с наших лиц.
Давай из добрых и высоких зданий
Построим общий город без границ.

Уходит Время. Вдоль его дорог
Стоят стеною алые пионы.
Они горят, и кажется спаленным
Их жаром наших Судеб общий срок.

Уже зима холодными ветрами
Встречает, осуждая, верно, нас
У оснований выношенных нами
Грядущих дел и откровенных фраз.

Мой белый брат, мы оба долго шли
К тому, чтоб сердце с сердцем встречалось,
И мы, презрев обиды и усталость,
Сорвавши наши маски, их сожгли.

Для сердца нет различий в цвете кожи,
И в поисках великой красоты
Ему цвета любви всего дороже
И чистая лазурь большой Мечты.

Мой белый брат, отбросим прочь престиж,
Мы — дети века, мы его частица,
Мы многого должны еще добиться,
Чтоб страх был изгнан из-под наших крыш.

Нам не из мрамора сердца с тобой ваяли,
Не из базальта их пришлось колоть.
Я знаю: твое сердце — плоть живая,
Ты знаешь: мое сердце — та же плоть.

Мой белый брат, не нужно лишних слов:
Ты — Человек в большой земной квартире.
И я здесь — Человек. И в этом грозном мире
Я в дружбе рядом жить с тобой готов.

Перевел с французского Ф. БУРТАШОВ.

СУАН ЗИЭУ

(ДРВ)

Суан Зиэу — один из лучших поэтов Вьетнама. Начал писать очень рано. В 1938 году, когда поэту был двадцать один год, вышла его первая книга «Стихи, стихи», принеся ему всенародную славу.

Суан Зиэу восторженно встретил революцию августа 1945 года, и в этом же году выходит его книга «Национальный флаг».

Суаном Зиэу написано немало книг прозы, публицистики, исследований о вьетнамской классике, эссе о поэтическом мастерстве, он также много переводит, особенно значительны его переводы русской классики и советской поэзии. Последний большой переводческий труд Суана Зиэу — поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Новая черепица

По любой идя дороге заходя в любой квартал,
Слышал я повсюду грохот воздвигаемой полого
Новой черепицы.

На любой из людных улиц, где б я только ни бывал,
Слышал я немолчный голос и запомнил песен много
Новой черепицы.

Всякий раз спеша куда-то, вдруг как вкопанный замру,
На сердце ложится образ пламенеющей повсюду
Новой черепицы.

Вечером в огне закатном, в синей дымке поутру
Вижу розовые крыши и вовеки не забуду
Новой черепицы.

В старых городских районах и на берегах озер,
На окраинах зеленых и в садах я много вижу
Новой черепицы.
Кровли красные в долинах, на полях, на склонах гор,
Отражаются в затонах дерева и отсвет рыжий
Новой черепицы.

Сотни тысяч звонких плиток, чей разлив заполонил
Нашу радостную землю, на поля ее стремится.
Мощные каскады, сотни тысяч лошадиных сил,
Вширь плывут и ввысь стремятся волны
Новой черепицы.

На равнинах всходы риса буйны, зелены, густы,
Стелются до горизонта, нет им края, нет границы,
В этой зелени алеют черепичных крыш цветы,
Рис растет, растет и спорит с ростом красной
черепицы.

Кровли нового завода, кровли нового села,
Кровля рынка городского, кровля школы и больницы,
Мир просторный отражают новых окон зеркала,
Осененные повсюду красной шапкой черепицы.

Душа становится прозрачной и мудрее,
 а мысли — пронизательней и чище.
 Небесной музыкой скольжу я
 над долиной, где высятся
 задумчиво деревья.
 Когда же каменной вершины достигаю,
 сливаюсь с ночью воедино
 и чувствую:
 во мне летят светила
 и гулко бьют часы...
 А на заре свои восточные ворота
 вселенная бесшумно отворяет
 и солнце выпускает на свободу.
 Я опускаюсь по лучам на землю...

Перевел с арабского ГЕОРГИЙ АШКИНАДЗЕ.

ШУБХАШ МУКЕРДЖИ

(Индия)

Поэт-коммунист Шубхаш Мукерджи — один из крупнейших поэтов современной Индии. Председатель Комитета индийских писателей по связи с писателями азиатского и африканского континентов. Бывал в Советском Союзе, участник Ташкентской конференции, а в нынешнем году — член индийской делегации на сентябрьской конференции в Алма-Ате.

Стихи Мукерджи переводились на русский язык — печатались в периодике и в сборниках поэтов Индии.

По пятам

Ежечасно
 она ходит за мной по пятам,
 постоянно за мной по пятам,
 по пятам.

Ей говорю: «Некогда мне, печаль.
 Эй, печаль, уходи, отстань,
 некогда мне, печаль!
 Уходи! Отстань!

Вот что я видел:
 о ствол дерева опершись,
 голая смерть
 молодость попирает.

По земле рыщет
 свирепо оскаленный страх.
 Шкуру с него содрать
 я хочу!

Погляди-ка, печаль:
 чтоб увидеть облик счастья,
 в наши лица
 с надеждою всматривается
 поседевшая мать.

О печаль,
не связывай рук моих:
в воду и грязь
надо посеять рис.

О печаль,
прочь, отстань:
мне полоть сорняки
надо».

Не уходит,
все равно не уходит печаль.
Постоянно — за мной по пятам,
по пятам,
по пятам.

Я, ослепнув от гнева,
в нее
горе мое швыряю;
проклиная:
«К черту! Чтоб ты сдохла,
на радость мою, печаль!»

Потом,
погрузившись в дела,
замечаю:
усевшись поодаль,
она,
моя же печаль,
обо мне совершенно забыв,
несбывшимися моими мечтами играет.

И, смеясь,
ее, как балованного ребенка,
я беру на колени.

Перевела с бенгали ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА.

НАДЕР НАДЕРПУР

(Иран)

Надер Надерпур — один из видных поэтов современного Ирана. Автор сборников стихов «Глаза и руки», «Поэзия винограда», «Солнце — исцелитель» и других.

Завтрак

Мое утро всю жизнь протекает вот так:
Открываю глаза и затем
Умываюсь в родниковой глади зеркала.

Помолившись свету,
Смешиваю рассвет с сырым желтком яйца,
Выпиваю влажный ветер со свежим молоком.

А за деревней
на холме зеленом
влажный ветер
уводит бабочек в сады,
и розовый цветочный
аромат
вселяет радость
в маленькие души.
Когда же день
склоняется к закату,
бледнеет синий горизонт
и немощно мерцает за селом.
Но солнце, этот звонкий кубок,
наполненный
вином тысячелетним,
ведет рассказ от первого лица
о страсти, пламенеющей в сосудах.
В древесных дебрях
на покатых склонах
дремота бродит по оврагам,
баюкает себя листвой шуршащей.
В густой живучей тишине
поет неунывающий пастух.
На крепком посохе несет
легко, как перышко, весну.
Моя деревня —
божество,
взирающее молчаливо
огромными печальными глазами
на медленно текущий мимо мир.
Моя деревня тонкими руками
ткет голубые ласковые грезы
из голубых
и легких облаков.

Перевел с арабского ГЕОРГИЙ АШКИНАДЗЕ.

МУХАМЕД АЗИЗ ЛАХБАБИ

(Марокко)

Мухамед Азиз Лахбаби — один из крупнейших современных поэтов Марокко. Широко известен в странах Магриба. Пишет на французском и арабском языках. Долгое время был деканом философского факультета Рабатского университета.

Клятва писателей

1

Листьями, опадающими с нашими мечтами,
Цветами, опыляющими эти мечты,
Нежностью осени, обезоруживающей деревья,
Силой любви, обновляющей жестокий мир,
Нашей страстью — бессмертной весной жизни,
Сердцем, устремленным навстречу солнечному свету,

Войной и ее незаживающими ранами
 — Мы клянемся,
 Что наши слова станут ветром,
 Рождающим набатный звон против несправедливости,
 уродства и фальши.

Оливковым деревом, венчающим мир,
 Снегом, скрадывающим седину раннего утра,
 Солнцем, обжигающим моря и равнины,
 Оцепенением лета, нахлынувшим на наши глаза и руки,
 Газелью, устремившей свой бег к солнцу,
 Полнотой существа, пришедшего из небытия,
 Тенью, ласкающей наши обожженные дороги,
 — Мы клянемся,
 Что наши слова станут ураганом,
 Своим порывом вырывающим с корнем ложь
 И очищающим сердце, разум и горло.

Парусами, затерянными в танцующем океане,
 Лестницей пыток на шатком пути к власти,
 Ужасающей подлостью жаждущих власти и денег,
 Неуверенными шагами всемогущих, как низко павших,
 Песком, стонущим на высохшей, обветренной почве,
 Пролетариатом — творцом прекрасного,
 Своей кровью омывшего всю Землю,
 — Мы клянемся,
 Что наши слова вспыхнут ярким факелом,
 Чтобы омолодить мир, унять злобу и сделать осязаемым время.

2

Засовом, решеткой, весами правосудия и виселицей,
 Черной одеждой и фальшивой клятвой,
 Безысходным отчаянием камер и умирающих свечей,
 Полицейской собакой, терзающей свою жертву,
 Сорвавшимся с цепи молчанием, вопящим перед ледяным
 железом,

Одиночеством, омытым слезами,
 Существом, отвергнутыми навсегда,
 Глотками проржавевших часов справедливости,
 Шелестом скошенной травы, утешающим разбитые сердца,
 — Мы встречаем зарю победы
 И клянемся — предавать проклятию ложь и лжецов.

Богом любви и танцующих цветов,
 Богом разума, борющегося до конца,
 Душой, не желающей продаваться,
 — Мы клянемся
 Вывести мир из ада, в который его столкнули,
 Отдать себя борьбе с несправедливостью
 И острием своих метких слов поражать лгунов,
 Оскверняющих чистоту громадных обнаженных площадей
 Земли.

Перевел с французского ВАЛЕРИЙ КРАСНОПОЛЬСКИЙ.

ДАШИДОРЖИЙН НАЦАГДОРЖ (МНР)

Дашидоржийн Нацагдорж — первый поэт народной Монголии, основоположник современной монгольской поэзии. Вместе с легендарным вождём, основателем народной Монголии Сухэ-Батором сражался за свободу своей страны. Активный организатор пионерского и ревсомольского движения. Он прожил короткую, но яркую жизнь — жизнь бойца, жизнь поэта народной революции. Многие его стихи стали хрестоматийными и широко популярны на его родине.

Осень

(Из цикла «Времена года»)

Осеннее оранжевое солнце
Сияет нам с тобою — ты и я
В его лучах, как в золотых одеждах,
Стоим среди родных степных просторов,
Как стебли трав среди веселых хоров
Птиц, прославлявших радость бытия.
Вдали пастух скликает свое стадо,
В высоком чистом небе облака
Плывут неслышно светлой чередою
Куда-то в даль. И юность вместе с ними
Спешит узнать за горизонтами косыми
Все то, что ей неведомо пока,
Увидеть удивленными глазами,
Что жизнь любви и радости полна,
Узнать, как ярким днем моуче солнце,
Как по ночам в прозрачные потоки
Глядится лик холодный и широкий —
Огромная и яркая луна.
У осени свой цвет — вокруг все серо.
Под вечер на траве, как жемчуг, иней спит.
И конь у привязи от холода, наверно,
Сквозь теплый сон немножечко дрожит.
А рано утром всадник в степь умчится,
В степи с утра — охота на волков.
Хозяйка в доме примется за дело,
Стирает, шьет, готовит всем обед,
И легкий ветерок несет ей свой привет,
В нем шепот трав и сопок тихий зов.
Но осенью случается порою —
Вдруг входит в сердце легкая печаль,
И старики смахнут слезу рукою,
И юность, присмирив, пылливо смотрит в даль.
И листья падают с желтеющих деревьев,
Кружат, в траве улечься не спеша,
И птиц умолкших тянутся кочевья,
И грустью сладкой полнится душа.

Перевел с монгольского Ф. БУРТАШОВ

БЕГЦИН ЯВУУХУЛАН**(МНР)**

Бегцин Явуухулан принадлежит к среднему поколению монгольских поэтов. Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве. Его поэзия полна лирики, проникнута любовью к жизни. Он лауреат Премии имени Чойбалсана.

Первый залп

Тот выстрел «Авроры» — как битвы сигнал
 Для всех угнетенных во тьме прозвучал,
 Позвал к новой жизни народы Земли,
 И, плечи расправив, вставали народы;
 И в степи Монголии новые дни
 Пришли, подарив нам и мир и свободу.
 Как радуги светлой все ярче сиянье,
 Октябрьских зарниц над Землей полыханье.
 Как луч он домчался, ненастье пронзив, —
 Великого Ленина к братству призыв.
 И нет у Монголии братьев верней,
 Роднее и ближе советских людей.
 Я верю, что эхом откликнется скоро
 Над всею планетой тот выстрел «Авроры».

Перевел с монгольского Ф. БУРТАШОВ.

ПУРНА БАХАДУР БАЙДИЯ**(Непал)**

Пурна Бахадур Байдия — молодой поэт Непала, пишущий на неварском языке, длительное время преподавал в школах города Катманду. Он является членом Непало-советской культурной ассоциации.

* * *

Как увижу ноги свои,
 вспоминаю,
 что до цели еще далеко,
 что путь мой долог.
 Как увижу закрытую дверь,
 сжимается сердце,
 понимаю: надо идти
 когда-то толкнуть эту дверь
 и выйти в сутолоку улиц, где выставлено напоказ
 тщеславие нищих циновок.
 Улица создана для встреч.
 Без улицы мы разучились бы узнавать друг друга.
 Я замкнут в себе,
 а за дверью — мир нараспашку.
 Невыносимо сидеть взаперти.

Никак не найду покоя.
 Я хочу в лике толпы узнать и свое лицо,
 хочу найти свое «я»,
 ибо мое сердце
 выставлено в витринах улиц,
 и где-то там затерялась моя судьба,
 и моя жизнь уже просочилась из дома
 и течет в переулках познания.
 Что такое комната, где ты живешь?
 Это лишь маленький репетиционный зал.
 Театр начинается по ту сторону двери.
 Потому-то мое лицо раздарено улицам,
 а лица других — во мне.
 Так разве я не должен идти?
 Пусть оборвется мой путь,
 пусть никто не станет убеждать меня, что этого не случится,
 никто
 в этой вечно спешащей толпе, занятой только собой.
 Пусть — ведь может ветром сорвать
 один неприметный лист?
 Может тихо погаснуть один из уличных фонарей?

Перевел с неварского АЛЕКСАНДР МИЛИТАРЕВ.

АМИР ХАМЗА-ХАН ШИНВАРИ

(Пакистан)

Амир Хамза-хан Шинвари — крупнейший пакистанский поэт и прозаик, пишущий на языке пушту. В 1950 году он возглавил Общество поэтов пушту. Перу А. Х. Шинвари принадлежат книги, переведенные на языки других народов Пакистана: «Дневник путешествия в Кабул», «Новый пуштун», «Душевные порывы».

Пастух

О юноша, любуйся вечным миром,
 Хоть он и разный в этот летний день.
 Дороги все ведут в свой мир, обратно,
 Спит в человеке собственная тень.

Пар от росы, что высушило солнце,
 Поднялся в вышину, где горный лес.
 И тень горы не трогает равнины.
 И на земле лежит печать небес.

Не сник, как те цветы в тени деревьев,
 Ответный пламень в сердце пастуха.
 Смех легких крыльев мотылька бесплоден.
 Даль в лучезарности своей глуха.

И листья зной весенний проклинают
 И молятся, чтоб он — не на века.
 И овцы с козами в тени деревьев
 Плывут за пастухом, как облака.

Чинары к небу сотни рук воздели
И молят о зиме, сойдя с ума.
А пастуха от зноя зазнобило,
И, как мираж, мерещится зима.

Не плачь, пастух, пусть в крепость твердой воли
Чувств соберутся пылкие войска,
И ты взбунтуйся против сил природы —
Ты одолеешь их наверняка.

Любовью, силой духа и искусством
Нам надо противостоять всегда
Напасти хаоса, страстям стихии,
Беречь сосредоточенность труда.

Перевел с пушту В. СИКОРСКИЙ.

ЭНТОНИ ДЕЛИУС (ЮАР)

Энтони Делиус — поэт и прозаик. Его произведения пронизаны горькой сатирой и критическими выступлениями в адрес расистских руководителей страны. В 1967 году в знак несогласия с правящим режимом покинул страну и живет в эмиграции.

Великое разделение

(Отрывок из поэмы)

Этнический гимн

Темнокожефобия не даром
Будет править нами мно-огия лѐта!
Ее монументы — раздельные бары
И сегрегированные туалеты.

Господь вразумлял нас: «Вы счастье обряцете,
Деля пополам все почтовые ящики;
Развесьте раздельно их — в этом спасение
Ваших конвертов от письмосмешения,
Ведь в этом политики вся квинтэссенция:
И дух незапятнан и корреспонденция!»

В раздельных поездах спешат раздельно
Все заработать свой раздельный хлеб,
Меж разноцветными и брак и блуд — смертельны,
Их даже мертвых ждет раздельный склеп.

Господь шлет на землю хулу и проклятия,
Там нераздельные видя объятия;
Граждане наши предупреждаются —
С кем и кому им грешить разрешается.
Вот вам понятие демократичности:
Свобода диктуется кожей личности.

Да-а, в нашем законе путь мысли неясен,
Он столь примитивен, убог и ужасен;
Но как же чувствителен грубый Закон,
Когда губы толстые вдруг видит он.

Различия наши наукой итожены —
Мы разнимся лишь волосами и кожей;
А в остальном — ну какие ж различия,
Коль всем без разбора дают зуботычины.
Позволь же, господь, за успехи научные
В отдельных церквах гимны спеть благозвучные.

Какая ждет нас славная работа —
С твоей, бог-сепаратор, не сравнить:
Ты день от ночи отделил (всего-то!),
А нам оставил прочий мир делить.

Перевел с английского Ф БУРТАШОВ.

БЛОК МОДИСАНЕ (ЮАР)

Блок Модисане — прозаик, поэт, актер, ученый, отдавший весь свой талант борьбе с режимом апартеида. В настоящее время проживает в эмиграции. Автор многочисленных рассказов, некоторые из них публиковались в нашей печати.

Черные блюзы

У блюзов черные лица;
скажу вам: печальны их лица,
морщины их — темные птицы,
летающие без дорог,

они темнокожие утром,
и нежно-коричневы в полдень,
и иссиня-черные ночью,
долгою ночью тревог.

О, блюзов черные лики,
дьявольски черные лики,
в них бьются отчаянья крики
и в горле от слез комок,

они чернокожие утром,
и нежно-коричневы в полдень,
и иссиня-черные ночью,
долгою ночью тревог.

Отец говорил мне: «Мой мальчик,
садись и послушай, мой мальчик,

услышишь, как горестно плачут
блюзы в твоей крови,

черна твоя теплая кожа,
и боль ее блюзы множат,
печаль в них, сынок, и все же
надежду свою зови».

Печальны, отец, наши блюзы,
горькие, грустные блюзы,
и ты, мой отец, как блюзы —
так же нежен и строг,

ведь ты — темнокожий утром,
ты — нежно-коричневый в полдень
и иссиня-черный ночью,
долгою ночью тревог.

Перевел с английского Ф. БУРТАШОВ.

ТХАНЬ ХАЙ

(Южный Вьетнам)

Тхань Хай — известный современный поэт, сражавшийся в рядах южновьетнамских патриотов за свободу и независимость родины. Одна из его лучших книг «Наши верные товарищи» в переводе на французский язык была издана издательством «Освобождение» — органом Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

Гимн весне

Ты уже с нами, весна!
И пусть не могла ты явиться
Так скоро, как ждали тебя,
Я сегодня шагаю тебе навстречу,
Чтоб услышать волнующий голос весны.
О, мелодии песен,
Что льются над родиной нашей —
В городах и деревнях,
В горах и на берегах быстрых рек.
Как много певцов
Состязаются в славном искусстве,
Приветствуя наступленье весны!
О, мелодии песен,
Звучащие на освобожденной земле,
Где солнце яркого дня
Разгоняет угрюмые тени.
Они слышатся с каждой вершины
Наших красных холмов
И с зеленых полей,
Где играет посевами ветер.
Все торжественней звуки тех песен,
И все ближе и ближе свершенья
Наших долгих и страстных надежд

Повсюду, где реет, трепещет под ветром
 Революции гордое знамя!
 И мелодия песни, что напевает
 Наш товарищ, в боях поседевший,
 Наш товарищ, смерть победивший,
 Все слышнее несется с вершины холмов,
 И глаза его видят гремящие барабаны,
 Что поют о приходе весны.
 Это наша весна, опаленная дымом сражений,
 Это наша весна, мы, сражаясь, мечтали о ней,
 Это наша весна, мы мужали, весну ожидая,
 И я знаю — победа, как эта весна, к нам придет!
 О, этот гимн на пороге цветущей весны,
 Как стремителен ты,
 Как могуч и всеокрушающ!
 Это голос знамен,
 Что ведут нас в решительный бой,
 Это голос и гневный и звонкий
 Побеждающего человечества,
 Это встающий прибой
 Идущей вперед Революции!
 О, этот гимн на пороге цветущей весны!
 Ты стал песней, что в сердце взметнулась моем.
 О, свежее утро встающей весны,
 Ты уже на пороге моем,
 Я зову тебя громко:
 «Товарищ, смелее входи!»
 И пусть кажется, что ты
 Уже наступило,
 Я шагаю сегодня тебе навстречу,
 Чтоб услышать волнующий голос весны!

Перевел с вьетнамского Ф. БУРТАШОВ.

САТОСИ КАДОКУРА

(Япония)

Сатоси Кадокура — поэт-коммунист, член прогрессивного объединения японских литераторов «Конгресс поэтов», автор нескольких поэтических сборников. Сатоси Кадокура — автор либретто «Хиросимы», первой японской оперы, переведенной на русский язык.

Память

(Из цикла «Песнь о бомбежке Токио»)

И сейчас я вижу тебя во сне.
 И сейчас ты объята огнем.
 И сейчас ты бежишь без оглядки,
 босая, вдоль рухнувшихзданий,
 прижимая меня к груди,

подгоняемая моим криком —
«Мамочка!».

Твои волосы полыхают,
на спине пляшет пламя...
Прижимая меня к груди,
ты бежишь
сквозь огненный вал...
И сейчас я вижу, как ногти твои
вгрызаются в пересохшую землю
и ты посыпаешь меня
горячей пылью
и снова бежишь...

Огонь лижет твое лицо.
Огонь плавит щеки.
Спасая меня, расплавляешься ты,
и в последний, предсмертный миг,
падая,
мертвым телом
ты прикрываешь меня...

И сейчас я вижу тот день во сне,
и сейчас улица объята огнем.
И сейчас бежит человек,
прикрывая меня своим телом,
бежит вдоль рухнувших зданий,
в дыму и огненных искрах!

Перевел с японского АНАТОЛИЙ МАМОНОВ.

ТОСАБУРО ОНО

(Япония)

Тосабуро Оно — один из старейших прогрессивных японских поэтов. Ветеран пролетарского литературного движения Японии 30-х годов. Автор многочисленных поэтических сборников и книг по теории стиха, в том числе «Осака» (1939), «Пейзажи» (1943), «На берегу океана» (1947), «Фудзи» (1956), «Наивная просьба» (1962), «Путешествие по вертикали» (1970) и др. Профессор Оно возглавляет созданную им осацкую литературную школу.

Подсолнухи

Лето в разгаре.
На иссохшую землю,
потрескавшуюся от жажды,
беззвучно падают
серые тени.

Из трещинок
на бетонном плато
тянутся к солнцу
упрямые
черноглазые подсолнухи.
Золотые короны вращаются, как радары,
чутко выискивая источник света,
и отражают
в лучах заката
едва уловимое нападение
воздушных торпед.
Жизнь, подобная прочному сплаву металла!
А вдалеке
светятся горы,
и разрушаются гранитные скалы...

Перевел с японского АНАТОЛИЙ МАМОНОВ.

САЙСЭЙ МУРО

(Япония)

Сайсэй Муро — выдающийся поэт, оставивший заметный след в японской литературе. Еще в довоенные годы его лирическая поэзия оказала влияние на многих литераторов Японии. Автор целого ряда поэтических сборников и книг о поэзии.

Колыбельная песня

Когда падает снег, звучит колыбельная нежная песня.
Вот уже сколько времени
из окна, из дверей, с неба
доносятся звуки ласковой песни.
Но ведь мне никогда не пели
колыбельную песню.
Я не знал человека
по имени «мать»,
и я не могу себе представить,
чтобы в моем сердце жила
память о такой песне.

Но странно:
в день, когда падает снег,
я слышу ее —
колыбельную нежную песню,
которую никогда,
никогда не слышал в детстве...

Перевел с японского АНАТОЛИЙ МАМОНОВ.

СИРО МУРАНО

(Япония)

Сиро Мурано — известный поэт и литературный критик. Еще в студенческие годы стал сочинять трехстишия (хайку), но вскоре, подобно многим другим поэтам (например, Сайсэй Мура), также начинавшим поэтическую деятельность с трехстиший, отдал предпочтение свободному стиху. В 1926 году выпустил первый сборник стихотворений. Мурано принадлежит около десяти поэтических сборников, а также книги по истории литературы. В 1960 году удостоен литературной премии «Йомиури».

Олень

Там, где кончается лес,
в багровых лучах заката
неподвижно стоял олень.
Он знал,
что маленький лоб его уже под прицелом.
И все-таки —
что оставалось делать ему?
Он стоял с гордым видом,
изящно вытянув шею,
и пристально всматривался в деревню,
где сверкали, как золото, отблески жизни...
В последний миг, отделявший его
от ночи большого леса.

Перевел с японского АНАТОЛИЙ МАМОНОВ.



ХОСРОУ ШАХАНИ

★

УРАГАН

Рассказ

Подобно большинству наших провинций, каждая из которых имеет свои особенности и приметы — плодородная, нефтеносная, золотоносная, нищенская, набожная и т. д., наш город был ветроносным.

Почти ежедневно спозаранку на город с севера шел страшный ураган, к середине дня ветер менял направление, и на нас обрушивался настоящий смерч пыли и песка. Круглый год проклятый ураган свирепствовал у нас, и естественно, что в нашем городе не осталось ни кустика, ни деревца. Согласитесь, что жизнь в такой дыре была сущим адом.

Как-то вечером, спасаясь дома от очередного урагана, я решил написать письмо своему дорогому старому другу, проживающему в Тегеране (любимое занятие большинства провинциалов — переписываться с друзьями и родными). Среди всего прочего я, в частности, упомянул, что и врагу не пожелаю жить в городе, где царит беспросветный мрак, где из-за этого проклятого урагана все ходят зажмуриив глаза и никто не решается оглядеться вокруг или раскрыть рот, а уж высказаться и подавно... На следующий день я опустил письмо в ящик.

Прошло около недели. Однажды, когда я не решился выйти из дому из-за урагана, ко мне зашел приятель. Мне показалось, что он чем-то взволнован и расстроен.

Я и поздороваться с ним не успел, как он набросился на меня:

— Ей-богу, в жизни не встречал человека более легкомысленного и беспечного, чем ты. Сидишь в своей квартире и в ус не дуешь!

— А ты хотел бы, чтобы в такой ураган я стоял посредине площади.

— Вот запрут тебя в каталажку, тогда поймешь, что и посредине площади стоять вовсе не плохо, — возмущенно сказал он.

— Ну ладно, шутки в сторону, чай пить будешь? — не придавая значения его словам, спросил я.

— Да иди ты к дьяволу со своим чаем! — взорвался он. — Тысячу раз предупреждал тебя: прикуси свой болтливый язык! Держи его за зубами! Не болтай ерунды! Не послушался меня, а теперь пойдешь поглядеть, какой шум поднялся из-за тебя в городе!

— Из-за меня?

— А то из-за кого же! Из-за меня, что ли?

Его возбуждение передалось мне. Вижу, действительно что-то стряслось — не зря он так волнуется. Но, с другой стороны, ведь ничего плохого я не делаю. Сажу себе тихо дома, окна и двери запер — урагана боюсь.

— А что же все-таки случилось? — спросил я.

— Что случилось? Уполномоченные губернатора ходят по базару, собирая среди торговцев подписи — шьют тебе дело!

— Дело, мне? А что я такого натворил?

— Подумай сам! Пораскинь мозгами! И какая тебе, болван, разница, что за погода в нашем городе — мрак тут у нас или солнце светит?

Чем-то его фразы мне были знакомы. Где-то я все это слышал. Что бы все это могло значить?

— А в чем, собственно, меня обвиняют?

— Так вот знай: составили длинную петицию и все сограждане сейчас под ней подписываются. Там говорится, что в нашем городе вообще никогда не дует ветер, что благодаря неустанным заботам господ губернатора, председателя муниципалитета и уважаемых начальников отделов наш город не имеет себе равных по чистоте и порядку. Утверждать обратное может только предатель и враг. Все подписавшиеся требуют немедленно привлечь тебя к суду.

— Ты что, хочешь сказать, что мои сограждане требуют меня наказать?

— А что им остается делать? Мне тоже пришлось подписаться — другого выхода не было.

Я обхватил голову руками и стал мучительно искать выход из создавшегося положения.

— Ты с кем-нибудь о чем-нибудь болтал? — спросил мой друг.

— Да что ты! Разве у нас можно болтать? Из страха перед ураганом тут никто не решается рта раскрыть.

— Может быть, ты писал кому-нибудь письма или открытки?

— Я постоянно веду переписку, — ответил я. — Но какое отношение имеет моя переписка к этим событиям?

— А не писал ли ты в письмах о том, что в городе свирепствует ураган, что жители задыхаются от пыли и песка?

— Да, писал одному другу.

— Вот дурак. Расхлебывай теперь кашу, которую сам заварил. Это твое письмо как раз и попало в соответствующие органы. Они переслали его господину губернатору с требованием немедленно принять меры. Теперь ты понимаешь, почему против тебя возбуждено дело?

— Что же ты теперь мне посоветуешь? — испуганно спросил я.

— Не знаю, решай сам! Мало того, что господин губернатор в бешенстве, но еще и все начальники отделов поклялись проучить тебя!

— Значит, выходит, — сказал я, — что хоть у нас и дует ветер, надо говорить, что ветра нет. Так я тебя понял?

Утром за мной явились двое в штатском и отвели к губернатору. Господин губернатор восседал во главе стола, по обе стороны от него разместились господа начальники полиции, жандармерии, отделов юстиции, финансов, просвещения, почты и телеграфа. Руководители остальных учреждений расположились несколько поодаль... Присутствовали также наиболее уважаемые жители города. В комнате стояла гробовая тишина.

Господин губернатор жестом пригласил меня подойти поближе, вынул из папки какой-то листок и протянул его мне.

— Возьми это письмо и прочитай его вслух! — приказал он.

Я узнал свой почерк. Это было письмо, посланное мной месяц тому назад другу. Как оно попало в соответствующие органы, я не могу понять и по сию пору. Я начал дрожащим голосом читать письмо, пока не дошел до следующего места: «...и врагу не пожелаю жить в городе, где из-за этого проклятого урагана все ходят зажмурив глаза и

никто не решается оглядеться вокруг или раскрыть рот, а уж высказаться и подавно...»

Тут господин губернатор как подскочит да как закричит:

— Ах ты такой-сякой! А ну говори, кто только что читал это письмо вслух?

— Ваш покорный слуга,— ответил я.

— Как же ты смел, негодяй, утверждать, что в этом городе якобы никто не решается раскрыть рта?

— Простите, господин.

— Что значит простите? Скажи, видишь ты перед собой своих сограждан или ты ослеп?

— Вижу, господин.

— Как же ты смел, дурак, писать, что в этом городе никто не решается открыть глаза?

— Простите, господин.

— Скажи на милость, дует здесь ветер?

— Нет, господин... но...

— Что но?..

Я взглянул в окно. С улицы доносилось страшное завывание ветра, пыль поднялась такая, что не было видно ни зги. И тут мой взгляд упал на начальника полиции — он в бешенстве грыз свой длинный ус...

— Говори же, что но?..

— Но ничего, ваше превосходительство.

— Так дует здесь ветер или нет?

— Нет, господин.

— Почему же ты написал, что у нас всегда бушуют ветра?

— Простите, ваше превосходительство. В жизни больше не буду писать писем, господин... А на этот раз вы уж простите меня великодушно.

— Как простить? Ты всех нас оклеветал, свел на нет все наши заслуги, подорвал наш авторитет в глазах начальства, и после всего этого ты еще осмеливаешься просить прощения?

Присутствующие закачали головами, словно марионетки, выражая свое согласие с господином губернатором.

— Видишь эту карту? — спросил губернатор и повернул голову на короткой жирной шее к висящей на стене карте.

— Вижу, господин.

— Как ты думаешь, что это за карта?

— Мне кажется, это карта нашего города.

— Посмотри на нее внимательно и скажи, что нарисовано по ее краям?

— По краям нарисованы сосны, ели и другая растительность.

— Знаешь ли ты, что все это значит?

— Нет... ваше превосходительство.

— Это карта запланированных лесонасаждений. Они должны будут преградить дорогу урагану. Понял?

— Да, ваше превосходительство, понял.

— А если ты все так хорошо понимаешь, зачем же ты написал это письмо?

— По глупости, ваше превосходительство. Я его написал до того, как план лесонасаждений был разработан.

Господин губернатор положил передо мной перо и бумагу.

— Пиши объяснение.— скомандовал он.— «В результате неустанных забот господина губернатора и других ответственных лиц,— диктовал господин губернатор,— наш город стал самым чистым, самым красивым городом земного шара. Благодаря усилиям вышеупомянутых господ вокруг города создан пояс зеленых насаждений и спе-

циальные ветроотводные туннели, вследствие чего в нашем городе не бывает никаких ветров и ураганов». Написал?

— Да, господин.

— Теперь подпиши!

— Слушаюсь, господин!

— А теперь в присутствии всех этих господ и своих сограждан громко повторяй за мной: «Долой предателей и подлых наймитов! Долой предателей и подлых наймитов! Да здравствуют истинные попечители и отцы нашего города!»

— ...истинные попечители и отцы нашего города!

Затем господин губернатор продиктовал секретарю собрания следующее решение суда: «Поскольку обвиняемый при свидетелях признал, что письмо от такого-то числа такого-то месяца имело целью опорочить истинных благодетелей города перед компетентными органами, в соответствии с пунктом «б» параграфа двенадцатого статьи 247966 закона об ответственности за злостную клевету господ судьи, учитывая чистосердечное раскаяние обвиняемого и применяя к нему максимум снисхождения, постановили: вышеуказанный обвиняемый в течение шести месяцев три раза в день по часу должен выкрикивать на центральной площади города лозунг: «Долой предателей!»...» Судебное совещание объявляется закрытым.

Я пришел в отчаяние. К горлу подступил комок — я не смог ни говорить, ни плакать. Судейская коллегия покинула зал, за ней последовал и я в сопровождении представителя суда.

На улице мы попали в такую песчаную бурю, что тут же потеряли друг друга из виду. Ветер так свистел и завывал, что мы стояли зажмурившись, не решаясь оглядеться вокруг. Мне хотелось кричать: «Господин губернатор, уважаемые судьи! Если это не ураган, так что же это?» Но из-за урагана нельзя было раскрыть рта, а уж высказаться и подавно. Двери все были заперты, на улицах ни души, а ветер выл, как голодный волк, и сметал все на своем пути.

Перевел с персидского ДЖ. ДОРРИ.

Хосроу Шахани, имя которого пока еще мало знакомо советским читателям, — один из наиболее интересных и многообещающих новеллистов современного Ирана. Писатель родился в 1929 году в Мешхеде. По окончании филологического факультета Тегеранского университета стал журналистом. С 1958 года выступает с рассказами на страницах различных журналов.

Писатель работает в жанре сатиры и юмора, имеющем в персидской литературе давнюю традицию.



ДЭН ДЖЭКОБСОН



ОБРАЗ ЖИЗНИ

Рассказ

Вид у Лины — а это признавали даже ее хозяева — был ужасный. Из рта торчали два большущих, каким-то чудом уцелевших верхних резца. Остальные зубы повыпадали, поэтому нижняя часть лица сморщилась и съежилась до того, что казалось, будто подбородка у нее и вовсе нет. Над низким лбом кустились редкие волосенки, старательно собранные в узелки и перевязанные какими-то лоскутами. Из-под лба смотрели налитые кровью, в густой сетке прожилок глазки. Носила она одежду, отданную ей за ненадобностью хозяйкой, но даже вполне приличное, не слишком изношенное платье на Лине выглядело затасканным, допотопным и невероятно длинным. Объяснялось это тем, что Лина была куда мельче своей хозяйки Аннет Капон, хотя и ту никто не назвал бы крупной женщиной.

Казалось, Лина должна быть неряшливой, невежественной, нечистой на руку и лживой. На самом же деле все было как раз наоборот. По-английски Лина говорила хорошо, почерк у нее был красивый и разборчивый. И при этом она отличалась пунктуальностью, честностью, преданностью и аккуратностью. Она сама никогда не жаловалась и не давала повода для жалоб. Напротив, она была веселой и часто смеялась, обнажая два торчащих резца; в трехлетнем же Адаме, сынишке Капонов, она души не чаяла. Откуда взялись у Лины эти неожиданные добродетели, оставалось загадкой. Скорей всего эти ее хорошие качества были так же неотделимы от нее, как торчащие зубы, перевязанные кустики волос и покрытые густой сеткой кровяных прожилок глаза.

Отца своего она не знала совсем, мать ее была прачкой: каждую неделю отправлялась она в белые пригороды Йоганнесбурга, таща на спине узлы чистого белья, и возвращалась оттуда, волоча такие же узлы грязного, которое потом кипятилось на плите и гладилось в единственной комнатухе, где, кроме матери, жили еще Лина, сестра годом старше Лины, тетка и ее буян-муж. Лина несколько лет ходила в благотворительную школу, но классы были настолько переполнены, что дети занимались только по три часа в день. Остальное время Лина вместе с другими малышами слонялась по пыльным улицам поселка. Когда Лина немного подросла, она стала помогать матери стирать. Когда ей исполнилось четырнадцать лет — впрочем, возраст свой она определяла чисто предположительно, — мать ее умерла от туберкулеза, а тетка удрала с каким-то мужчиной. Сестра, жалостным, скрипучим голосом рассказывала Лина Капонам, тоже умерла — родами. Самой же Лине повезло: ей вскоре после смерти матери удалось устроиться

прислугой к одним белым и с тех пор вот уже сорок лет она служит верой и правдой разным семьям. За это время она успела родить троих детей (впрочем, не от глав семейств, у которых она работала). Ну, а теперь она «слишком стара, чтобы выходить замуж», объявила она Капонам.

Со своими соплеменниками Лина связей не поддерживала: она не знала даже, к какому племени принадлежал ее отец; не замечалось в ней и религиозности; она ни разу не выходила замуж по закону; документы у нее были в беспорядке, и хоть она и родилась в Йоганнесбурге, она была уверена: стоит ей нарваться на ретивого полицмена или злобного чиновника из управления по делам аборигенов — и ее немедленно выселят.

У Капонов она служила уже четвертый год — ее привела сюда служанка из этого же дома, которая знала, что Аннет ищет прислугу. Аннет днем была занята на работе, и ей был нужен человек, который мог бы присматривать за квартирой, вот она и согласилась взять Лину на время, пока не подыщет себе кого-нибудь попримичней. Но искать ей не пришлось. Капоны были довольны Линой. Они отдавали ей старую одежду, прочитанные газеты и платили чуть больше, чем платили прислугам их соседи. Хозяева Лины уважали ее и доверяли ей. И Лина доверяла им: далеко не всем достались такие «хороший хозяин» и «хорошая хозяйка», как ей. А чего же еще можно желать от жизни?

Каждое утро она спускалась из людской, расположенной на последнем этаже, варила кофе и относила его вместе с газетой в спальню Капонов. Потом шла в детскую и собирала в сад их сынишку. Одеваясь и прихлебывая кофе, хозяева слышали, как Лина и Адам разговаривают и смеются за стеной. Лина часто напевала мальчику детские куплеты или популярные песенки, иногда он вторил ей. Голоса их звучали чисто. Потом Адам убежал к родителям, а Лина возвращалась на кухню готовить кашу и яичницу. Поев, Лесли отправлялся на работу, Аннет вела сына в сад.

Оставшись одна, Лина мыла посуду, убирала постели, готовила ленч для себя и Адама и чистила овощи к обеду. Иногда ходила за продуктами, предъявляя бакалейщику и мяснику списки, составленные хозяйкой. На это у нее уходило часа три-четыре. По дороге она успевала поговорить с прислугой из их дома и с парнями, которые приходили натирать полы в квартирах, чистить ванны и мыть лестницу. В двенадцать она шла за Адамом и, забрав у него ранец, шагала рядом с ним по залитым солнцем улицам. Ели они на кухне. Себе Лина готовила рис с суповым мясом, который подогревала на плите, а Адам ел то, что ему оставяла мать. Вскоре возвращалась из города Аннет (она была занята только первую половину дня), и тогда Лина, если не отыскивала себе дела, часа на два уходила. Потом возвращалась и помогала Аннет с обедом либо стирала и гладила. Обед она подавала хозяевам, облачась в чепец и белый комбинезон, скрывавший ее жуткие одеяния, свой же собственный обед съедала на кухне, среди невымытых кастрюль и тарелок. Помыв посуду, она тихонько уходила к себе наверх, в людскую, и все шесть пролетов подымалась пешком, боясь лифта.

Через воскресенье она брала выходной и отправлялась навестить дочь — та жила в поселении Александра, — а что касается отдыха, так она дважды ездила с Капонами в их отпуск к морю.

И вдруг Лина заболела. По утрам у нее кружилась голова, руки и грудь болели, порою она задыхалась. О болезни ее Капоны узнали в тот день, когда Лина упала; на кухне послышался звон посуды, вбежав туда, Аннет увидела, что Лина безуспешно пытается подняться.

На полу валялись черепки тарелок и ломтики хлеба, которые она собиралась поджарить.

— В чем дело, Лина?

Служанка хватала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Она пыталась что-то сказать и не могла.

— Мадам,— наконец прошептала она.

— Ты ушиблась?

Лина пробовала что-то сказать, но смогла только пролепетать:

— Простите, мадам.

Аннет ворвалась в кухню как была в халате, светлые волосы растрепаны, на губах следы не смытой перед сном помады. И все же рядом с Линой Аннет казалась быстрой, решительной, пышнотелой и молодой. Лина стояла у мойки понуриив голову. В ушах у нее шумело, ей казалось, что с каждым ударом сердца белая раковина подпрыгивает. Она мучительно стыдилась того, что ее застали лежащей на полу, тарелок, которые она разбила, и даже своей болезни.

— Ничего, мадам,— выговорила она.— Со мной это иногда бывает.

— Что бывает?

— Да вот накатывает что-то.

— Лина, ты больна? Сколько времени тебе неможется?

— Не знаю, мадам.

— Почему ты мне раньше ничего не сказала? Нужно позвать врача.

«А вдруг болезнь заразная»,— тут же подумала Аннет. И еще: как ей забрать из сада Адама? Однако болезнь Лины встревожила ее совершенно искренне.

— Ничего, мадам, это пройдет.

— Ты уверена?

— Да, мадам.

Аннет медленно сняла руку с плеча Лины, с сомнением поглядела на ее согбенную спину.

— Хочешь полежать?

— Нет, мадам. Сейчас мне полегчает.

Аннет налила в стакан воды и поднесла его к губам прислуги:

— Выпей.

Лина сделала два глотка и вдруг крепко ухватилась за раковину. Она бы упала, если б ее не поддержала Аннет. Спотыкаясь, хозяйка довела Лину до стула, дивясь тому, какая она тяжелая. Посадив Лину, Аннет послала мужа за доктором Кантнером, который жил на том же этаже.

Доктор Кантнер явился чисто выбритый, в застегнутой на все пуговицы рубашке, однако без галстука и в шлепанцах, раздвинул, не выказав при этом отвращения, бесчисленные блузы и жилеты, оказавшиеся у Лины под платьем, и осмотрел ее в присутствии Аннет. Осмотр смутил Лину, которая уже начала приходить в себя, но она все-таки постаралась как можно лучше ответить на вопросы доктора. Закончив обследование, доктор прошел к Капонам и сказал им, что пациентка ему не нравится: в сердце перебои, давление высокое, нужен отдых. Причем отдых продолжительный. Он осмотрит ее еще раз, как только выберет время, а пока Лине надо лежать. Вернувшись на кухню, он шутовски напустился на Лину:

— Ну как тебе не совестно всех нас так расстраивать, Лина. Теперь ты должна беречься, слышишь?

— Да, хозяин,— покорно отозвалась Лина. Ей было стыдно, что она так всех подвела; больше всего ее удручало, что доктору пришлось прийти в фетровых шлепанцах.

Оставшись одни, Капоны посмотрели друг на друга: завтрака нет, на кухне ералаш, Лесли опаздывает на работу, малыш кричит в детской, и к тому же Аннет придется отпрашиваться, чтобы забрать его из сада. А завтра? А послезавтра? Но когда они вошли в кухню, пол был уже подметен, а Лина дрожащими руками пыталась накрыть на стол.

— Нет, нет, ты сейчас же пойдешь со мной! — закричала Аннет, раздосадованная и болезнью прислуги, внесшей такую неразбериху в ее жизнь, и жалостью, которую она испытала, увидев, как Лина пытается выполнять свои обязанности.

Она вывела Лину из квартиры и поднялась с ней на лифте. Людская помешалась на самой крыше, так что им пришлось преодолеть еще один пролет, потому что дальше лифт не ходил. Тут прямо под открытым небом стояли несколько умывальников, два герметических бака, дымовая труба центрального отопления, две уборные и две низкие пристройки из необожженного кирпича — одна для слуг, другая для служанок; в каждой из них было по окну с матовыми стеклами. Внутри «девичьей» тянулись в два ряда койки, их разделял узкий проход — не более двух футов шириной. Несмотря на яркий солнечный день, света в комнате проникало немного. С потолка свисала голая лампочка, освещавшая серые штопаные одеяла, из-под коек выглядывали цинковые сундучки. В комнате стоял сильный запах пищи и пота.

Здесь Аннет и оставила Лину, и та целую неделю если и поднималась с постели, то только затем, чтобы сходить в туалет на другом конце крыши. Раз в день Аннет навещала Лину, хотя и ненавидела эту комнату и смущалась, когда заставляла здесь еще кого-нибудь из африканок. Ей был неприятен и вид Лины — темное от болезни и боли лицо, на котором выделялись лишь желтые зубы да запавшие глаза. Аннет была неприятна себе самой за антипатию. Лина же чувствовала себя виноватой в том, что болеет и ничего не делает. Но когда хозяйки не было, она лежала в забытии и не отдавала себе отчета, где она и что с ней. Иногда ей мерещилось что-то страшное, и она кричала. Смерти она не боялась. Она боялась потерять работу.

Доктор навестил ее еще два-три и в последний свой визит предупредил Капонов, что на Лину им по крайней мере в течение двух месяцев рассчитывать нечего, если же она начнет вставать, он за нее не отвечает. Когда Аннет передала прислуге слова доктора, Лина заплакала — впервые на памяти Аннет. Она мотала из стороны в сторону головой, лежавшей на покрытой тиком подушке, и слезы струились по ее запавшим черным щекам. Аннет дала Лине слово, что возьмет ее, едва та поправится.

— Ты или твоя дочь подыщите мне кого-нибудь взамен на время твоей болезни и объясните этой девушке, что место остается за тобой.

Но Лина закричала, что ей уже лучше и что она готова приступить к своим обязанностям, пусть только хозяйка ей позволит.

— Если я уйду, хозяйка забудет меня, — убивалась Лина. — Разрешите мне вернуться, мадам.

— Доктор говорит, еще рано.

— А как я проживу без работы? Где мне спать?

— Мы тебе дадим денег, а ты поживи пока у дочери.

Дочь Лины, пухленькая и, видно, хитроватая, заметно более светлая, чем мать, приехала забрать Лину, после того как за ней послали одну из служанок. За такси, в котором, кстати, привезли новую работницу, платил Лесли Капон. Новенькая служанка оказалась очень молодой и опрятной. Голос у нее был негромкий, покорный, глаз она не поднимала. Лине помогли выбраться из спальни, а Франсез — так

звали новенькую — положила на ее кровать свой сундучок и скатанное одеяло.

— Мадам забудет меня, — горестно, но уже без слез причитала Лина, когда ее усаживали в такси.

Аннет ее как могла разуверяла. Несмотря на яркий и теплый день, Лина надела пальто, рот она прикрывала воротником, словно ее мучила зубная боль. Выглядела она очень, очень старой. Аннет вручила ей несколько фунтов и попросила передать через дочь, если понадобится еще. Наконец такси — огромный побитый черный «бьюик», на номере которого значилось: «Такси для неевропейцев», — отъехало. И хоть Лина и сидела сзади, Аннет не увидела ее.

Через неделю Лина вернулась.

— Ну что мне с тобой делать! — воскликнула Аннет, хотя и обрадовалась Лине. — Как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо, мадам.

Она и вправду выглядела немного лучше — голос ее, во всяком случае, окреп.

— Маленький хозяин, как ты вырос! — захлопала Лина в ладоши, увидев Адама.

Она пришла проситься, чтобы ее взяли назад.

— Не могу я жить с этой девчонкой, — жаловалась она. (Под «девчонкой» она, конечно, имела в виду дочь.) — Ворчит на меня с утра до ночи. Я, видите ли, слишком много места занимаю. И ем много. У нее со мной хлопот полон рот. А муж ее и того хуже. Забрал у меня все деньги, те самые, что мадам мне дала. И еще учит детей дразнить меня. Пожалуйста, мадам, сделайте милость, возьмите меня назад. Мадам увидит — я справлюсь с любой работой. Не могу я туда возвращаться.

Аннет встревожил не только рассказ Лины, но и то, что все заботы о Лине опять ложатся на ее плечи. Она умоляла Лину вернуться к дочери, клялась, что возьмет с той слово лучше обращаться с ней, и потом ведь можно, в конце концов, найти какую-нибудь женщину и покуда пожить у нее.

— Женщине надо платить, мадам, а у меня нет денег.

— Но мы дадим тебе еще немного.

— Мне все равно не хватит, мадам. И разве может мадам платить за меня, если ей еще приходится держать девушку.

Аннет не нашла, что ответить: и ее и мужа беспокоили те же соображения — Капоны как-то ухитрились прожить на месячный заработок, но платить двум прислугам, из которых одна к тому же не работала, им было не по карману.

— Но это ведь будет недолго — месяц, ну, от силы полтора.

Лина покачала головой.

— А если доктор и тогда скажет, что мне нельзя вставать? Что мне тогда останется — только искать место у другой хозяйки, которая не будет знать, что я больна.

И тут Лина — она стояла сгорбившись — выпрямилась, чтобы Аннет разглядела ее.

— Мадам видит, что с каждым днем я старею и меня все сильнее одолевают болезни. Но мадам знает, что мне не хочется умирать.

— И все-таки я не могу взять на себя такую ответственность, — сказала Аннет. — Мы тебе будем помогать еще несколько недель, а потом доктор снова осмотрит тебя.

— А что тогда, мадам?

— Посмотрим.

И Лине ничего не оставалось, как вернуться к дочери. За нее опять осталась Франсез. Через шесть недель Лина вернулась, но за-

ключение доктора было неутешительным. Лина несколько окрепла, но, увы, еще очень далека от выздоровления; ей нужно отдыхать, а не думать о работе. С другой стороны, она не настолько больна, чтобы получить койку в одной из больниц для африканцев: все они переполнены и туда принимают лишь тех, за кем нужен постоянный уход.

— Грустно все это,— заключил доктор, собирая свою сумку, и добавил по-дружески: — Зря вы так за нее беспокоитесь: ведь она, наверное, может получить пособие по болезни — я напишу все, что требуется, ей надо только подать заявление.

И ушел. А Лесли подумал: «Пособие? Около пяти шиллингов в неделю. Шестьдесят пенсов в день. На это трудно прожить».

— К тому же она его не станет добиваться. Пари держу, что она просто не пойдет в контору.

— Да, ты права.

— Она будет искать другое место. Иначе ей не прожить.

— Конечно.

Ну что им оставалось делать? Капоны считались людьми порядочными — на выборах они голосовали за либеральную партию и нередко поговаривали о том, что хорошо бы вообще уехать из Южной Африки. Расовую политику они не одобряли. Но разве поможет их отъезд таким людям, как Лина? Бедная, злосчастная Лина! Содержать ее долго они не в состоянии: им это просто не по средствам. Им, собственно, удавалось сводить концы с концами только потому, что Аннет работала. Так что они могли содержать только такую служанку, на которую можно было бы всецело положиться, а не такую, которая то и дело болеет. Но отказать Лине от места, отправить ее в управление по делам туземцев или обречь на поиски новых хозяев — на это они были неспособны.

— Придется, видимо, взять ее обратно,— решила наконец Аннет,— и будь что будет.

Муж мрачно с нею согласился.

— Но я не хочу, чтобы она то и дело падала тут в обморок.

— Я тоже, поверь мне.

Новенькую позвали в гостиную и объявили ей, что Лина возвращается и, значит, она, Франсез, может считать себя свободной.

Девушка приняла это известие молча и покорно. Позвали Лину.

— Мы говорили с доктором, Лина.

— Да, мадам.— Одной рукой Лина теребила юбку, другую прижала к своей плоской груди. Глаза ее смотрели в пол.

— Он сказал, что ты еще не совсем здорова. Тебе лучше, но до окончательного выздоровления еще далеко. Ты меня поняла?

— Да, мадам.

— И ты все еще хочешь работать у нас? — Аннет сама не понимала, зачем она задает Лине этот вопрос, ведь ответ она знала заранее. И только потом она осознала, что хотела снять с себя всякую ответственность и переложить ее на Лину.

— Да, мадам. Очень хочу.

— Даже несмотря на то, что сказал доктор?

— Доктор не знает, каково мне будет, если я останусь без работы, мадам.

— Нет, не знает,— признала Аннет и поспешила добавить: — Вот поэтому мы и решили, Лина, что ты можешь остаться у нас. Но ты не должна переутомляться. Тебе нужно беречься.

Тут она осеклась, потому что Лина уронила голову и закрыла лицо руками.

— Простите, мадам, что вам приходится брать меня,— с трудом


сказала она и, подняв голову, посмотрела на Капонов. — Пусть мадам не беспокоится. Что бы со мной ни случилось, это будет не ее вина.

— А чья же это будет вина? — спросил вдруг Лесли. Спросил строго, как будто Лина могла ответить на этот вопрос, на который он и сам не знал ответа.

Назавтра Лина, как обычно, сварила кофе и принесла его вместе с газетой в спальню. Одевая Адама, она опять пела ему песни. Потом приготовила завтрак и вымыла посуду. В полдень она отправилась за мальчиком в садик, забрала у него ранец и понесла. Когда Аннет вернулась с работы, она увидела, что Лина и Адам счастливы вместе. Она отослала Лину наверх отдохнуть и увидела, что Лина вопреки своему обыкновению садится в лифт. Доехав до верхнего этажа, Лина уже пешком медленно преодолела последний лестничный марш и поднялась в людскую.

Перевели с английского В. ПОСТНИКОВ и И. ЗОЛОТАРЕВ.

Южноафриканский писатель Дэн Джэкобсон родился в 1929 году в Йоганнесбурге. Окончил университет. Был журналистом, учителем, бизнесменом. Выпустил несколько романов, сборников рассказов и статей. На русский язык переведен его роман «Сила любви» (М. «Художественная литература». 1972) и два рассказа — «Король алмазных полей» и «Нищий — мой ближний», опубликованные в журнале «Вокруг света».



МУХТАР АУЭЗОВ

★

МОЯ ИНДИЯ

Эти очерки написаны семнадцать лет назад. Мухтар Ауэзов был одним из первых советских писателей, посетивших новую Индию. Выдающийся художник-мыслитель пишет с искренним чувством дружбы к народам великой азиатской страны, с любовью к ее искусству и с уважением к многовековым традициям ее истории и культуры. Ауэзов избегает субъективных выводов и поспешных обобщений. Без прикрас, не наводя глянца, с неизменным тактом, просто, скупое и емко рассказывает он о том, что увидел за сорок пять дней своего путешествия по дорогам Индии.

Прошедшие годы внесли немало перемен в жизнь индийского народа.

Колонизаторы вынуждены были уйти из Индии, как уходили до и после этого из многих стран Азии и Африки, но, уходя, они оставляли в наследие народам не только нищету, безграмотность, межплеменные, межкастовые, межъязыковые раздоры, религиозные междоусобицы — они пытались создать и политический хаос, создать очаги для будущих распрей. Такова была, кстати, и последняя миссия последнего английского вице-короля Индии лорда Маунтбэтгена, который, пользуясь разногласиями между Мусульманской лигой и Национальным конгрессом, сделал все, чтобы расчлнить страну и искусственно раздуть «кашмирскую проблему».

Дорогой ценой досталась свобода Индии и Пакистану. Заря свободы ознаменовалась кровопролитиями, насильственным перемещением огромных масс населения, небывалыми социальными и политическими конфликтами. За последние пятнадцать лет страна пережила две войны, горькие еще потому, что в этих войнах брат шел на брата, воевали две республики, не успевшие вкусить плодов освобождения, не познавшие мира и не успевшие укрепить свою экономику после долгих и тяжелых времен английского господства. Как истинный художник-гуманист, Ауэзов прежде всего живописал факты утверждения нового, первые шаги молодой республики на пути к своему будущему, к прогрессу. Он увидел страстное стремление народа к еще большему расцвету культуры. Он увидел зарождение великой державы, создающей при помощи Советского Союза, стран социализма собственную промышленность, восстанавливающей правду о своей тысячелетней истории, развивающей науку и ведущей тяжелую битву с голодом, нищетой, религиозными предрассудками.

В записях Ауэзова нет увлечения экзотикой, а этого так трудно избежать, особенно когда пишешь об Индии. О чем бы он ни рассказывал — о древних храмах, о непревзойденном искусстве художников и архитекторов прошлого, о сегодняшнем строительстве, об обычаях индийских деревень и городов, — он всегда стремился понять смысл содеянного для жизни народа.

За последние десять лет мне не раз приходилось колесить по Индии вдоль и поперек. Каждая последующая поездка раскрывала нечто не увиденное прежде в характере трудолюбивого, талантливого дружественного народа; каждый раз бросалось в

глаза то новое, что создавало государство для улучшения жизни тружеников,— кварталы домов, города, заводы, фабрики, школы, колледжи.

Очерки Мухтара Омархановича явились открытием темы, открытием Индии в казахской литературе. Изданные на казахском языке более десяти лет назад, они прошли испытание временем и благодаря своей высокой художественности, правдивости и глубине по сей день сохраняют познавательную силу. Перечитывая их заново в русском переводе, бережно и внимательно выполненном Алексеем Пантиелевым, я вновь совершил увлекательное путешествие по уже знакомым мне дорогам Индии, ведомый своим любимым и добрым наставником Мухтаром-ага. И вновь оценил меткие слова Джавахарлала Неру, переданные устами Мухтара Омархановича:

«Люди, которым дано быть посредниками между народами, должны чувствовать свою ответственность, великий долг... Чистые помыслы требуют чистой души. Большая дружба достойна ответной большой дружбы. Вы помогаете одному народу познать другой. Пусть же широкая дорога взаимных контактов будет желанной и перспективной дорогой».

Сегодня эти слова звучат для меня как слова, сказанные о самом Мухтаре-ага и его книге об Индии.

Знаменательно, что очерки Мухтара Ауэзова, одного из виднейших деятелей афро-азиатского движения прогрессивных писателей, об Индии, где зарождалось это движение, публикуются накануне открытия Пятой конференции литераторов Азии и Африки в Алма-Ате, его родном городе. Я рад, что русский читатель впервые познакомится с «Моей Индией» Ауэзова на страницах журнала «Новый мир», который всегда был так близок и чуток к творчеству М. Ауэзова.

Ануар АЛИМЖАНОВ,
лауреат Премии имени Неру.

* * *

Сорок пять дней длилась моя поездка в великую страну, страну друзей — Индию. В день возвращения на родную землю, в нашу родную жизнь пришла мне на память сказка, которую я слышал в детстве.

Сказка такая. Молодой джигит задумался однажды над тем, как живет, и захотелось ему узнать, как живут люди в иных краях, коротко ли, длинно ли время, велик ли, мал ли подлунный мир. Пошел он к одному старцу, который славился своей мудростью. Открылся ему во всем и просит совета, как узнать, коротко ли, длинно ли время, велик ли, мал ли мир.

Старик отставил в сторону кумган с теплой водой, подготовленной для омовения, взял джигита за руку и подвел к большому kazanу с водой: «Окуни голову в эту воду!» Джигит сунул голову в kazan и тотчас увидел себя на другом конце света.

Так началось его долгое путешествие по стране, которую он раньше не видывал и не знавал, полное испытаний и приключений.

Когда же юноша вынул голову из kazanа, оказалось, что старец сидит в тени дерева, рядом стоит кумган с водой для омовения, и вода в кумгане еще не остыла...

Сорок пять дней длилась моя поездка в Индию, но кажется, прошло лишь мгновение и вода в кумгане еще тепла, как в той сказке про джигита и мудреца.

Дни в Дели

Мы, делегация деятелей культуры СССР во главе с А. А. Сурковым,— гости страны. Нас пригласило правительство на празднование юбилея Республики Индии.

На другой день после нашего приезда, 26 января, началось народное торжество.

Нас проводили на трибуны, где собралось множество гостей из разных стран, и к нам подошел Неру вместе с дочерью Индирой Ганди. Они тепло поздоровались со всеми гостями и для каждого нашли сердечные приветственные слова.

Празднование началось выездом отряда конников на прекрасных гнедых арабских скакунах. Одетые в малиновые, с золотым шитьем мундиры, воины-кавалеристы, бородатые, с большими тюрбанами на головах, были президентской гвардией; это сикхи, основные поставщики воинов.

Вслед за гвардией появился и президент Раджендра Прасад. Шестерка разукрашенных темно-гнедых коней подвезла его карету. Президент, встреченный премьер-министром, занял свое место в красно-шелковой ложе. Эта церемония имеет длинную историю. Еще во времена шахов, позже — вице-королей, точно так же начинались торжественные празднования.

Парад открылся шествием белых слонов. Покрытые богато расшитыми попонами слоны шли по четыре в ряд. На них сидели воины, одетые в старинные наряды, вооруженные мечами и копьями былых времен. Отряд боевых слонов остановился у президентской ложи. И словно по команде слоны подогнули передние ноги и громко протрубили.

Следом за слонами площадь заполнила верблюжья кавалерия — тоже старинный вид вооруженных сил. Верблюды все были белые — нары, отменные бегуны. На спине каждого верблюда двухместные седла; в них качалось по два всадника. Страница воинской мощи давнего прошлого.

Но вот топот сменился железным лязгом: пошли современные воинские подразделения, детище XX века, — танки, мотопехота, артиллерия; в небе молнией промелькнули эскадрильи реактивных самолетов.

После воинского парада началась демонстрация, весьма многоядная. Народ Индии показывал свои достижения за годы свободной жизни, свои успехи, свою радость в День независимости.

Следующий день начался с посещения чтимых индусами мест. Наша делегация выехала к мавзолею Ганди. Почти в центре города, у реки Джамна, там, где была пролита кровь Ганди и где, по старинному обычаю, сожжены его останки, возвышается величественный мавзолей из красного тесаного гранита. Перед входом в мавзолей мы сняли обувь и в торжественной тишине понесли венки внутрь гробницы.

Было 27 января, и по нашему календарю стояла зима, но тепло было примерно как у нас в Алма-Ате в начале сентября. Босиком, не смотря на «зиму», мы подошли к большому круглому надгробному камню. Поверх камня была выложена надпись из свежих цветов на языке хинди. Здесь погиб Ганди. Он выходил из храма, расположенного у реки, когда раздался предательский выстрел, и смертельно раненный, обливаясь кровью, Ганди успел сказать только: «Жил для тебя, Рама!»

Только эти слова успел он сказать, и они выложены цветами на камне. Это завещание и это клятва народа — как бы говорит ежедневно обновляемая свежими цветами надгробная надпись и вся гробница Ганди.

Мы возложили венок, воздавая должное памяти великого человека, и молча пошли назад.

Старый и новый Дели богат памятниками древности, установленными десятки веков назад.

Два памятника мы осматривали с особым вниманием. Один из них возведен внуком Бабура Шах-Джаханом — это Жума-мечеть; другой — царский дворец, или Красный дворец (Редфорт). И мечеть и дворец построены триста лет назад.

В Жума-мечети по большим религиозным праздникам собирается до пятидесяти тысяч верующих. Любопытно, что в таком «святом» месте, оказывается, водятся откровенные шарлатаны. Нас подвели к небольшому ярко окрашенному киоску под сводами мечети. Открылось окошечко, и оттуда показалась толстая пергаментная книга. Страницы ее были заполнены крупными арабскими буквами. Одна из страниц замарана чем-то бурым. Как нам объяснили, это и есть кровь святого Гусмана, пролитая за веру. Не знаю, сколько было святых Гусманов и как много они пролили крови. Но я в своей жизни встречал уже три Корана с кровью святого Гусмана.

В Жума-мечети мы увидели и другие «чудеса». Нам показали чашу с серебряной крышкой. Человек с обмотанным, словно перевязанным лицом, так и не показав нам его, протянул тонкие, сморщенные, будто обугленные пальцы, снял крышку и унес ее. В чаше лежало по виду нечто похожее на тонкую проволоку, которую встречаешь в трансформаторах. Оказалось, однако, что это и есть волос из бороды самого Магомета-пайгамбара (пророка)!

Кроме того, в Жума-мечети имелись башмаки Магомета, шитые из верблюжьей кожи, и след его ноги, оставленный на камне. Эти две реликвии, как нам пояснили, привез сюда внук Хромого Тимура.

В Красный дворец мы вошли со стороны старого Дели, с Лахорского дарбаза, то есть гостиного двора.

Высокий купол дворца, отделанный мрамором, цветными изразцами, красные стены с белыми шарами привлекают взор своим великолепием. Бросается в глаза богатая отделка золотом, серебром, драгоценными камнями различных предметов обихода: кресел, диванов, постелей, сундуков. Часто встречаются изречения из Корана, выложенные драгоценными камнями.

Мы обратили внимание на двуступенчатый персидского поэта Фирдоуси, сверкавшее на каменном своде на большой высоте:

Если есть рай на земле,
он находится здесь, здесь, здесь.

В прошлые века, когда народ Индии жил под монгольским игмом, в великих трудах был создан этот дворец. Я не хочу соревноваться с Фирдоуси в восхвалениях красоты и роскоши этого необыкновенного строения и потому умолкаю.

В один из праздничных дней Общество индийско-советской дружбы¹ устроило прием. С приветствием к собравшимся обратилась сестра премьер-министра, седовласая госпожа Неру. Радушие, с которым нас принимали, было поистине братским.

Три дня наша делегация провела в визитах; мы побывали у президента Раджендры Прасада, у премьер-министра Неру, у вице-президента Радхакришнана.

Президент Раджендра Прасад говорил о том, как сегодняшняя

¹ Так М. Ауэзов называет Общество индийско-советских культурных связей. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Индия строит новую жизнь. Особо президент говорил о нелюбви Индии к любым проявлениям насилия.

— Мы из многих раздробленных княжеств создали единую республику, без крови и потрясений пришли к этой великой цели и будем дальше бороться за мир не только в нашей стране, но и повсюду.— Так изложил он программу своей партии.

Прасад, естественно, хотел раскрыть нам сущность «бескровной революции» в Индии, объяснить, каков же это был переход власти без насилия, на основе только одной агитации; нам внушали, что распространение среди широких слоев общества философии гандизма заложено в самой природе индийского народа. Однако если говорить по правде, то княжества, например, отнюдь не вследствие простой агитации и вовсе не по доброй воле уступили молодой республике свои феодальные привилегии. Князья продали власть за дорогую цену, поскольку республика платила...

29 января с большим интересом мы ознакомились с Делийским университетом. Всего в Индии насчитывается тридцать два университета.

Известно, что первые, и старейшие, университеты были в Индии две тысячи лет назад. В древней Индии впервые было организовано учебное заведение, куда стремилась попасть молодежь также всей Средней Азии.

Запомнился разговор с профессором истории Делийского университета. Профессор сказал, что история Индии, написанная ранее, дает неправильное представление о материальной культуре и исторических деятелях страны и что перед учеными республики стоит важная задача — написать настоящую историю Индии. Горячо говорил профессор о премьере Неру и о его капитальном труде, крылато названном «Открытие Индии».

Позволю себе одно замечание. Герцен говорил, что у восточных народов имеются свои исторические драмы, трагедийные ситуации, но вот читаешь иную историю — и не видишь этого, читать скучно... Само собой разумеется, что история не может быть скучной, а скучны писания иных историков-ученых. Возьмем историю древней Греции, написанную первыми ее летописцами Геродотом и Ксенофонтом. Это были гениальные исследователи и рассказчики. И потому их история древней Греции оказалась интересной множеству поколений. История Рима и средневековой Европы также, я считаю, нашла своих летописцев. С этой мыслью согласились и Сурков, участвовавший в беседе, и индийский профессор. Неплохо бы, однако, и нашим историкам, работающим в духе марксистско-ленинского учения, внести свою лепту в труд, который также можно было бы озаглавить «Открытие Индии».

Гостеприимные Удайпур и Джайпур

По дороге в Удайпур нас провожали пшеничные поля и пышные заросли сахарного тростника. Поезд шел вдоль подножья горы Аравали. Густые кроны деревьев, плотные ковры кустарников вперемежку с изумрудными лужайками обрамляли гору, крутые ее обрывы.

Уже по соседству с городом нам бросилась в глаза высокая белая башня на маковке горы. По всей Индии верующие индусы устанавливают такие башни по соседству с селениями, где-нибудь на возвышенности. Эти башни почитаются как святые места.

В Удайпуре нас пригласили во дворец магараджи. Собственно, это была целая цепь беломраморных дворцов, созданная в прекрас-

ном и гармоничном архитектурном стиле и раскинувшаяся до самого подножья горы. Любопытно отметить, однако, что прямо у входа во дворец мы видели нескольких обыкновеннейших коров. Старые коровы беспрепятственно доживают здесь свой век в почете. Как известно, это священные для индусов животные.

Старый магараджа, наш гостеприимный хозяин, в эти дни хворал и принял нас в постели. Руководитель делегации Алексей Сурков, назвав магараджу вашим высочеством, сказал приветственную речь.

Бросалось в глаза то, что военной охраны у правителя было немного, но слуг полно; впрочем, если не считать придворных магараджи, одеты все были очень бедно.

Феодальная власть у князей отобрана, только в Удайпуре и Джайпуре, в первом — старик, а во втором — молодой магараджа назначены раджпрамуками, то есть губернаторами. Но должность эта носит по преимуществу церемониальный характер.

Под вечер на нескольких машинах мы ехали по узким улицам. На одном из поворотов нам встретилась толпа празднично одетых людей. Музыка, песни, смех... Пришлось остановиться и «спешиться». Мы попали на свадебное празднество.

В основном здесь были женщины, одетые в разноцветные сари. На белом коне, в белой шелковой одежде сидел юноша. Он-то и оказался виновником торжества — женихом. Высокий, стройный, с удивительно живыми черными глазами, он улыбался и вовсе не казался смущенным. Мы узнали, что свадьба прошла уже вчера, а сегодня жених едет в гости к родне невесты и, по обычаю, все встречные должны его проводить. Провожали счастливица и мы...

Особенно памятным для нас в Удайпуре был день встречи с писателями. Мы не ожидали, что соберется столько народу, и все же на сцене, среди пальм и живых цветов чувствовали себя как дома, в кругу близких друзей. Тысячи людей пришли сюда, и кому не хватило мест, окружили сидевших плотной стеной, даже сцена была частично заполнена индийскими друзьями, желавшими увидеть гостей из Страны Советов...

Нас приветствовал большой индийский писатель, член индийского конгресса Нагар. С ответным словом выступил Сурков, затем я передал народу Индии привет от народа Казахстана. Принимали нас горячо.

И снова мы в пути. И опять горы, буйные леса, роскошные плодовые сады. Из Удайпура мы прибыли в город Читоргар, центр Раджастана. Здесь мы увидели старинные памятники Северной Индии.

Есть в Читоргаре храм, посвященный удивительному жертвенному подвигу народа, когда шестнадцать тысяч женщин, не желая пасть в плен к иноземцам, подвергли себя самоожжению.

Еще один храм назван именем Мирбай, девушки необыкновенной красоты, поэтессы, причисленной после ее смерти к сонму богов. Иконообразные изображения девушки помещены рядом с местом жреца. Во весь потолок развернуто изображение божества.

Все индуистские храмы расположены на высотах. Смотришь с этих высот — и кажется, видишь всю красоту мира. Далеко в беспредельную даль уходит ваш мысленный взор... Но повсюду этой красоте и величию сопутствует одно тягостное зрелище.

Везде на папертях, ступенях, у дверей храмов нам встречались нищие и просто очень бедные люди. Близ роскошных дворцов из мрамора и золота тянули к нам руки за милостыней полуголые, грязные, исхудавшие от недоедания дети. Множество храмов и богов... И бесчисленное множество бедных людей. Зрелище бедствия среди несметного богатства.

Никакой мерой не измерить страданий индийского народа за его многотысячелетнюю историю. Нам рассказали такую легенду. Давным-давно, в пору губительных войн, были схвачены и заточены в подземелья многие тысячи людей. Захватчики учинили невиданную резню. Легенда говорит, что кровь людская лилась рекой и валила с ног животных. На том месте народ больше не селился и спустя многие века выросли незнакомые деревья. Плоды их были темно-красные, потому что их вскормила земля, политая кровью людей, честных тружеников. Страшная достоверность в этой легенде.

На второй день в Читоргаре нас ожидало приглашение посетить духовную школу. Это самое знаменитое религиозное заведение в Индии — Брахманчарилар. Мы прибыли туда как раз к вечерней молитве.

Когда мы, сняв обувь, вошли в просторный зал, молитва уже началась. В центре зала, против входных дверей мы увидели седобородого, со смуглым худощавым лицом главного жреца. Перед ним стоял большой железный таз, из которого вырывалось пламя. Жрец нараспев читал молитву на санскрите. Сидевшие в зале ученики, обратив лица на запад, также нараспев повторяли за старцем слова молитвы.

Длился этот обряд довольно долго, и мне понравилась подчеркнутая корректность Алексея Суркова — он молча слушал молитву и даже иногда шевелил губами, словно участвуя в ней.

Печально я смотрел на молящихся. Возможно, эта школа и святое место, как здесь говорят, но сколько, думал я, сгорело жизней за ее стенами. По одну сторону зала сидели чернобородые и сивобородые ученые лет сорока — пятидесяти, а по другую — в основном мальчики девяти-десяти лет. Судьба этих детей навечно связана с религией. Большинство из них, конечно, сироты, безотцовщина, и только горькая нужда, голод, беспросветность загнали их в эту обитель.

Суровую дань берет с них религия за кажущееся безбедное существование. Вся жизнь, все помыслы должны быть отданы беспрекословной службе религии. Им не дано права иметь семью, быть мужьями и отцами, иметь родных. Сгорающее детство и юность — удел этих учеников. Смотришь по другую сторону зала на уже потухающий огонь, на пепел седых и седеющих бород и невольно содрогаешься.

2 февраля мы были в Джайпуре.

Вечером нас пригласил магараджа Джайпура. Магарадже сорок три года. Воспитывался в Европе, и в доме у него европейские порядки. Во дворце нас встретила белокурая женщина — домоправительница-англичанка. Затем с младшей женой — магарани — вышел магараджа и радушно поздоровался с нами. Одет он был в европейский костюм — белый китель и черные брюки. Высок, строен, черноволос.

Сопровождавшие нас друзья индусы, между прочим, сказали, что магарани — самая красивая женщина Индии, «мисс Индия». Магарани была действительно хороша собой. Волосы ее на американский манер были спущены на плечи и усыпаны крупными бриллиантами. Не знаю, коробило ли ее звание младшей жены, но держалась она непринужденно.

Магарани спросила меня:

— Кочуют ли казахи?

Я ответил, что время, когда казахи кочевали, давно и безвозвратно прошло.

— Ах, ах! Какая романтика погибла, — сказала магарани.

Пришлось вежливо заметить:

— У казахского народа сегодня новая романтика.

Но боюсь, что она не поняла моего ответа. Ее мир — это мир Фенимора Купера, Луи Жаколио и прежде всего Киплинга. Наша новая жизнь, новая романтика для нее как инопланетный мир.

В Бенаресе, городе веры

7 февраля мы были в пути из Чандигарха в Бенарес. Спустя сутки мы вновь оказались в гуще классической Индии и вновь увидели неслыханное число людей.

Многолюдность в Индии поражает. На любой станции, любом разъезде, в поселках и деревнях, по всей дороге мы видели людские толпы; они не редели, а, пожалуй, уплотнялись. Повсюду вдоль железной дороги, подобно полноводным рекам, текли неистощимые человеческие потоки. Надо думать, тесно жить в этой стране. Однако нигде мы не видели ссор или драк. Не видели и пьяниц, не слышали матерщины и иного поганословия. Складывалось такое впечатление, что среди индусов вообще нет злословия. Самые резкие вспышки гнева проявляются лишь в хмуро сведенных бровях, твердо сжатых губах. Обычно же черные глаза индуса полны терпения и мудрой доброжелательности.

Естественно, что быт и нравы людей, вынужденных жить тесно, жить постоянно на виду у других, заметно отличаются от нравов и быта жителей малонаселенных стран. По-видимому, скученность воспитывает некое особое чувство ответственности за каждый свой шаг, за любое слово. Нравственная дисциплина диктуется условиями существования. Порою кажется, что внутри каждого индуса от малолетних детишек до седомудрых старцев покачиваются незримые весы, на которых автоматически взвешиваются их поступки. И эта душевная уравновешенность так привычна и непринужденна, что кажется врожденной у индусов.

Поистине это мирный и добрый народ. В истории индийского государства, одного из древнейших государств мира, не было завоевательных войн. Веротерпимостью, миролюбием и кротостью индусов беззастенчиво пользовались многие жестокие и ненасытные завоеватели. Они приходили в Индию не с дарами на золотом блюде — с обнаженным мечом. А между тем до сих пор индусы, следуя своей религии и морали, не убивают животных. Обезьяны, коровы считаются «носителями душ», убиение коих — страшный грех...

Сойдя с поезда, мы пересели в машины. И тотчас обогнали одинокого путника, шедшего по обочине дороги. Иссиня-черные волосы его длинными прядями спадали на лоб и на плечи. Тело, иссушенное зноем, невзгодами и лишениями, было костляво. Ноги голы, ступни босы, в шрамах и ссадинах. На плечах рваная накидка — дхоти, в руках суковатый посох. А лицо спокойно и сурово. Это был индийский аскет. Он шел в святой Бенарес, к берегам Ганга.

Обычай паломничества в Индии едва ли не древнее подобных обычаев у мусульман и христиан. Как для мусульман Мекка, а для христиан Иерусалим, так для верующих индусов притягательным центром и зачастую целью всей жизни является паломничество в Бенарес.

Бенарес — один из древнейших городов Индии. Согласно религиозной версии, ему не менее трех тысяч лет. Никогда за всю свою историю Бенарес не был политическим центром. Но он считается колыбелью индуизма. Множество мест, тщательно оберегаемых и почитаемых, связано здесь с именами Будды и Шивы.

Особенно возвеличился Бенарес при царе Ашоке (III век до на-

шей эры), который соорудил восемьдесят тысяч небольших молелен, где верующий в одиночестве мог бы разговаривать с Буддой и Шивой. Вообще же в этой колыбели индуизма и крепости буддизма есть немало храмов, воздвигнутых приверженцами других религий.

Ряд крупных памятников соорудили Моголы. Со временем они сами подпали под влияние индуизма, и ярчайший представитель династии Великих Моголов Акбар выстроил в Бенаресе храм богу Шиве. Правда, этот храм постигла незавидная участь: подобно многим другим памятникам в Бенаресе, он был разрушен внуком Акбара фанатиком Аурангзебом. Так сказалось мусульманское благочестие тирана.

Ежегодно в Бенарес стекаются около трехсот тысяч паломников. Всякий индус мечтает хоть раз в жизни окунуться здесь в волны великой реки.

Умерший в Бенаресе попадает прямо в рай. Бессмертие души, которая, покидая мертвое тело, вновь возрождается в другом теле, — основной канон индуистской религии. Но человек, умерший в Бенаресе и сожженный на берегу Ганга, избавляется от необходимости продолжать в другом воплощении брэнную жизнь, полную забот о горсточке риса.

Мы плывем по Гангу в лодке вдоль стен Бенареса. На одном берегу множество купален для верующих. Другой берег застроен роскошными дворцами.

Выделяется своей высотой имарет (дворец) великого Акбара. Акбар построил его в виде индуистского храма, но упрямый внук его Аурангзёб обратил храм в мечеть.

У самой воды на узкой прибрежной полоске теснятся навесы жилищ жрецов индуизма — пандитов. Они приготавливают сандаловое масло и иные благовония.

Есть в этом городе и храмы джайнистов. Джайнизм — одна из ветвей индуизма. Джайнисты веруют, что все живое имеет божественную сущность и потому убийство любого животного — величайший грех. По их учению «бог един, но многообразен». Храмы джайнистов богато украшены позолотой, резными и лепными скульптурами. Встречаются храмы, почти сплошь покрытые позолотой. Мы не преувеличим, если скажем, что Бенарес — город храмов.

Видели мы погребальные костры, разожженные на берегу, в строго определенном месте; видели запеленатые в белое тела покойников. Их окунают в священные воды Ганга, затем сжигают.

Согласно поверью, всемогущий Шива очень любит нарождающийся месяц. Не случайно место молебствий на Ганге также имеет форму полумесяца. Близ купален масса навесов. Под ними сидят молящиеся, очищающиеся старики индусы, седобородые, совершенно голые. Соединив ладони и локти, они надолго застывают в молитвенном экстазе. Многие из этих старцев в прошлом весьма состоятельные люди. На склоне лет они забросили свои дела и явились перед многоликим всемогущим Шивой в надежде очиститься от скверны и умереть в священном городе Бенаресе.

Прекрасны берега Ганга. Именно в этих местах жил автор нового варианта известной религиозной поэмы «Рамаяна». Его удивительный дом, словно молодеющий с годами, гордо высится на крутом берегу как памятник легендарному поэтическому прошлому Индии.

Особенно много в Бенаресе статуй Будды. Не счесть в храмах фресок, рисующих его жизнь.

По преданию, он появился на свет две с половиной тысячи лет назад на берегу Ганга, в городе Бенаресе. Мы посетили храм Будды,

воздвигнутый на месте его рождения. Громадные фрески, изображающие появление Будды на свет, его страдания, его смерть, поражают воображение.

Вот, например, сцена рождения. Будда явился царице Махамана во сне в образе белого слона. Жрец объяснил этот сон следующим образом: «Родишь сына, он будет святым». И вскоре она родила мальчика Сидхартху, будущего Будду.

На другой фреске изображен Будда, размышляющий о смысле жизни. Двадцати девяти лет он испытал все горести и напасти, какие только могут достаться на долю человека. После многих трудных испытаний Будда задумывается о цели и смысле жизни.

Золотые и каменные изваяния олицетворяют заветы Будды. Одна из скульптурных групп показывает его сидящим у постели больного... Будда завещал: «Помоги больному — и ты поможешь мне».

Есть изображение дружбы Будды с кровожадным убийцей, который задумал соорудить трон из локтей тысячи человек, лично им убиенных, и собирался умертвить собственную мать. Будда приблизил его к себе, надеясь наставить на путь истинный.

Будда скончался восьмидесяти лет. Запечатлена и смерть его. В Пенджабе были проведены археологические раскопки; они подтвердили, что две с половиной тысячи лет назад Будда жил.

После храма Будды гостям Бенареса показывают священное дерево, под которым Будда произнес свою первую проповедь. Это дерево почитается еще и потому, что его посадила дочь царя Ашока.

Неподалеку возвышается еще одна реликвия — каменная ступа. Это также очень древний памятник. Задумал и начал его сооружение царь Ашок. Фундамент был заложен в 250 году до нашей эры, а закончена постройка в VII веке. Когда мы осматривали ступу, подошла группа тибетских паломников. Одеты они были в красное, и среди них были женщины. Они ходили вокруг ступы и творили молитвы.

Со времени царства Ашока сохранились прекрасные памятники, высокосовершенные произведения искусства. Выделяется созданная за три века до нашей эры «львиная капитель». Это лев с четырех головах, одно из перевоплощений Будды. Основные изображения Будды остались нам от времени империи Гуптов (IV—VI века).

К великому сожалению, громадное большинство изображений Будды, Шивы и других богов безжалостно исковеркано. У одной статуи отбит нос, у второй сломана рука, у третьей исколоты глаза. Это дело рук правоверных мусульман. Духовные правители, слуги Магомета, обещали полное отпущение грехов каждому мусульманину, который уничтожит хоть одно изображение «варварских идолов». Это повлекло за собой разгул религиозной дикости — массовое уничтожение статуй, ожесточенную порчу фресок, опрокидывание памятников, оскорбление святынь.

Как мы узнали далее, в Бенаресе, этой цитадели религии, получили высокое развитие и культурные, научные силы молодой Индии. В городе большой университет. В нем четырнадцать колледжей.

Мы побывали в гостях у писателей Бенареса. Собралось около ста сорока литераторов — прозаики и поэты, а также философы. Пришли журналисты индийских газет.

Мы с Сурковым рассказали о нашей советской отчизне, о дружеских помыслах советского народа. И не забыть, как на нас смотрели огромные, внимательные и доброжелательные глаза, как приветливо светились белозубые улыбки, как горячи и дружны были аплодисменты. Мы уехали, словно захмелев от братских чувств этих людей к нашей великой стране, к нашему народу.

Великие города и великие противоречия

На рассвете мы подъезжали к Калькутте.

Этот край самый густонаселенный во всей Индии. Здесь почти нет невозделанной земли. И возделывается она тщательнее, чем где бы то ни было в Индии.

Это по преимуществу сельский край. Деревень в Бенгалии значительно больше, чем в соседних областях. Крыши круты и высоки, что объясняется, видимо, обилием тропических ливней. Кровля главным образом из широких пальмовых листьев. Стены глинобитные. И только редкие постройки крыты ярко-красной черепицей. Все дома, спасаясь от палящего зноя, прячутся в тени высоких пальм.

Встречаются целые рощи пальм. Тут и кокосовые, и финиковые, и саговые. Все они с очень твердой древесиной.

Надобно упомянуть еще одно типичное для Индии растение — бамбук. Своеобразно красивы тесные бамбуковые заросли с пышными султанами макушек. Бамбук всегда растет кучно — это общественное растение. В Индии, прежде всего в южных районах, бамбук ценится за прочность едва ли не выше любой другой древесины. Лестницы и висячие мосты, строительные леса и мебель, всевозможные подпорки — все это делается из бамбука. Казахи знают бамбук — из него некогда делались коробочки для чая.

И еще об одном интересном дереве Индии. Оно огромно и развистое, крона его занимает пространство не менее чем в полквартала. Три-четыре дерева образуют целую рощу. А иное даже одиночное дерево возвышается в небесной голубизне как храм с величественным зеленым куполом; это храм самой природы, наивысшего из божеств. Славится манго долголетием.

Я смотрю на дерево манго, и мне приходит в голову казахское слово «менге» (долгие времена) и наше присловье «с высокого дерева открываются дали». Не таково ли древо индийской культуры!

Калькутта — самый многолюдный город Индии. Здесь живут шесть миллионов человек. Это один из крупнейших портов мира.

Улицы очень узки. И все-таки в утренние, наиболее оживленные часы движение на улицах Калькутты удивительно упорядочено. Удивительно потому, что в непрерывном людском и транспортном потоке то тут, то там встречаются буйволы, коровы. Часто они лежат на дороге, и их объезжают и обходят.

Но больше всего поражает и подавляет то, что в Калькутте на каждом шагу сказочная роскошь соседствует с безмерной нищетой. Улицы заполнены нищими обоего пола, любого возраста. Нечесанные, невымытые мальчуганы держатся стайками. Многие из этих несчастных совершенно раздеты, покрыты язвами, до невероятности худы и истощены. Иссохшая, изможденная, доведенная голодом до отчаяния женщина неопределенного возраста загораживает путь нашей машине, требуя подаяния, именно требуя, ибо просить тут бесполезно. Просящих подаяния на улицах такое множество, что это внушает страх.

Еще до поездки в Индию я вычитал в одном из справочников, что число бездомных в Калькутте достигает нескольких сотен тысяч. Не знаю, насколько это верно, но то, что я увидел собственными глазами, меня потрясло: старухи, и старики, и, что особенно страшно, дети, еще безъязыкие дети, бездомные и голодные, густо населяют улицы Калькутты. Сверкающая река великолепных автомобилей бежит между угрюмых и мрачных берегов предельной бедности, безмерного горя.

По пути на аэродром нам довелось проехать по незнакомым, невиданным ранее улицам Калькутты. Эту часть города туристам обыч-

но не показывают. Едва мы проехали центр, как городские здания и кварталы стали стремительно терять свой блеск, свою добротность и, наконец, пригодность для жилья. Вначале появились одноэтажные домишки, затем хижины из строительных отбросов, а затем и вовсе какие-то навесы и козырьки без стен. Подъездов не стало. Не стало и улиц. Хаос жестяного, фанерного хлама. А людей становилось все больше и больше. «Плотность населения» здесь неопиcуемая. Вот что осталось в памяти.

В Калькутте нас повели в индийский народный театр, верней было бы сказать — любительский.

Трудно понять то, что в Индии, богатой поэзией и имеющей свое развитое киноискусство и кинопроизводство, оказывается, в совершенном забросе театральное искусство. Ни в Дели, ни в Бенаресе, ни в других крупных культурных центрах нет ни одного государственного театра.

Театр в Калькутте финансируется частным лицом. Ни один артист здесь не получает специального образования, и большинство из них весьма посредственные лицедеи, подчас невежественные. Пьеса «Шемали» рассказывает о судьбе глухонемой девушки. И замысел пьесы и исполнение далеки от профессионального уровня драматического искусства. Однако пьеса ставится второй год подряд.

Очень своеобразна публика. В зале можно увидеть женщин с грудными детьми. В ходе спектакля младенцы нередко исполняют соло, а то и хором собственные концертные партии. Зал реагирует на то, что происходит на сцене, наивно и непосредственно — горячими, шумными комментариями. Это живо напомнило мне первые театральные постановки в наших аульных клубах вскоре после революции — юность, если не младенчество казахского театра².

Из Калькутты в Мадрас мы летели шесть часов, разбирая и принося в порядок свои записи.

И мне вспомнилась старинная сказка о человеке, летевшем за счастьем на крыльях волшебной птицы Самурык (Симург). «Какова земля?» — спрашивает в небе Самурык. «С кошму», — отвечает человек. «А теперь?» — «С копейку».

Высоко летела сказочная Самурык, думал я. Но куда выше наше нынешнее небо. Необъятны сегодняшние горизонты моей страны и моего народа. И несравнимо мое земное счастье со счастьем человека из сказки. Наша птица Самурык зовется социализмом. И я благословляю наш труд, нашу любовь и наше мужество, наш полет, полный нелегких испытаний и радости новых и новых свершений.

В Мадрасе нас пригласили на собрание литераторов и ученых, пишущих на языке тамил. Здесь также было многолюдно. Приехал и губернатор. Однако выяснилось, что губернатор не знает тамильского языка, свою речь он произнес по-английски.

Считается, что в Индии бытует около шестидесяти языков, среди них пятнадцать крупных. Наиболее распространены: хинди, урду, бенгали, тамил, марати, гуджарати, ассам, канери, малаялам, пенджаб. На первом месте хинди. И поэтому индийское правительство планирует через пятнадцать лет утвердить хинди в качестве государственного языка. Однако это непростая задача, потому что и среди менее распространенных, таких, как древнеиндийский тамил, есть языки, на которых разговаривают от десяти до сорока миллионов человек. Эти языки имеют свою классическую литературу, насчитывающую трех-пятивековую историю. И писатели названных крупных языков дока-

² За последние годы успехи театра в Индии превзошли успехи кинематографии. В каждом штате правительство построило так называемый тагоровский театр.

зывают на сравнении литературных памятников, что их язык богатством, образностью не уступает хинди, а зачастую превосходит его³.

13 февраля мы выехали в окрестности Мадраса, в Кульпаттандалам, где по пятилетнему плану была создана организация так называемого «общинного проекта». В разных краях Индии существуют такие организации. Их цель — подъем сельского хозяйства и улучшение жизни крестьян и сельских батраков. Одну из таких организаций мы посетили еще вблизи Дели. Но организации эти новые, не все в них ясно, и они серьезно отличаются одна от другой.

В Кульпаттандаме все население окрестных деревень от мала до велика вышло на улицу встречать нас. Молодежь устроила в нашу честь концерт под открытым небом.

«Общинный проект» объединяет огромные земли и множество людей, в Кульпаттандаме — до двух миллионов. Государство оказывает «общинным проектам» существенную помощь, посылает специалистов-агрономов, помогает сельскохозяйственными орудиями и задает экономический план. Во главе «общинного проекта» государство ставит инспектора. В Кульпаттандаме планируется поднять урожайность риса в три раза.

Во всех деревнях, а их тут сто десять, выкопаны глубокие общественные колодцы. Построены скотные дворы. Силами населения проложены дороги. Возведены мосты. В самой крупной из деревень мы видели новехонький дом культуры. Строятся и реконструируются жилища. Крыши кроются уже не соломой, а черепицей. Мы зашли в один из новых домов и были приятно удивлены чистотой и порядком. Кирпичный пол, отдельная спальня, во дворе колодец, — удобный дом. В дальнейшем такие дома будут у всего населения.

Инспектор — непререкаемый руководитель. В каждой деревне у него помощники — как правило, шесть девушек и шесть юношей. Такой подбор «актива» вызван тем, что иными вопросами приходится заниматься либо только среди мужчин, либо только среди женщин.

В прошлом этот край ежегодно подвергался опустошительным засухам. Страшное бедствие заставляло сниматься с родных мест и скитаться по Индии сотни тысяч семей. Только в последние пять-шесть лет дожди обильно орошали посевы и положение крестьян выправилось. Инспектор считает свою область бедной, однако здесь люди не бедствуют и не голодают, как на улицах Калькутты или Бомбея. В деревнях нет того крайнего истощения, жуткого обнищания, которые потрясли нас в городах. И ребячьи и старики выглядят крепкими, бодрыми, веселыми. Просящих подаяния мы не видели, и это было здорово!

На следующий день мы осмотрели в Мадрасе широко расхваленный и достойный всех похвал храм Кабалиширатем, построенный более тысячи лет назад. У него позолоченные купола. Наружные стены сплошь покрыты прекрасными барельефами, в основном из гранита. Каждый этаж украшен изощреннейшей резьбой по камню и дереву. Но, кажется, впервые здесь я почувствовал себя пресыщенным.

Как и в других городах, мы вдосталь насмотрелись в Мадрасе на роскошные здания и кварталы. Но в Мадрасе свыше двух миллионов жителей, и было у города другое лицо, более скромное и неизмеримо более значительное и волнующее.

Мы пошли прочь от храмов... Дома в рабочих кварталах стояли тесно, улицы были темны и грязны, дворов не видно. Казалось, что жилище, как и их обитатели, кутаются в латанное-перелатанное рваньё.

³ Ныне в Индии узаконено два государственных языка — хинди и английский.

Один квартал рабочей окраины был «улучшен». В нем есть водопровод, есть уборные. Этот квартал носит имя индийского писателя Рагнара. Мы зашли в местную школу. В ней учатся шестьдесят детей. Ученики с трудом помещаются в комнатухе, темной, непроветриваемой. Крыша школы крыта соломой. Учитель бос, да, можно сказать, и гол. Только улицы здесь, пожалуй, несколько посветлее.

Но тут же, рядом с кварталом Рагнара, мы увидели лачуги-развалюхи. Некоторые похожи на норы. Внутри кромешная тьма, удушающая жара. Полов нет — утрамбованная, шелковая от людского пота земля. Словом, и тут та же гнетущая картина, что и на улицах Калькутты.

В Мадрасе насчитывается две с половиной тысячи рикш. Говорят, что по количеству рикш Мадрас обогнал даже Калькутту. Еще говорят, что рикши в Мадрасе не так режут глаза — они «механизированы». Здесь много велорикш. Но их труд удручающе тяжел. Мы видели, как велорикши, напрягаясь из последних сил, привставая на педалях, старались ускорить ход своих тяжело нагруженных колясок.

Изданные шалаши, жалкие лачуги, земляные норы — это и есть обитель велорикш и им подобных тружеников-слуг, чернорабочих, нищих и безработных. Вернулись мы из кварталов бедняков с тяжелым, горьким чувством.

Довольно много времени мы уделили знакомству с известным Мадрасским университетом. Студентов в Мадрасском университете тридцать пять тысяч.

Это один из крупнейших по числу студентов университетов в мире. Здесь обучается молодежь из Сиамы, Африки, Бирмы. Показательно, что в Мадрасском университете семь с половиной тысяч студенток! Многие директора колледжей — женщины.

Вечером того же дня мы побывали у знаменитого индийского танцора Гопинатха. Дворик был окружен зарослями бамбука и бананов. В их тени поместилась небольшая сцена, покрытая бамбуковыми циновками. На этой сцене продемонстрировали свое искусство молодые танцовщицы, ученицы студии Гопинатха...

Члены индийско-советского общества говорили о своем желании изучить русский язык.

— Если бы у нас был хотя бы один хороший преподаватель, — сетовали они, — через год мы имели бы их не меньше ста. Англичане в свое время не позволяли переводить советскую и русскую классическую литературу на индийские языки. Больше того, запрещали ввоз оригиналов. И поэтому в современной Индии такой недостаток в людях, знающих русский.

Надо сказать, что у нас в Советском Союзе знают хинди и урду больше и лучше, чем в Индии русский⁴.

На жарком юге

Мы снова в самолете. И снова под нами горы и долины, сплошь поросшие тропическим лесом, до самых вершин укутанные кудрявой зеленью. Это девственные джунгли, прибежище тигров и слонов. Но в долинах повсюду виднелись посевы. Самые маленькие — иные с ладонь величиной — клочки земли, пригодные под поле, были возделаны. Они были залиты водой и вспыхивали под солнцем крохотными зеркальцами, режущими глаза зайчиками.

⁴ В настоящее время положение изменилось. Специальный Институт русских исследований, позднее преобразованный в Университет Неру, из года в год пополняет контингент знающих русский язык.

Прилетели мы в портовый город Кочин. Нам предстояло встретиться с известным писателем и поэтом Валлатхолом⁵. Язык этого штата — малаяламский. Валлатхол пишет по-малаяламски. Прослышав о прибытии нашей делегации в Дели и узнав, что среди нас есть поэты и писатели, старейший поэт Южной Индии прислал нам в Дели письмо с просьбой навестить его в городе Траванкур.

В самое жаркое, знойное и душное время, часов около трех пополудни, мы выехали из Кочина на нескольких машинах. Подъехали к озеру. Моста не было, и два небольших легких парома принялись перетаскивать наши машины поодиночке на другой берег. Паромы перегонялись шумной толпой голых паромщиков, вооруженных бамбуковыми шестами. Местами, на мелях, паромщики спрыгивали в воду и волокли паром на плечах.

Уже перед закатом мы добрались-таки до Траванкура. Жители города встретили нас восторженно. В полукилометре от дома поэта в травянистом логу наши машины вынуждены были остановиться. Дорогу преградили празднично одетые люди с музыкальными инструментами в руках. По прекрасному обычаю Индии, на шею гостям повесили гирлянды живых цветов. Мы покинули машины и пошли пешком в окружении радушных провожатых и веселой, но адски шумной музыки. У ворот дома, на холме ждала еще одна толпа, шумно и радостно приветствуя гостей.

Валлатхол оказался древним старцем. Очень худ, почти костляв. Туговат на ухо. Во рту ни одного зуба. Однако лицо чисто выбрито. Роста он высокого, и движения энергичны.

Тем вечером нам вновь довелось посмотреть театральное представление, но уже в ином духе, чем в Калькутте. Выступали ученики школы театрального искусства древней Индии, основанной Валлатхолом. Эта школа, по замыслу поэта, должна восстановить традиции национального театра с его музыкой и отточенной веками манерой исполнения.

Вначале были показаны древние обрядовые танцы. Юноша изображал павлина, девушка — укротителя, или, как мы привыкли говорить, заклинателя, змей. После этого началась собственно пьеса.

Актерская игра в этом театре столь отлична от европейской и все действие полно стольких уже канонических условностей, что без порядочной подготовки трудно, а подчас и невозможно разобраться в происходящем на сцене. Все участники играли в символических масках. Пьеса была на древнейший сюжет из религиозного эпоса «Рамаяна», бессмертный сюжет «из жизни» двух богов — Рамы и его жены Ситы.

Действие разворачивалось под непрерывный и все усиливающийся треск и грохот барабанов, пронзительный свист флейт и лудочек, рев огромных труб и оглушительный звон медных тарелок. Эта inferнальная музыка была оправдана тем, что на сцене внезапно в пламени и дыме появлялся дьявол, злой дух Равана, и вмешивался в жизнь богов. Дух побежден, но пускает в ход коварство. Сита обесчещена и изгнана мужем в джунгли. Там она рождает двух близнецов; их опекает верный друг — добрейший обезьяний царь Хануман. В финале — всеобщее примирение.

Исключительно самобытный театр. Театр поистине с вековыми традициями. Мы видели воочию, как он любим народом... И все же вряд ли этот древнейший институт искусства определит судьбы сов-

⁵ Валлатхол Нараяна Менон (1878—1958) имел почетные звания махакави (великий поэт), кависатвабхауман (король поэтов).

ременного драматического театра молодой, полной творческих сил Индии. Думается, что нынешний театр к новым высотам и горизонтам поведет за собой новая жизнь и новая культура Индии.

В тот же вечер мы имели беседу с большой группой литераторов, пишущих на малаяламском языке. Из всех дружеских, братских встреч в Индии эта встреча запомнилась необыкновенной сердечностью.

Была нужда в более обстоятельной профессиональной беседе, и мы с Сурковым решили задержаться в Траванкуре, потолковать со своим братом писателем, так сказать, с глазу на глаз, по душам.

Местом встречи была избрана гостиница. Но едва мы подъехали к ней, как почуствовали, что камерной встречи не получится. Большая толпа приветствовала нас у входа, а когда мы заняли места в зале, готовясь к задушевной, интимной беседе с братьями по перу, открылись многочисленные двери и стали входить, вначале робко, затем смелее, молодые и старые люди, и мы не заметили, как очутились в тесном окружении множества сидящих на полу траванкурцев.

По рукам передали две гирлянды душистых цветов и надели их нам на головы наподобие лавровых венков. Нашего слова ждали удивительно скромные и благодарные слушатели, и сердца наши наполнились любовью к ним.

Говорили мы с Сурковым, говорили с понятным волнением, но у нас было легко и светло на душе, потому что мы говорили о том, с какой любовью и уважением относится наш народ к индийскому.

Нас сопровождал чиновник из министерства иностранных дел, он любезно заказал нам ужин в гостинице, однако вдруг почувствовал, что траванкурские встречи выходят за некие протокольные рамки и переходят в явную демонстрацию. Очевидно, он не имел на этот случай инструкций и решил не рисковать и поскорей увезти нас «подалее от греха». Бедняга стал нас торопить и, скомкав, к общей досаде, конец вечера, буквально потащил меня и Суркова из гостиницы к машине, лишив нас, таким образом, не только удовольствия беседы с чудесными, милыми людьми, но даже и заказанного прозаического ужина, который мы, право же, честно заработали.

Впрочем, чиновник все-таки опоздал, и мы были с лихвой вознаграждены той лавиной поздравлений, рукоплесканий, здравниц в честь нашей отчизны, которую обрушили на нас щедрые малаяламцы. Спускаясь по лестнице, мы пожали десятки дружеских рук. До самой машины мы шли в сплошной толпе приветствующих.

Наш провожатый усадил нас в машину, проворно открыв дверцы и еще проворней их захлопнув. Но люди окружили машину плотным кольцом и долго не давали ей тронуться с места. Они улыбались, смеялись, непрестанно выкрикивая что-то радостное, горячее, доброе, глаза их светились, руки тянулись к нам в знак приветства. Они радовались людям из страны социализма, которая из нищеты, разрушенной, отсталой не по божьей воле, а по воле людской стала богатой, передовой и могущественной. Они видели в Советском Союзе пример для Индии, свое будущее. Они благодарили нас за новую веру и великие надежды, которые мы собой олицетворяли и донесли до их сердец через Гималаи ненависти, оставленной английскими колонизаторами.

16 февраля мы выехали на машинах из Кочина и, покрыв расстояние в восемьдесят миль, углубились в штат Тривандрум.

Всю дорогу я думал о прошедшей ночи, об удивительных встречах в городе поэта Валлатхола. Такой народ, думал я, ожидает прекрасное будущее. Я не боюсь повториться, говоря о благородстве, веротерпимости, радушии индусов. Не раз мне приходило в голову,

когда я думал об уровнях нравственности и преступности, что «дикая» Индия — не «цивилизированный» Запад с его культом силы.

Правда, видели мы и другое, видели, как беспримерная терпимость индусов переходит подчас в иное качество — в ненавистную нам рабскую покорность судьбе. Седой как лунь бедняк-мастеровой бредет по пыльной дороге в поисках работы... А в глазах его смирение и покой, и не просто покой — вера в справедливость совершающегося. Это пугает временами. И вместе с тем в каком другом крае вы найдете еще такую доброту, человеколюбие и вообще любовь ко всему живому, такое собрание самых лучших черт в человеке! А не достойно ли уважения трудолюбие этого народа!

В городе Тривандруме мы пробывали недолго. Еще пятидесятимильный пробег — и мы увидели самую южную, ближайшую к экватору точку Индии — мыс Коморин.

В Индии мы видели немало земель, занятых болотистыми джунглями, каменистыми пустынями, где, казалось, нет места человеку. Но искусные рабочие руки делали чудеса. Не пустовало ни одного клочка плодородной земли, каждый ее комок был орошен крестьянским потом, и она охотно рожала на радость человеку несколько раз в год.

Здесь, на юге, все рощи и даже леса высажены рукой человека, вся окружающая природа, ее грандиозный храм, — дело его рук. Такие дела мы называем трудовым подвигом, и нам дорого было видеть творческую мощь народа.

Однако по мере нашего продвижения на юг характер растительности менялся. Пальмы стали редеть. А когда мы выехали к морю, зеленый мир опустел, нас окружили удивительные деревья. Суковатые, узловатые, сплошь кривые и изогнутые стволы, как бы разорванные в суставах, голые макушки, на которых лишь кое-где пучками торчали листья. Вид совершенно паучий.

Так выглядит баньяновое дерево. В просветах между его кривыми узловатыми стволами мы увидели вдалеке морскую синеву. А затем сразу с трех сторон нам открылись безбрежные просторы Индийского океана. Тонкий клинок земли вонзился в синюю тушу океана. Мыс Коморин!

Мы остановились на самом острие клинка, так что радиатор машины повис над водой... Ощущение у нас было живейшее — что мы на краю земли. Здесь, на мысе Коморин, солнце купается в море и на утренней и на вечерней заре. Смотришь на юг, и кажется, что твой мысленный взор проникает до самой Антарктиды. А давно ли мы были у высочайшей земной стены — у Гималаев!

До позднего вечера мы не уходили с берега. Днем морская волна отливала шелковистым голубовато-зеленым цветом, к ночи потемнела. Таинственная глубина вод невольно притягивала взор. Длинные валы мерно и гулко набегали на берег, и от этой величавой размеренности кружилась голова, терялось ощущение реальности, и чудилось — ты сам плывешь и уплываешь все дальше и дальше. Округлые и словно ленивые вдали волны с внезапным ревом бросались на берег, злобно вспенивая белые гривы. Я было попробовал морскую воду на вкус... Сказать, что она солона, значит, ничего не сказать. Долгая, стойкая горечь оставалась во рту.

В холле гостиницы выступали молодые певцы-индусы со своим оркестром. Как и накануне у Валлатхола, оркестр нажимал на шумовые эффекты. Было много лязга и бряцанья, и мой неискушенный слух почти не улавливал ритма. Сама же песня казалась мне заклинанием, устрашающим культовым гимном, призванным ошеломить воображение слушателей. Мелодию уловить трудно. Музыка рисует борьбу враждебных сил и дикое торжество победителя. Вспоминаю,

что и представление-мистерия в доме Валлатхола почти сплошь состояло из пения, танцев. А песни повествовали о мифологических событиях.

Искусство Индии складывалось тысячелетиями и приобрело свой яркий специфический характер. Все виды искусства уходят корнями в глубокую древность и зачастую делают ее своим содержанием. И поэтому, мне думается, религия этого народа поэтична а поэзия религиозна. В танцах много религии, в религии — танцев. Живопись и скульптура полны религиозных сюжетов. Также и архитектура спокон веков воспекает и увековечивает богов. Словом, искусство издавна связано с религией, а религия находит короткий путь к сердцу индуса через искусство. Я вовсе не хочу сказать, что индусы религиозней других народов. Но колониальный гнет бесконечно долго побуждал людей обращаться к богам, давя и душа тягу к культуре. Вот почему на далеком мысе Коморин простые деревенские парни, желая порадовать советских гостей народными песнями, стали разыгрывать по сути религиозное представление.

Ночь на мысе Коморин наступила быстро, и так же быстро стало вокруг холодать. Океан слился с небом, повсюду разлилась чернильная чернота. Даже прибоя не рассмотришь. Но всю ночь было слышно могучее дыхание океанских вод. Оно было спокойно и ласково. Оно было грозно. Казалось, протяни руку — и коснешься в темноте лика этой древней, как мир, и вечно юной стихии. Ее образ сливался в моем воображении с образом индийского народа.

Физик Рамен и великие древности

Недалеко от Тривандрума мы осмотрели старинный царский дворец, архитектурный памятник XIV века, — Подбанабапурам. Строительство его шло в две очереди: одну половину построили семьсот лет назад, другую закончили четыреста лет назад. Это подлинно индийское творение архитектуры и искусства. В его облике нет ничего от арабов, иранцев, афганцев, Моголов.

Во всех трех этажах дворца царские ложа. Сделаны они из резного дерева. Царские ложа считались местом отдохновения богов, ибо цари провозглашали себя богоравными, богами во плоти. Возле их пышных постелей горели негасимые светильники. Когда мы были во дворце, на третьем этаже у «ложа бога» все еще горел светильник, зажженный, как нам сказали, пятьсот лет назад.

Есть в этом дворце чудесная колонна, сделанная в XIII веке из тика. Тиковое дерево необыкновенно стойко — оно не только не гниет и не портится с годами, а, наоборот, делается все тверже и тверже, как бы каменеет. Семь веков возвышается эта колонна.

Под утро мы были в городе Майсур, в одноименном штате.

Мы слышали, что в Майсуре можно узнать многое о жизни слонов. Некогда в Индии на слонах воевали. Ныне они используются для переноски тяжестей. Цена взрослого слона немаленькая, он стоит три-четыре тысячи рупий. Только за один прошлый год в штате Майсур было отловлено семьдесят пять слонов.

И вот мы стоим перед обширным бревенчатым загоном. В нем оказалось около десятка молодых слонов — до двадцати лет слон считается молодым. Лишь в этом возрасте его начинают использовать на тяжелых работах. В углу загона мы заметили крутой черный холм; при ближайшем рассмотрении он оказался слоном. На его длинные бивни было надето по три медных кольца. Это хозяин загона. Ему было уже шестьдесят лет, и весил он триста пудов. В почтительном расстоянии от него жался к бревнам изгороди молодые слоны. Они явно робели,

хотя многие из них вполне могли сойти за взрослых и по весу и по длине бивней. Все они были недавно из джунглей.

Присмотревшись, мы увидели, однако, что дикари не столь уж смиренны. Они были привязаны за переднюю или заднюю ногу к врытым в землю низким каменным и чугунным тумбам. Один строптивец, подняв хобот, трубил не переставая. Перед всеми слонами лежал срезанный сахарный тростник — их любимое блюдо. Но иные буяны, вместо того чтобы полакомиться им, яростно расшвыривали его хоботами. Сопели и кряхтели они уморительно сварливо.

Все слоны были обвиты поперек спины и живота двойной петлей из толстого каната с железным крюком. Черный слон был также перехвачен поперек туловища двойным канатом с крюком. В надлежащее время старик по одному водит дикарей в центр загона к колодцу на водопой... Хозяина подводят к молодому гостю и сцепляют воедино их крюки. И старый дядя волочит его к колодцу. Если упрямство и непослушание заходит слишком далеко, старик задает дурню или дурехе трепку, и его колотушки и пинки бивнем и ногами чувствительны. Судя по всему, старик любит свою работу, он редконосно умен, дружит с людьми и охотно помогает им.

Самый юный в загоне — маленький трехмесячный серый слоненок. Его поймали всего полтора месяца тому назад. Мать бросила его, убегая от охотников, и бедное дитя на заре жизни попало в неволю. Мальчик прикармливает слоненка молоком из большой соски. Когда нет молока, слоненок сосет кулачок мальчика. Время от времени он издает тонкие, жалобные звуки, похожие на плач ребенка, и плач этот так горек, так безутешен, что невольню сжимается сердце.

На другой день мы вернулись в Бангалур, чтобы посетить знаменитого ученого-физика профессора Рамена. Рамен — лауреат Нобелевской премии. Его исследования о драгоценных и полудрагоценных камнях прославили индийскую науку⁶.

Небольшой двухэтажный особняк Института физики служил Рамену и лабораторией и жильем. Хозяин встретил нас в гостиной на первом этаже такими словами:

— Я директор этого института, а вот она... директор директора! — И он показал на стоявшую рядом женщину небольшого роста, с черными с проседью волосами.

Это была супруга и помощница ученого.

Рамен, необыкновенно живой, подвижный человек, так и искрился юмором. Смеясь, он прикрывал лицо тыльной стороной ладони. Подобным образом мусульмане при зевоте прикрывают рот. Смеясь, Рамен сообщил нам как нечто весьма комичное, что изредка пишет стихи.

Потом он показал свой бюст, сработанный индийским скульптором, надписанный на четырех языках. Мы снова коснулись языковой проблемы в Индии, и Рамен пошутил:

— Здесь сказано по-английски, санскритски, тамильски и на языке канери, что я — это я. Хочу вас уведомить, что с женой удобнее всего говорить по-тамильски...

Еще он показал нам свою богатейшую энтомологическую коллекцию. Невиданных размеров жуки, немислимой расцветки бабочки. Но мы почувствовали, что это не хобби, а предмет научного интереса.

Взяв отдельно лежавшую книгу, он протянул ее нашему переводчику. Это оказалась написанная в 1932 году английским исследователем Дюраном книга «О смысле бытия». Автор приводил в ней ответы

⁶ Рамен возглавлял индийскую науку до конца дней своих; умер в 1972 году.

великих умов человечества на вопрос о смысле жизни. Среди других ответы Неру, Ганди и нашего хозяина.

— Ганди отвечал как ученый, — сказал Рамен. — Он считал эталонным сплав религиозности и трудолюбия в человеке. Это, по его мнению, возвышало человеческую натуру, приближало ее к богам.

Любопытная открылась в книге Дюрана деталь: двадцать три года назад автор-англичанин сделал одно предсказание. В скором времени, утверждал он, в Индии прославятся два человека. Первый — это Неру, который после смерти Ганди возглавит индийский народ. Второй возглавит индийскую науку, и это будет Рамен.

Рамену исполнилось шестьдесят шесть лет. Но он бодр и свеж. Обходится минимумом помощников.

С волнением мы вступили в тесную лабораторию, как нам показалось, заваленную камнями, минералами. Рамен взял в руки один крупный кристалл и сказал:

— Этот аметист мне прислали из Югославии. Это не камень, это — поэзия.

Рамен рассказывал о том, как вместе со знаниями в нем росла любовь к красоте. Носителем высшей красоты он считает цвет и до сих пор мечтает найти необыкновенные краски. О физике он говорит так:

— Она для меня — как цвет.

Прощаясь, он сказал полушутя-полусерьезно:

— Если бы вы были ученые, я был бы не так доволен. Потому что наш брат ученый приходит чаще всего с откровенной корыстью — почерпнуть новое. А вы бескорыстные гости...

В тот же день мы побывали на собрании «Общества художественного слова».

На этом собрании выступил прозаик, автор коротких рассказов Виси.

— Мы желаем знать русскую науку, культуру и литературу, как свои собственные, — заявил он. — Мы с большим уважением относимся к русской литературе, выросшей после Пушкина и Гоголя. Благодаря революции мы знаем и любим Блока. Любим прекрасную русскую музыку. Особенно хорошо знаем и ценим ваше киноискусство. Кому в мире не известны ваши успехи! В составе вашей делегации четыре лауреата. Это говорит о том, что советский народ посылает к нам лучших своих сынов. Знайте, что и здесь присутствует цвет индийских деятелей культуры. Все они ваши верные, искренние друзья!

Из Бангалура мы прилетели в Хайдарабад.

Из дней в Хайдарабаде особо памятным был день посещения величайших памятников древности Адженты и Эллары.

К Адженте мы ехали на автомобилях три часа, под конец по безлюдной горной дороге. Дорога бесконечно петляла, упрямо лезла в горы, а над ней нависали непроглядные темно-зеленые джунгли. На перевале нам открылись зияющие входы в храмы-пещеры Адженты.

Нас сопровождал не то археолог, не то искусствовед; его рассказ звучал как сказка. Храмы-пещеры Адженты вырублены в цельном скальном массиве. Их двадцать девять. Самые древние из них начали создаваться еще во II веке до нашей эры. Самый поздний был закончен в VII веке нашей эры. Таким образом, перед нами были памятники труда и гения девяти веков!

С VII века влияние буддизма в Индии начинает резко ослабевать и храмы-пещеры приходят в упадок. На долгие века об этих удивительных творениях словно забывают. И только в 1919 году группа английских военных, охотясь в здешних местах, случайно наталкивается на храмы-пещеры и вновь открывает их человечеству.

Аджента — памятник не только высокого искусства и щедрого таланта древнеиндийских мастеров, но и свидетельство величия их духа. Были целые династии художников, работавшие в храмах-пещерах Адженты. Нередко на протяжении нескольких поколений они трудились над одной росписью или одной скульптурой.

Из двадцати девяти храмов пять посвящены собственно Будде. В остальных жили монахи и жрецы. Расписаны все храмы. Но, пожалуй, более всех поражает храм номер один.

В самом центре скалы высоко над долиной чернеет вход в эту пещеру. Но едва вы проникаете внутрь, вы забываете о том, что находитесь в каменной толще. Перед вами круглый зал, купол которого уходит куда-то бесконечно высоко вверх. Есть в храме боковые приделы, все они украшены скульптурами и стеной росписью. Вырубленные в камне лестницы тоже уводят круто вверх. Полы в храме тщательно отполированы и блестят как зеркало. Глядишь на отражение в полу и теряешь ощущение пространства, кажется, что ты плаваешь в воздухе в огромном зале без потолка и пола.

Фрески настолько интересны и хороши, что поистине разбегаются глаза. На одной из фресок изображен Будда, сидящий у подножия дерева и ждущий просветления. Тем временем демон пытается совратить Будду, то соблазняя его целым сонмом красавиц, то пугая всяческими ужасами. Но Будда тверд в вере. Исполняя данный обет, он не возвращается даже к родной матери.

Я смотрю на девушек, окружающих Будду, и по их прическам и одеяниям пытаюсь угадать, из каких они стран. Говорят, что всего во всех храмах изображено двести сорок различных женских причесок. У дьявола, совращающего Будду, в каждой пещере свое лицо. Ни одна из пещер не повторяет другую.

По словам сопровождавшего нас специалиста, самым выдающимся и самым ценным считается изображение Будды, сидящего с цветком дотеса в руках. Эта фреска, может быть, лучшая в мире. Глаза Будды написаны так, что кажется — они смотрят прямо тебе в душу, видят тебя насквозь, постигают твою печаль и твои горести, твою радость и твои сомнения. Мы стояли перед фреской, и Будда смотрел в упор на нас. Мы зашли справа, и Будда не только лицом — всем телом повернулся к нам, мы зашли слева — то же самое. Один из удивительнейших секретов древнеиндийских мастеров.

Вернувшись в Хайдарабад, мы поехали в другое знаменитое место — в Эллору. Эллора сосредоточила в себе памятники и буддистской и индуистской религий и одной из ветвей индуизма — джайнизма.

Среди храмов Эллоры особняком стоит один, индуистский, под названием Рай Шивы. Это памятник VIII века.

Храм вырублен в целой скале, подобно храмам Адженты, но уже не монахами. Индуизм не признает монашества. Храм создан по повелению некоего магараджи. Семьдесят лет дено и ночью трудились его подданные, увековечивая в камне бога Шиву и других богов индуизма.

Представьте себе утес высотой с пятиэтажный дом. В его толще храм. Сверху донизу, снаружи и внутри он покрыт изумительными по красоте и совершенству барельефами, изображающими подвиги и благие деяния богов. Наружные стены храма несут на себе множество балконов, колонн, окон, дверей, также вырубленных в скальном теле. У основания храма стоят гигантские звери — слоны и львы. И все это обрамлено причудливыми сплетениями каменных кружев. Водостоки, врезанные в наружные стены, и те составляют деталь единого художественного целого.

Когдаходишьвнутрихрама,поражаешьсяегоглубине,высоте... Неверится,чтоэтонемыслимо-титаническоесооружениевырублено вцельномкаменноммассиве.Возникаетблагоговейноечувство.Вынаходитесьвпросторномзалегромადногодворца.Тольковесьобычныйдворцовыйинтерьер—колонны,лестницы,стены,пол,потолокздесьнесобраныпочастям,авырезаныизцельногокамня.Ипритомничеготяжеловесного.Храмсловновзлетаетвнебо—настолькоизящна,стройнанеобыкновеннаяпостройка.

Всяэтакаменнаягромадачитаетсякакбольшая,красочноиллюстрированная,сказочно-интереснаякнига.Этоуженепростокамень,акаменныйдастан—поэма.Этовоплощеннаявкамне«Махабхарата».Побарельефамхрамаможночитатьрелигиозно-героические сказанияипесни«Махабхараты».НоможноизучатьижизньдревнейИндии—с такимтщанием,стакимививымиподробностямивыписаныбоги,люди,звери,конныеколесницы..

Искусствоскульптуры,барельефа,орнаментадоведеноздесьдовысшегосовершенства.Грандиозныекаменныекартинысвязанымежду собойвединиисюжет,авсяэтагора-монолитвыступаеткакизумительноцельный,живойорганизм.

ПомимохрамаРайШивы,вЭллореимеетсяещесемнадцатьегоиндуистскихсобратьев.Здесь,какивАджене,естьдвенадцатьбуддийскиххрамов-пещер.Естьещешестьхрамовджайнистов.Поразительноесобрание,целаяколлекцияуникальныхпамятников.Несравненныйзодчийиваятельиндийскийнародвдохнулжизньвкамень.Великийтрудивысокоемастерствоиндусовизваялиизкамняпозизию.ВАдженеиЭллоремыслышали,какпоюткамни!

Споры в Бомбее

СредииндийскихгородовБомбейкажетсясамымновым,самыммолодым.Онрасположеннаострове.Ширинаостроваодна-полторымили,длина—одиннадцатьмиль.Череззаливсострованаматерикпереброшенбольшоймост.

ВБомбеемызадержалисьдольше,чемвдругихгородах.Мысловнопересталиторопитьсяивглядывалисьвлицогорода,влицостраныужепрощальнымвзглядом.ГубернаторБомбеяустроилнебольшойприем,попротоколу—завтрак.

— ВБомбеемногохорошегоимногоплохого,—сказалгубернатор.

Далеепобывалимызгородом,надачевгостяхуХоджа-Ахмадаббаса.Тамсобралосьмноголюдей.Беседуяслитераторами,япоинтересовался,когоонизнаютизнашихписателейипоэтов.Какиследовалоожидать,первымбылоназваноимяМаяковского.Безособойнадеждынауспехяспросил:

— Джамбула вы знаете?

Но сразу Али-Сардар Жафри и еще два поэта отозвались утвердительно. И тут же я услышал на языке урду в стихотворном переводе «Новый закон» Джамбула. Читали по очереди все трое, читали с подъемом.

Примерно в полночь, возвращаясь от Аббаса, мы въезжали в город. Полиция остановила машину, в которой сидели Сурков, я и Мульк Радж⁷, и стала ее обыскивать.

— Что это значит?—спросилимы.

— Это сухой закон в действии,—ответилМулькРадж.

Полицейские искали запрещенное здесь спиртное.

Я уже говорил, что за время нашего «хождения по Индии», пусть

⁷ Мульк Радж Ананд в 1972 году переизбран президентом Индийской академии изящных искусств.

краткое, мы не видели пьянства. Стало быть, в Бомбее оно было? И, оказывается, такое угрожающее, что власти ввели в городе сухой закон? Мысленно я сказал себе, что Бомбей не индийский город...

Бомбей — из тех городов, в которых делают деньги, говорил нам Мульк Радж. Это город с характером купца и грабителя, накопителя бешеных капиталов. Это бывшие колониальные ворота Индии.

Мне понравилась горькая прямота Мульк Раджа.

Дни в Бомбее вообще запомнились откровенностью наших бесед с друзьями, тем мужеством взаимного доверия, которое позволяет видеть истину и оставляет след в сердце.

До наших дней бытует в Индии разделение на касты, уродливое наследие средневековья, любимое детище колониального режима. Неру неоднократно заявлял, что его правительство и его партия ставят своей целью ликвидацию каких бы то ни было каст в Индии. Находятся, однако, и такие политические деятели, которые хотят приукрасить и сохранить кастовую иерархию.

Первые на кастовой лестнице — брамины, духовенство. Вторые — воинское сословие; третьи — торговое сословие. Четвертые — черный рабочий люд, социальные низы. Но есть в Индии немалая часть народа, которую ставят еще ниже и которая влачит поистине рабскую жизнь, — это несчастные, отщепенцы, неприкасаемые.

Доля неприкасаемых беспросветна, они ничему не хозяева в своей родной стране. Им нет доступа в нормальную человеческую жизнь, их уподобляют домашним животным. И если достается им людская работа, то самая грязная и грошовая — подметание улиц, сбор тряпья, уборка отхожих мест.

В городах это нищие. Индуистская религия, столь терпимая к другим религиям, освящает и узаконивает кастовую рознь, опирается на нее и питается ею. Друзья говорили нам об этом с болью.

Со слов Неру мы знаем, как много времени и сил Ганди отдал агитации в пользу неприкасаемых. Пройдя пешком по всей стране, побывав среди всех сословий, Ганди своим горячим, ярким словом привлек всеобщее внимание к судьбе обездоленных. У Ганди не было иных средств, кроме проповеди.

Девушка и юноша из разных каст, согласно религиозным догмам, не имеют права даже есть из одной посуды. Посуда, из которой ел и пил один, считается оскверненной для другого.

В газетах была описана трагедия одной, казалось бы культурной, семьи. Умер индийский генерал, и его тело предавалось сожжению. Жена генерала, женщина образованная, явилась на церемонию и, упав на тело мужа, выстрелила в себя, чтобы сгореть вместе с ним на одном костре. Обряд сати — самосожжение на погребальном костре мужа — запрещен в Индии в 1829 году, но вот какие рецидивы, оказывается, возможны более ста лет спустя. Наш друг, писатель, рассказывал, что в семье его родного брата ощущение кастовой принадлежности пока еще весьма живо.

Внутри каст также имеется своя сложная иерархия, как и во всех религиозных сектах, а сект в Индии бесчисленное множество. Индия полна всевозможных иерархий.

«В Бомбее много хорошего и много плохого» — эти слова мы услышали в день приезда в город. Услышали мы их и в день отъезда...

В заключение я хочу вернуться к нашим беседам с друзьями в Бомбее. Хорошая память осталась у нас об этих людях светлых помыслов и глубоких раздумий и об их душевном волнении, которое мы искренне разделили.

Кинематограф, говорили нам, делается в европейском стиле и вкусе. Есть здесь сильная сторона. Но есть и угроза подражательства.

Подражательство проникает и в сферы искусства и в быт, особенно городской. Не секрет, что в архитектуре, например, заметно влияние европейского декаданса. Надо искать свои пути.

Англичане всеми силами старались не дать в Индии ходу русской культуре. «С Максимом Горьким,— сказал наш уважаемый друг,— я познакомился впервые только тогда, когда попал под арест, сидел в тюрьме, там же — и с Карлом Марксом». Англичане тормозили развитие индийской культуры. В течение двухсот лет она пребывала в состоянии застоя, а подчас и делала шаг назад. Английские хозяева считали, что индийские языки бедны и убоги, поскольку это языки слуг и холопов, которые не в силах создать литературу, обогатить цивилизацию.

Нельзя считать, говорили друзья, что английская культура и английский язык принесли вред Индии. Язык колониального чиновника и язык Шекспира и Диккенса — это два разных языка. Великие люди Индии, предводители народа, такие, как Ганди, Неру, Кришнан Чандр, на английском языке рассказали всему миру о многотысячелетней истории своего народа, о его тяжелой судьбе, о его страданиях и печали. Но вместе с тем они блистательно пишут на крупнейших языках Индии, на своих родных языках, показывая, как богаты и ярки эти языки; их труд, их творчество — пример для целых поколений.

Прежде о языке хинди говорили, что в нем «красоты нет». Говорили, что язык урду не таков, поскольку с XVI века на урду создана чудесная классическая поэзия. Выделяли и достоинства бенгальского языка. На этом языке писали Рабиндранат Тагор и целая плеяда его последователей, создавших значительные произведения. Им принадлежит большая заслуга — они зачинатели жанра романа в литературе Индии. Понятно, что литературный язык не может быть установлен посредством государственного акта, ибо растет и развивается из поколения в поколение, веками умножая свое своеобразие, свои традиции. Языки юга не связаны с санскритом; они чрезвычайно самобытны. И писатели вряд ли откажутся от родных языков. Это равнозначно самоубийству.

Главенствующим жанром в индийской литературе по сей день остается поэзия. Поэты Индии плодотворны. Но и в этом излюбленном жанре нет движения, новые размеры и ритмы, новые формы стихосложения не приживаются. Ведущими размерами по-прежнему остаются бент, газель, рубаи.

Стихи меньше издаются, больше исполняются. На многочисленных праздничных собраниях перед аудиторией в пять—десять тысяч человек поэты читают свои произведения. И тут подчас решающую роль приобретает не достоинство стиха, а исполнительское мастерство поэта. Литературной критики в Индии, считайте, вообще нет. И многоязычной поэзии нелегко подняться до высот общеиндийского значения.

В новой молодой литературе страны набирает силу художественная проза: в основном это короткие рассказы, новеллы. Жанр рассказа пришел в Индию из Европы и вызвал к жизни литературные журналы. Значительная часть рассказов, примерно треть, написана в реалистической манере, и это обнадеживает. Что касается романа, то пока что время романа еще не пришло. Так говорили нам друзья, словно забывая о существовании и традициях, например, бенгальского романа — от Р. Тагора до наших дней.

Любопытно они аргументировали это неожиданное утверждение, с которым трудно согласиться, трудно смириться. Мы еще не вышли из феодализма, мы во власти религии, говорили они. Общественные и семейные отношения необычайно осложнены и запутанны. Разобрать-

ся в этом клубке, проникнуть во всю толщу противоречий — головомная задача и для политика, тем более для романиста. А посему некое неопределенное время нужно довольствоваться малой формой, новеллой, способной отобразить отдельные грани и черты жизни.

Слабость такой «теоретической» позиции очевидна. Станным и обидным казалось скептическое отношение к потенциам своего великого народа. А не отрывка ли это все того же постылого колониального унижения? — думал я. Мне неловко было говорить о том, что мы, казахи, за кратчайший исторический срок создали литературу, в которой едва ли не первую скрипку играет именно роман. Правда, создали в условиях социализма. Немаловажное уточнение.

Возник все же спор, и доводы литературные потонули в доводах политических.

Мы сошлись на том, что народу Индии нужна грамота и много, очень много хороших книг. Грамотность в сегодняшней Индии крайне низка. Преступное распространение получила в стране западная псевдолитература, живописующая драки, грабежи и убийства, с упоением воспевающая жестокость, садизм, дикость и безумие чуждого индусам образа жизни. Эта макулатура заливает Индию, как сель — весенний грязевой поток.

Да, нужна Индии настоящая книга, правдиво и ярко рисующая жизнь, настоящую жизнь, книга, несущая истинную культуру и гуманизм, ведущая к светлым идеалам.

Последние встречи

И вот мы опять в столице, в Дели, в знакомой гостинице «Хайдарабад хауз», и у нас такое ощущение, что нас встретил старый знакомый и что мы вернулись в обжитые места. Все мы порядком устали. Я сам себе казался лошадью, которая долго, долго шла, подметая хвостом землю, и наконец дошла и с нее сняли дугу и хомут. Однако у всех нас приподнятое настроение, внутри все поет. Мы собираемся домой.

В Дели состоялся большой всеиндийский съезд поэтов и писателей, пишущих на языке урду. Он прошел очень своеобразно.

Еще в Бомбее нас предупредили, что поэты будут читать на съезде свои новые произведения. Для того он и собирается. Мы спросили, похожи ли эти чтения на айтысы казахских акынов. Нам ответили, что соревнования, подобные айтысам, устраиваются в селах и они очень популярны. Здесь, в Дели, будет несколько иначе.

На проверку съезд оказался не похож ни на наши айтысы, ни на наши съезды. Не было ни вступительных обзорных докладов, ни прений, ни заключительных слов, подводящих итоги. И походил он больше на концерт, чем на рабочее совещание.

Открылся он поздно вечером и собрал поэтов и писателей урду со всей страны. Еще издали было видно, какое это большое собрание. Множество машин... Масса людей... В городском парке специально для такого торжества был установлен огромный шатер на манер цирка шاپито. Под шатром установлена сцена и длинные ряды скамей. До отката заполненные людьми, они походили на морские волны под свежим ветром.

Сцена была покрыта коврами, на коврах — подушки для сидения. Устроители съезда сидели на сцене на подушках и просто на ковре, поджав под себя ноги. Зал под шатром великолепно освещен, освещение дневное. Купол усыпан огнями, как стаяй птиц. А в зале — три тысячи человек.

И вот стали выходить на сцену к микрофону один за другим поэ-

ты. Читали они вдохновенно, темпераментно, показывая не только свое поэтическое мастерство, но и актерский дар, дар чтеца. И конечно, было тут необъявленное соревнование, хотя и без того прямого, подчас грубоватого соперничества, как на айтысах.

Среди множества поэтов на съезде были и женщины. Одна из них, одетая по-европейски, но с головой, покрытой белым шелковым платком, с подъемом читала свои стихи. Она не стеснялась, не жалась, чувствовала себя свободно, непринужденно.

Выступили именитые крупные лирики, но стариков было мало. Не много было и молодых. Больше всего было поэтов и писателей среднего поколения, они заметно культурней и грамотней старых мастеров, сильнее в своих творческих поисках. Это поколение играет решающую роль в развитии литературы.

Все читали нараспев, хотя и без музыкального сопровождения, как это бывает на айтысах. Вот такая традиционная декламация, видимо, уходит корнями в глубокую старину. Эту классическую традицию породило отсутствие грамотности — некогда и среди поэтов, а особенно среди слушателей. Надо было видеть, как горячо принимали поэтов! Когда они читали, трехтысячная аудитория замирала. И когда стихи нравились, а часто и захватывали публику, тишина взрывалась громким шумом одобрения, криками «вава!».

Выпала одна лишь малоприятная минута, когда на сцене появился странно возбужденный молодой человек. Он шел к микрофону, как эквилибрист по канату. А затем его подмигивания, внезапные выкрики, переход на пение на разные голоса подтвердили наши опасения. Со всех сторон полетели возгласы возмущения. Торопливо и невнятно дочитав стихи, юнец убрался со сцены.

В Индии к пьяному человеку относятся очень презрительно. Ни одно животное не вызывает такого отвращения. Однако я все же увидел в Индии одного пьяного, и то, что он оказался поэтом, было совсем не утешительно.

В последние дни в Дели нам довелось увидеть построенный Великими Моголами мазар с белым куполом. Это мазар сына основателя династии Бабура—Хумаюна. Старинное присловие гласит: «Тадж-Махал блещет женской красотой, а мазару Хумаюна присущи все красоты». Как много в Индии творений рук человеческих, думал я, которые блещут женской красотой и которым присущи все красоты!

Наше пребывание в Индии завершилось памятной встречей на прощальном приеме с Джавахарлалом Неру. От нашего имени Сурков выразил Неру сердечную признательность. И дал такую клятву:

— Насколько у нас хватит сил мы, каждый в своей области, в своем искусстве, будем укреплять индийско-советскую дружбу. Все, что мы видели в Индии, все, что узнали о ее великом народе, мы правдиво расскажем нашему народу.

В ответ на это Неру сказал:

— Я благодарен вам за такое хорошее намерение. Люди, которым дано быть посредниками между народами, должны чувствовать особую ответственность, великий долг, и я рад вашему обещанию. Чистые помыслы требуют чистой души. Большая дружба достойна ответной большой дружбы. Вы помогаете одному народу познать другую. Пусть же широкая дорога взаимных контактов будет желанной и перспективной дорогой.

Мы долго были под обаянием этой встречи. Нам запомнилось доброе и мудрое напутствие.

Перевел с казахского АЛЕКСЕЙ ПАНТИЕЛЕВ



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

ФИАЛКА

Рассказ

Худой старик вышел из вагона электрички, нерешительно постоял на новой высокой бетонной платформе, осматривая незнакомую ему дачную местность, а потом медленным шагом, с видимым усилием шаркая ботинками, побрел к переезду, где возле будки путевого сторожа, у автоматического шлагбаума стояло маршрутное такси — маленький автобус, сплошь покрытый засохшей грязью, а рядом с ним белая санитарная машина с красным крестом на матовом стекле, видимо присланная на станцию из местного санатория.

Водитель маршрутного такси и водитель санитарной «Волги» стояли возле своих машин, обмениваясь мнениями по поводу нескольких крепких, широкоплечих, коротконогих девчат в просторных ярко-оранжевых сигнальных жилетах, как бы озаряющих солнечным светом этот гнилой, холодный день поздней осени с лужами на дорогах, в которых отражались облетевшие кусты желтой акации, столь обычные для подмосковных пригородов.

Девчата в больших, как лопаты, брезентовых варежках под наблюдением прораба с желтым сигнальным флажком под мышкой только что приступили к замене старых, деревянных шпал новыми, бетонными и торопились, желая воспользоваться перерывом между двумя поездами.

Иные из этих девчат были на редкость хорошенькие, разурмянившиеся от работы.

— Вы мне, часом, не подскажете, как добраться до интерната? — спросил старик, прикладывая в знак приветствия руку к своей облезлой пыжиковой шапке.

— Пройдете вверх по этой аллее, упретесь в ворота патриаршей резиденции. Налево будет кладбище, так вы туда не сворачивайте, а идите направо, и там вам уже каждый покажет.

— Может, подбросите? — заискивающе сказал старик. — Я вас поблагодарю.

— Да тут совсем рядом. Двести метров — не больше.

Старик поправил на голове шапку, немного постоял на месте как бы в нерешительности, а потом пошел вверх по аллее, обсаженной древними соснами.

Шоферы некоторое время смотрели ему вослед. Во всем его облике было нечто останавливающее внимание, но что именно — не вполне улавливалось: какая-то смесь прежнего благополучия, сановности с теперешним жалким положением на грани нищеты.

Пальто с крупными костяными пуговицами, перешитое из военной шинели, слишком широкие брюки, болтающиеся вокруг худых ног, желтые, не раз чиненные ботинки на шнурках с узелками, а главное, все его некогда массивное, а теперь заметно уменьшившееся в объеме тело и похудевшее, высохшее лицо с хрящеватым носиком, который был довольно красивым, мясистым носом, и серой нездоровой кожей, висящей складками вокруг бритого, почти беззубого рта.

Словом, вид его возбуждал жалость, даже некоторую брезгливость и не соответствовал рангу того интерната, куда он направлялся, неся через плечо веревочную авоську с двумя маленькими высохшими апельсинами.

Примерно таким образом подумали водители маршрутного такси и санитарной «Волги», некоторое время глядя вслед старику, а затем снова стали с большим интересом наблюдать за девушками-ремонтницами.

...Издавая рычащие звуки сигнала, автоматический шлагбаум стал медленно опускаться...

С одышкой старик добрался до глухих железных ворот патриаршей резиденции и там немного передохнул возле двух каменных столбов с острыми высокими кровельками. Налево за деревьями виднелось кладбище, перед оградой которого прямо на шоссе была вывалена большая куча всякого погребального вздора, сослужившего свою службу: куски кумачовых лент, засохшие цветы, заржавленные проволочные остовы старых венков...

Неприятное чувство охватило старика, и он отвернулся, пропуская мимо себя черных церковных старух — не то монашек, не то богомолков — в белых или черных головных платках. Осторожно, гуськом, след в след они лепились вдоль глухого кирпичного забора, выбирая, где посуше. Они несли перед собой узелки с просфорками. Доходя до патриарших ворот, старухи оборачивались лицом к золотым луковичкам видневшейся за забором старинной церкви, на прощание крестились и кланялись, а затем, подобрав юбки, уже быстро шли, бежали на станцию, боясь опоздать на электричку...

Старик повернул направо и вскоре, минуя несколько новых пятиэтажных корпусов, потеснивших три или четыре старинных бревенчатых домика, как бы укрывшихся от нашествия новой жизни в зарослях сиреневых кустов и желтых акаций, очутился перед длинным желтым двухэтажным зданием с белыми гипсовыми колоннами главного входа в том ложноклассическом, провинциальном стиле, который одно время считался непременной принадлежностью парадной архитектуры. Однако окна этого дома вопреки общему стилю были громадные, трехстворчатые, так называемые итальянские, за которыми виднелись горшки с геранью, папоротником, алоэ, висели на деревянных кольцах цветные занавески, отсвечивала позолота бронзовых светильников, а в одном окне старик заметил шведскую стенку, из чего заключил, что там помещается гимнастический зал.

Он ожидал увидеть захудалую богадельню, дом для престарелых, а перед ним оказался почти дворец с массивной дверью и медными громадными ручками в каком-то древнеримском вкусе, вроде ликторских пучков.

Чувствуя уважение ко всему этому, старик счистил о скребок грязь с подошв своих неуместно желтых туфель, долго топтался на вздувшейся проволочной сетке, шаркал ногами и, лишь убедившись, что его обувь хорошо вытерта, не без усилия открыл дверь на очень тугой пружине.

— Могу ли я видеть больную по фамилии Новоселова, Екатерину Герасимовну? — спросил он дежурную нянечку, пухлую пожилую женщину в рабочем халате, сидевшую рядом с гардеробом за маленьким столиком.

— У нас тут нет больных, а есть престарелые, — назидательно сказала нянечка, — а что касается товарища Новоселовой, Катерины Герасимовны, то она у нас действительно числится.

— Как бы мне ее повидать?

— А она вам что? Назначила на сегодня?

Старик смутился.

— Нет. Я просто так. Навестить.

— У нас без приглашения посторонним посетителям приходиться не полагается.

— Я не посторонний, — сказал старик.

— А кто же вы?

— Родственник.

Нянечка пожевала губами, подозрительно осматривая его.

— Нету у Катерины Герасимовны родственников. Она у нас самый старый контингент. Живет здесь с самого основания. За все это время к ней не приезжало ни одного посетителя — родственника. Если бы были у нее родственники, мы бы знали. Она у нас среди всех самая одинокая.

— Я не посторонний, — сказал старик, и вдруг его лицо помертвело, лоб покрылся потом, он повел затуманившимися глазами, как бы ища вокруг себя точку опоры. — Извините, я присяду, — произнес он, с трудом ворочая языком, и тяжело опустился на стул.

...стул зашатался, старик стал сползать на пол...

Тут только нянечка поняла, что он смертельно болен. Она ловко, но мягко подхватила его под мышки, приподняла, усадила, налила из стеклянного высокого кувшина с дребезжащей крышечкой кипяченой воды с запахом хлора, и старик, схватив стакан дрожащими руками, стал так жадно пить, что временами захлебывался, как ребенок, и вода текла по серой коже, повисшей по сторонам его бритого рта.

— Что случилось? — строго спросила, проходя мимо, сестра-хозяйка, бодрая седеющая женщина со взбитой прической, придерживая на высокой груди пальто внакидку: видимо, только что вернулась со двора, где размещалось все ее подсобное хозяйство.

— Да вот пришедший гражданин почувствовал себя дурно.

Сестра-хозяйка взяла старика за руку и посчитала пульс.

— Уже проходит, — с извинением в голосе проговорил старик, поднимая с пола авоську с апельсинами, упавшую во время обморока. — Это у меня иногда бывает.

— Вы, собственно, к кому? — спросила сестра-хозяйка, продолжая поглядывать на маленькие золотые часики, блестящие на запястье пухлой, глянцевиной ручки, тесно схваченной кружевным рукавчиком.

— Они к Катерине Герасимовне,— сказала нянечка.— Говорят, родственник.

Сестра-хозяйка пожала плечами.

— Не слышала, чтобы у Екатерины Герасимовны были какие-нибудь родственники. Кем вы ей приходитесь?

Старик смутился, замялся, но все же не без усилия выдавил:

— Я ее муж. Фамилия моя та же, как и Екатерины Герасимовны,— Новоселов. Бывший муж,— прибавил он, желая быть вполне правдивым.— Мы уже давным-давно развелись.

Сестра-хозяйка с интересом посмотрела на человека, который, оказывается, был когда-то мужем Новоселовой, одной из самых уважаемых обитательниц интерната, секретаря партийной организации.

— Вы, товарищ, пришли не совсем вовремя,— сказала сестра-хозяйка, смягчаясь.— Екатерина Герасимовна человек организованный, у нее расписан каждый час, так что уж и не знаю, как нам с вами быть. В данный момент Екатерина Герасимовна как раз проводит консультацию по истории партии с активом пединститута. К ней специально приехали из Москвы двенадцать человек выпускников. Тетя Маша, где они занимаются?

— Во втором корпусе, в читальном зале,— ответила дежурная нянечка с оттенком гордости оттого, что в их интернате имеется читальный зал.

— Вот видите,— сказала сестра-хозяйка,— и когда они кончат, трудно предсказать. А во второй половине дня Екатерина Герасимовна еще будет проводить партбюро. Может быть, вы приедете в другое, более удобное время?

— Трудно мне будет в другой раз подняться. Да и случится ли этот другой раз? Уж вы мне лучше разрешите ее подождать.

— У нас сегодня день не приемный... Да и вообще посторонним здесь находиться не положено...

— Не посторонний я,— сказал старик.— Не посторонний. Могу показать документ.

Он полез во внутренний боковой карман и вытащил оттуда пачку обтрепанных бумажек из числа тех, какие обычно всегда носят при себе люди, привыкшие к сутяжничеству. Он суетливо порылся в бумажках и вытащил пенсионную книжку.

Сестра-хозяйка повертела ее в руках, полистала и увидела, что пенсия самая мизерная, но пенсионера действительно зовут Новоселов, Иван Николаевич.

— Ну что ж, Иван Николаевич, в таком случае подождите, пока Екатерина Герасимовна освободится. Конечно, разденьтесь, так как в верхней одежде у нас находиться не принято. А это что за фрукты?— спросила она, заметив авоську, лежащую на полу у ног старика.

— Для Екатерины Герасимовны... витамины...

— Нет, нет! — испуганно вскрикнула сестра-хозяйка.— Этого совсем не надо. Наш контингент получает достаточное количество свежих фруктов. А эти ваши апельсины спрячьте куда-нибудь.

Дежурная нянечка проводила Новоселова за загородку, где на никелированных вешалках с пластмассовыми номерками, как в театре, висели дамские и мужские пальто, по виду которых можно было заключить, что они принадлежат людям, хорошо устроенным.

Новоселов повесил на рожок свое пальто и веревочную авоську, имеющую здесь особенно жалкий вид. Он вынул из наружного карманчика своего потерявшего первоначальный цвет пиджака со слишком длинными рукавами и маленькой засаленной орденской планкой розовый гребешочек, забитый перхотью, и провел им несколько раз по сильно облысевшей седой голове с глубокими впадинами над глазами, как у старой лошади. Нянечка отвела его в уголок, где было оборудовано нечто вроде гостиной, и усадила в страшно тяжелое — с места не сдвинешь! — громадное кресло перед таким же тяжелым круглым столиком, покрытым красной плюшевой скатертью.

...Он стал дожидаться...

В одну и другую сторону тянулся длиннейший, устланный линолеумом коридор с рядом белых дверей, на которых виднелись маленькие таблички с фамилиями обитателей этих комнат. Если бы не обилие цветов на подоконниках и не портьеры на дверях, то это было бы скорее похоже на хорошую поликлинику, чем на интернат.

...Время тянулось медленно...

Новоселов снова почувствовал тошноту, поднимающуюся от сердца к горлу, сводящую челюсти, и привычным движением бросил в рот две крупинки нитроглицерина. Тошнота понемногу улеглась. До обморока дело не дошло. Но в боку продолжалась ноющая боль.

Вокруг него шла будничная жизнь интерната: проходили нянечки, придерживая подбородками кипы выглаженных простынь, распространявших хлористый запах; в отдаленном конце коридора перед дверью врачебного кабинета на стульях вдоль стены сидели разнообразные старухи и старики, терпеливо дожидавшиеся своей очереди; сверху, со второго этажа, куда вела широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой на медных прутьях, долетали голоса гуляющих по верхнему коридору людей и мурлыкало радио; откуда-то несло теплыми кухонными запахами, и Новоселов с чувством зависти размышлял о том, как хорошо и сытно живет здесь персональным пенсионерам союзного значения.

...Санитар провез по коридору в кресле на колесах парализованного старика с пледом на коленях; у него было наполовину неподвижное лицо, на котором непостижимо живо и рали карие, как бы веселые глаза, полные иронии и юмора...

Новоселову показалось, что он уже когда-то видел их, много лет тому назад, когда он давал против Екатерины Герасимовны свои лживые показания, а следовательно все время смотрел на него темно-карими пронзительными глазами, полны и скрытой иронии и недоверия.

Вполне возможно, что это был именно тот следователь. А почему бы и нет? Новоселов почувствовал такую же точно душевную неловкость, которую испытывал тогда, — жгучий стыд, смешанный со страхом и подавленным сознанием подлости, которую он совершает.

Живые карие глаза посмотрели на него, и санитар провез слетка повизгивающее по линолеуму кресло дальше, за портьеру.

Был ли Новоселов узан? Если и был, то что из этого? Он просто любыми средствами хотел тогда устранить со своего пути жеици-

ну, которая, как ему казалось, может помешать жениться на другой. Впрочем, он напрасно пошел на подлость. Она устранилась сама.

...Но ведь это было так давно...

В ту пору он был, как говорится, мужчина в самом соку, уже начинающий полнеть, большой, видный, с хорошим служебным положением, с большими перспективами, со всеми повадками растущего администратора, почти уже сановника,—вальжной походкой, негромким голосом, многозначительным взглядом красивых крестьянских глаз с холодной поволокой из-под золотых колосистых бровей, которые так нравились женщинам.

Екатерина Герасимовна была на десять лет старше Новоселова. Она никогда не отличалась красотой, но у нее была та живость лица, та открытая улыбка, та женственность и миловидность, которые заменяли ей красоту. Однако разница лет в конце концов сказалась, и в семье Новоселовых произошла драма, весьма обычная в подобных обстоятельствах.

Он увлекся молодой девушкой — обольстительно красивой и доступной, что еще больше разожгло его страсть.

Впрочем, она уже давно была не девушкой и принадлежала к тому типу маленьких хищниц, для которых любовь была единственным и самым верным средством добиться наилучшего положения в обществе и богатства, которых она была лишена с детства.

Легко и просто сделавшись любовницей Новоселова, получив от него все, что можно было получить любовнице от немолодого женатого человека, она с неукротимой энергией, пользуясь всеми средствами своей молодости, красоты и полным отсутствием порядочности, во что бы то ни стало решила сделаться его законной женой. Он слабо сопротивлялся, но в конце концов потерял голову и женился, сделав ее бесконтрольной хозяйкой своего дома и познакомив со всеми своими друзьями.

Войдя в общество и осмотревшись, новая, молодая жена быстро сообразила, что Новоселов вовсе не является вершиной, а есть еще много мужчин, занимающих куда более высокое положение, чем он. Хотя все эти мужчины были давно женаты, имели детей и даже внуков, но молодая Новоселова, которая уже испробовала свою женскую власть над мужчиной, поняла, что надо ковать железо, пока горячо.

В девятнадцать лет она необыкновенно расцвела, у нее появилась накладка из черно-бурых лисиц, а в ушах бриллианты, причем еще не очень крупные, и когда она в нарядном длинном платье из черного тончайшего панбархата, тисненого цветами, с обнаженными руками и маленькими, как бы не вполне глубоко прорезанными пальчиками с малиново накрашенными ногтями сидела рядом с Новоселовым в партере Большого театра на каком-нибудь парадном спектакле — прекрасная, со скользящей улыбкой полуоткрытых телесно-розовых губ, с ямочками на локтях, с блестящими, фаянсовыми, как бы всегда мокрыми веками серо-голубых, веселых, бесстыдных глаз, — она притягивала к себе взгляды мужчин. Ее окружало как бы магнитное поле вождения мужчин и ненависти женщин, чуввших в ней опасную соперницу.

Она сознавала свое могущество, в то время как ее муж — Новоселов — испытывал глупое чувство гордости, что он владеет таким лакомым кусочком, и в то же время терзался жгучей ревностью, так как в глубине души понимал, что эта молоденькая, соблазнительная, доступная потаскушка в любой миг готова его променять

на более выгодного мужчину, для того чтобы подняться на еще более высокую ступень общества. Скоро бывать с нею на людях сделалось для него пыткой. А она, как назло, стремилась показываться в наиболее людных местах — в театрах, на концертах, на стадионах, в гостях на вечеринках, — вернее, не показываться, а показывать себя, — жадно высматривая следующего мужа.

Жизнь Новоселова превратилась в смесь ада и рая.

Он не сомневался, что в отсутствие его — когда он бывал на работе, на заседании или уезжал в командировку — она ведет какую-то свою тайную, порочную жизнь, что у нее есть любовники.

Она была осторожна, как маленькое хитрое животное, однако не настолько умна, чтобы не оставлять никаких следов. Впрочем, она и не стремилась к этому. Она была слишком ленива и разнузданна, чтобы заниматься этим скучным делом, требующим много стараний. Чем хуже, тем лучше! Иногда она нарочно вызывала его подозрения.

Теряя голову от ревности, он становился беспомощным, и тогда она могла делать с ним что угодно.

Однако найти нового мужа рангом повыше оказалось не так-то легко.

Их совместная жизнь затянулась на несколько лет, о которых он не мог вспоминать без ярости. Страдало не только его самолюбие, начало страдать также и служебное положение. Она его компрометировала. Он стал посмешищем. О ней рассказывали анекдоты. Он стал устраивать ей публичные скандалы. Однажды они подрались в Большом театре на возобновленной опере «Иван Сусанин».

...Он исподтишка, чтобы не заметили соседи, больно стукнул ее каблуком по ноге в лакированной туфельке; она завизжала и укусила его за палец, а потом нарочно хохотала и плакала, и бешеные, злые слезы текли из прелестных глаз по неподвижно улыбающемуся лицу, по пушистым, как персики, щекам, по маленькому безукоризненному носику, в то время как на сцене под звуки оркестра звенела колокольчиком колоратурная ария Антонида, а из-за алой шелковой занавески боковой ложи кто-то на них возмущенно шикнул...

Несмотря на то, что она давным-давно бросила его и с тех пор дважды выходила замуж, пока наконец не нашла себе мужа, который вполне удовлетворил ее самые честолюбивые мечты, Новоселов все еще переживал былые страсти и унижения, доведшие его в конце концов до того жалкого положения, в котором он находился.

Смертельно больной, чувствуя ни на минуту не прекращающуюся зловещую боль в кишечнике, где недавно ему сделали бесполезную операцию, он смотрел теперь в громадное интернатское окно, против которого сидел, и видел голые серые яблони фруктового сада, несколько голубых елей, решетчатую беседку, покрытую полупрозрачными пластиковыми рифлеными плитами солнечно-желтого цвета, где летом жители интерната могли почитать или поиграть в шахматы, несколько клумб роз, уже завернутых на зиму в солому.

Обнаженные деревья казались особенно печальными под темным небом, а над хвойным лесом, синевшим вдаль, над головатой верхушкой кирпичной водонапорной башни то и дело взлетали и кружились стаи галок, и где-то шумела дачная электричка.

...Вокруг было сумрачно, как вечером...

Мимо окна по мокрой асфальтовой дорожке быстро прошла маленькая согнутая старушка в вязаной шапочке и вязаных перчатках, держа в руке ореховую самодельную тросточку, на которую не опиралась, а лишь помахивала в такт своим шагам. Несколько юношей и девушек окружали старушку, приноравливаясь к ее стремительной, легкой походке. Мимо окна промелькнул старческий, несколько вороний профиль, очки, узел седых волос с черными нитями, высунувшийся из-под шапочки.

Новоселову и в голову не пришло, что это Екатерина Герасимовна. Он равнодушно смотрел, как она попрощалась с молодыми людьми и, уже взявшись за ручку двери, крикнула им на прощание что-то, по-видимому, очень веселое, потому что они дружно засмеялись. Затем старушка появилась уже внутри здания, и Новоселов видел, как она, аккуратно прислонив свою палочку к стене, сняла с себя пальто с узким куньим воротником и, став на носки, повесила его на рожек никелированной вешалки недалеко от пальто и веревочной кошелки с апельсинами Новоселова. Она протерла опрятным платочком запотевшие очки с увеличительными стеклами, высморкалась в другой платочек и довольно легко, хотя время от времени и останавливаясь на ступеньках, стала подниматься по лестнице на второй этаж.

Внезапно по какой-то особенности походки, по еле заметному прихрамыванию Новоселов узнал в этой старушке свою бывшую жену.

...Она дошла до верха лестницы, отдышалась и затем исчезла с глаз...

— Что же вы? — сказала нянечка, подбегая к Новоселову. — Ай не узнали? — И бросилась вверх по лестнице следом за Екатериной Герасимовной.

— Екатерина Герасимовна, — запыхавшись, сказала нянечка, входя следом за Новоселовой в ее комнату, — вас там внизу ждут.

Новоселова сразу не расслышала, так как была уже туговата на ухо.

— А? — спросила она.

— Вас ждут внизу! — крикнула нянечка.

— Кто? Я никого не жду.

— Мужчина. Говорит, что ваш бывший супруг.

На лице Екатерины Герасимовны сперва выразилось недоумение, но тотчас же на ее старчески бесцветных щеках появилась как бы тень румянца. Не говоря ни слова, она стала прятать в комод шапочку и перчатки, в то же время механически поправляя узел волос на затылке.

— Так же, как и вы, по фамилии Новоселов, — сказала нянечка.

Обычно живое и доброе лицо Екатерины Герасимовны сделалось отчужденным, недоброжелательным, как бы одеревенело.

— Мне нет надобности его видеть, — сказала она, сдвигая свои черные, почти не тронутые сединой брови, сросшиеся над переносицей.

Было бы неверно думать, что она совсем забыла о его существовании. Иногда во время бессонницы, перед рассветом, когда черные мысли одолевают стариков, она вспоминала свою жизнь с Новоселовым, всю историю их отношений, начиная с того дня, когда на занятия кружка, который она вела, впервые явился простецкий,

деревенский парень, и кончая той страшной ночью, когда она, взяв с собой только хозяйственную сумку с переменной белья, зубной щеткой и розовой пластмассовой мыльницей, навсегда уходила из дому, а он — уже располневший, большой, с залысинами, в домашних туфлях и байковой полосатой пижаме с бранденбурами — стоял, облокотясь о косяк двери, и на его крупном гладком лице с сонными глазами она видела лишь плохо скрытое нетерпение.

Они тогда не сказали друг другу ни слова и с тех пор больше никогда не виделись.

Конечно, до нее доходили кой-какие слухи о его несчастливой жизни с новой, молоденькой женой, но она была слишком горда, чтобы расспрашивать о подробностях. Она была непреклонна. Она не желала знать о его существовании. Даже когда ей осторожно намекнули на ту неблагоприятную роль, которую сыграл в ее деле бывший супруг, она пропустила это мимо ушей, как бы вовсе не слышала.

Доходившие до нее слухи о том, что новая жена бросила Новоселова, что он запутался в делах, с трудом избежал суда, стал сильно пить, изо дня в день катясь по наклонной плоскости, не доставили ей никакой радости, никакого удовлетворения: он и вправду перестал для нее существовать.

Любила ли она его? Было ли задето ее самолюбие? Была ли ранена ее душа? Несомненно. Она испытала все муки оскорбленной, обманутой и оклеветанной женщины. Но еще больше причиняло страданий сознание, что она не сумела своевременно понять Новоселова, разгадать в нем самого обыкновенного пройдоху, примазавшегося, сделавшего карьеру при помощи полюбившей его женщины, не подозревавшей, какую роль она при этом играет.

В сущности, она была по-детски простодушна и, несмотря на суровую школу революционерки-подпольщицы, а может быть, благодаря ей, привыкла видеть в людях гораздо больше хорошего, чем плохого. Перед ней всегда стоял образ простого человека из народа, труженика и героя.

Молодой Новоселов — крестьянский сын — как нельзя больше соответствовал ее, быть может несколько народническому, представлению о простом человеке, которому революция открыла дорогу к знанию и сделала многогранно образованным, полноценным членом социалистического общества. С тем же энтузиазмом, с которым она в первые годы советской власти боролась с неграмотностью, беспризорностью, религиозным дурманом, угнетением женщины, она впоследствии руководила разными кружками по подготовке молодежи к поступлению на рабфак. Она читала лекции на заводах и фабриках по истории классических трудов Ленина, Маркса, Энгельса, Плеханова. Она всю себя без остатка посвятила этой деятельности и была счастлива, когда замечала, что ее усилия не пропадают даром, начинают приносить плоды. Среди ее кружковцев Новоселов выделялся добросовестностью и упорством. Ей казалось, что он учится с вдохновением, с глубокой верой в то, что без знания невозможно стать настоящим коммунистом-революционером. Она видела в нем представителя того нового поколения, которое со славой завершит дело, начатое его отцами и дедами. Она полюбила в нем человека будущего. Она дала ему рекомендацию в партию.

Он стал приходить к ней заниматься на дом. Она любовалась его русыми волосами, постриженными под гребенку, его сатиновой

рубахой с косым воротом, охватывающим крепкую шею. Ей нравились его голубые ярославские глаза.

Она не могла не заметить, что знания даются ему с большим трудом, но по интеллигентской привычке приписывала это «наследию проклятого прошлого». Она подготовила его и протащила в институт, который Новоселов хотя и с трудом, но все же кончил.

...Теперь перед ним открылось широкое поле служебной деятельности.

К тому времени Екатерина Герасимовна уже стала женой Новоселова. Это произошло как-то совсем незаметно, естественно.

Насколько он был туп в науках, настолько он оказался энергичным и умелым администратором. Он всюду обзавелся полезными связями. Требовались новые люди, и скоро Новоселов сделался директором того самого института, который некогда с таким трудом окончил. Это была должность скорее хозяйственная, чем ученая, и здесь Новоселов оказался вполне на месте как администратор со связями. Однако у него хватило ума, чтобы придать себе также некоторый чисто академический блеск. Он часто выступал на собраниях по научным и политическим вопросам, делал доклады, которые ему помогала писать Екатерина Герасимовна. Впрочем, он никогда не полагался слепо на то, что советовала и писала для него она. Нередко он вносил в них свои поправки. Недостаточно глубоко проникнув в самую суть вопроса, он зато в совершенстве овладел научной и общественно-политической фразеологией, почерпнутой из энциклопедического словаря и газетных передовиц, что придавало его выступлениям наукообразный вид и политическую зрелость. Иногда он спорил с Екатериной Герасимовной по поводу каких-либо формулировок, если они входили в противоречие с общепринятыми положениями.

Однажды, перечитывая доклад, приготовленный для него женой, он сказал ей с мягким укором:

— Вот ты пишешь тут, Катя: «опричники самодержавия». А я с этой твоей формулировкой не совсем согласен, так как она не соответствует историческому значению явления опричнины. Ведь кто такие были опричники? Они были опорой централизованной государственной власти в лице царя Ивана Грозного, борového с реакционным боярством. Стало быть, опричнина была явлением для своего времени прогрессивным и нам нет никакой необходимости дискредитировать ее в глазах нашего народа.

Она с изумлением посмотрела на Новоселова, а он продолжал, не замечая ее взгляда:

— И вообще скажу тебе, Катерина, нам следует пересмотреть свое чисто интеллигентское отношение к личности Ивана Грозного. Кстати: почему мы называем его грозным? Для кого он грозный? Для удельных князей, для реакционного боярства. А для простого трудового народа, стремящегося к созданию единой, великой России, он вовсе не грозный. Лично для меня, например, он не грозный.

Он стал все чаще и чаще вносить в написанные ею доклады кое-что от себя. Иногда это получалось довольно забавно. Однажды там, где говорилось о какой-то международной конференции, он выразился так: «Этот представительный коллизей...» И повторил это странное выражение несколько раз. Видимо, оно ему очень понравилось. Когда

Екатерина Герасимовна высказала свое недоумение, Новоселов сказал:

— А что? Разве ты не знаешь, что сейчас принято говорить «представительный коллизей»?

Она засмеялась.

— Может быть, ты имеешь в виду не коллизей, а форум?

— Ну да, форум,— подумав, согласился Новоселов.— А я что сказал?

— Ты сказал: «коллизей».

— Ну так я просто оговорился.

Екатерина Герасимовна невесело улыбнулась. Дело заключалось в том, что в Москве недалеко друг от друга имелось два кинематографа, куда Новоселов любил ходить, еще будучи студентом, смотреть американские картины с Гарри Пилем: один назывался «Коллизей», другой — «Форум».

Эта ошибка не получила общественной огласки, и, читая свой доклад с трибуны, Новоселов строго, торжественно и внушительно произнес, оглядывая аудиторию через очки:

— Представительный форум лучшей части мировой прогрессивной интеллигенции.

...Он быстро пошел в ход...

Теперь, сидя на стуле возле своей кровати с хорошим пружинным матрацем и меняя резиновые прогулочные ботинки на домашние туфли, Екатерина Герасимовна вспоминала разные случаи из своей совместной жизни с Новоселовым.

Между тем толстая нянечка не уходила из комнаты, надеясь, что Екатерина Герасимовна сменит гнев на милость и согласится принять своего бывшего мужа. Нянечка жалела этого старика, выглядевшего гораздо старше своих семидесяти лет, судя по болтавшейся одежде, страшно исхудавшего, дурно одетого и даже, может быть, голодного. Хорошо бы сейчас старичка приласкать, напоить сладким горячим чайком.

— Ей-богу, Катерина Герасимовна, я удивляюсь, чего вы такая принципиальная. Посочувствуйте старому больному человеку. Все-таки ваш бывший муж...

Новоселова очнулась и посмотрела на нянечку, лицо которой выражало такое любопытство, а главное, такую душевную доброту, что Новоселова заколебалась. А может быть, в самом деле повидаться с бывшим мужем?

Она никак не смогла представить его себе больным стариком. В ее памяти он был тем Новоселовым, каким она видела его в последние годы их совместной жизни.

...вот он высокий, плотный, с заметно выросшим животом, в новом костюме сановно протискивается к столу президиума и занимает в нем свое привычное место, несколько сбоку; поворачиваясь туда и сюда плотным туловищем, он как бы опрастывает плечами вокруг себя место, чтобы просторнее было сидеть; особым, хорошо им усвоенным, профессорским движением выдергивает из нагрудного карманчика заграничные очки с двойными стеклами, в которых, как молния, проносится отражение всего зала с его лепным потолком и сверкающей люстрой, и несколько рассеянным — тоже весьма профессорским — жестом надевает на свой красивый, толстоватый в переносице нос; он прочитывает листок с повесткой дня, с глубокомысленным видом делает на полях несколько пометок карандашом, а

затем таким же хорошо отработанным движением, зацепив указательным пальцем за ухом дужку очков, сдергивает их с носа и, как фокусник, опускает в нагрудный карманчик, откуда выглядывает конец носового платка; и все это так внушительно, с такой ученой солидностью, что никому из сидящих в зале и в голову не придет, что этот человек с профессорски строгим лицом, в сущности, ловкий администратор, который держит в своих цепких руках все институтское хозяйство — не больше.

Он сидит рядом с известными учеными как равный среди равных, и никого это не удивляет, и никто понятия не имеет о том, что до сих пор Новоселов даже не совсем грамотно пишет и недавно машинистке, перепечатававшей его статью, пришлось исправить две орфографические ошибки, так как вместо слова «майор» он написал «маеор», а вместо «сметана» — «смитана».

...Он сидит в президиуме. Все к этому привыкли. Никого это не удивляет...

Первое время не удивляло это и Екатерину Герасимовну. Но вот в один прекрасный день она вдруг как бы очнулась после глубокого сна и посмотрела на Новоселова трезвыми глазами.

Посмотрела и пришла в смятение.

— Так как же будет, Катерина Герасимовна? — жалобно спросила нянечка, не трогаясь с места.

В это время в комнату вошла сестра-хозяйка, держа в одной руке вазу с яблоками и печеньем, а в другой — стеклянный кувшин с шиповниковым настоем.

— Я думаю, — сказала она Новоселовой, — вам будет удобнее пригласить товарища Новоселова к себе в комнату.

— Ах, нет, только не сюда! — воскликнула Екатерина Герасимовна.

Она так привыкла к этой своей комнате, так сжилась с нею. Здесь провела она наедине сама с собой столько лет, среди тех немногих личных вещей, которые стали как бы частью ее самой. Здесь в зеркальном шкафу висели ее платья, кофточки, внизу стояло несколько пар обуви, всегда починенной и хорошо вычищенной, предназначенной для разной погоды. Она привыкла беречь свои вещи, сама за ними ухаживала, проветривала, штопала. В комодке хранилось ее белье, а также те немногие дорогие ее сердцу вещи и бумаги, без которых она не мыслила своего существования: выпись из метрической книги — бумага, сложенная вчетверо, истлевшая на сгибах, с двуглавым орлом над церковнославянскими буквами и подписью настоятеля иваново-вознесенской церкви, где ее крестили; в графе родившихся было выведено писарской прописью, порыжевшими чернилами — Екатерина. Как явствовало из метрической выписки, она была единственной девочкой, родившейся в этот день в Иваново-Вознесенске; остальные четырнадцать были мальчики. Почему-то это особенно умиляло Екатерину Герасимовну. Тут же в шкатулке, оклеенной ракушками — сувенир из Ялты, — хранились аттестат об окончании гимназии, свидетельство о том, что она в течение трех лет обучалась в Москве на Высших женских курсах, но не окончила их, так как была исключена и привлекалась по делу о восстании на Красной Пресне, и партбилет. Было здесь несколько семейных фотографий и одна-единственная сохранившаяся фотография времен гражданской

войны — группа работников политотдела Западного фронта, где на какой-то польской станции, на фоне пакгауза, среди прочих политотдельцев можно было найти в третьем ряду сверху очень молоденькую чернобровую девушку в мужской толстовке, с наганом за поясом и в смешной летней шляпке с бантом. Это была Екатерина Герасимовна, тогда еще носившая свою девичью фамилию — Скворцова, но более известная товарищам под своей подпольной кличкой Фиалка. Лежали еще в шкатулке красные коробочки с орденами и медалями Советского Союза. Их Екатерина Герасимовна по скромности никогда не носила, делая исключение лишь для большой красивой медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», которую она с детской гордостью надевала на кофточку в дни революционных праздников и в Женский день.

Это было почти все ее имущество; постельные принадлежности, полотенце, подушки, пижамы, посуда — все казенное, но как бы принадлежащее ей пожизненно.

В этой комнате она могла оставаться наедине сама с собой, когда временами ей надоедало общество товарищей по интернату.

Нет, ей ни за что не хотелось пускать сюда человека, давно уже ставшего для нее совершенно посторонним!

— Уж лучше я сама спущусь к нему вниз, — поколебавшись, сказала она сестре-хозяйке. — Незачем ему сюда подниматься.

Она подошла к раковине с горячей и холодной водой, вымыла руки, вытерла лицо, надела зеленую вязаную кофту и поправила волосы. Затем она взяла из угла свою вечную палочку и отправилась на свидание с бывшим мужем — маленькая, сильно согнутая, но все еще бодрая для своих восьмидесяти лет. На палочку она не опиралась, а лишь изредка прикасалась к полу ее концом не по нужде, а по привычке.

В тощем, плохо одетом старике, сидевшем в так называемом «гостевом уголке», она сперва совсем не узнала Новоселова — так он изменился, — и лишь по тому, как он посмотрел на нее, как засуетился, вставая с кресла, Екатерина Герасимовна поняла, что это он.

— Катя, это я, — сказал он, глядя на нее слезящимися глазами, выразившими страх. — Видишь, что со мной сделала жизнь?

Она была смущена не меньше его.

Молча они уселись друг против друга в кубические кресла.

Она хмурила брови, силясь понять, что его заставило к ней прийти.

«Я вас слушаю», — хотела она сказать, но успела сообразить, что это будет фальшиво, и не сказала ничего.

Ей показалось, что он всхлипнул. Помня его низменный характер, его расчетливость и хитрость, она никак не могла предположить, что он пришел для того, чтобы просто, по-человечески перед смертью попросить у нее прощения.

Однако это было именно так.

Умирающий, одинокий, всеми брошенный старик, мучимый во время бессонницы угрызениями совести и в то же время терзаясь сожалениями о том, что так бесславно прервалась его карьера, он припелся к Екатерине Герасимовне как к последнему прибежищу. Перед ней он чувствовал себя виноватым больше всего, и последние

месяцы, особенно после операции, его беспрерывно мучила мысль, что он может умереть, не получив от нее прощения.

Она смотрела на него с любопытством сквозь очки с толстыми увеличительными стеклами и ждала, что он ей скажет еще. В минуты душевного напряжения у нее резко ухудшался слух, и тогда ей приходилось пользоваться слуховым аппаратом. Теперь она воткнула в ухо белую пуговичку и поставила перед собой, поближе к Новоселову, аппаратик величиной со спичечную коробку.

Новоселов сначала подумал, что это магнитофон и она хочет записать его слова. Он вздрогнул и отшатнулся. Но потом сообразил, что это всего лишь невинный слуховой аппарат, и успокоился. Однако испуг, который он почувствовал, сбил его с толку, и, вместо того чтобы просто, по-человечески сказать: «Прости меня, Катя»,— он стал беспорядочно, пятое через десятое, описывать свою неудачную жизнь, свои несчастья, бедность, наконец, свою болезнь, обвиняя врачей, что они его плохо лечат: сделали ему операцию в полости желудка и тут же зашили, что ничего опасного не обнаружили, разрешили ходить, а он с каждым днем теряет в весе, испытывает адские боли, не может принимать пищу и чувствует, что ему приходит конец, а «эти коновалы, черт бы их побрал», ничего не могут для него сделать.

Потом он начинал говорить о погубившей его женщине, о том, как она его подло обманывала с каждым мужиком, как она вытянула все его деньги, имевшиеся на сберкнижке, потом распродала потихоньку все его вещи, мебель, собрания сочинений классиков,— словом, обобрала как липку и безжалостно бросила, предварительно написав на него «телегу» о том, что он брал взятки с поступающих в институт, а также что он, вступая в партию, скрыл свое происхождение. Он не хочет себя оправдывать. Действительно, некоторые факты подтвердились. И он потерял свой партийный билет, хотя, слава богу, до суда дело не дошло. И жаль. Он бы на суде никого не пощадил. Но суда не было, и они его просто выбросили из института. «Даже не приняли во внимание мои заслуги, мой стаж».

— Ты только подумай, Катя,— с жаром говорил он,— из-за кого я пострадал? Из-за ничтожества, из-за известной ... Польстился, дурак, на красоту. Ну, действительно, слов нет, она была красавица на всю Москву. Верно я говорю? Ты не станешь этого отрицать? Ведь против факта не попрешь! Но какая оказалась гадина. Не так ли?

Он уже забыл, зачем пришел, и с таким увлечением стал описывать красоту «этой бабы», как будто одно это должно было не только обелить его в глазах Екатерины Герасимовны, но даже как бы придать ему особую ценность как человеку таких больших страстей. Потом он снова возвратился к своему увольнению из института, к гибели карьеры. Он быстро, заученными словами заговорил, что какой-то Мишаков давно под него подкапывался, оборвал на полуслове, а затем незаметно стал восхвалять себя. Лицо его сделалось высокомерным. В нем как бы просквозил прежний Новоселов.

Екатерина Герасимовна смотрела на него в упор, блестя очками, слушала его мусорную болтовню, и он становился в ее глазах все более и более омерзительным. Она ждала, когда же он наконец расскажет ей всю правду о своем доносе, но он ловко обходил этот случай из своей жизни и лишь один раз вскользь глухо сказал:

— ...я, конечно, Катя, поступил тогда по отношению к тебе довольно подло, но войди в мое положение: она меня околдовала... от

страсти я потерял голову. Она была так прекрасна! — прибавил он со слезами на глазах.

Екатерина Герасимовна резко выдернула из уха белую пуговку, намотала на приемничек шнурок и спрятала в карман кофты.

Теперь она окаменела. Она перестала его слушать. Его болтовня больше ее не интересовала. А он, ничего не замечая, продолжал говорить и говорить, и казалось — конца не будет его болтовне. Но вдруг он как бы очнулся, замолчал, уронил голову на круглый стол и заплакал.

— Катя, — сказал он глухим голосом, поднимая к ней мокрое лицо, — прости меня.

Она не расслышала и приложила ладонь к уху:

— Как ты говоришь?

— Прости меня, Катя! — закричал он, желая быть услышанным.

Но так как она ничего не отвечала, он вытер серым несвежим платочком щеки и со слабой улыбкой повторил:

— Прости меня, Катя. Ведь Христос велел прощать своих врагов.

Кровь прилила к ее лицу, щеки стали багровыми, глаза, увеличенные стеклами очков, грозно сверкнули.

«Ступай прочь, поганец!» — чуть не крикнула она, но сумела вовремя сдержаться.

Она поспешно встала с кресла и скороговоркой произнесла:

— Иван Николаевич, я не хочу вас видеть, вы мне неприятны, и, пожалуйста, окажите божескую милость, не утруждайте меня больше своими посещениями. Между нами не может... не может быть ничего общего... Уходи... ступай...

Она схватила свою палочку, прислоненную к кадке с фикусом, и пошла — почти побежала — прочь от Новоселова, маленькая, сторбленная в три погибели восьмидесятилетняя старушка с серебряным узлом волос, где отчетливо чернели головки шпилек. Она пошла по ковровой лестнице вверх мимо большой картины в золоченой раме, на которой был изображен русский пейзаж с березовой рощей и дощатыми мостками через маленькую речку, где так тепло и так грустно отражались румяные облака.

Весь интернат уже облетела весть, что к Екатерине Герасимовне приехал просить прощения бывший муж, и всем было интересно узнать: простит она его или нет?

Ловя на себе вопросительные взгляды, Екатерина Герасимовна не торопясь прошла в комнату и закрыла за собой дверь.

Нянечка проводила Новоселова в гардеробную, помогла ему всунуть руки в рукава пальто, отдала веревочную кошелку с двумя высохшими, маленькими, как орехи, апельсинами, выпустила из интерната и некоторое время смотрела в окно, как он, тощий и унылый, шел по обочине грязного шоссе по направлению к станции, где все еще ярко желтели сигнальные спецовки девчат, укладывающих новые, бетонные шпалы.

Затем нянечка поднялась на второй этаж, где пенсионеры гуляли по коридору в ожидании обеда, и сказала громким шепотом, чтобы все слышали:

— Так и не простила. Вот какая принципиальная.

И трудно было понять: осуждает она Екатерину Герасимовну или одобряет.

После этого дня прошло несколько глухих зимних месяцев: ноябрь, декабрь, январь, февраль...

...«свежеют с каждым днем и молодеют сосны, чернеет лес, синееет мягче даль,— сдается наконец сырым ветрам февраль, и потемнел в лощинах снег наносный...»

Кончалась длинная среднерусская зима, было начало марта. Стояла дивная солнечная погода, и Екатерина Герасимовна, позавтракав в общей столовой, собиралась на свою ежедневную прогулку. Она уже натянула на ноги две пары шерстяных чулок и надела резиновые ботинки, как вдруг ее позвали к телефону.

Телефон находился внизу, в гардеробной. Она торопливо пошла — почти побежала — по лестнице, уверенная, что ей звонят из газеты с просьбой дать небольшую статейку воспоминаний старой коммунистки-подпольщицы к Женскому дню. Каждый год в ожидании этого приятного звонка Екатерина Герасимовна заранее обдумывала тему и старалась не повторяться. В прошлом году она рассказала читателям о том, как на заре советской власти женщины, и она в частности, работали в комиссии Дзержинского по ликвидации детской беспризорности. В этой статейке она постаралась дать портрет несгибаемого большевика-ленинца, «железного Феликса». Теперь же она решила описать, как она при царизме сидела в Бутырьках, в сырой одиночной камере, где навсегда у нее испортился слух, и как в один прекрасный весенний день семнадцатого года ее освободил восставший народ.

Она взяла телефонную трубку, но оказалось, что звонят вовсе не из газеты, а из какого-то московского жэка. Незнакомый, неприятный мужской голос от имени группы товарищей извещал ее о кончине жильца дома, пенсионера Ивана Николаевича Новоселова и о том, что гражданская панихида состоится завтра в двенадцать часов дня в красном уголке домоуправления; просит прибыть без опоздания.

— Хорошо,— сказала она,— учту.— И положила трубку.

Известие о смерти Новоселова не произвело на нее особенного впечатления, как будто бы умер не бывший ее муж, а какой-то совсем чужой старик где-то на незнакомой московской улице, в комнате коммунальной квартиры, доставшейся ему после неоднократного размена жилплощади.

Новоселов уже давно не существовал для нее как личность, так что его смерть как бы совсем не коснулась души, лишь оставила маленький неприятный осадок.

Надев свое короткое драповое пальто с узеньким куньим воротником, натянув вязаную шапку, она вышла из интерната на воздух, опьянивший ее предвесенней свежестью, и сразу же была ослеплена бриллиантовым блеском сосулек, яркостью солнца и той особенной, густой, почти сицилианской синевою неба, какая бывает только в марте, в средней полосе России, над бесконечно раскинувшимися, сияющими, еще зимними снегами.

Екатерина Герасимовна была неутомимый ходок и ежедневно в

любую погоду совершала свои трехчасовые прогулки по окрестностям. У нее было множество маршрутов, хорошо ею изученных, несмотря на это, всегда интересных.

Она никогда не скучала во время прогулок, которые как бы соединяли в себе не только пространство и время, но были также поводом для размышлений о прошлом, настоящем и будущем. Мысли ее, освобожденные от мелочных забот и низменных интересов, свободно и музыкально текли, как те тропинки, по которым она без усталости двигалась своим на удивление легким шагом, несмотря на чуть заметную хромоту — следствие пулевого ранения в октябрьские дни в Москве при взятии Александровского училища.

Никто из ее товарищей по интернату не решался с ней гулять — она слишком быстро ходила, за ней трудно было поспеть. Правда, за последние годы у нее уже поубавилось прыти, но на прогулки она выходила регулярно, не давая себе поблажки.

В этот день она выбрала маршрут, наиболее соответствующий прелестному утру, — разнообразный, запутанный, по окрестностям вокруг интерната, часа на два.

Интернат находился в близком соседстве с летней резиденцией патриарха. Как бы далеко ни заходила Екатерина Герасимовна, отовсюду нет-нет да и выглянут в отдалении над верхушками мглистого хвойного леса золоченые маковки церкви, построенной еще при Иване Грозном в вотчине бояр Колычевых, мятежный род которых грозный царь вырвал с корнем.

До сих пор сохранился на маленьком церковном погосте, где можно было еще найти каменные, изъеденные улитками надгробья времен Отечественной войны двенадцатого года, обелиск с именами шестнадцати Колычевых, казненных Иваном Грозным.

...Никого не щадил царь Иван...

Каждый раз во время прогулки, когда над окрестностями, как маленькие золоченые солнышки, вдруг возникали луковки патриаршей церкви, Екатерина Герасимовна со свойственной ей живостью воображения представляла себе зимнюю лесную дорогу и едущего верхом, в меховой шапочке Ивана Грозного со своими удалыми опричниками, у которых к седлу были приторочены собачья голова и метла — символы опричнины.

...А вокруг вековые ели, древние сосны, по грудь утонувшие в сугробах, пронизанных уже почти весенним, ярким светом мартовского утра... И скрип крестьянского обоза, везущего в Москву на торг мороженых судаков, рябчиков, клюкву в лубяных коробах по стеклянню накатанной дороге, пересеченной лазурными тенями деревьев...

Она местами шла по старой лыжне и видела отпечатки чьих-то лыжных палок — кружочки с дырочкой посередине. Эти кружочки отстояли друг от друга на довольно большом расстоянии, из чего можно было заключить, что лыжник шел размашистым, быстрым ходом, и это придавало Екатерине Герасимовне еще больше энергии; она как бы вступала в поединок с неизвестным лыжником. Иногда она неожиданно проваливалась по колено и, слыша крахмальный звук оседающего под подошвой еще крепкого зимнего наста, глядя

по сторонам и наслаждаясь красотой, разнообразием подмосковных пейзажей, полной грудью вдыхала ни с чем не сравнимый, тонкий и вместе с тем остро опьяняющий запах зимнего леса — канифоли и скипидара — и начинающего незаметно подтаивать снега.

Она постояла в березовой роще, со всех сторон окруженная лайково-белыми стволами, сливающимися вдалеке непроницаемым сплошняком все того же нежного, молочного цвета, белое на белом.

...Волнистая пелена нетронутого лесного снега, чуть почерневшие у корней березовые стволы и как бы развешанные вверху над головой сети ветвей, сквозь которые безоблачное небо казалось еще более синим, даже мутно-сизым, на вид знойным, так что если бы вокруг не сияли мартовские снега, то можно было бы подумать, что это небо над раскаленной пустыней...

Она воткнула свою палочку в снег и наслаждалась тишиной. Тишина казалась ей полной, совершенной, мертвой. Но она знала, что такой тишины в природе не бывает. Наверное, это следствие развивающейся глухоты.

Прикусив зубами кончик варежки, она стащила ее с руки, достала слуховой аппарат, приладила его к уху и подняла над головой. Тишина стояла вокруг нее по-прежнему глубокая, полная, но уже не мертвая, как прежде. Теперь в этой тишине слышалось множество самых разнообразных звуков:

...Где-то постукивал дятел; хрустнул и упал на наст под тяжестью снега сучок; раздался короткий, отрывистый — как бы треск сломанного дерева — звук какой-то лесной птицы, повторявшийся с равными промежутками; со стуком и грохотом, по новым рельсам на бетонных шпалах, промчался будапештский экспресс — среди стволов замелькали длинные цельнометаллические вагоны, отбрасывая на снег отражение запыленных зеркальных стекол; над головой несколько боком пролетел неуклюжий вертолет, как бы с усилием гребя своими крутящимися веслами; подобный острию копья, слегка накренившись над лесом, мелькнул и круто ушел ввысь пассажирский самолет, и лишь после того, как он исчез из глаз, по верхушкам деревьев шархнул, как помелом, шум его реактивных двигателей; издали доносились пушечные выстрелы. Во Внукове на аэродроме происходила встреча какого-нибудь высокого гостя: президента, императора или короля.

А ведь Екатерине Герасимовне были знакомы эти места еще до революции. Возможно, что именно где-то здесь или, во всяком случае, где-то рядом, в так называемом Самаринском лесу, была та маевка, когда ее, молоденькую курсистку, арестовали и бросили в сырую одиночку Бутырок. Именно в память этого события она и получила партийную кличку.

...В ту пору в лесу росли фиалки...

По насыпи изредка проходил дачный поезд со смешным паровичком-кукушкой. Из черной головатой трубы валил вонючий дым, покрывая сажей деревья в лесу и осыпая мелкими угольками белые кителя городовых.

Екатерина Герасимовна стояла, прислушиваясь к звукам автомобилей, мчавшихся по невидимому за лесом Минскому шоссе. Некогда вместо него вилась дорога, кое-где покрытая щебенкой, и по ней в клубах пыли проезжали господские экипажи и гремели му-

жицкие телеги, и в воздухе стоял запах лошадиного пота, навоза, и над лошадиными гривами плавали тускло-оловянные мухи—слепни.

Откуда-то доносился скрежет бульдозеров и экскаваторов; в одном месте, высоко поднявшись над окрестностями, ворочался решетчатый кран. Екатерина Герасимовна знала, что это строится новый рабочий поселок.

Она так давно здесь жила, что прекрасно знала, где что строится, где что ремонтируется, где что проводится. На ее глазах глухая дачная местность превращалась в жилой массив с электрическим освещением, водопроводом, канализацией, телефоном, строительными конторами, поликлиникой, магазинами, парикмахерской, рестораном при станции. Сейчас здесь всюду рыли траншеи: прокладывались трубы газопровода. Здесь уже жили в пятиэтажных панельных домах тысячи людей, и это в основном для них ходили быстходные электрички, маршрутные такси.

Она уже так привыкла к этому вечному изменению форм общественной жизни вокруг нее и на ее глазах, что временами переставала его замечать, но иногда вдруг как бы останавливалась среди этого вечного движения и, осмотревшись, видела, как много уже сделала для народа та новая власть, за которую она всю жизнь боролась. И тогда ее старость, ее черные старческие думы во время бессонницы, ее усиливающаяся глухота, ухудшение зрения, ее неудавшаяся личная жизнь, одиночество, сознание неотвратимости скорой смерти отходили от нее прочь, и она испытывала такой душевный подъем, такую радость жизни — уже не столько своей личной, сколько жизни общей, всенародной, — что, казалось, счастливее ее нет человека на земле.

Надышавшись лесным воздухом, найдившись, насмотревшись, наслушавшись разных звуков, заканчивая свою прогулку, Екатерина Герасимовна вышла на дорогу, которая уже местами пропотела до асфальта, слегка дымясь, как это часто бывает на масляной. По дороге, огибающей высокий косогор, сплошь занятый разросшимся кладбищем, от рабочего поселка к станции целыми семьями — с детьми и бабушками — шли рабочие и колхозники. Многих из них Екатерина Герасимовна знала в лицо.

Тепло и добротнo, по-праздничному одетые, они здоровались с Екатериной Герасимовной: мужчины снимали меховые шапки, женщины улыбались, поздравляли с наступающим Женским днем, а дети в новых калошках на валенках махали ей варежками. Они привыкли встречать на дороге эту бабушку из интерната, которая иногда оделяла их ирисками и пряниками.

...Она уже была местной достопримечательностью...

За кладбищем с крестами, штaketниками, скамеечками, чтобы можно было посидеть у родной могилки, с фотографиями под стеклом, со всем его беспорядком и уютной теснотой, с его старинными соснами, кустарниками, бумажными иконками, с очень старыми и совсем новыми, едва начинающими оседать могильными холмиками, рассыпавшимися по всему крутосклону с тремя особенно высокими столетними развилыстыми соснами, возле которых виднелась острая глыба мрамора над могилой знаменитого поэта, находилось еще одно кладбище, где хоронили персональных пенсионеров из интерната. Оно было расположено на голой стороне косогора, лишенной растительности и соседствующей с патриаршим яблоневым садом, отделенным от интернатского кладбища глухим дощатым забором.

Отсюда, с возвышенности, открывался красивый вид на речку, огибающую громадное колхозное поле и уходящую куда-то вдаль, в заросли вербы и черемухи. Некогда она была большой судоходной рекой, о ней упоминалось в летописях, по ней плыли торговые корабли на веслах или под крутогрудыми парусами, бурлаки тащили глубоко осевшие баржи с рожью, пенькой, сырыми кожами; с течением времени река обмелела, осела и теперь бежала, еле заметная, извиваясь, как ручей,— курица перейдет вброд.

Через эту речку теперь прокладывался газопровод, и громадные трубы, обмотанные просмоленными лентами бумажной изоляции, во множестве были накинаны вдоль берега, среди железных бочек с битумом, под которыми тлели и дымились костры.

Посредине колхозного поля, еще сплошь занесенного снегом, виднелся дощатый сарай, где хранилась тара для клубники; поле было засажено клубникой.

Несколько лыжников в ярких свитерах прошли наискось через поле, блестя алюминиевыми палками, и за ними, все удлиняясь, по ослепительному снегу тянулась лыжня фиалкового цвета.

Отдохнула, полюбовалась широким пейзажем, где были как бы нарочно собраны все образцы среднерусской природы: поле, лес хвойный, лес смешанный, отдельные семейства древних берез, болотно-зеленые стволы осин, кораллово-красные тальники, прозрачное мелколесье, село с бревенчатыми избами, с рябинами в палисадниках, плотина, обсаженная вековыми головастыми ветлами, и за нею замерзший пруд, на котором виднелись крошечные фигурки деревенских ребят, гонявших самодельными клюшками шайбу, а еще дальше, на той стороне пруда, блестя стекла парников, и над ними возвышалась новая кирпичная труба центрального отопления, морковно-красная на зимнем солнце, и на горизонте розовато-синее, еще пока морозное, марево.

Она обошла интернатское кладбище с рядами одинаковых каменных надгробий в виде низеньких пюпитров, где на косо положенных мраморных досках были выбиты имена старых коммунистов. Их почти всех хорошо знала Екатерина Герасимовна.

В облике этого кладбища было что-то аскетическое, лишенное погребальной мишуры, очень строгое, почти протестантское.

Люди, похороненные здесь, кончили свою жизнь в глубокой старости, полжизни проведя в царских тюрьмах, в ссылках, на каторге.

Екатерина Герасимовна разыскала могилку своей самой близкой подруги, товарища по подполью и по Бутыркам, Сони Соколовой, которая умерла три года назад, смахнула с мраморной плитки снег и положила несколько прутиков вербы, наломанных во время прогулки. На прутиках уже обозначились почки и даже едва виднелся серебристый пушок.

Соня Соколова была тем человеком, товарищем, к которому Екатерина Герасимовна, оставив все Новоселову, побежала в ту страшную ночь, чтобы начать новую, одинокую жизнь.

Она вспомнила, что вчера умер Новоселов, и представила его в гробу, в красном уголке домоуправления: лысая голова на подушке, набитой стружками, обесцвеченные худые руки, выпуклые веки навсегда закрытых глаз, медали на бархатных подушечках, разложенных возле гроба на канцелярских стульях, и ящик с шахматами на пыльном подоконнике.

По-человечески ей, конечно, было его жалко, но это была жалость какая-то не настоящая, поверхностная. В глубине души она оставалась холодной и равнодушной к смерти этого человека, некогда ей близкого, а теперь такого чужого, даже больше чем чужого: врага.

Да, врага. Но не ее личного, а врага того святого дела, которому отдала она всю свою жизнь. Как могла она сразу не раскусить этого человека? Он был хитер. Раскусить его было не так-то легко. Но ведь Ленин еще в самом начале революции неоднократно предупреждал, что партии, ставшей у власти, партии государственной, нужно всячески опасаться примазавшихся.

То, что Новоселов был примазавшийся, не подлежало сомнению: надо было видеть, как жадно он пользовался всеми благами, доступными в его положении. Надо было видеть, как он постепенно достигал этого положения, не брезгуя никакими средствами. Надо было видеть, как он по-хамски держал себя с подчиненными, со студентами, машинистками, курьерами и как подобострастно, в какой скромной, заискивающей позе стоял перед начальством, полуоткрыв рот и как бы боясь пропустить малейшее драгоценное слово.

...Однажды она видела, как Новоселов нес за приехавшим в институт знаменитым академиком довольно тяжелое бархатное кресло, как он сладко, преданно при этом улыбался...

Екатерина Герасимовна вспыхнула и пошла домой мимо усадьбы бояр Кольчевых, мимо древней церкви, где только что кончилась обедня и на паперть выносили причащенных младенцев, завернутых в праздничные одеяльца, перевязанные поперек шелковыми лентами, в то время как сверху, с колокольни, звонко падали последние удары колоколов.

...и открылись железные ворота, и оттуда выехала большая машина, за стеклами которой между занавесок мелькнуло несколько князей церкви в клобуках с ниспадающими по сторонам черными шелковыми вуалями, а бородатые лица князей церкви были темные, оливковые, с густыми бровями и коричневыми кругами вокруг глаз, влажных, как маслины, из чего Екатерина Герасимовна заключила, что это, вероятно, возвращается после официального визита к патриарху делегация какой-нибудь восточноправославной церкви...

Подходя к интернату, она увидела множество своих товарищей, которые с палочками в руках ползли после прогулки домой к обеду — раскрасневшиеся, проголодавшиеся.

В гардеробе Екатерину Герасимовну встретила старшая сестра. Она сообщила, что звонили из жэка и напоминали о похоронах Новоселова, интересовались: приедет ли она хотя бы к выносу тела?

— Не поеду,— сказала Екатерина Герасимовна.

— А если будут еще звонить? — спросила старшая сестра.

— Скажите, что не приеду.— Она хотела прибавить: «не смогу», но вместо этого сказала то, что думала:— Не хочу!

И с этими словами пошла к лестнице, мимо столика, где на красной плюшевой скатерти стоял небольшой гипсовый бюст Ленина, который рядом с интернатскими стариками и старухами выглядел совсем молодым человеком.

После обеда к Екатерине Герасимовне пришли школьники местной десятилетки: три мальчика и две девочки — следопыты. Они приходили раз в месяц, надеясь выведать у Екатерины Герасимовны

что-нибудь из ее революционного прошлого или из времен гражданской войны.

Кое-что они уже вывели, например о той дореволюционной маме в Самаринском лесу, где росли фиалки и где Екатерину Герасимовну арестовали жандармы.

Школьники были в шелковых пионерских галстуках. Они долго молчали, сидя вокруг Екатерины Герасимовны. Стеснялись. Наконец одна наиболее бойкая девочка, разгладив на коленях батистовый фартук, спросила:

— Бабушка Фиалка, скажите, а вы были знакомы с дедушкой Лениным?

— Нет, не была знакома,— виновато вздохнула Екатерина Герасимовна.— Видеть видела, а познакомиться не пришлось.

Помолчали.

— А кого вы знали из вождей? — ломающимся детским баском спросил один из мальчиков.

Она замялась.

— Ну, например, знала товарища Фрунзе.

— Расскажите нам о товарище Фрунзе! — хором попросили пионеры, вынимая блокноты.

...И Екатерина Герасимовна стала рассказывать им о взятии Перекопа...

Март 1973 г.
Переделкино.



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

.

...То были тридцатые годы.
Меняли российский ландшафт
железные кровли заводов
и темные конусы шахт.

Под небом осенней печали,
как будто сказанья гряда,
сквозь струйки дождя возникали
вошедшие в степь города.

Нам снились в дощатых хибарках,
в жилищах самой тесноты
сквозные высокие арки,
висящие в тучах мосты.

А утром из глины и стали
на торжище вихрей степных
мы, песни шепча, воздвигали
дома сновидений своих.

Как ночью в неделю осады
и в день сотворенья земли
мальчишки тащили рассаду
и женщины рельсы несли.

И были тогда как расплата,
как свадебной кружки вино —
вонзенная в землю лопата,
светящее в мраке окно.

1948.

.

Первый день свободного труда.
никогда мы не забудем это:
первый хлеб и первая вода,
первый свет и первая газета.

Публикация Т. Стрешневой.

Сохраним мы в памяти своей
праздничное время созиданья,
как из обгоревших кирпичей
заново отстраивали зданья.

В нашем счастье жаркого труда
подружились шахты и колхозы.
Угольные мчатся поезда,
движутся колхозные обозы.

Мирный дым идет из наших хат.
И в сиянье зимнего заката
словно башни Химии дымят
каменные башни комбината.

1945.

* * *

Что делать? Я не гениален,
нет у меня избытка сил,
но все ж на главной магистрали
с понятием собственным служил.

Поэт не слишком-то известный,
я — если говорить всерьез —
и увлекательно, и честно
ту службу маленькую нес.

Да, безусловно, в самом деле
я скромно делал подвиг свой
не возле шаткой карусели,
а на дороге боевой.

Мой поезд, ты об этом знала,
гремя среди российских сел,
от петроградского вокзала
рывком внезапно отошел.

Свисток и грохот — нет заглушки!
Свет и движенье — не свернуть!
Его не кто-нибудь, а Пушкин
отправил в этот дальний путь.

И он прибудет, он прибудет,
свистя и движась напролом
к другому гению, что будет
стоять на станции с жезлом.

1972.

ВОСПОМИНАНИЕ. 1941

Гаснет электричество в окне,
Затихает музыка и пенье.
Вспоминает город в тишине
Дату своего освобождения.

В наших отвоеванных домах
Матери благословляют снова
Снег и кровь на блещущих клинках
Всадников из корпуса Белова.

Я в стихе, как в сердце, берегу
Силуэты конников в снегу,
На морозном поле площадей —
Легкие копыта лошадей,
На широких улицах больших —
Речь освободителей твоих.

Девушки Сталиногорска в книжки
Вписывают ваши имена,
И влюбленно держатся мальчишки
За своих героев стремяна.

Мчатся кони в солнечном просторе —
Конники проносят по фронтам
Смерть и горе гитлеровской своре,
Жизнь и славу нашим городам.

1947.

ЖЕНА

Красива и смела
пошедшая со мной —
ты матерью была,
и ты была женой.

Ты все мое добро,
достоинство и честь.
Я дал тебе ребро
и все отдам, что есть.

Как мысли и судьбе,
лопате и перу,
я отдал все тебе,
все от тебя беру.

Дождем меня омой,
печаль моя и смех,
корыстный подвиг мой
и мой невинный грех.

Халатик свой накинь.
Томительно ходи.
Отринь меня, отринь
и снова припади.

И снова погода
неслышно, будто рысь,
нахлынь не отходя,
не уходя вернись.

Дыханием обдуй.
Возьми как вышний бог

мой первый поцелуй
и мой последний вздох.

Оплачь не второпях.
Мне речи не нужны —
пусть скатится на прах
слеза моей жены.

Забудь меня, забудь
по счастью своему...
А я с собою в путь
одну ее возьму.

Декабрь 1955.

* * *

Чужих талантов не ворую,
я потаенно не дышу,
а сам главу очередную
с похвальной робостью пишу.

В работе, выполненной мною,
как в зыбком сумраке кино,
мое лицо немолодое
неявственно отражено.

Как будто тихо причащаясь,
я сам теперь на склоне дней
в печали сладостной прощаюсь
с далекой юностью моей:

Не дай мне, боже, так случиться,
что я уйду в твои поля,
не полистав ее страницы
и недр ее не шевеля.

1972.

РАБОЧАЯ ТЕМА

Опять пришло, опять настало время,
когда во всю писательскую прыть,
висясь и каясь, о рабочей теме
мы ежедневно стали говорить.

Опять мы ждем, достойного не видя,
что из цехов уже недалних дней
появится неведомый Овидий
с тетрадкой таинственной своей.

Что ж, пусть идет — уже настали сроки,
уже готовы души и сердца,
пускай они гремят и блещут, строки
безвестного великого певца.

Ну, а пока о нем известий нету
и точного не слышно ничего,

не позабыть бы нам о тех поэтах
рабочего народа своего,

о тех певцах, что в жизни небогатой,
по честному уменью своему,
прокладывали рифмой, как лопатой,
дорогу песен гению тому.

О тех, что есть и что недавно были
и в поисках добра и красоты
по сторонам дороги посадили
свои, быть может, бедные цветы.

Пускай же он, склонившись осторожно,
возьмет цветок иль, может, два цветка
из этих вот посадок придорожных
для своего тяжелого венка.

1972.



А. КАШТАНОВ

★

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН*

Повесть

Глава шестая

АРКАДИЙ БРАГИН

Три недели не было дождя и стояла, не смягчаясь ночами, редкая для города изнуряющая духота. В лабораториях не могли раскрывать окна — с разбитой напротив стройплощадки плыла повисшая в воздухе горячая пыль. И вот...

Лаборантка охнула, подбежала к окну и распахнула его. Аркадий еще не понял, что случилось, он еще видел, как клубилась вслед за машинами пыль на белых дорогах, а перед ним уже летели вниз первые дождевые струи, окрашенные пылью со стен. Неровный лесистый горизонт сразу стал размытым. Быстро темнело. Струи, все больше наклоняясь, хлестали сбоку.

Дороги испятнались оконцами луж, кипящих под ливнем. По опустевшей стройплощадке полз тупоносый «газик», словно облитый темным густым маслом. Под правой фарой слепо горел огонек — не выключенный указатель поворота.

Запотели стекла, в комнате стало совсем темно. И вдруг чуть изменился ветер, в окно сильно дохнуло свежестью, капли застучали по жестяному карнизу, отскакивая в комнату, лаборантка счастливо ойкнула и отпрянула от окна. Вдалеке по дороге шел застигнутый дождем человек. Рубашку и туфли он нес в руке, брюки завернул до колен. Лаборантка и Аркадий следили за ним и не замечали своих улыбок.

Через полчаса дождь начал редеть, медленно стали проявляться цвета за его завесой. Тяжело разворачивался на площадке автопоезд с длинной бетонной фермой, возникали вокруг него человеческие фигуры. Как вспышка, появились тени, отпечатались на охре песка. Еще минута — и дождь кончился.

А они все стояли у окна. Смотрели, как сразу увяз в грязи автокран, буксовал, окутывался сизым дымом. Опять начинало парить.

Позвонил Михалевич:

— Брагин, тебя к телефону.

Голос был чуть раздраженный: он, Михалевич, никому не запрещает пользоваться своим телефоном для личных дел, но разыскивать сотрудников по всему институту — это уже слишком.

— Алло, Аркадий?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

Аркадий, улыбаясь, слушал торопливый Анин голосок. Поймал любопытный взгляд Михалевича, тот сразу уткнулся в отчет, а Аркадий повернулся к нему спиной.

— У вас там тоже гроза? — кричала Аня. — У нас небо раскаляется! В три заberi меня со студии! Преступление — не искупаться в реке после такой грозы!.. Слышал? Слышал, как бабахнуло? Я бросаю трубку, я боюсь говорить по телефону в грозу! Значит, в три!

Все еще улыбаясь, Аркадий положил трубку и сказал Михалевичу:

— Я с обеда уйду, ладно?

— Валяй. — Михалевич с деланным вниманием читал отчет.

— Я завтра все закончу.

— Валяй, валяй.

«В три заberi меня». Анины приказы всегда звучат женственно.

Освободилась она в начале пятого. Аркадий ждал ее в кафетерии напротив студии. Зной уже высушил асфальт и воздух, опять раскалились улицы.

Приятель Ани на своем «Москвиче» отвез их за сорок километров, где чистая и спокойная Свислочь, пересекая луг, наполнила до зеленых краев низкие берега. Машина свернула с дороги и, оставляя два следа в мокрой высокой траве, остановилась у воды. На другом берегу торчали из травы морды коров, а из близкой березовой рощицы слышался сдержанно-напряженный сигнал горна — там был пионерский лагерь. Бросаясь в воду, Аня охала, а потом, барахтаясь в ней, стонала от наслаждения. Приятель ее, молодой, весь заросший черными волосами толстяк, отдувался и бормотал сам себе:

— Ой, помереть мне, ой, помереть мне, братцы..

Замерзнув, лежали втроем на берегу, впитывая кожей солнце. Когда влезли в машину, Аня вдруг надумала окунуться в последний раз, и мужчины ждали ее в душном кузове, с улыбками прислушивались к ее ликующим крикам.

Работа Аркадия была почти закончена, завтра он должен сдать отчет.

Аркадий уже испытывал неприязнь не только к скучным страницам отчета, но и к столу, за которым они писались, к своей лаборатории и к самому себе. Он говорил себе, что не нужно думать о работе. Что бы сказала о нем Демина из восьмой палаты, если бы была жива? Аня шла к ним, выжимая на ходу волосы, и ее приятель в шутку стронул машину с места, как будто хотел уехать без Ани. Также в шутку — ей хотелось смеяться — Аня догнала машину, вскочила на ходу. Она расчесывала волосы и, стараясь увидеть себя в зеркале заднего вида, наваливалась на Аркадия плечом. Волосы пахли речной свежестью.

Они очень устали, им было жарко. После душа Аня снова ожила и распевала во все горло. Аркадий слышал ее из столовой. Ему хотелось пить, однако он удерживался от желания подойти к холодильнику, чтобы в полной мере насладиться мечтой о холодном вине, прежде чем утолить жажду. Ему казалось, что в этом и есть секрет злополучной, не дающейся формулы «жить просто, по-человечески». Потом он стоял под ледяным душем, а Аня готовила ужин.

— Я умираю от голода, — сказала она и похвасталась: — Я еще ни к чему не притронулась, не веришь?

— Не верю.

— Ну только чуточку.

За едой она рассказывала весь свой день, кто что ей сказал, и что она ответила, и какие есть у них плохие люди (это те, которые

помогли получить роль ее сопернице), и какие есть хорошие (те, которые помогли Ане). Он любил смотреть, как она ест, и почти не слушал ее, а она возмущалась:

— Ну что ты так сидишь? Ты меня не слушаешь!

Он подкладывал в ее тарелку зелень и мясо и наконец почувствовал аппетит сам.

Открывая бутылку вина, он был почти счастлив.

— Ой,— сказала Аня,— дай мне.

У нее не хватило терпения налить в свой бокал, она перегнулась через стол и допила бокал Аркадия.

Месяц назад он сказал ей: «Если бы ты вышла за меня замуж, я был бы рад». Она удивилась. Он объяснил: «Я трус. Едва я начинаю ценить что-либо, я уже боюсь это потерять». — «У меня плохой характер». — «У меня тоже». — «Вот видишь? А у одного из двоих обязательно должен быть хороший». Плохим характером она считала способность плакать и падать духом из-за пустяков. Неудачи делали ее жестокой и глупой — ненадолго. Но, может быть, у нее будет впереди мало неудач? С неудачами он поможет ей справиться, лишь бы она умела радоваться удачам. Она добрая, Аня. Она лелеет в себе доброту. Она действительно отдает себя искусству, сохраняя для него свой характер — как сохраняют диетой фигуру, — сохраняя доброту и детскую непосредственность, и потому даже переигрывала в них в жизни.

...Он впервые увидел ее шаловливой барышней прошлого века в белом корсете на китовом усе, с малиновой шнуровкой. Малиновые же туфельки выпархивали из-под длинной лиловой юбки, она бежала, отставая от операторской тележки, взлетела на взгорки и замерла — резная корабельная фигурка под бушпритом («Ах, я сейчас полечу!»), шаловливый зверек, он никогда не взлетит, зачем ему отрываться от такой теплой и мягкой земли; вокруг в самом разгаре был солнечный апрельский день — акварельный апрель с открытым голубым небом, с распахнутым на все стороны простором в размытых дымках над плоскостями земли, голубых по горизонту, фиолетовых, пепельных и желто-зеленых в маленьких рощицах, с чуть заметным течением влажного сладковатого воздуха.

Аркадий с любопытством новичка осматривал громоздкую технику операторов и осветителей, приглядывался к людям, занятым своим делом. Бродил по топкому берегу весенней мутной Сожи, раздвигая перед собой голые ветки ольшаника. Ночью в гостинице райцентра, в которой расположилась съемочная группа, он не мог заснуть. Оделся, бродил по незнакомому спящему городку. Забрел в рощу, спустился к реке. Вода почти не двигалась, и было так тихо, что слышался ее плеск у коряги где-то справа. Начало светать. Свет, странный, не дающий тени, казалось, как туман, поднимался снизу, от маслено-тяжелой воды. Редкие голые деревья на близком другом берегу в темноте казались лесом, но вот они стали отделяться друг от друга, просветы между ними проявлялись, как на фотобумаге в ванночке фотографа. Серые берега в полегшей за зиму осенней траве стали расцветиваться блеклыми желтыми тонами с тусклой прозеленью. Когда-то мечтал о путешествиях, но вот он оказался гостем неведомой страны — весеннего рассвета. Незнакомцами были деревья, проснувшаяся и хрипло вскрикнувшая птица, безмянными были последние звезды на небе. В тишине послышались звуки со съемочной площадки — удары металла, мужские голоса. Они звучали с той отрешенностью, которая бывает под утро при ночной бессоннице или в дальней неспешной дороге. Вдруг становится понятным все, и прежде всего ты сам. Вспоминаются минуты вот такой же тишины —

тенистый проселок, выводящий в застывшее на солнце поле гречихи; отдаленная скамейка в городском саду; тамбур вагона и ночная остановка, глухо стукнулись буфера, надвинулся на стекло и замер фонарь, пробежал кто-то по перрону, светом выхвачены из темноты низкие станционные строения; и эти минуты кажутся теперь самыми важными и счастливыми в жизни. Хочется начать жизнь сначала, жить неторопливо, пристально и чисто.

Весь день он сторонился людей, стараясь сохранить в себе рассветную тишину. Пора было уезжать. Он ждал студийного автобуса, поднялся на пригорок, и река и все за рекой до самого горизонта оказалось внизу. Он сел на траву лицом к теплому солнцу, распахнул пальто. Счастье невозможно без ничегонеделанья, счастье невозможно без ничегонеделанья... Откуда это? Из писем больного Чехова...

...Вечерами Аня любит сидеть на балконе, слушать шум двора: детские крики, шелест шин по асфальту, обрывки телепередач из окон, голоса, удары выбивалки по ковру.

— Ты меня не слушаешь?

— Ну что ты.— Аркадий в доказательство повторил ее последние слова, успев ухватить их краем сознания.— А дальше?

— Уже забыла... Да ну тебя, я засыпаю.

Темнело. Аня сидела в кресле старика Брагина, поджав под себя ноги, уронила голову на подлокотник. Аркадий собрал остатки ужина, унес на кухню. Когда вернулся, Аня спала в кресле. На коленях лежал плюшевый медвежонок из Олиных игрушек. Стало совсем темно. Не зажигая света, он приготовил постель в спальне родителей. Аня пробормотала:

— Я не сплю.

Высвободилась из рук, нетвердо пошла в спальню и сказала виновато:

— Я очень устала.

Он постоял у мягко закрывшейся двери и в эту минуту был уверен, что любит ее.

У него есть Аня. Одни ищут свободу, другие — якоря. У отца есть Оля, у матери — ее всегдашняя готовность помогать. У него есть Аня, которую он любит.

«Чем я недоволен?» — удивился он.

«Твоя беда, — говорила Лера, — что ты считаешь себя обязанным быть счастливым».

А почему не так? Или в нем какой-нибудь изъян? Впрочем, как знать. Он как ящик со стекляшками. Чтобы они не разбились, ящик надо плотно набить стружкой или ватой, любой ветошью, лишь бы не осталось пустот. Так и он набивает работой свою жизнь. Возможно, то же у всех. Аня?

Но можно ли научиться у Ани? Есть вещи, которые можно терять, но нельзя найти.

Он всегда упрекал себя, что не умеет жить настоящим, жить сегодняшним днем, простыми радостями. А что такое жить настоящим? Когда мы осознаем мгновение, оно становится прошлым. Сознать жизнь уже означает жить прошлым и будущим. Простые радости? Их нет. Когда они становятся целью, они создают гурманов и сладострастников. Те, изощряя вкус, делают его рабами.

Простое стремление к чувственным удовольствиям взрывается человеком изнутри. Человек и в бездуховных наслаждениях обязательно ищет идеал, в плоти ищет соответствия мысленной модели, и принцип удовольствия самоуничтожается.

Жить просто, по-человечески? Янечка, Янечка, ты спрячешь рожки под прической, а в туфлях — раздвоенные копытца.

Он лег и погасил свет.

— Аркадий, ты спишь? — услышал он издалека голос Ани.

Голос был тихим. Может быть, ему показалось? «Конечно, показалось», — подумал он, прислушиваясь. Как просто и ясно все, и как хорошо, и можно ли быть таким безнадежно скучным? И можно ли любить такого человека? Ему казалось, что завтра он станет другим — любимым, каким угодно, лишь бы не наскучить Ане, лишь бы она любила его. Нет, она не сможет, она уже разочаровалась...

— Аркадий... Ты спишь?

Глава седьмая

ВЛАДИМИР КОРЗУН

Сохраняя невозмутимость, Корзун неторопливо пересек полутемный и пустой вестибюль ресторана и стал подниматься по лестнице в зал. Жена пыталась взять его под руку, но навстречу им бежали встречать молодоженов нарядные парни и не давали ей поравняться с мужем.

Молодожены приехали на двух серо-голубых машинах. На антеннах за багажниками развевались голубые и розовые ленты. Машины остановились перед крыльцом. Жених, совсем еще мальчик, бережно вел под руку невесту в фате, уставшую от общего внимания, но привлекательную и заразительно счастливую.

Молодые шли быстро и на лестнице догнали Корзуна. Жена толкнула мужа в спину: «Быстрее!» — но он ничего не чувствовал и не слышал. Он волновался, а от волнения всегда цепенел и потому казался особенно монументальным. Так Корзуны и появились в зале на шаг впереди молодых. Жених догадался немного задержаться, чтобы дать Корзунам время исчезнуть с пути. Шеренга гостей втянула их в себя, оркестр заиграл туш, и молодые пошли, осыпаемые цветами.

Корзун еще не вышел из оцепенения и ничего не воспринимал. Минута, которая должна была принести торжество, пропадала даром. Он пережил ее раньше, неделю назад, когда получил приглашение на свадьбу к молодому Грачеву. Сколько человек с завода могли получить приглашение? Может быть, десять или двадцать из тридцати тысяч. И сегодня, когда они с женой одевались, их одежда неожиданно приобрела для него особое значение. Она уже принадлежала не только им, но была частью картины «На свадьбе у Грачева». Корзун чувствовал уважение к своим вещам. Жена тоже была частью этой картины, что помешало Корзуну привычно прикрикнуть на нее, когда она замешкалась перед входом.

Будет ли на свадьбе прежний директор? Семь лет старший Грачев занимает его место. Прежнего директора Корзун видел-то всего три раза за много лет работы, да и то издали, во время митингов, но он твердо знал: прежний директор был д и р е к т о р, казалось, он всегда был директором, и никто не задумывался и не вспоминал, был ли до него другой директор. Старики знали о нем много историй, почти легенд, в которых он был крутым, карающим быстро, как молния, и не ошибающимся хозяином. Тогда был порядок. Корзун любил пересказывать молодым эти истории, подчеркивая в них решительность прежнего в сравнении с нерешительностью теперешнего. Нет, против т о г о Грачев слаб. Слишком высоко стоял для Корзуна тот, чтобы

его мог заменить знакомый-перезнакомый Грачев, недавний начальник цеха и предзавкома, почти ровесник, который выдвинулся на глазах у всех.

Но все сомнения в Грачеве рассеялись, когда Корзун получил приглашение на свадьбу его сына. Правда, в торжестве был неприятный привкус. Корзун старался не вспоминать о том, что попал-то он на свадьбу случайно. Старший Грачев, стараясь сделать ее поскромнее, выбрал столовую-ресторан на окраине района. Как водится, послали приглашение администрации. Заведующая пойти не захотела, отдала пригласительный билет жене Корзуна. Вот как он сюда попал. Этого никто не знает, а увидят его здесь многие. Он уже и сам забыл, что приглашен как муж повара. Да не в этом дело — увидят, не увидят. Важно, что он здесь... Но привкус оставался. Тем более шеф-повар тоже здесь, что наполовину обесценивает присутствие самого Корзуна. Шеф-повар будет подходить к ним как к своим.

Толпа гостей в голом пространстве зала беспорядочно шевелилась, распадалась на кучки. Радостно и шумно встречались знакомые. Корзуны как оказались около стены, так и не двигались с места. Корзун тоже высматривал знакомых в толпе. Громко хохочет шеф-повар, пристроился к какой-то компании. Этот нигде не пропадет. Корзун уже сердился, что шеф-повар не подходит к ним. А там — Брагина посреди зала с маленькой старикашкой разговаривает. У всех на виду, себя показывает. Тесть ее — давний друг Грачева, оттого-то она здесь. И эти брат и сестра, интеллигенты, рядом с ней стоят. В старикашке что-то знакомое... Грачев к нему подходит...

Корзун так и не узнал в «старикашке» бывшего своего директора. Он заметил в беспорядочном общем течении направленное движение к стеклянной стене. Вдоль нее во всю длину зала был накрыт стол, и надо было занять места не слишком близко, но и не слишком далеко от новобрачных. Корзун издали наметил два стула и, подхватив жену под локоть, устремился к ним. Они оказались у стола первыми, и хоть какая-то женщина громко говорила всем: «Садитесь, садитесь, товарищи, пожалуйста, садитесь», жена локтем прижала руку Корзуна и шепнула:

— Погоди.

Тут вокруг задвигали стульями, и Корзуны сели. Грачев торопливо обходил гостей за их спинами, около некоторых задерживался. Корзуну он положил руку на плечо и сказал полупшепотом:

— Следить, следить, следить за рюмками, следить, вон там не налито, следить...

Совсем простым дядькой оказался Грачев. Однако голова у него — будь здоров. Ведь один только раз он видел Корзуна на совещании и, поди ж ты, запомнил. А Корзун не верил раньше, когда говорили, что директор помнит наизусть все заводские телефоны.

Начались тосты. Иные из них были похожи на речи, и тогда шеф-повар с середины стола кричал:

— Регламент!

Остряк... Грачев опять пробрался на другой конец стола, к молодежи, обнял сзади сколько сумел обхватить:

— Молодежь, а от вас никто ничего не скажет? Все мы, старики?

— Вот Костя у нас!

Поднялся обрубочик Климович. Этот здесь, наверно, как друг жениха или невесты. Невеста на другом конце стола даже вилок по бутылке застучала, чтобы все стихли. Климович, понятное дело, волновался, волосы на лбу взмокли. Достал бумажку. Конечно, у Грачева все как надо организовано...

Я поднимаю свой бокал,
 Чтоб явью для обоих стал
 Высокий, светлый идеал
 Любви и верности святой...

Стихи были длинными. Потихоньку снова стал усиливаться гул голосов. Шеф-повар не очень громко, но все-таки сказал:

— Регламент.

— Потихе, товарищи,— сказал ему Корзун.

Между Костей и Корзуном сидели Брагины, соседом его был Аркадий. Хотя Корзун и относил Аркадия к самым безнадежным интеллигентам, разумея под этим племя хитрое и паразитическое, за столом он всегда настраивался доброжелательно к ближайшему соседу и недоброжелательно к более отдаленным.

— Это шеф-повар,— объяснил он Аркадию.— Живет человек.

— Хорошо живет? — поддержал разговор Аркадий.

— Умеет.

Иронию Корзуна Аркадий не заметил и посмотрел на весельчака уважительно.

— Молодец,— продолжал Корзун.

— Молодец? — Аркадий счел себя обязанным порадоваться.

— Отчего ему не веселиться? Шеф-повар. Представляешь?

Жена дергала его за рукав.

— Нет,— сказал Аркадий, начиная представлять.

— Вот кого-нибудь поймают, посадят, ну и что? Семья обеспечена, деньги припрятаны. Выйдет — поживет.

— Дайте слушать,— сказала Аня.

Утром она заметила пригласительный билет на холодильнике: «Что это?» — «Да так... Разве тебе хочется?» — «Никуда мы с тобой не ходим. Так закиснуть можно». А Аркадию-то казалось, ей достаточно общения с ним.

Раз они здесь, глупо быть недовольным. Аркадий, вспомнив о своем решении быть всегда довольным, ласково дотронулся до плеча Корзуна.

— М-мм... Давайте послушаем.

— Больно уж длинные стихи подобрали.

— Подобрали? По-моему, он сам их сочинил.

— Это мой обрущик Климович... А я так бы делал: попался, так вся семья отвечай — жена, дети, родители. Ведь знали же, пользовались... Тогда неповадно было бы.

Жена опять дернула его за рукав.

— А-мм,— сказал Аркадий, растерявшись.

— А по-твоему, что? Воспитывать? Довоспитывались. Меня дед ложкой по лбу воспитывал. Снимал штаны и воспитывал. Так я, между прочим, в двенадцать лет уже трудодни зарабатывал. И школу окончил. А мне в школу пять верст надо было ходить. И, как видишь, вечерний институт осилил. И еще в это время младшую сестренку кормил.

«Я не имею права насмеяться над ним»,— подумал Аркадий.

— Я не против воспитания,— продолжал Корзун.— Воспитывать тоже надо. Но одним воспитанием ничего не сделаешь.

— Конечно.— Аркадий обрадовался возможности согласиться.

— Все-таки сознание у людей еще... Чего там скрывать. Я тебе скажу, Грачев — головастый мужик, каких мало, но при Васине порядка куда больше было. А ведь не скажешь, что он не воспитывал. Когда надо, он и воспитывать умел. Рассказывают, он как-то вызвал к себе пома по кадрам. Тот пришел, секретарша говорит: «Петр Сидорыч занят, просил подождать». Пом сел, ждет. Люди выходят из

кабинета, входят, а ему все: «Просил подождать!» Так он четыре часа просидел! А потом ему Васин говорит: «Я специально тебе показал. Вот как ты народ ждать заставляешь». Это ведь тоже воспитание, верно?

— Конечно,— сказал Аркадий.— Это тоже воспитание.

Он все еще не внушил себе симпатии к Корзуну.

Выбрались из-за стола оркестранты, гости задвигали стульями. Начались танцы.

С Лерой, кажется, все было в порядке. Костя Климович, склонившись, читал ей свои стихи. Все подряд. Лера опустила руки на колени и смотрела на них. Костя ей понравился, и теперь она страдала. «Но это пускай»,— подумал Аркадий.

Я — поэт. И может, оттого-то
Я хочу, чтоб прочным был металл.
Может, попадет моя работа
В Индию, увидит Гадж-Махал...

— Костя,— вмешалась Тоня.— Остановись.

Костя налил в фужер воды и выпил.

— Ты бы потанцевал с нами. Костик. Есть у тебя совесть?

Аня закинула руки за спинку стула и рассматривала танцующих. Ее платье с поперечными полосками кофейного и кремового цветов натянулось на поднявшейся груди. Аркадий пригласил ее танцевать. Наверно, этого делать не следовало. Именно во время танца, ощущая руки друг друга, они оба почувствовали отчуждение.

— Пить хочу,— сказала Аня.

Аркадий смотрел, как она пьет. «Аня очень красивая,— говорил он себе.— Аня очень красивая».

— Смотри,— Тоня показала в толпу,— вон тот высокий, видишь? Это Шемчак, главный металлург. Из-за него Валя с завода ушел.

— Валя? И бросил свою селитру?

— Что Валя? — услышала Лера.— Выгнали его?

— Нет, оскорбился и сам ушел.

— Это тот — Шемчак? — спросила Аня.— Сейчас он меня пригласит.

— Он и не смотрит в нашу сторону,— сказала Тоня.— Он меня боится.

— Что-то не верится, что он умеет бояться,— возразила Аня.— Ага. Наблюдайте.

Шемчак посмотрел вокруг себя и, как будто не заметив их, направился в сторону, но неожиданно оказался перед Аней.

— Разрешите?

Она подмигнула своим за его спиной.

Аркадий следил, как появляется и исчезает в толпе летящее платье Ани, и вдруг сообразил, что не любит ее.

«Она ведь меня тоже не любит. Но она этого не знает. И ей не нужно любить, а мне нужно. Что-то у меня не получается... Я словно пытаюсь подобрать по себе какие-то очки и все никак не подберу их».

Он смотрел на плотную толпу танцующих. Кругом — улыбающиеся лица. Вот пара: она очень полная, как почти все женщины здесь, но кожа лица упруга, на щеках симпатичные ямочки; он массивен, хорошо сложен, могучая шея багрова. Оба едва передвигают ноги, переваливаются с боку на бок и буднично разговаривают с соседней парой. Разумеется, улыбаются.

Аркадию казалось, что они все говорили громче чем надо и смеялись больше чем надо, ему казалось, они стыдятся себя, своего умения самозабвенно веселиться...

— ...она красивая.— Тоня обращалась к нему, он только теперь это заметил, но Тоня махнула рукой и повернулась к Косте: — Сними галстук, не страдай. Никто не смотрит, чего тут. Ну, потанцуем?

— А он отличный парень! — Появилась Аня.— Шемчак ваш. Совершенно некомплексованный!

Лера посмотрела в зал и сразу угадала:

— Вон тот?

— Конечно, вы, комплексованные, таким завидуете! Аркадий, воды! Ох, слышите, слышите, что они делают? Это же танго. Я так соскучилась по танго...

Шемчак, улыбаясь, заторопился к Ане, поклонился, прищелкнул каблуками. Оркестр неожиданно замолк, и Шемчаку пришлось остановиться. В этом неловком положении, не допуская паузы, из которой с каждой секундой выбраться было бы все труднее, он уцепился за Тоню как за спасение.

— Салют, Антонина! Смотри, сегодня все литейщики здесь собрались. И Корзуна я видел...

Тоня простила ему «салют». Это он ради Ани старается. А он теперь уже мог разговаривать с Аней:

— Мы с Антониной Михайловной ужасные враги, но иногда заключаем перемирие.

— Не может быть,— сказала Аня.— У нашей Тонечки не может быть врагов.

Они построили на Тоне мост, по которому приближались друг к другу.

— Но она может быть врагом, и очень безжалостным, поверьте. Конечно, в хорошем смысле, по-принципиальному. Сколько мы с тобой, Антонина, знакомы?.. Представляете, Аня, что зеленым юнцом я пришел в цех и попал под начало Антонины Михайловны. Это было ужасно, тем более что я сразу в нее влюбился...

— А теперь ты начальник,— сказала Тоня.— И это еще ужаснее, тем более что я в тебя не влюбилась.

— Вы большой начальник? — спросила Аня и посмотрела на Аркадия и Леру.

Разговор затягивался, и их молчание становилось неловким.

— Очень маленький,— засмеялся Шемчак.

— Впустую скромничаешь,— сказала Тоня.— Ты действительно небольшой начальник.

— Мы же договорились — вечером перемирие,— шутливо напомнил Шемчак.

Оркестр опять начал танго. Шемчак снова вытянулся перед Аней, склонился, прищелкнул каблуком. Брагины смотрели, как они, обнявшись, поплыли по залу.

Тоня вздохнула.

— Это он-то некомплексованный? — удивилась Тоня.— Да скажи ему, что у него туфли немодные, он ночь не заснет.

— Это похоже,— сказала Лера.— Но, наверно, он все-таки спит спокойно, да?

Была ночь, когда Аркадий, доставив Аню к ее родителям, возвращался домой. Он вышел из такси и не стал подниматься в пустую квартиру, а присел на крыльце.

Когда-то, другой ночью, много лет назад, мальчишкой, он залез с приятелями в яблоневый сад, и их обнаружил сторож. До сих пор Аркадий помнит свой ужас, когда он мчался по неровной, разбитой дороге вместе со всеми и в темноте слышал за собой топот и дыхание здорового мужчины. И одна-единственная мысль была у него: только не быть последним, только не быть последним. Сторож

поймает последнего, остальные убегут. И, задыхаясь, он кожей спины чувствовал: «Не быть последним».

И сейчас ему казалось, что все люди живут с этой единственной мыслью.

Глава восьмая

АНТОНИНА БРАГИНА

Цех лихорадило. Его хронической болезнью была нехватка людей. Из полутора тысяч по штатному расписанию работали тысяча сто. Во время летних отпусков положение стало особенно бедственным. Важник проводил по две оперативки в день — одну с первой, другую со второй сменой. Начальники участков уходили из цеха поздно.

Как-то теплым вечером Тоня возвращалась домой и встретила на бульваре Валя Тесова. Он катил ей навстречу детскую коляску. Тоня обрадовалась. Почему-то Валя редко увлекал людей своими идеями, но зато всегда заражал своей энергией.

— Что ты! — кричал он. — Я только теперь, Антонина, жить начинаю! Никогда не бойся менять работу! Ты зайди к нам в институт, посмотри: ковры в коридорах, стеклянные двери, цветочки на стенах, из окна лесом пахнет, чистота... Стол у меня, как у Шемчака в кабинете! А тишина какая...

— Ну, тишина, наверно, там была только до твоего прихода.

— А работа там! Стыдно деньги получать. Я, представь, занимаюсь теорией прессования. Пока только литературу изучаю. Чувствуешь? В рабочее время, это у нас принято. Рассказать, что такое реология? Это очень просто...

— Валя! — взмолилась Тоня.

Она отодвинула кисейную занавеску на коляске. Почти безвольный годовалый малыш перестал жевать пустышку и впился в нее глазами.

Тоня рассмеялась.

— Как зовут его?

— Валентин. — Валя отчего-то смутился. — Малая так захотела.

Он развернул коляску в обратную сторону и пошел провожать Тоню.

— Как там дела, в цехе? — спросил он, но видно было, что цех его уже не интересует.

— Людей не хватает, — сказала Тоня. — Некому работать. Беда.

— Все правильно. Зачем людям в литейку идти? Вон рядом на радиозаводе в белых халатах работают.

— Денег у нас больше платят, вот зачем.

— Что у нас, капитализм? Народ теперь грамотный, ему не только деньги надо. Вот теперь-то, Антонина, вас жизнь и заставит автоматику внедрять! Помнишь, как я рации кидал по автоматике? Помнишь, как вы с Важником отпихивались? Тогда это только Тесову было нужно. Потому что у вас только план на уме. А вот как прочувствуете, что людей нет, сами запросите автоматику! Ты, Антонина, на коленях к нам в НИИ приползешь и попросишь: дайте мне автоматику. Завтра приползешь! Умные люди уже сегодня ползают!

— Так вот для чего у вас ковры на полу. Только не очень-то ваши автоматы пока работают.

— Почему? В земледелке бегуны автоматизированы? Автоматизированы. Я сейчас прессованием занимаюсь. Я тебе уже говорил? Есть одна идея. Послушай...

— Валя, отстань. Я все науки уже позабыла.

— Это только кажется, Антонина, хочешь, я у нас о тебе поговорю? Тебя возьмут.

— Поздно мне в науку идти.

— Что поздно?! Нам опытные производственники нужны! Будешь в шикарных платьях на работу ходить, чистенькая, захочешь, брючный костюмчик себе сошьешь, как у нас одна блондиночка... Не трусь, Антонина!

— И как она?

— Кто?

— Блондиночка.

— Да ну тебя. Я тебе серьезно... Ой! Я ж забыл, его купать надо! Бегу, Антонина.

Он на ходу опять развернул коляску, махнул Тоне рукой и помчался по улице.

Тоня долго еще улыбалась, думая о нем. И ночью в постели вспоминала его рассказы об институте. Чистота, тишина, вежливые внимательные коллеги... Но привыкла она к цеху. Все другие места на земле кажутся ей чужими. «Это плохо, конечно», — подумала она и настроила звонок будильника на пять часов. Нужно было утром увидеть третью смену.

Как рано ни приходи в цех, Важник уже там.

— Брагина, давай ко мне.

В своем кабинете он снял пиджак и повесил его на плечики. Откуда-то вытащил цветную тряпочку, вытер со стола пыль — окно на ночь оставалось открытым. Положил тряпочку на место, посмотрел на кресло, буркнул, опять взял тряпочку, протер сиденье. Однако садиться не стал, склонился над столом, раздраженно разбросал бумаги и, найдя нужную, сунул ее Тоне. А сам отошел к окну, стал смотреть в него, запустив руки в карманы.

Тоня прочла.

— Ого! Торопится Шемчак. На тридцать процентов нормы щелочка урезать!

— Так что будем делать?

— Ничего ультразвук не дал. Сколько раньше расходовали щелочка, столько и теперь.

— Как же тогда можно уменьшить норму?

— Тут я маху дала. Нормы были завышены.

— Вот она, твоя хитрость. Всегда боком вылезает.

— А брак покрывать мне надо было как-то?

Важник, видимо, пытался что-то придумать:

— Этот ультразвук для здоровья не вреден? Мы бы тогда через санинспекцию...

Тоня усмехнулась:

— Не вреден.

Он рассердился:

— Откуда мне знать? Придумывай сама, если можешь.

В конце концов, для Важника это все мелочь, копейки. Оба они не первый день в цехе. Мало ли бывает бесполезных изобретений, без них нельзя представить технический прогресс. Никто ничего не потеряет, только у Тони уменьшат нормы расхода на щелок и ей будет чуть-чуть труднее работать.

Может быть, Тоня и махнула бы на это рукой, но однажды Шемчак привел к ней командировочных с Волгоградского тракторного. Он заинтересовал их ультразвуком, они заказали себе чертежи на ус-

тановку, но, как люди осторожные, решили расспросить производственников.

Тоня ответила уклончиво.

— Приезжайте через месяц,— сказала она.— Посмотрим, какой получится экономический эффект.

Они засмеялись:

— Ну-у-у! Какой вы насчитаете, такой и получится.

Их было двое, оба молодые, один черный, с пижонскими усиками, он наверняка понял. А Тоня решила: не позволит она насчитать липовый эффект. Что там говорить, нормы Шемчак уменьшил справедливо, но эффект считают не по нормам, а по фактическому расходу. Тут кое-что зависит и от нее.

Помог ей случай: пошел брак. За час перед щековой дробилкой выросла желтая гора развалившихся стержней. Тогда-то Корзун и пожалел, что уволился Валя Тесов. Сам он разобраться в причине брака не мог. На оперативке Важник кричал на него, стучал по столу кулаком.

В конце смены Тоня увидела шагающего враскачку вдоль сушил Корзуна.

— Что думаешь делать, Антонина?

Она уже успела сделать все что нужно, уже знала, что через час выползут из печей годные стержни, но он этого не знал. Тоня пожалала плечами:

— А мне что? Я по техническим условиям работаю.

— Ты у нас молодец, известно. Замутишь воду, а другим потом расхлебывать.

Тоня не стала с ним спорить:

— Не расхлебывай.

— Я думаю, щелок опять плохой.

— Что ты в нем понимаешь? Отличный щелок.

— Отчего же стержни разваливаются?

— Откуда мне знать. На то техчасть есть.

— Может, крепитель добавить?

Она пожалала плечами:

— Добавь.

Тогда он, пожевав воздух, поступился самолюбием:

— А ты что посоветуешь?

Он был в ее руках. Она взяла грех на душу:

— Расход щелока увеличить.

Он подозрительно посмотрел на нее и попросил:

— Ты бы составила рецептуру. Я подпишу.

Тоня и увеличила расход щелока, Хорошо, Шемчак в командировке.

Через две недели вернулся Шемчак. Он прочел листок рецептуры в сменном журнале.

— Откуда эта нелепость, Антонина? Зачем столько щелока?

— У Корзуна спроси. Не видишь разве: его подпись!

Он что-то заметил в ее лице и, медленно опустив веки, спрятал за ними глаза.

Тоне некогда было о нем думать. И даже щелок был ей в ту минуту безразличен. Стоял конвейер, не хватало стержней.

Перед обеденным перерывом позвонил ей начальник модельного цеха, бывший ее сокурсник:

— Тонька, ты где обедаешь? Приходи в диетическую, поболтаем.

— Ой, совершенно нет времени,— сказала она.— Это срочно?

— Срочно. Я возьму тебе обед.

Они сидели вдвоем за столиком в стеклянной призме диетической столовой, и вот что он ей рассказал.

Сегодня было совещание у директора.

— Грачев сидел злой как черт. Что — не знаю, но что-то было. Может, и Шемчак поработал. План, как ты знаешь, горит. Механические цеха, ясно, стали жаловаться на Важника. Грачев стучит по столу: «Нечего за трудностями прятаться!» — но на Важника не смотрит. Литья действительно не хватает. А Важник дорвался до слова и стал людей требовать. Что ему Грачев, родит их? Раньше осенней демобилизации ждать нечего. А Важник уж только рот раскрывает. И тут Шемчак понес... И все про твой участок. Говорит, мол, тихая гавань, люди там на ходу спят... А Сысоев еще в каламбур поиграл: гавань и... это самое. В общем, я понял так: Шемчак тебе враг. Он все решил на тебя свалить. Мол, и новую технику зажимаешь, а Корзун просто безграмотный...

— Корзун?

— А что ему Корзун? Диссертацию на ультразвуке он и без Корзуна сделает. Корзуну на него надеяться нечего...

— А я?

— Что ты?

— Ну, новую технику зажимаю. Корзун, говорит, просто безграмотный, а Брагина?

— В этом и дело. Это когда про ультразвук. Личная заинтересованность, говорит, у него.

— У кого у него?

— Да у тебя же, ну что ты, Тоня?

— Так почему — у него?

— У него — у начальника участка. Или ты не начальник участка?

— А Важник что?

— Погоди — Важник. Сысоев вспомнил: мы же эту Брагину только что наказали, премии лишили за что-то подобное... Зачем ты, Тонька, всегда на рожон лезешь?

— Я?!

— Важник молодец. Ему, знаешь, себя надо спасти, а он говорит: «Брагина — прекрасный работник, и для цеха ее увольнение будет большой потерей».

Тоня, как при головокружении, почувствовала дурноту.

— Увольнение?

— В общем... я ж тебе сказал... Грачев предложил... Понимаешь, когда плохо, меры должны быть... Литья-то не хватает... Важник Шемчаку начал было: мол, тот бы иначе говорил, если б оказался на его месте, а Грачев ему: «Быть может, он на этом месте и окажется». У Важника дрянь дела. Если он заупрямится и тебя оставит, он... он в о-очень тяжелом положении будет....

Оказывается, вместо нее может работать автомат, простенький робот. Остаток дня она и была автоматом. Она что-то делала, что-то решала, никто ничего не заметил. Никто не заметил, что у этого автомата выключен блок памяти и все совершаемое им и происходящее вокруг остается для него незамеченным и непережитым.

Кончилась первая смена, началась вторая. Важника все не было. Начальники участков уже привыкли к вечерним оперативкам, волновались:

— Будет сегодня оперативка? Или можно домой идти?

Постепенно они разошлись. Тоня вымылась в душе, переоделась, но уйти домой не смогла. Прошла мимо табельной и неожиданно для себя опять оказалась на участке.

На линии блока она увидела наконец Важника. Он, насупившись,

слушал мастера. Женщины сбрасывали стержни с рольганга в дробилку. Важник заметил Тоню, но не повернулся к ней. Она подошла и спросила тихо:

— Что случилось?

— Тихая гавань,— сказал он.

И потом начал кричать. Он первый раз кричал на нее. Тоне стало страшно, и оцепенение ее прошло. Она разозлилась на себя за свой страх.

— Хватит,— сказала она.— Что ты хочешь?

— Так работать нельзя! Нечего тут, понимаешь...

— Хорошо. Я напишу заявление.

Он замер, не нашелся сразу, что ответить, а Тоня не стала ждать. Повернулась и быстро пошла к цеховым воротам.

В эту минуту и потом, когда она шла по шумным улицам и когда открывала дверь своей пустой квартиры, ей все было безразлично. Посреди комнаты стояла закрытая тряпками тахта, тряпки — в заду-белых пятнах побелки. Тоня упала на них, спрятала лицо в ладони. Она лежала долго. Наверно, задремала, и ей привиделся кошмар. Она вскрикнула, но показалось ей, что она услышала не свой крик, а голосок Оли: «Мама!» Она вскочила и с облегчением оттого, что все ей только привиделось, опустилась на тахту. И тут все вспомнила. Темнело. Она лежала неподвижно. Кошмар опять обволакивал сознание, в нем мешались Оля, Шемчак и Степан. Тоня сопротивлялась, ей казалось, что она победила кошмар, но победил он и внушал ей, что жизнь оторвала ее от всего любимого в прошлом и навсегда оставила одну. А в будущем ничего не хотелось, потому что в будущем она могла любить только прошлое. У двери звонили. Она слышала звонок, и звонок, как весь мир, был сейчас для нее чужим и не нужно было его замечать и думать о нем.

Вечером Аркадию позвонила из Крыма мать. Четверть часа спрашивала, что и где он ест.

— Передай Тонюшке, Оленька уже совсем здоровенькая, ждет маму!.. Алло, слышишь? Тони никогда нет дома, мы не можем до нее дозвониться! Как она там?

Он солгал, что видит ее ежедневно. Тут же позвонил Тоне, телефон не ответил.

Впереди был долгий вечер. Аня научила его сидеть на балконе и смотреть в окна соседнего дома. Скоро стемнеет и они зажгутся...

Они с Аней не звонили друг другу. Это молчание и было их объяснением. Какое-то время он чувствовал себя виноватым. Как почти всякий мужчина, он переоценивал свое место в жизни женщины.

Зажглось первое окно — кухня. Кухни зажигаются первыми и гаснут последними. Жизнь, если наблюдать через окно, во всех квартирах похожа. Появилось искушение позвонить Ане. Она бы сказала: «Приветик! Куда ты пропал?» Может быть, даже сказала бы: «А я как раз только что решила тебе звонить». Она бы сумела найти нужную интонацию, как будто ничего не значило его молчание с самой свадьбы молодого Грачева. Что бы он ответил? «А я не пропал. Разве ты не знаешь, что я не могу пропасть? Я всегда с тобой, Аннушка». Это была бы подленькая ложь. Он понимает: сейчас, после молчания, его звонок значил бы больше, чем он хотел. Подло из-за каприза начинать все сначала.

Телефон притягивал, и Аркадий ушел из дому, чтобы не поддаться искушению. Аня бы рассмеялась: «А знаешь, меня это устраивает. А тебя?» «А меня? Ох, как бы меня устроило, если бы было так...» Становилось душно. Ночью будет гроза. Аня грозы боится. Аня его

не любит. Почему, собственно, его надо любить? Он хороший парень, и только.

Он ходил по улицам и оказался перед домом Тони. Вспомнил про звонок матери и решил зайти. Тоня обрадуется весточке об Ольке, и они отлично поболтают...

Он долго звонил у двери. Наконец Тоня открыла. Она стояла в темноте, он не видел ее лица.

— А-а,— сказала она.— Проходи.

— А я уж думал...— Он заметил на ней плащ.— Ты уходишь?

— Нет. Заходи же... Я сейчас...

Тоня торопливо скрылась в ванной. Он прошел в комнату, сел на тахту, на которой она только что лежала. Услышал всхлипывания в ванной и тут же заглушивший их звук льющейся воды. Он долго ждал. Дверь из ванной открылась, и комната слабо осветилась отраженным светом. Тоня сняла в прихожей шелестящий нейлоновый плащ, прошла в комнату, спросила вяло:

— Как у тебя дела?..

— Отлично! — От неловкости он заговорил слишком оживленно.— Привет тебе от Ольки. Только что мама звонила...

— Чай будешь?..

Она вдруг рванулась в прихожую.

— Да не бегай ты! — крикнул он.— Плачь здесь.

Тоня прижалась лбом к дверному косяку и заплакала.

— Слушай,— сказал он.— Я тебе помочь не могу?

Она опять убежала в ванную.

— Черт знает что такое,— виновато сказала, появившись.— Чай будешь пить?

— Давай,— сказал он.

— Если не хочешь, так не надо.

— Нет уж давай.

Аркадий слушал, как Тоня звякала в кухне посудой, и гадал, что же с ней произошло. Она принесла две чашки, поставила на табуретку перед тахтой, села с ним рядом и сказала:

— С завода меня выгоняют. Конечно, мне немного обидно.

Потянулась к чашке, увидела, что рука дрожит, и опустила ее. Аркадий положил ладонь на эту руку, и Тоня привалилась лбом к его плечу, заплакала:

— Чч-черт... Мне плохо... Так плохо, Аркадий... Чч-черт...

Всхлипывая, бессвязно рассказывала, как струсил и накричал на нее Важник. Она не хочет, не может больше работать, ей никогда дочку не отдадут, да и не нужна она Оле, конечно, девочке лучше с дедом и бабушкой, а с ней, Тоней, всем плохо... Она рассказывала про японский халатик и дорогое белье, которыми пыталась удержать Степана, и как ей сейчас стыдно все вспомнить. Зачем она, дура, сорвалась тогда, все бы и сейчас было хорошо... Но сейчас ей и Степан не нужен, ей ничего не нужно, но почему ей всегда так не везет, она ведь так старается, ей так мало было нужно всегда... Кто в цехе выдерживал столько лет? Все уходило в отделы и институты, на чистую работу, а ей разве приятно грязь и ругань? Она же музыкальную школу окончила, а теперь она скучная, старая, отупела и огрубела, конечно, она никому не нужна... Аркадий ведь должен помнить, она не такой была...

Он сидел в неудобной позе, боялся пошевелиться. Он не мог найти ни одного слова для нее и страдал из-за своей бесполезности.

Тоня поднялась.

— Я новый чай сделаю. Попьем на кухне.

Он не спешил идти за ней, давал ей время успокоиться. Тоня позвала. Теперь она стыдилась своей слабости и отворачивалась.

— Ну вот, — сказала. — Это ты виноват. Господи, как я распустилась. Надо было тебе прикрикнуть.

— Хочешь, я с Грачевым поговорю? Или отец ему позвонит.

— Ай, Аркадий...

— Если я поговорю, Важник тебе ничего не сделает.

— Да разве в этом дело! Я... Ай, да что об этом говорить.

Она боялась опять заплакать, и он, понимая это, тоже молчал. Они сидели за столиком между раковиной и газовой плитой, молча пили чай. Тоня задумалась и забыла про Аркадия. Потом спохватилась, взглянула на часы.

— Поздно как. Ты уходи.

Глава девятая

НИКОЛАЙ ВАЖНИК

1

Он пришел в цех позднее обычного, к самому началу работы. Первый конвейер стоял. На втором несколько раз стукнула, словно примериваясь, формовочная машина. Затихла: и там что-то было не в порядке. Не сказав ни слова, он прошел сразу к себе в кабинет.

Лишние полчаса сна, которые он себе позволил, ничего не изменили. Вчерашнее равнодушие осталось, сон только загнал его глубже и сделал привычным.

Важник не снял плащ и опустился в жесткое кресло боком к столу, стараясь не глядеть на разбросанные в беспорядке бумаги. Взгляд невольно скользнул по верхнему листку, и Важник стал машинально вчитываться, пока не поймал себя на этом и не отодвинул раздраженно бумаги рукой.

Он хотел сосредоточиться. Гудение воздуходувок на печах, неровный стук машин, вибрация пола — все, что он никогда прежде не замечал, теперь назойливо лезло в уши. Он отмечал по стуку: заработал первый конвейер, потом третий, вновь захлопала и стихла машина второго... Позвонить?

— Грачев у себя? — Важник спохватился: — Здравствуйте, Зинаида Антоновна.

— Петр Григорьевич в кузнечном цехе.

Плохие, видно, в кузнице дела. Важник, взглянув через локоть на список телефонов, набрал номер. Он слышал, как Грачев, уже подняв трубку, продолжал распекать кого-то рядом и так же сердито буркнул в аппарат:

— Да.

Грачев явно не слушал, недовольно перебивал: «Потом, потом», а он все надеялся его убедить. В конце концов, уже неделю он добивается разговора, а у него предложения, решать надо, решать, плана не будет, люди без денег останутся, надо решать. Он не мог сказать, что люди перестают верить в него, и это страшнее невыполнения плана, потому что поправить это нельзя.

Мастера собирались на утреннюю оперативку. Шумно входили, рассаживались вдоль стен и за длинным столом против Важника. И тут впервые за все годы Важник испугался встречи с ними. Он знал заранее их ответ на любой свой упрек: «Нужны люди. Нет людей». Он спокойно сказал:

— Начнем с плавки. Васильев.

Они пришли сюда, как обычно готовые к яростным перепалкам,

к обороне и нападению, многие — со страхом, но сегодня все цифры потеряли свою взрывчатую силу, и споры, обвинения и оправдания, лишённые своего скелета — его воли, — распались.

Важник скомкал оперативку, отпустил их обычным коротким «все», но они не спешили уходить, они слишком долго проработали с ним. Ждали, но он не умел говорить.

Кто-то словно завершил его разговор с Грачевым:

— Значит, людей не дадут и плана не снизят.

— Люди будут, — неожиданно сказал он.

И увидел, что ему поверили.

Брагина чуть задержалась, выходя за всеми, остановилась у двери. Он по спине увидел: ждет, чтобы позвал. Вспомнил их вчерашний разговор, вспомнил, как она сказала: «Хорошо. Я напишу заявление». Конечно, она тогда уже знала про совещание у Грачева, кто-то передал. Вспоминать вчерашнюю слабость было стыдно, и он нахмурился:

— Иди, иди, мне некогда.

Нужно было торопиться, но в маленькой приемной уже ждали. Увольнялись двое с формовки, Федотова пришла из-за квартиры. Входили в кабинет робко, останавливались далеко от стола, говорили почему-то виновато. Почему, черт их побери, они говорят виновато, черт их побери? Он стоя застегнул плащ, сказал Федотовой:

— Ладно. Потом. Меня вызывают.

На конвейерах шла заливка. Вместе с формами плыли фигуры в брезентовых робах. Работает сейчас почти одна молодежь, парни из армии. Он стал литейщиком в шестнадцать лет. Слово «литейщик» тогда звучало иначе. Тогда работали мастера, «зубры», хранители древних секретов ремесла. Качество стали определяли собственной слюной, шипящей на всплеске металла, — вот и вся лаборатория. Не каждый подручный мог стать сталеваром. Важник и сегодня умеет взмахом голый ладони перебить струю чугуна и не обжечься. Нынешние такого и не видели. Работает молодежь. В земледелке стоят автоматы. Ладно, сейчас всюду в земледелках автоматы, а вот стержневой автомат по горячим ящикам прижился только у него одного на всем заводе. И он может этим гордиться. Он не стал взыскивать недостатки и недоделки у автомата, не пытался его похоронить, а не пожалел денег, закрепил лучшего электрика и слесаря шестого разряда — и вот работает автомат...

В феврале приезжали немцы. Он волновался, боялся показывать им цех. А они увидели «28Б7» у Брагиной, увидели горячие ящики и — «зер гут»!

У табельной цеховой художник кнопками прикреплял к фанерному щиту «Комсомольского прожектора» большой лист ватмана. Крокодил вилами гнал прочь небритого человека, на пиджаке человека было написано: Дергун В. К. Этого Дергуна вчерашним приказом Важник перевел на нижеоплачиваемую работу за прогул. Он остановился, прочитал стихи под карикатурой:

В термообрубном отделении
Обрубщик Дергун
Весьма знаменит
Своим плохим поведением.
К труду не проявляет внимания,
Делает прогулы и опоздания.
Он нарушения делает исправно
И, хотя работает в цехе недавно,
Заслужил большого внимания,
Два раза получил взыскания.
И Дергун вполне заслужил
Укол крокодиловых вил.

Рядом стоял Костя Климович.

— Ты, что ли, сочинил? — спросил Важник. — Забористо.

Костя пожал плечами и отошел. Важник не заметил его обиды. «Молодцы, ребята», — подумал он, мысленно уже прощаясь со всеми.

Массивная, седая, по-домашнему уютная Зинаида Антоновна встретила его в приемной:

— Вас разыскивают.

— Зинаида Антоновна, зарегистрируйте заявление.

Она округлила глаза — так он и поверил, будто ее можно хоть чем-нибудь удивить, — по-матерински укоризненно покачала головой. Затахтел негромкий звонок, и она сняла трубку:

— Он здесь, Петр Григорьевич, идет.

— Сначала зарегистрируйте.

— Идите, голубчик, успеете, — ласково сказала Зинаида Антоновна, но он уже уловил — или это показалось ему — нотки, которые в широком диапазоне опытной секретарши предназначались для просителей.

И в самом деле, зачем торопиться? Он открыл обитую черной кожей дверь кабинета, за ней через порог — вторую такую же.

Совещание уже началось. Грачев кивнул Важнику из-за огромного своего стола: садись.

Отчитывался начальник сборочного. Отставание было в восемь машин. Грачев кричал, начальник цеха сборки, стараясь скрыть дрожь толстых пальцев, усиленно прижимал ими к столу тоненький листок сводки.

— Сделаем, Петр Григорьевич, сделаем...

— Чугунолитейный должен дать в этом месяце шесть тысяч тонн.

Важник сказал:

— Сборке нужна мелочь. На мелочи я не наберу шесть тысяч тонн.

— Будут шесть тысяч? — В голосе Грачева слышалось предупреждение, но Важник упрямо его не замечал.

— Если не будет номенклатуры. Я сделаю шесть тысяч, но сборка моторов станет.

К чему все это? Он уже объяснял: план в тоннах можно вытянуть тяжеловесным литьем, которое заводу сейчас не нужно. Если же делать мелочь, план в тоннах не получится. Но можно же уменьшить план, тоннаж нагнать к концу года, когда будет лучше с людьми!

— Я вам приказываю дать шесть тысяч тонн.

— Не могу, Петр Григорьевич. — Важник нащупал в кармане аккуратно сложенную бумагу.

— Я при-ка-зываю.

Важник молча положил на стол заявление. Грачев взорвался. Захлебнулся, застучал по столу кулаком:

— Улизнуть хочешь? Развалил цех и сматываешься? — Он скомкал и швырнул заявление на пол. — Не получится! Я увольняю вас, Важник, как не справившегося с работой! По статье сорок семь «в»!

Важник оглядел всех. Головы опущены. Он нагнулся, поднял заявление и, разгибаясь, почувствовал резкий, знакомый укол в поясницу. Молча вышел, прислушиваясь к своей пояснице. Где эта Зинаида? Он оставил заявление на столе. Сорок семь «в»... Погодите, Петр Григорьевич, не торопитесь, есть еще партком. Спустился с лестницы, с широкого крыльца заводоуправления. Наверное, споткнулся о торчащий из асфальта стержень (всегда он на него натывается): дикая, оглушающая боль перехватила дыхание. Постояв минуту, он осторожно пошел к поселку.

Дома он лег на кровать поверх одеяла, боялся пошевелиться, щелкая время от времени выключателем электрогрелки, считал секунды, десятки, сотни секунд, ожидая «скорой помощи» и спасительных уколов новокаина. Потом считал, сбиваясь, секунды и минуты, пока уйдет боль. Из столовой и кухни слышались тихие голоса Нины и младшего сына. Нина чувствовала тревогу, понимала — что-то случилось, и ждала, когда он скажет.

— Ухожу с завода, Нина,— сказал он.

— Что? — Она не расслышала, но повторять ему не хотелось.

Позвонил из цеха Васильев, кричал, что кончился ферросилиций, Важник послал его к черту и повесил трубку. Однако подумал, что Васильев не сможет одолжить ферросилиций у сталецеха, позвонил в сталецех, все уладил и откинулся на подушку со смешанным чувством гордости и обиды за себя.

А ведь Грачев первый заметил и оценил его. Именно Грачев поставил его начальником крупнейшего на заводе, почти в две тысячи человек, цеха. Да и кто бы потянул тогда, кроме Николая Важника? Положение было тяжелым, цех давно перекрыл проектную мощность, а план рос с каждым годом. Что ж, он требовал от людей столько, сколько давал сам, многие ушли, но цех выкарабкался из заколдованного круга. Он умел платить, знал дело, работал по тринадцать — четырнадцать часов в сутки. Он крепко стоял на ногах и сорвался из-за пустяка. Это было год назад.

В последние дни квартала, когда все в цехе натянуто до предела (порвись где-нибудь — и план полетит к черту), ночью пришел электрик пьяный и сорвал полсмены. Да еще потом явился в кабинет с разговорами по душам... Погорячился Николай, схватил стул и через весь кабинет...

Как ему теперь явиться в партком? Счастье еще, что промахнулся. Ему, конечно, что надо и что не надо вспомнили. Исключили из партии, сняли с работы, опять мастером поставили. Против воли своей стал начальником Шемчак, сутками в цехе сидел, последние силы тратил, но чего-то ему не хватало. «Лентяй ты», — сказал ему Николай. Шемчак не поверил, а Важник не смог объяснить, что время, нервы, здоровье — этого цеху мало, что, кроме этого, нужно отдать цеху всю силу воображения, без которого пронизательность невозможна и которое обеспечивается лишь сильным чувством.

Продержался Шемчак несколько месяцев, и пошло все вкривь и вкось. А когда отстали от плана на трое суток, когда сменил Шемчака другой начальник, но дело не улучшилось, поставил Грачев опять Важника. И вот на тебе... Нервы.

Уже в сумерках, когда он забылся, в прихожей раздался звонок. Говорили тихо, он пытался узнать голос, угадывая, и наконец позвал брата:

— Иван, я не сплю.

— Ого-го! — Иван обрадовался и, проскрипев через две комнаты сапогами, протянул руку: — Держи краба. Говоришь, помирать надумал?

— Да вроде нет,— усмехнулся Николай.— Успеется.

— А то смотри.

Вот кому хорошо все рассказать...

— ...я, помимо разговоров, восемнадцать писем директору написал: нет людей. Увольняются, подаются в колхозы. Чем там лучше, тем мне тяжелее. За два месяца девяносто человек ушли, а принято двенадцать. Что-то я не то делал. Осложнились отношения. Мне, между прочим, РКК тридцать рублей штрафа всобачила за нарушение закона: по две смены некоторые вкалывали. Вычли из зарплаты.

И чувствую я — уже не верят в меня. А это самое страшное. Последние два месяца я на одних тяжеловесных деталях выезжал, все надеялся, что положение изменится. И есть же выходы! Можно было бы с зарплатой многое сделать, да у меня сколько предложений есть, решать надо, решать! Я Грачеву звоню в кузницу: «Решать надо!» «На то вы и начальник цеха, чтобы решать». Слова!! Будто он так мне и позволит... Тут я не выдержал: «Вы или не хотите, или не можете разобраться! Какой же вы директор! За что деньги получаете?»

— Так и сказал?

Николай промолчал. Про деньги он Грачеву не сказал, только подумал, но ведь все равно.

— За что, говоришь, деньги получаете? — захохотал Иван. — И бац — заявление на стол?! Хорошо-о...

Николай слабо улыбнулся. Может быть, и впрямь хорошо? А Иван, отсмеявшись, задумался: хорошо-то хорошо, но...

— И куда ты теперь?

— К тебе пойду, на овощи. Витамин «цэ».

Странно, но об этом Николай еще не думал. Он все еще не мог поверить, что с цехом покончено навсегда, как не мог бы усилием воли заставить себя умереть и родиться в новой роли.

Иван, как видно, заволновался.

— А все-таки, как ни крути, Грачев — сукин сын! — Он вопросительно поглядел на брата.

— Найду куда идти, — сказал Николай. — Заводов много. Бугров, например, всегда к себе возьмет. Правда, не литейщиком, снабженцем...

Ивану этого достаточно. Действительно, чтобы такой человек, как брат его, пропал? Такие люди на дороге не валяются!

— Только не снабженцем. — Он повеселел. — Снабженцем ты хуже делов наделаешь, поверь, сырое это у нас дело.

— А ты?

— Я — другое. Я везде смогу.

— Отчего ж ты такой... шустрый?

— Это я-то? Шутить. Ты у нас шустрый. С тобой же драться боялись: ничего перед собой не видишь, ничего не чувствуешь, молотишь кулаками — психованный. Вот и теперь. Директор тебя трогал? Нет. Но ты потерпеть не можешь... Психованный!

Иван попал в точку, брат думал о том же. Много, обидно много он ошибался... Бугров звал его к себе, но кто его теперь возьмет с такой трудовой книжкой? Статья сорок семь «в» — не справившийся с работой...

Кажется, он думал вслух.

— Ну, статью ты через прокурора изменишь. — Иван махнул рукой. — Переходящее знамя в цехе, премии...

Николай промолчал. На овощной базе не знают, что прокуратура не принимает дел по увольнению начальников цехов, откуда Ивану это знать.

— Да, конечно, — подтвердил он.

— За что, говоришь, деньги получаете? — вспомнил Иван и снова захохотал. — Ничего, Микола! Свет клином на литейке не сошелся! Зазвонил телефон.

— Послушай, — попросил Николай. Осторожно вытянув руку, он включил лампу.

— Алло, — высоким, не своим голосом сказал Иван. Он никак не привыкнет к телефону — не так уж много в жизни пользовался им — и всегда смущается, разговаривая. — Кого, кого?

Николай, забыв про поясницу, стал приподниматься.

— Здесь нет такого! Ошиблись! Да!

Николай опустил голову на подушку, испуганно посмотрел на брата, словно тот мог прочесть его мысли.

Черт знает что... Почему он решил, что звонит Грачев? Справиться о здоровье, великодушно протянуть руку? Вот уж правда если господь хочет погубить, то сперва лишает разума.

Завтра-послезавтра он встанет. Такие люди, как он, везде нужны. Он много отдал цеху, но разве он, Николай Важник, без цеха ничего не стоит? Пусть Грачев попробует без него. Он еще будет кусать локти и позовет назад Николая, если хватит на это силы духа, но Николай уже не пойдет, он не дурак, такой кусок хлеба он всегда себе найдет, он радоваться должен, что так все обернулось, и пусть другой ломает себе голову завтра над тем, как выжать шестнадцать тонн из четырнадцатитонной вагранки....

Николай стал вспоминать, на каком клочке бумаги записан телефон Бугрова, вспомнил, но у него хватило мужества не позвонить. Торопиться не надо. Есть еще время, впереди еще ночь для раздумий, впереди еще главное — разговор с Ниной. Удивительная Нинина тайна: что там мужское самомнение, умные советы и знание жизни... Ясность наступает только тогда, когда все расскажешь ей.

И захотелось поскорей оказаться с ней вдвоем.

— Спать, что ли, хочешь? — спросил Иван.

— Успеется. Ты сиди.

— Да, трудно сейчас с людьми работать,— сказал Иван.— Дисциплины никакой. Вот если б безработица была...

— Глупости говоришь.

— А скажи, если б безработица, так бы работали? Прогулял или брак сделал — ступай, голубчик, за проходную, другого найдем. Небось не пришлось бы тебе на оперативке матюгаться.

— Деньги нужны, Иван. Автоматы нужны, а автоматы у нас пока хреновые. Опыта конструкторского мало, да и базы опытные слабы. Деньги нужны.

А он надеялся в этом году побывать в Тольятти. Много он слышал о тех литейных цехах, поглядеть бы... Нет, какой он, к черту, снабженец, он литейщик!

Иван поднялся, протянул руку:

— Подержи на прощание. А то уж спишь.

Ушел на кухню. Сквозь две двери слышал Николай спокойные голоса брата и жены. Тайна у Нины простая: когда она молча слушает, а ты рассказываешь ей, ты словно начинаешь смотреть на мир ее глазами, а в ее глазах все много проще, гораздо проще, чем в твоих.

2

Жарким летом в выходные дни город пустеет и затихает. С городских маршрутов снимают автобусы и пускают по пригородным линиям. Плотно идут по дорогам машины с людьми: грузовики и автобусы от предприятий, полные детей легковые машины, мотоциклы с парочками. Близко уже не осталось грибных и рыбных мест, орешника и малинников. Сто километров, двести километров — всюду горожане. Они выбирают из города затемно к намеченным заранее «своим» малинникам и грибным рожицам, чтобы никто их не опередил. Возвращаются в город без сил, на следующий день у многих немилосердно ломит спину, гудят ноги. Рыбаки привозят домой ер-

шей длиной с палец и плотву в половину ладони. А в следующий выходной, лишь позволяет погода, снова вырываются из города переполненные автомобили и поезда.

С одной из асфальтовых магистралей на лесную просеку свернул желтый микроавтобус «рафик». Его водитель, друг Ивана Важника, вез в нем, кроме трехлетней своей дочурки, две семьи. Машина еще километров пять тряслась по мягким ухабам и остановилась на большой поляне. Дальше дорога тропинкой уходила в темный и сырой овраг. Открылась дверь «рафика», и спрыгнул на траву пятнадцатилетний сын Николая Важника, стал по очереди стаскивать с подножки малышей. Их подняли сегодня чуть свет, полдороги они ежились и подремывали, а теперь опьянели от тряски и лесного воздуха и их покачивало. Однако через минуту они с визгом рассыпались по поляне. За ними из автобуса вышли Нина и Галя в стареньких кофточках, трикотажных штанах и резиновых сапогах, потом выпрыгнул Иван с двумя большими корзинами в руках, и боком, осторожно, стараясь не делать резких движений, спустился Николай. Иван толкнул женщин, чтобы они не прозевали это зрелище.

— Молодец.— Он показал на брата, и женщины засмеялись.

Они сами выглядели смешно, когда стояли рядом: худая Нина и тучная Галя.

Водитель заглушил двигатель, и стало тихо, как будто уши заложило. Все наскоро позавтракали колбасой, огурцами и хлебом, потом подхватили корзины и ведра и пошли к оврагу. Темные склоны его заросли огромными кустами малины и крапивой. Нина с детьми осталась с края, на солнышке, не выпуская из виду автобуса. Остальные углубились в овраг. Только детские голоса звонко слышались в тишине:

— Смотри, у меня самая большая!

— И у меня!

— Ма-ма-а! Верка, где мама? Верка, смотри, какая у меня ягода! Тетя Нина, смотрите...

— Ты в банку собирай,— говорила десятилетняя Вера.— Есть потом будешь.

Сама она ни ягодки не попробовала, каждую опускала в ведро.

Иван время от времени окликал всех — просто ему хотелось кричать и слышать свой голос. Наконец отвечать ему перестали, и он запел. Песня прерывалась, когда он отправлял в рот жменю ягод или наткался на особенно красивую ветку:

— Ух ты-ы!

Солнце поднялось высоко, испятнало желтым верхушки деревьев. Начинало парить. Нина заволновалась:

— Где Коля? Здесь ведь можно заблудиться?

Николай ушел далеко. Сначала он видел Галю. Они оба молчали, говорить было некогда. Руки безостановочно двигались. Галя жадно набрасывалась на лучшие ветки, оставляла на них массу ягод и спешила к следующим. Николай аккуратно подбирал за ней все, сердился: зкая бесхозяйственность! Но вот закрылось дно его пятилитрового ведерка. У Галины уже литр, наверно. Николай ушел далеко вперед, чтобы она не мешала. Первое время старался не нагибаться — чувствовалась боль в пояснице. Скоро он забыл про боль. Он ставил себе цель: наполнить ведро до щербинки, затем до половины, затем до другой щербинки... Малинник кончился, до верхней щербинки оставался всего сантиметр. Николай зашагал по лесу в поисках другого оврага, он уже не смог бы уйти, не наполнив ведро. Неожиданно открылось замечательное место. Он пробирался к кустам через заросли папоротника и крапивы, штаны до колен стали мокрыми, при-

липали к ногам. Он уже и про щербинку забыл. Трудно стало разгибаться, и он двигался согнувшись. Наполнил ведерко, сдернул с головы белый полотняный картузик, стал собирать в него. По спине текли струйки пота, хвоя попала за воротник, спина зудела. Он сорвал с себя рубашку, оставляя на ней следы пальцев в малиновом соке... С переполненным ведерком и картузиком он долго выбирался к своим. Издали услышал крики, но не было сил отвечать. Неожиданно появился перед Галей.

— Ко-о-оля! — отчаянно кричала она.

— Не глухой.

Он заглянул в ее ведерко и втайне порадовался: ягод было на три четверти, не больше. Водитель тащил полную корзинку, Николай прикинул: «Литров пять будет». Немного расстроился, но утешил себя: «Конечно, парень молодой. Если б не моя поясница...»

Поляна ослепила солнцем, оглушила криками. На другом ее конце стоял кораллового цвета «МАЗ-500» с желтым крытым кузовом, вокруг сбывали люди. В центре поляны молодежь в купальниках играла в мяч.

— Иди искупайся, — сказала Нина.

— А тут речка есть?

— Ходил-ходил и не видел.

Николай, стараясь не кряхтеть — Нина была близко, — лег в тени автобуса на спину и подумал, что встать уже не сможет. Рядом стояла корзина Ивана. Николай дотянулся, приподнял закрывающую марлю, заглянул — почти пустая. От круга играющих отделилась гуттаперчевая фигура, черная на ослепительном небе, направилась к нему. Упала рядом и оказалась Иваном. Иван покосился на добычу брата, спросил:

— Что ж так мало?

Николай отвернулся.

— Иван, Иван! — звали девушки из круга.

— Не могу! И так старуха ревнует! — Он вытянулся рядом с братом, потянул носом воздух и блаженно застонал. — Благодать, а, Микола? Слышишь?

— Что слышишь?

— Слышишь, щами пахнет? Золото у меня, а не жена.

При мысли о еде Николай почувствовал дурноту. Напекло, наверно, без картузика.

На пластиковой скатерти горками лежали помидоры, огурцы и яблоки, кучей на блюде — жареные цыплята. Стояли бутылки с пивом и лимонадом. Иван открывал консервы, сын Николая расставлял стаканы и тарелки, заговорщицки подмигивая, дядя и племянник тайком от всех подбрасывали друг другу кусочки. Водителю, который из скромности все держался в стороне, поручили резать хлеб, он тоже втихомолку жевал корочку. Верка привела от родника перемытых детей, и стали рассаживаться на траве. Женщины притащили на кривой палке громадную закопченную кастрюлю со щами, поставили ее на камушках в середине.

— Ну где он?

— Микола!

— Папа, ты где? Опять пропал!

Стараясь не показать, как трудно ему это, Николай поднялся, подошел к ним. «Зачем мне нужна была эта малина?» Он слишком устал и почти не ел. Впрочем, он никогда не замечал, что ест.

Иван смешил детей.

— Эх, сейчас бы огурчика, — мечтательно говорил он, а дети протягивали ему огурцы, кричали хором:

— А вот и огурчик!

Иван изображал счастливое изумление:

— Как же я их не заметил?

Через минуту:

— Эх, сейчас бы курочку...

Дети падали от смеха:

— А вот и курочка!

И опять счастливо изумлялся Иван. Глядя на покатывающиеся детей, смеялись и матери. Дети сами начали играть: «Эх, сейчас бы...» — а матери радовались их аппетиту. Каждый бы день так! Вера смеялась заразительнее всех, смотрела отцу в рот: что он еще придумает?

— Эх, сейчас бы... водочки! — сказал он.

Водитель захохотал.

— Только не тебе, — сказал Иван и потянулся за бутылкой.

Верка зашептала что-то на ухо матери.

— Сейчас можно, — благодушно сказала Галина.

После обеда взрослых разморило. Наскоро все собрали и улеглись в тень. Братья лежали рядом и смотрели на играющих в мяч. Иван любовался бойкой и ловкой девушкой и, когда она отбивала мяч, тихонько смеялся. Николай тоже следил за игрой. Его раздражал самоуверенный парень. Играл тот плохо, но изображал мастера — резал и все время портил мячи, к досаде Николая. Вскоре Николай его возненавидел, а когда парень похлопал девушку по спине, отвернулся и закрыл глаза.

Иван покосился на брата: «Переживает. Все о цехе думает». Он подумал, что мир устроен несправедливо: ему всегда хорошо, хоть живет он только для себя, а брат живет для людей, и ему плохо. Однако, несмотря на эту мысль, стыдно Ивану не стало. Ему действительно было хорошо. Он чувствовал, хоть не мог выразить это словами, что глубже этой несправедливости существует какая-то другая справедливость, по которой он и Николай не в долгу друг перед другом.

— Ну, что решил, Микола?

— О чем ты?.. А-а-а... Буду работать.

Николай и не вспоминал о цехе. Со вчерашнего вечера все стало ясно и просто — он успокоился.

Неделю назад, когда приступ радикулита затих, он позвонил Бугрову: «Помнишь наш разговор? Ты не передумал меня к себе взять?» И тогда он впервые услышал то, что потом часто слышал от людей самых разных: «Что ж ты три дня назад (неделю назад, месяц назад, вчера, позавчера) не позвонил? Вот только-только взяли человека!» Некоторые ему говорили прямо: «Хоть статью в трудовой книжке измени, не сорок семь «в». Попроси Грачева, пусть по собственному желанию оформит. Нас тоже без конца комиссии проверяют. Я бы лично тебя хоть сию минуту взял на любое место». И все-таки нашелся человек, который согласился его взять. Видимо, делал он это в пику Грачеву, да и нужен ему был крепкий мужик. «Но смотри, — сказал. — Даю тебе отсталый цех, но чтобы через полгода было первое место по заводу. Победителей не судят». «Не беспокойся», — пообещал Николай.

На следующий день впервые после болезни он вышел на работу. Зашел в приемную и узнал: Грачева нет, улетел в Москву. Приказа на увольнение Важника тоже нет.

Странная в тот день получилась оперативка в цехе. Слишком уж было тихо. Слишком прислушивались к каждому слову Николая, пытались догадаться: остается он или нет? А он и сам не знал этого. Ни-

когда его указания не выполнялись так старательно. Невольно подумал: зря сдали нервы тогда с Грачевым, может, обошлось бы. Николай держался, как будто ничего не случилось, отгоняя мысль, что, наверно, в это время в канцелярских дебрях завода движется своим путем бумага, на которой уже записан, как в «Книге судеб», его завтрашний день.

Вечером Николая вызвал Сысоев. Сказал: «Григорьич наш на месяц вылетает в Италию. Прямо из Москвы». Хитро улыбаясь, он замолчал, дал Николаю время оценить новость. Тот ничего не понимал, и Сысоев разъяснил: «В общем, думаю, вернется сюда в октябре, не раньше. — Он опять помолчал и, перестав надеяться на сообразительность Николая, добавил: — Приказ — догадываешься, какой? — он подписать не успел. Думал, видно, обернется в Москве за день-другой, ничего мне не передал. Приказ-то подготовили, но такие бумаги, я считаю, не в моей компетенции. Вполне могут обожждать... Ты усек?» «Нет, — сказал Николай. — Месяц раньше, месяц позже — не все равно?» — «Смотри, тебе виднее. Но если б у меня было заявление «по собственному желанию», я бы его подписал. Зачем портить трудовую книжку?» — «Месяца два, значит, у меня есть?» — «В общем-то, помоему, есть. Что завтра будет — не знаю. Сегодня кое-что для тебя сделать могу. А то как-то паршиво все получилось». Николай едва удержался от слов благодарности. За что Сысоева благодарить? Ему ничего это не стоит. Завтра положение изменится, и он подпишет приказ. Так, значит. Теперь его кто угодно на работу возьмет, Николай Важник многим нужен...

Он не хотел спешить. Больше ему нельзя ошибаться. Время подумать есть. Но он, не признаваясь себе в этом, уже не доверял себе и потому спешил и потому хотел немедленно прийти к какому-либо решению и потом твердо его придерживаться. Ему казалось, хладнокровно, а на самом деле волнуясь, он перебирал и оценивал свои возможности по дороге домой, за ужином, ночью в постели. С одной стороны, ему дадут цех — правда, не литейный и небольшой, но цех, — а завтра могут уже не дать. Но, с другой стороны, у него есть один-два месяца. Он выжмет из цеха все, выполнит план. Пусть придется задержать ремонт оборудования, пусть кое-кому придется перенести время отпуска, он выполнит план. А там и молодые парни из армии придут. Сможет ли тогда Грачев снять его как несправившегося? Николай еще раз начал обдумывать все, что нужно сделать в цехе, и задремал. Он попытался проснуться — ведь он еще ничего не решил. Но ему уже не нужно было решать. Снова он жил единственно возможной для него жизнью — когда завтрашний день зависит от его сегодняшних усилий, и потому пришло спокойствие и вместе с ним сон.

...Иван ошибся. За весь день Николай не вспомнил о цехе. Сегодня он дал себе задание — отдыхать.

Он осторожно подвинулся глубже в тень, прислушиваясь к пояснице. Теперь его раздражали голоса из оврага:

— Ну-у, так где же здесь малина?

— Товарищи, а вы уверены, что это малинник? Это не э тот, как его... боярышник?

— Стыдно, товарищ Монгалева, не знать родную природу!

— Товарищи, малину съел медведь!.. Вот он!

— А-а-а!

Николай сердился: малина им нужна; мы вот на рассвете встали...

— Иван, а не пора нам?

Иван спал на спине, уронив к плечу голову. Тело белое, а лицо, шея и кисти рук красные. Одна штанина задралась, открыла волоса-

тую ногу. Николай бы тоже заснул, если б не злили голоса из оврага. Ныла поясница. Николай поднялся, закусив губу, пошел к роднику. Смочил лоб, подержал в воде руки, пока их не заломило. Малыши вместе с Сашкой что-то искали в березняке Грибы? Он походил по холмам, грибов не нашел. Наверно, надо знать, как их ищут. Вернулся и начал будить своих:

— Пора, что ли?

— Угомонись,— сказал Иван во сне.

Женщины заворчали:

— Что тебе не ложится?

— А что здесь делать? Спать и дома можно.

Он все же растолкал всех и даже развеселился: эх их разморило, Ивана вон шатает.

— Иди лицо вымой,— сказал он брату.— Герой.

Малыши домой не хотели и подняли визг. Пока их успокаивали, пока загоняли в автобус, Иван исчез. Нашли его на речке — дурачился с девушками, брызгал на них водой. Послушно вылез на берег, махнул на прощанье молодежи.

— Вот жизнь! Опять старуха моя ревнует.

Всю обратную дорогу женщины молчали. Обе были недовольны мужьями. Нина — за то, что ее Николай не дал детям порезвиться, поднял их всех, за то, что он вообще эгоист и всегда всем недоволен. Галя знала: раз ее Иван немного выпил, он теперь не успокоится, пока не добавит. А тогда поди знай, что на него найдет.

Глава десятая

ЛЮБОВЬ

1

Он не помнит ни одной их встречи. Слишком полон он был тогда своим чувством, чтобы что-нибудь замечать. Была она, все остальное, как и он сам, существовало лишь как ее проявление. При ней он переставал сознавать себя существом, ограниченным в пространстве и наделенным волей. Он просто видел и слышал ее — и всё. Презабавно, должно быть, он выглядел при этом, счастливые это были дни. Счастье становилось нестерпимым, когда неожиданно останавливался на нем ее взгляд. Он переставал дышать, не отведи она глаз — он, казалось, умер бы. Настолько он чувствовал себя ее частью, что жил так, будто каждая минута и каждая мысль ей известны. И в ее отсутствие он жил словно под ее взглядом.

Из тех лет он помнит лишь ее движения. Помнит, как она подходила к окну, садилась в кресло, открывала дверцу машины. В воспоминаниях нет ничего личного, нет ее примет. Никогда в его памяти она не оказывается рядом с ним, обращенная к нему — в такие мгновения он как бы исчезал, так что памяти нечего было сохранить.

Он не мог испытывать ревности или недовольства, и равнодушие ее было счастьем. Он стал обожать брата, хоть до сих пор вслед за Лерой считал его по меньшей мере скучным. Пожертвовать собой по ее желанию — об этом он и мечтать не смел.

Когда-то мать огорчалась, когда находила в кармане его школьной курточки свои фотографии. Все должно быть в меру, и сыновняя любовь тоже. Мера ему не давалась. Раньше чем он стал помнить себя, он уже жил беззаветным поклонением. Поклонением матери, соседской девчонке, которая была старше и умнее его и помыкала

им как хотела, поклонением пионервожатой и молоденькой учительнице... Тогда он еще не мог понимать, что с ним происходит, он узнал это позднее, задним числом, но и тогда он чувствовал, что это должно быть его тайной. Боги сменяли друг друга и забывались, и каждый оставлял что-то от себя на его алтаре, и их невольные дары, объединившись, перешли к Тоне. Позднее и ее постигла участь всех богов, и она оставила ему себя во всех женщинах, которых он любил после и в которых искал ее. Их волосы, линии одежды, их движения и звуки голоса — во всем была она, хоть даже он сам не понимал этого.

Бывает, человеку снятся как будто незнакомые места — комнаты, или улицы, или развилка дорог в лесу. Но это снятые места, которые он забыл. Если случай вновь приведет его туда, он вспомнит и поймет свой сон.

А бывает, сон не помнишь при пробуждении, но остается от него ожидание предстоящей радости. Еще она неизвестна, но все утром легко и движения молоды. Так проснулся в то утро Аркадий — с прежним чувством праздника. Как будто девять лет назад он заснул и только сегодня кто-то нетерпеливый разбудил его.

Он еще и не вспомнил о вчерашнем вечере у Тони. Он и радость свою не заметил. Но жизнь стала полной и отчетливой. В солнце и утренней свежести, в утренних звуках за окном была щедрость. Так весной устаешь от избытка собственных сил. Тебе дана радость, которая в тебе не вмещается, и ты благодарен, ты влюбляешься в людей, готовых ее принять. Ты можешь ее не выдержать один.

В ординаторской Кошелев рассказывал медсестрам, как его малыш вместо «шапка» говорит «пкапка» и тянется ручонками к накопничку комнатной антенны — «пкапка». Аркадий слушал и умилялся: действительно, шарики на усах телеантенны — ее шапки. Он обнимал Кошелева за плечи, прикосновением рук передавал свою радость, и она при этом не уменьшалась, а росла в нем самом.

В лаборатории ему показалось, что он влюбился в молоденькую лаборантку, ему стоило труда удержаться и не сказать ей об этом.

— Ты молодец, — сказала Тоня, открыв дверь. — А то просто не знаю, куда деться.

Она была удручена. Усадила его на кухне, спросила о чем-то и забыла выслушать ответ. Аркадий замолчал. Тоня стала рассказывать о цехе, а он не постигал смысла слов, но все понимал, счастливый тем, что слушает и смотрит на нее.

— Ты извини, что я сегодня такая, — сказала она. — Просто страшно устала... Нет, нет, все складывается нормально... Важник? Он сказал: «Иди, мне некогда». А я к нему уже с заявлением пришла, увольняться. Нервы... А что ты хочешь... Так мне все надоело... Надоели, Аркадий, грязь, ругань, шум... К Тесову, что ли, в институт пойти? Никуда не хочется. Лечь бы да лежать... Хочешь, я олады сделаю? Кефир пропадает... Противно все, цех осточертел...

Она забыла, что вчера отчаянно боялась потерять этот цех. Аркадий смотрел, как движется она от стола к плите, от плиты к холодильнику, как ее рука сбивает ложкой в тарелке жидкое тесто.

От внезапной мысли глаза ее стали большими и испуганными.

— Ты не звонил вчера Грачеву?

Оглушенный ее взглядом, он на мгновение перестал существовать, а потом, обнаружив себя по-прежнему сидящим на табуретке в ее кухне, долго пытался вспомнить, кто такой Грачев.

— Нет...

— Уфф... Я уж испугалась, подумала, твоя работа.

Тоня отвернулась к столу и, задним числом удивившись чему-то,

бросила на Аркадия короткий любопытный взгляд. И тут же отвела глаза.

— А как у тебя... дела?

Он догадался: женское чутье удержало ее от вопроса об Ане. И то, что она именно сейчас хотела спросить про Аню, и то, что не спросила, и то, что он понял все это, было непривычной радостью понимания. Усталость ее и безразличие ко всему казались чем-то второстепенным и легкоустранимым. Аркадий заставлял себя сочувствовать ей, но не верилось, что в ней нет того радостного чувства, которое было в нем, и, удивляясь своей черствости, он все равно не мог сочувствовать. Насилюя себя, он расспрашивал о цехе, советовал что-то, и она не замечала неискренности и, как будто его советы помогли ей, повеселела. На самом деле помогли ей не эти советы, а то, что она нечаянно увидела вдруг на его лице и чего еще не решилась понять.

Он стал приходить почти ежедневно. Чувствуя, что ежедневно приходить нельзя и это может быть неприятно ей, иногда он пропускал вечера. Впрочем, такое бывало редко. Чаще всего, уже убедив себя не идти, он логически опровергал свое решение: «А почему не идти? Если я надоедаю ей, она может дать мне знать. Женщины умеют говорить такие вещи. Мы с ней всегда откровенны друг с другом. Я бы на ее месте так и сказал: хватит трепаться, я хочу спать. Она понимает, что я не обижусь. Действительно мне с ней интересно, интересно ее понять. Удивительно, как мало я ее понимаю».

Он, который всегда пытался объяснить малейшие свои душевные движения, теперь совсем не задумывался о чувстве, заполнившем его жизнь. Именно теперь жизнь стала казаться понятной и не требующей объяснений.

Прошла неделя. В выходной они уехали за город, купались в озере, лежали на песке. В их разговорах установился тон шутового поддразнивания и беспечности. Им было хорошо вдвоем, и оба чувствовали, что их отношения такими остаться не могут и независимо от их воли и желания должны измениться, и оттого было тревожно, оттого они не могли изменить этот шутовый тон.

На озере Тоня сумела забыть заводские тревоги. Болел Важник, ходили слухи, что вместо него поставят Шемчака, цех жил нервно. Только Аркадий отвлекал от этого, а здесь, на озере, она и о нем забыла, лежала без мыслей, чувствуя кожей солнце и ветерок. Солнце заходило, остывал песок, пляж пустел, а Тоне все не хотелось возвращаться домой, хоть они не позаботились заранее о еде и очень проголодались. На городском вокзале сразу побежали в буфет и, стоя за высоким мраморным столиком, ели бутерброды, запивая их пивом. Тоне было хорошо, и сознание, что причина этого в нем, ошеломляло Аркадия.

— Ну как? — спросил он.

— Замечательно, — сказала Тоня. — И тебе тоже?

— Разве ты сомневаешься?

Подумав, она сказала:

— Сомневаюсь.

— Ты хорошо выглядишь, — сказал Аркадий. — Я прописываю тебе еженедельные купания.

— Почему ты не женишься?

— Это идея, — сказал он. — Никогда не думал о ней. Давай поженемся.

— Тебе необходимы дети, — сказала Тоня. — Увидишь, насколько легче станет жить. И жена должна быть на десять лет моложе тебя.

— Мне сорок пять. Тебе сколько?

— Ты считаешь, что все уже знаешь. Никогда бездетный человек не поймет, насколько легче с детьми.

— Я предлагал тебе жениться и не помню, что ты мне ответила. Ты почему смеешься?

— Так. Люблю тебя слушать.

— За этот месяц ты, между прочим, второй человек, которому я предлагаю руку и сердце. Значит, два — ноль... Или ты передумаешь?

— А разве я тебе отказала?

— Тоня, у меня есть один дефект. Я всегда говорю серьезно, а мой язык от себя добавляет всякую чушь. Это он от трусости. Ты не обращай на него внимания. Ты согласна?

— Подожду, пока тебе будет сорок пять. Тогда ты станешь на десять лет старше меня.

Их разговор продолжался в том же тоне, и то хорошее и радостное, чем жил последние дни Аркадий, исчезало в словах, обволакивалось игрой. Он чувствовал это, но не находил решимости отбросить игру. Он видел: Тоне она нравилась. Он знал также, что сам в этом виноват, что усвоенный чужой тон, смесь беспечности и разочарования, был когда-то его маской, но от частого и долгого употребления маска срослась с лицом, а того, что прежде было лицом, он стыдился. Маска была трусостью — расчетом сохранить достоинство при возможном поражении. Тоня ли виновата, что ничего не видит, кроме этой маски?

Недовольный собой, он простился с ней на улице и тут же пожалел об этом. Ему нужно было ежесекундно убеждаться, что она существует. Ложь исчезла вместе со словами, в одиночестве все опять стало просто. Он позвонил Тоне из автомата, услышал ее и неожиданно для себя сказал:

— Это аптека?

— Да, — рассмеялась она.

— Помогите...

И опять слова затуманивали игрой то, что должны были выразить, и он уже был доволен этой игрой и Тониной радостью от нее.

— Завтра поговорим, — наконец сказала она. — Хорошо? Сегодня уже поздно...

— Спокойной ночи...

— Спокойной ночи...

Он вышел из телефонной будки. Прошла мимо девушка и улыбнулась, увидев его лицо. Она еще два раза оборачивалась и улыбалась.

Вдруг он вспомнил: едва остановился телефонный диск, он услышал в трубке ее дыхание. Значит, она стояла у телефона и ждала его звонка.

На следующий вечер он не застал Тоню дома. Это было неожиданной катастрофой. Весь вечер он просидел на скамейке у подъезда. Куда она могла уйти? Конечно же, осенило его, она решила сделать сюрприз и сейчас ждет его у него дома. Он побежал домой. Оттуда пробовал позвонить — не дозвонился. Тогда ему стало ясно: с ней что-то случилось. Через несколько минут он был в этом убежден, в ужасе бросился опять к ней, хотел высаживать дверь, но тут выглянула соседка и сказала, что Тоня ушла. Он не мог понять, зачем ей ходить куда-то одной, если есть он. Конечно, она ушла не одна. Разве он знает что-нибудь о ее жизни? Он вернулся домой, решил никогда больше ей не звонить и тут же позвонил. Она подняла трубку, удивилась, что он звонит так поздно. Она гуляла, а теперь прямо засыпает стоя. От счастья слышать ее он забыл все свои подозрения,

но потом, ночью, вспомнил: гуляла? Что значит гуляла? Она хотела оскорбить его!..

Тоня не солгала: в этот вечер она ушла из дому за полчаса до прихода Аркадия и бродила по улицам, бесцельно заглядывая в магазины, а когда они закрылись, поужинала в маленьком кафе недалеко от дома.

Она всегда радовалась Аркадию. Она всегда помнила, что в первый год ее замужества он, тогда еще мальчишка, ее любил. Женщине трудно поверить, что любовь к ней может исчезнуть. Теперь он приходит каждый вечер, его взгляды, движения, слова — в них невозможно обмануться. Но Тоня вспоминала его увлечения и говорила себе — нет, этого не может быть.

«Если бы он узнал мои мысли,— думала Тоня,— он перестал бы приходиться. Он легкомысленный, а я привыкла к Степану и все принимаю всерьез. У него выработался особый стиль отношений с женщинами, он сам этого не замечает. Как-то мне сказал, что воспитанный мужчина должен держать себя с любой женщиной так, словно он чуть-чуть в нее влюблен. И я же принимаю его манеру за чувство! Стыдно в моем возрасте».

Но при нем Тоня не могла так думать. Она исподтишка за ним следила, неожиданным взглядом в упор приводила в замешательство. Он так зависел от нее, так радовался малейшему ее вниманию, он был таким послушным, безопасным... Тоня совсем не была избалована поклонением и была ему благодарна. Проявления благодарности редко отличаются от нежности, и Тоня сама не знала, благодарность это или нежность. Последние дни она прожила в напряжении. Как ни отгоняла она мысли о нем, они ее не оставляли. Что будет дальше? К чему все это? Не нужен он ей совсем!

В этом была и правда и ложь. Непроизвольно, незаметно для себя Тоня всегда устранила из жизни все, что угрожало спокойствию. Однако одновременно с этим в ней жило странное желание потерять спокойствие, оказаться во власти чего-то огромного, потерять всякую ответственность за себя. Ей никогда не пришлось испытать самой это «что-то» или увидеть в других, но она неизвестно как знала — оно существует и при встрече с ним она, Тоня, безошибочно узнает его.

И потому ночами она стала другой. Ночи пугали ее сновидениями, которые переживались как явь. И днем они не исчезали бесследно. В памяти они оставались как реальные события. Поневоле прислушивалась Тоня к разговорам стерженщиц в гардеробе. Выбивщик Мокась женился, жена была на семь лет его старше, и если кто-нибудь отпускал шутки по этому поводу, у Тони портилось настроение, а когда Федотова вступилась за Мокасю, Тоня обрадовалась. Слушая рассказы о семейных делах, Тоня теперь всегда интересовалась возрастом мужа и жены. Она уже не могла понять, чего хочет. Если бы не ночи! Все было бы хорошо...

Вещи на прилавках и в витринах — платья и ткани, туфли и белье, хитроумная кухонная утварь и отделка телевизоров — развлекали ее целый вечер. Вид вещей принес успокоение. Возвращаясь, Тоня искала глазами около подъезда Аркадия и не знала, боится или хочет увидеть его. Его не оказалось, и она поняла, что рада этому. Значит, ничего нет и так лучше. Она все выдумала. Но в приятном сознании спокойствия и определенности было разочарование. Лучшая пора жизни — позади.

Следующим вечером Аркадий не пришел и не позвонил. Тоня включила репродуктор, слушая концерт, приготовила себе настоящий ужин: котлеты с вермишелью, овощной салат, кофе. Не так, как

обычно, на скорую руку. Рано укладываясь спать, подумала: пора закончить ремонт, осталось-то двери да полы покрасить.

В выходной во время завтрака еще не знала, чем займется — ремонтом или стиркой. Решила стирать. Замочила в ванной белье, сквозь шум воды услышала звонок и, к своему удивлению, обрадовалась: пришел. Мельком взглянула в окно: день, оказывается, замечательный, по грибы бы съездить.

Она сразу увидела все на его лице, и ей стало тревожно. Хоть бы что-нибудь помешало ему заговорить! Зачем это, они так хорошо могли бы провести день, им так хорошо бывало вдвоем, зачем же он хочет все испортить, зачем вместо веселья и радости неловкость и стыд...

Он поздоровался и замолчал. Слова, которые мысленно были так легки, что казались произнесенными вслух, — эти слова не произносились. И опять ему пришлось прятать свои слова в другие, неверные, в чужой, неверный тон, чтобы они показались верными.

— Тонька, отличная мысль мне пришла в голову: а что, если нам пожениться?

— Ай, Аркадий, нет, — быстро сказала Тоня. В это время она правляла двумя руками волосы и замерла с ладонями на затылке.

И тут слова сказались сами, без усилия, так, как звучали в мыслях:

— Я люблю тебя.

Она не ответила, избегала его взгляда. Он молчал. Так они и стояли, застыв. Постепенно ее пальцы ожили на затылке, стали перебирать волосы. Потом Тоня мельком взглянула в зеркало. Она хотела взять с полочки заколку, но не решилась оскорбить его будничным движением, виновато взглянула на него, неожиданно улыбнулась и все-таки взяла. И теперь уже спокойно привела в порядок волосы. Казалось, слова были сказаны очень давно или их совсем не было. На них не нужно отвечать. Но Аркадию теперь ничто не мешало их повторить, а она — благодарная, почти счастливая, ведь так хорошо стало от его слов, и зря она боялась их, совсем не страшно оказалось, ничего не требуется от нее, и ее любят, любят, — она сказала опять: «Ай, Аркадий, нет» — и дотронулась рукой до его руки:

— Ну что ты, Аркадий...

Он молчал. Она провела ладонью по его плечу и спохватилась: господи, что же она делает, так нельзя. Она ушла на кухню, стояла там, бессмысленно переставляла посуду на столе и упрекала себя за то, что ей хорошо и не хочется, чтобы он ушел. Вернулась.

— Что ты, Аркадий...

— Ничего, — сказал он. — Абсолютно.

— Ты проходи...

Он прошел в комнату следом за ней. Она сказала:

— Хороший день.

Он покорно сказал:

— Можно куда-нибудь поехать.

Она обрадовалась — да, в лес, к воде — и вдруг поняла: так нельзя. Пусть оба они хотят, чтобы так было, и ему не в чем будет ее упрекнуть, но так нельзя.

— Нет, Аркадий, — сказала она. — У меня стирки полно. Ты иди.

Ей захотелось поцеловать его, она опять повторила про себя: так нельзя.

Он согласился:

— Да, пойду. До свидания.

Она скоро убедилась, что не может стирать, ничего делать не может. И пошла в кино. Мужчина и женщина встретились, понравились

друг другу и влюбились. Соединиться им мешала ее чистота и верность воспоминаниям о первой трагической любви. Тоня волновалась за мужчину — он был автогонщиком и рисковал жизнью. С середины фильма до конца Тоня проплакала. Ей хотелось, чтобы фильм кончился хорошо, чтобы они соединились. Зажегся свет и застал ее врасплох. Тоня наспех вытерла платочком глаза.

Еще не начали возвращаться домой из пригородов горожане, магазины были закрыты, лишь в конце пустой улицы на углу двери дежурного гастронома впускали и выпускали редкие фигуры. Тоня шла медленно, удерживая в памяти картины и мелодию фильма. Кто-то ударил ее сзади по плечу, от неожиданности она вздрогнула.

— Здорово, хозяйка.— Иван, улыбаясь, опустил руки.

— Вы меня испугали,— сказала Тоня.

— Ну уж и испугал. Разве страшно? — Он игриво оглядел ее.

Она промолчала, и Иван спросил:

— Как ремонт? Обещал сделать, да вот никак с тобой не стоворимся. Надо бы время найти.

— Спасибо,— сказала она,— я уж сама.

— А я хотел как-то к тебе заглянуть, да постеснялся,— понизив голос, сказал Иван.— Поговорить хотелось.

— Что же стесняться,— ответила Тоня.

— Ну, думал, неинтересно ей со мной говорить.

— Надо было зайти,— безразлично сказала она.

— А если я сейчас возьму в гастрономе красненького?

Она слабо запротестовала. Фильм и духота в зале лишили ее сил. Дома она поставила перед тахтой табуретку, принесла рюмки.

Иван заставил и стаканы принести:

— Ну что ты, хозяйка, ей-богу, женскую посуду... Курить можно?

Вместо пепельницы она придвинула рюмку.

— Ты не приболела? — посмотрел на нее Иван.

— Здоровая.— Она села в дальний конец тахты.

— Ну, давай за тебя.— Он поднял стакан.

Они выпили. Вино было теплым, после первого глотка неприятно сладким, но Тоня, преодолевая отвращение, допила свой стакан до конца.

— Человеку надо иногда поговорить, верно? — говорил Иван.— Я тебя как увидел, так подумал: вот с ней надо поговорить, она всегда поймет. Понимаешь?

Тоня чувствовала, как поднимается к горлу тошнота. Голова кружилась. Она сосредоточила внимание на горле и боролась с тошнотой.

— Человек всегда недоволен,— сказал Иван,— это, конечно, его глупость виновата. Но что человеку надо? Есть некоторые, говорят — деньги. Чепуха. Я двести пятьдесят получаю и еще имею. Это я так, между прочим. Это не имеет значения. А Микола имеет двести в месяц. Так я скажу, что это глупость, что только деньги нужны. Видел я всяких, иной, кажется, мать за рубль продаст и ему что там природа, как говорится, или человек хороший, или газету почитать — это ему до лампочки, он как тот пыльный мешок, которым его в детстве хрястнули. Так вот даже этот пентюх выбирает жену покрасивше, а ведь если задуматься, значит, не только польза ему в жизни нужна, а? Ну, такой нос или другой, ну, зубы еще можно понять, для здоровья важны, а нос? Такой или другой или волос — темный или золотой, как у тебя? В том-то и дело! Красота. А скажи ему, что ему, кроме денег, и красота в его поганой жизни нужна,— он тебе не поверит, нет. Сплюнет и пойдет. Я тебе скажу, человека еще очень не скоро до конца поймут, откуда у него что...

Тошнота прошла, но голова кружилась. Тоня ничего не понимала из слов Ивана, голос его убаюкивал. Она хотела встать, зажечь свет и не могла:

— Иван, свет зажгите, пожалуйста.

— Сейчас. В жизни всякое бывает,— говорил Иван, не пошевелившись.— Вот объясни, как получилось: женщина ты молодая, красивая, на мой взгляд — так чересчур... И вот одна, без мужика. Плохо ведь?

— Да, Иван,— сказала Тоня, и ей показалось, что он понял в ее взгляде больше, чем понимала в себе она сама.

Она почувствовала опасность, но не испугалась. Стыдно было во второй раз просить свет зажечь, как будто она придает чему-то слишком большое значение. А у самой не было сил подняться.

— Ты на одну солдатку похожа. Давно я ее знал, еще мальчонкой. Я как тебя увидел, то ли волосы, то ли еще что, подумал сразу: до чего похожа! Я тебе скажу, эта баба мне... ну, она мне здорово душу перевернула. Нацелилась она на меня. Я совсем мальчишкой был. Но, правда, девкам спуску не давал. В этом смысле я... А я на «ЗИСе» зерно на ток возил. Она и раньше меня все задирала, знаешь, все с шуточками, а на самом деле, мол, принимай всерьез. И вот подговорила девок на току: мол, каждый шпингалет будет щипаться, гоголем ходить, давайте его проучим. Я подъезжаю, как обычно, одну за бок, другую... И тут они навалились на меня, повалили...

Она слышала мягкий голос, рассказывающий вещи, которые не рассказывают, употребляющий слова, которые он не имел права при ней употреблять. Ошеломленная, она наконец попросила:

— Иван, да что же вы, я не хочу слушать...

Он продолжал говорить, она подумала: надо немедленно встать. Не приходило на помощь возмущение, бесстыдство его слов было позволительно, оно волновало, и таяла в этом волнении, как снег в горячей воде, преграда стыда. Надо было встать. Лишенными сил руками Тоня попробовала опереться о тахту, чтобы подняться, но его руки повалили ее, и она уже не чувствовала ничего, кроме этих рук...

Когда Иван подходил к своему дому, на улице было еще светло, особенно после сумрака комнаты. К ночи поднялся ветер, и понадобилось три спички, чтобы раскурить погасшую папиросу. Иван был растерян. Он был добрым человеком и любил, чтобы его радость разделяли с ним другие. Он мог еще понять слезы, даже ненависть, но когда он, улыбаясь, повернулся к ней в темноте и услышал равнодушное: «Ну что? Уходи!» — он оторопел. Его оскорбило спокойствие, с которым она поднялась и смотрела на него, пока не захлопнула за ним дверь. Потом, вспомнив все с самого начала, он улыбнулся, сказал себе: «Ай да Иван» — и вошел в подъезд.

Тоня не плакала. Она ничего не помнила, память выключилась, как экран телевизора, и нечего было вспоминать и не о чем думать. Тоня легла в постель и ждала. Она знала, что ночью что-то случится — война ли начнется, или молния ударит в дом, но что-то обязательно случится, и крыша обрушится на нее, когда она будет спать, и потому ей не придется подниматься утром, идти в цех и встречаться там с Гринчук. В спокойной уверенности, что так будет, она заснула.

Ничего не случилось. И жизнь была та же, что прежде. После выходного в гардеробе — свежий воздух, прохладно. Тихо. Ночной смены не было, а первая одевается молча — понедельник. Федотова теперь не стыдится живота, выставляет его на обозрение. Он замет-

но увеличился, и вся она раздобрела и округлилась. Ей это к лицу. За шкафчиками слышен вялый разговор.

— Чего ж не хочет?

— А вот не хочет и не хочет. Умные теперь стали.

— Я бы своей ремня, да и весь разговор.

— Посмотрим, как ты ей дашь ремня, когда подрастет. Скорей она тебе даст. Ты ей даешь ремня?

— Так не за что. Туфли на каблуках просит, так теперь все они так. Подружки в сапожках ходят по семьдесят рублей. Как ей отставить? Надо сделать туфли.

— То-то и оно. Нельзя не сделать, раз у всех есть.

— Вот и я кажу мужику... .

Гринчук и Федотова прислушиваются. Федотова говорит:

— Я своему рубашку шерстяную зробила, двадцать рублей. Он ругается: гроши, мол, на малого нужны будут.

— У моего есть две шерстяных,— говорит Гринчук.— Кроме свитеров.

— И у моего свитер есть, но в им жа в гости не пойдешь...

— Это так...

С тех пор как Федотова вышла замуж, Гринчук к ней переменялась. Теперь разговаривает как с ровней. И Федотова понемногу берет верх благодаря своей рассудительности и дружелюбию. Не пахнучает.

Приходит Жанна. Как всегда, здороваается одними губами, беззвучно. Быстро раздевается. Федотова и Гринчук в комбинезонах сидят на полу — время еще есть,— смотрят на нее.

— Как в выходной погуляла? — спрашивает Гринчук. В ее вопросе есть чуть-чуть насмешки, которая раньше всегда адресовалась Федотовой.

— Погуляла,— отвечает Жанна.

Из-за шкафов вступаются за нее:

— Дело молодое, отчего не погулять. Это тебе, Гринчук, уже все.

— Ты за меня не беспокойся,— отвечает Гринчук.

Она знает, что Жанна ни с кем не гуляла.

— Костя вчера моему помог,— говорит Федотова.— Машину достал скарб кое-какой привезти.

— Какой Костя? — спрашивает Гринчук.

Жанна делает вид, что не слышит. Швыряет вещи в шкаф. Федотова смотрит с неодобрением: неаккуратная она, Жанна.

— Климович, какой. Хороший хлопец, А, Антонина? Что ты все молчком...

— Хороший,— говорит Тоня.

Федотова обижена за Костю: такой парень, а Жанна еще приередничает. Добро бы было в ней что-нибудь.

— Ты б, Жанна, уважила парня,— говорит Гринчук, и ей откликается в конце раздевалки на высокой ноте чей-то смешок.— Замуж не замуж, а тебя не убудет.

— Вас не убудет, если языки-то придержите,— говорит Жанна. Все-таки ей приятно. А три года назад, когда из института пришла, краснела, убегала от таких разговоров.

— Жанна молодец,— отвечают из-за шкафчиков.— Она себя соблюдает. Не то что теперешние. Смотреть противно.

Это Лавшаева, которая про ремень говорила.

Жанну сердит такая похвала. Так уж Лавшаева уверена — соблюдает. Как будто это не от нее, Жанны, зависит. Гринчук как бы по-дружески добавляет яда, прямо отвечая на мысли Жанны:

— А я скажу — не выйдешь ты замуж. Слишком гонора много. Сначала, видать, парни не смотрели, а ты и струсила сразу: мол, мне и не надо, обойдусь. А раз обойдешься, так и без тебя обойдутся.

— Вам-то что? — говорит Жанна. — И обойдусь.

— Тут смелость нужна, так попробовать, эдак попробовать, а ты в себя запряталась. Уж теперь если и тронет мужик, так удерешь, захочешь, а не сможешь. А удерешь, догонять не будут.

Жанна чувствует правду в словах Гринчук, но не может ее признать, криво усмехается, как будто просто разговаривать не хочет.

Гринчук раззадорила всех за шкафчиками.

— Во! — кричит Лавшаева. — Слышали? Во!

Она, как и Жанна, возразить не может и потому повторяет:

— Во! Ишь ты! Во!

Дальнейшего Тоня не слышала, ушла.

На площадке бегунов копошились электрики. Тоня залезла к ним:

— Что такое?

— Мотор сгорел.

— Когда же он сгорел, если работать не начинали?

— Перед выходным у Рыжего на смене. Весь выходной искали...

Электрики были молодые, только что из армии, они и работали в армейских штанах, еще не замаслили их. Один долго объяснял Тоне, почему не сменили за выходной мотор, и не видел, что она смотрит на него, ничего не понимая.

Тоня спустилась с площадки. Внизу ее ждал Важник:

— Что там?

— Отпусти меня в отпуск, — сказала Тоня. — У меня по графику.

Он сразу вскипел:

— Идите все к чертовой матери! Я тут один буду работать!

У Тони губы задрожали. Каждый позволяет себе что хочет. Она одна должна всегда сдерживаться.

— У меня по графику отпуск сейчас. Мне к дочке надо.

Важник странно посмотрел на нее, но буркнул почти дружески:

— Если мы с тобой, Антонина, так начнем, что же о других говорить? — Он счел разговор законченным и кивнул на площадку: — Что там?

— Мотор сгорел.

Он неразборчиво выругался и полез наверх.

— Надо бы останавливать на ремонт, — сказала вслед ему Тоня. — Третий мотор за месяц сгорает. Ведь встанем.

Она не хуже его понимала: чтобы сделать план, останавливать их на ремонт нельзя. Надо продержаться хотя бы до следующего выходного.

Важник крикнул с площадки:

— Найди Сущевича, пусть сюда бежит!

Через пятнадцать минут бегуны должны работать. Конвейер. Тоня прошла весь пролет, по пути остановила Гринчук и послала в туннель разгрести землю — все равно ее бегуны стоят.

— Федотова, ты куда?

— Жанна плиты складать сказала.

— Иди на бегуны.

— А плиты як?

— Иди на бегуны... Жанна, — позвала она, — ты Федотову за плитами послала?

— Послала, а где она?

— Человек на седьмом месяце, ты в этом ничего не смыслишь? Плиты таскать.

— Да я...

Слушать ее было некогда. Тоня побежала искать Сущевича. Начался день.

2

«Любезная Антонина Михайловна!

Пишет Вам Ваш старый знакомый Аркадий Брагин. Вот уже четыре дня я далеко от Вас, в Москве, и так как исчез не простившись, спешу объявиться, дабы Вы знали, что исчез я не навсегда. Сейчас перерыв между докладами, в которых мы (участники конференции) рассказываем друг другу, чем же мы, собственно говоря, занимаемся. Мой доклад будет завтра. Вечерами я гуляю по веселому городу Москве и пристаю к незнакомым девушкам. Я, кстати, по рождению москвич, и за последние двадцать лет, вижу, девушки здесь стали гораздо привлекательнее. Если бы я был сентиментальным, я бы прогулялся от «Золотого колоса», в котором сплю, до Преображенки и, может быть, увидел бы какой-нибудь шестнадцатизэтажный корпус на том месте, где стоял наш деревянный домик у стен фабрики имени Розы Люксембург и где во дворе был пруд с тритонами, лягушками и водяными пауками. Но я не сентиментален, к твоему счастью, между прочим, а почему к твоему счастью — не скажу. Мой сосед по номеру, болгарин, стонет, что безумно влюбился в Москву. Говорят, сильная страсть встречается так же редко, как гений, стало быть, маловероятно, чтобы в одном номере «Золотого колоса» встретились два человека, способные на нее. Но я на нее и не претендую, я человек негордый, с меня хватит и моей.

Ах, Тоня, Тоня, я все пишу о себе и все думаю о тебе — и то и другое плохо. Все-таки, согласись, быть гостем в своем собственном городе — это выводит из равновесия. Чувство такое, будто упустил золотую рыбку по своей вине. Но, кроме моей лаборатории два с половиной на три метра, где же я не гость? Это мой отец умеет всюду быть дома — характер военного человека.

Интеллигент Кошелев купил у букинистов на улице Герцена два разрозненных томика Гейне на немецком языке, стихи и письма. Я открыл наудачу и вот что перевел: «Я сумасшедший шахматный игрок. С первого же хода я проиграл королеву и продолжаю играть и играю из-за королевы». Эти строки написаны родственнице, как и мое письмо. Вот как писали в XIX веке. Автор письма, говорят, перед смертью, страдая от сильных болей, пришел в Лувр к Венере Милосской и плакал возле нее. С тех пор род человеческий, должно быть, развил свое чувство юмора на сто двадцать — сто тридцать процентов, иначе с чего бы нам больше, чем прошлому веку, бояться быть смешными? Чем рисковать этим, мы предпочитаем оставаться несчастными. Когда я пишу «мы», я не знаю, кого еще имею в виду, кроме себя. Не важно, компания всегда найдется. О себе писать труднее, чем о роде человеческом.

Так вот о королевах. Влюбленные — народ хитрый, спешат найти местечко под тронем и снять с себя всякую ответственность за прожитую жизнь. А как тому, кто на троне? Тоня, Тоня, я же вижу, ты тоже хитрая и очень бы хотела влюбиться, если бы смогла. Так вот для твоего утешения: кому это действительно необходимо, тот сумеет. А кто не может, тому это не нужно, тому такие истории могут пойти во вред. Кроме того, влюбленность все равно паллиатив, она явление слишком временное. Рано или поздно жизнь или смерть разрывают связи, которые она создает, а что оказывается на месте раз-

рыва? То-то. Это заметил Лев Толстой, а крупнее ставки, чем он, никто на любовь не делал.

Как Стендаль говорил об опере: мы скучаем весь спектакль, но бывает несколько мгновений счастья, когда мы забываем, что находимся в театре; ради этих мгновений мы и ходим в оперу.

По случаю сочинил любовные стихи. Про соседа. Вот они (кончается бумага, потому пишу в строку):

Мой сосед — биохимик есть. Мы немного знали друг друга прежде, и приехал я сюда в надежде его лицезреть. Нас обоих (о, взрослые дети!) заинтересовало, как просыпаются медведи после зимней спячки, что у них в крови, и мы работали как могли. Он дал структурную формулу препарата, а я дал теорию (практики пока маловато).

Аркадий Брагин».

Тоня прочитала письмо. Почему ее не могут оставить в покое? Было мучительно всякое напоминание о любви. Вначале думать о случившемся было просто невозможно, и, избегая напоминаний, мозг находился в полудреме. Но время совершало свою работу, и Тоня позволила себе вспомнить и признать, что случившееся случилось. Она убеждала себя: ничего плохого она не сделала, хуже никому не стало, переоценивать это, переживать — мещанские предрассудки. Слабость ее оправдывали обстоятельства: вино, кинофильм, сумерки, Аркадий — все здесь намешалось. Она оправдывала само мгновение слабости и не принимала в расчет того, что к этому привело и что было в ней самой. Она оправдывала себя логикой, но чувствовала совсем другое и вздрагивала от воспоминаний.

Прошло еще время, и не стали нужны оправдания. Все забылось, а когда вспоминалось, то легко, без чувства стыда. Растерянность уходящего из квартиры Ивана теперь вызывала улыбку. Свои недавние терзания Тоня ставила себе в заслугу как доказательство нравственности.

Кончался сентябрь, изматывающие последние дни квартала. Важник выполнял план. Тоня приходила домой поздно, ужинала и сразу ложилась спать. В выходные она выкрасила наконец полы в квартире, расставила по местам мебель. Впервые порядок в доме не дал ей внутреннего ощущения порядка. Ей казалось, что она заметно стареет. «Надо что-то делать с собой», — решила Тоня. Однажды купила билет в филармонию. Когда-то в музыкальной школе училась, в студенческие годы редкий концерт пропускала, а с тех пор не была ни разу. Вот и случай представился надеть английский костюмчик. Ехать нарядной в троллейбусе на концерт, подниматься по широким ступеням к колоннаде — в этом была праздничная радость, обещание счастливых перемен. Однако сонаты Бетховена остались отделенными от нее запахом женских духов, покашливанием и шуршанием зала. Тоня скучала. Патетика не передавалась ей. Вечер оставил головную боль, неловкость от одиночества в антракте среди тысячеглазой толпы и от толчеи в гардеробе.

Несколько раз Тоня была у Леры. В первые встречи она засиживалась допоздна. У обеих много накопилось друг для друга. А потом стало труднее. Чем больше они сближались, тем заметнее становилось все, что разделяло их. К Лере часто приходили друзья, и тогда Тоня чувствовала себя чужой. Приходили для музыкальных занятий дети, и Тоня скучала. Мысленно она уже упрекала Леру в черствости. Почему Лера исчезает как раз тогда, когда она нужна? Почему она исчезла после разрыва со Степаном? Почему никогда не загово-

рит об Аркадии? Почему она не поможет Тоне? И поймав себя на этих упреках, Тоня поняла: Лера сильнее ее.

Цех жил в постоянстве мелких перемен. Дали технолога вместо Вали Тесова — девчонку двадцати трех лет, сразу после института. Сначала Тоня огорчилась: ничего не знает, худющая, с большими глазами... Хватит с нее одной такой, Жанны. Однако девчонка оказалась бойкой. Ругаться умела не хуже любого мужчины, обожала рассказывать анекдоты, со всеми быстро перезнакомилась. Она на второй уже день артистически «представляла» своего начальника Корзуна: ходила враскачку, вывернув носки, придавала лицу отрешенно-брезгливое выражение: «Хватит болтовней заниматься, Брагина, работать надо». Тоня влюбилась в нее, и они подружились. Вдвоем написали рацпредложение, ускорили сушку стержней. На авторское вознаграждение Тоня сделала первый взнос и купила в кредит телевизор.

Она старалась не думать об Оле, говорила себе: раньше зимы ее не привезут. Иначе было бы невозможно жить. И вот в середине октября получила телеграмму: «Встречайте 15 поезд 12 вагон 5 Оленька». Поезд приходил вечером следующего дня. Чтобы занять себя, Тоня до поздней ночи убирала квартиру, вытащила из коробки и расставила игрушки. Нашла воздушные шарики, надула их и подвесила к лампе. Утром в цехе упросила Важника дать ей отгул. В тот день она жила в другой временной скорости. Все вокруг казалось ей нестерпимо замедленным, и потому общаться с людьми было тяжело. Аля — так звали нового технолога — пыталась спорить с ней из-за какого-то брака, но Тоня отмахнулась:

— Ты ко мне сегодня не цепляйся. Дочка моя сегодня приезжает.

Аля многое еще не понимала, и Тоня не пыталась объяснить: пока еще рано, пусть освоится. Разве Аля в состоянии понять сейчас, что установка ультразвука, которой занят сам главный металлург, ничего не дает? Однако Тоня сумела добиться, чтобы эффект от внедрения ультразвука насчитали до смешного маленький. Это почти полностью сохранило нормы расхода. Важник прочел протокол и посмотрел искоса на Тоню. Она скромно опустила глаза. Она ждала его одобрения.

— Пронырливая ты баба, Брагина, — сказал он. — Своего не упустить.

Она не знала, что как-то вечером на улице Важник показал на нее брату: «Эта женщина, Иван, многих мужиков стоит». «Она и как женщина кое-чего стоит», — ухмыльнулся Иван. Ухмылка была слишком знакома Николаю, но он не поверил. Да и разный у этих слов мог быть смысл. «Ты так говоришь... Как будто...» Иван не отказал себе в удовольствии и похвастал. Оскорбления его рассказом Важник не мог простить Тоне.

Не зная ничего, Тоня догадалась обо всем. На мгновение пол ушел из-под ног. Она не сразу нашлась.

— Да, не упущу, а что?

— Ничего. Молодец.

Тоня не показала, как задела ее эти слова. Они отравили несколько часов ее счастливого ожидания.

Вечером приехала Оленька. Поднимаясь по лестнице в квартиру, Тоня переживала сразу и свое счастье и дочери. Вместе с Олей она узнавала свой дом и квартиру, заново привыкала к старым игрушкам. Оля потребовала, чтобы сразу раскрыли чемодан, вытащила подарки:

— Это от дедушки и бабушки. Это мы с дедушкой тебе в Ялте купили... Это от меня, авторучка, мне дядя один подарил, она без колпачка, надо в нее стержень вдеть вот сюда... А еще записная книжка, где она, а, вот. Это от меня, мы с дедушкой договорились, вместо мороженого... И еще я тебе ракушки собрала, они в зелененькой коробочке... Тебе нравятся? Я же говорила, ты обрадуешься, а бабушка, представляешь, не хотела брать, да.

Тоня смеялась и плакала: значит, помнили про нее, никогда она не забудет про эти подарки, их ничем не оплатить, жизнь ее не удалась, и она будет жить для Оленьки, больше ей ничего в жизни не нужно.

Но и так не получалось. Врачи советовали не отдавать девочку в сад, пока не окрепнет. Пришлось уступить дедушке и бабушке, и они забрали Олю к себе. Лишь в выходные Оля бывала дома, в будни же Тоня приходила к ней вечером после работы и не чувствовала себя нужной. Оля очень избаловалась, и Тоня, стараясь привязать ее к себе, соперничала со стариками и баловала ее больше всех.

Аркадий много работал и появлялся в доме поздно. Тоня привыкла, уложив дочь, заходить к нему «потрепаться». Письменный стол был завален графиками, лентами диаграмм, листками и раскрытыми книгами. Аркадий и Тоня разговаривали о неправильном воспитании Оли или о работе. Да, с ним было легко, но, видно, у Тони оказался плохой характер: прежде она не хотела его откровенности, теперь же, когда он молчал, досадовала на молчание. Ей хотелось, чтобы ее любили, любили так, как старики любят ее Оленьку. Неужели Аркадий обманывал? Значит, ее никто никогда не любил. Нет, она должна была понять Аркадия. Однажды, рассказывая об опытах, он упомянул о болгарине, и Тоня поторопилась кивнуть:

— Ага, биохимик.

Она впервые показала, что помнит о письме. Аркадий замолчал. Она решила обязательно вызвать его на разговор:

— Спасибо тебе за письмо. Оно очень хорошее.

Помедлив, он чуть-чуть улыбнулся:

— Пожалуйста. Я могу еще написать.

Нет, на такой разговор Тоня не хотела сбиваться. Она опять ничего не узнает.

— А сможешь? — Она взглядом просила его быть серьезным.

— Это очень сложный разговор, Тоня, — честно ответил Аркадий.

Ей пришлось покориться:

— Ну так что там твой болгарин?

Он стал рассказывать. Ничего Тоня не смогла увидеть на его лице. Она вспомнила, как, встретившись с ней на перроне в день приезда родителей, он сказал: «Я всегда пытался понять, отчего я глуп. Кажется, и работник неплохой, и умное словечко иногда вставить умею, а — глуп. И знаешь, только благодаря тебе понял, в чем дело. У меня нет твоего чутья на невозможное. Там, где человек семи пядей во лбу не может решить, что возможно, а что нет, ты черт знает как определяешь сразу и безошибочно, словно у них запах разный — у возможного и невозможного. Без такого чутья можно сделать гениальное открытие, но трудно жить умным. Я воспользовался твоим чутьем».

Тогда она думала только об Оле, а теперь догадалась: он же оправдывался. И спохватилась: что же она делает, чего хочет? Нет, она становится несносной. Сегодня она поссорилась с Алей и, поссорившись, увидела, как дорожит ее дружбой и как поэтому зависит от нее. «Надо что-то делать с собой», — решила Тоня.

Степан должен был вознаградить себя за то неприятное, что предстояло сделать. Так человек старается набраться тепла, прежде чем выйти на холод. Он купил в «Культтоварах» стереокомплект для фотоаппарата, оправдываясь мысленно перед Милой: он заслужит сегодня право сделать себе подарок. Потом поболтал с продавщицей до самого закрытия магазина и проводил ее до троллейбусной остановки. Однако, как ни тяни время, нужно действовать.

Это все теща виновата. Приехала, настроила дочь. Мила, конечно, мать слушает. Разве им плохо сейчас? Но теще ничего не объяснишь. Он может весь вечер терпеливо втолковывать ей, а она в ответ, как будто ни слова не слышала, опять свое, да еще не прямо ему, а Миле: «Болтает абы что». Или еще короче: «Абы что». И уйдет на кухню. Больше всего его бесит это деревенское словечко. Если б возражала, можно было бы поспорить, но она скажет «абы что» и пойдет. И если он злится, то он же и виноват: ему ничего обидного не сказали... Или в праздник за столом. Он душой раскрылся, хотелось обнять всех, стал объяснять, что им с Милой ничего не нужно, только любить друг друга, такие они счастливые, а теща как сказала «абы что», так словно в душу плюнула. А вначале такой уж покладистой казалась, так радовалась зятю, что вот непьющий, не вредный, голоса на дочь не повысит, не то чтобы руку поднять. Теперь другие речи у нее... Тоня никогда его не упрекала. Тоня его уважала, и всегда ей хватало, всем она была довольна. И в бюджет укладывалась. Конечно, если не уметь вести хозяйство, то и никогда не хватит. И алименты Тоня не требует, потому что, он уверен, Тоня любит его, хоть он и виноват. Она не даст развода... Впрочем, кто знает... Он все не мог до сих пор решиться на разговор с Тоней о разводе, все откладывал. Она единственный человек, который вправе его ненавидеть... А квартира в самом деле его, и не на улице же он хочет ее выгнать, просто зачем им с Олей на двоих такая большая квартира? Это элементарная справедливость — разменять ее на две маленькие, отчего ж так нехорошо ему сегодня? Милка и теща — из другого теста, им не понять, какую тяжелую ношу взвалили они на его плечи.

...Это все теща. Милка сама не была бы такой настойчивой. Впрочем... Милка слишком смотрит, как у людей. Чудная она, ей самой ничего не надо, лишь бы не хуже, чем у других. Есть у нее глупое сознание, как будто что-то она в жизни недополучила и теперь спешит взять свое по справедливости, чтобы ни в чем не быть хуже. А замечает у кого что и перенимает все Милка быстро, она умная, этого у нее не отнимешь. Но Степану это не нравится. В отпуск приехали они с компанией на Нарочь, уже на второй день вечером у костра Милка сидит с сигаретой, зажимает ее двумя распрямленными пальцами, никому и в голову не придет, что она некурящая. А разговоры при этом! Мы, мол, со Степаном пока не расписаны. Будто хвастается, что они культурные, выше условностей. А дома донимает с разводом больше, чем раньше. И в самом деле, пора поторопиться.

...Он никогда не знает заранее, что ее рассердит. Иногда, бывает, и прикрикнет на нее и по столу рукой стукнет. Мила ничего, притихнет, как будто так и надо. А вчера в гостях показывал карточный фокус, дома фокус получался, а тут, бывает же такое, сорвался... Чего ей было сердиться? И всегда, если у него не получается что-нибудь, она сердита, еле слова цедит... Нельзя, чтобы сейчас у него не случилось.

...Легко сказать. А если Тоня вообще не пустит? Захлопнет перед носом дверь — и все. Элементарно...

Он позвонил перед дверью, не давая себе времени замешкаться: время только увеличивало страх. Нащупал в кармане шоколадку для Оли. За дверью было тихо, и он с надеждой подумал: наверно, никого нет. Неожиданно щелкнул замок. Степан и Тоня оказались друг перед другом.

— Здравствуй, Степан..

Тоня посторожилась, пропуская его в квартиру.

От волнения он не мог говорить, потеряв волю даже для самых простых движений, не помня себя, как автомат повиновался ее словам и жестам, снимал по ее команде пальто и шапку, шел, куда она направляла, сел. Постепенно туман перед глазами рассеялся.

— Так как ты живешь?

Голос его звучал еще откуда-то издалека, из пустоты. Степан заметил, что, оказываясь, все это время он глупо улыбался и нужно перестать улыбаться, но тут уж ничего не мог с собой сделать.

Тоня рассказывала охотно, как рассказывают близкому человеку, когда уверены в сочувствии и интересе. Оля разбалована, а старики не хотят этого понимать, на работе Тоня страшно устает, Корзун совсем обнагел. В ее жалобах был уют. Так жалуется счастливые, полные жизни люди.

Волнение прошло. Слушая, Степан оглядывал квартиру, пытаясь понять, что же в ней изменилось, чем же стала она чужой. Тоня заметила его взгляд, объяснила:

— Я ремонт сделала. Посмотри хоть.

Как будто была уверена, что ему это интересно. Степану стало легко. Жизнь в который раз умилила своей простотой и щедростью. Никогда не надо бояться. Спокойствие после пережитого волнения ощущалось с особой силой, как выздоровление после тяжелой болезни. Он ходил за Тоней из комнаты в комнату, смотрел на потолки, трогал стены и повторял едва ли не благодарно:

— Ох, молодец ты, Тоня. Ну, ты молодец..

А она, как ребенок, расхвасталась. Он не знал, что она смутилась и взволновалась не меньше его и оттого-то стала так подвижна и разговорчива. Он не знал, что, увидев его, она обрадовалась и, считая эту радость слабостью, загнула ее словами, не знал, что она спасает свое достоинство и ужасается своей болтовне. Обошли они квартиру, вернулись в кресла и как-то беспечно упустили нить разговора. А подобрать ее оказалось трудно. Степан вспомнил, для чего пришел, и опять упал духом, не решаясь заговорить.

— А ты как живешь? — спросила Тоня. Спросила неохотно. Слишком уж он выглядел благополучным, несправедливо благополучным. Она бы предпочла, чтобы он без нее опустился.

Теперь был его черед жаловаться.

— Да так.. Похвастаться нечем..

— Что же так?

— Характер, наверно. Никчемный я, видно, человек..

Ему предстояло просить, и, подготавливая себя и Тоню к этому, он невольно преувеличивал свои неприятности и поверил себе сам. Кроме того, он был виноват перед Тоней, и вина как бы уменьшалась, если в результате ее он не выиграл, а проиграл. Тоня слушала жадно, с готовностью пожалеть.

— ...Да и здоровье что-то..

С самого начала она гадала, зачем он пришел. Она видела: он робеет, решила не помогать ему, но не выдержала:

— Тебе, наверно, нужен развод?

— Раз уж так все получилось, — замялся Степан, — то, конечно...

Надо ведь...

— Что ж ты ждал так долго? — как можно беспечнее, небрежнее заинтересовалась Тоня. — Я уж подумала, ты хочешь домой вернуться.

И внимательно на него поглядела.

— Раз уж так получилось, — повторил он удачно найденную формулу и, испугавшись направления, которое принял разговор, не давая себе возможности опомниться, выпалил: — Кстати, раз уж ты заговорила... Почему бы нам не разменять эту квартиру на две?

Он увидел, как изменилось лицо Тони, и пожалел о сказанном. Да пропади она пропадом, квартира!..

Тоня побледнела от стыда. Опять унизила себя. Дура.

— Если б у меня были деньги на вторую квартиру, — стал оправдываться Степан, — но ты же знаешь... И на эту отец...

— Я помню, — холодно сказала Тоня.

— Тоня, ну что ты! — взмолился Степан. — Разве в этом дело!

— Квартира Олина. Вырастет скоро Оля, кто ей поможет? Отец? Степан был раздавлен.

— Ну что ты? Я ведь... Ну, если ты... так о чем разговор... Ты думаешь, я Олю не вспоминаю, не скучаю? Я ей не показываюсь, чтобы она не спрашивала обо мне, чтоб не травмировать...

Не умеет он добиваться своего, не умеет быть корыстным. Гнев Тони прошел. Собственная слабость и досада на эту слабость были причиной гнева, но слабость Степана оказалась большей. Тоня разстрогалась. Он всегда был беззащитным, Степан. Она мягко улыбнулась:

— Думаешь, сейчас Оля не спрашивает?

— Спрашивает? — Растроганность Тони тотчас передалась Степану. — Ты бы объяснила матери... Зачем они меня отталкивают? Раз у нас не получилось, зачем было друг друга мучить, правда?

— По-моему, было не так уж плохо, — сказала Тоня и тут же пожалела. Опять унижается. — Разве ты мучился?

— Нет, конечно, но ты...

Сейчас ему казалось, что в прошлом у них было только счастье, в Тониной же любви он не сомневался никогда.

— Давай чаю выпьем, — решила Тоня.

Все было знакомо. Ничего не изменилось. Он следил за знакомыми движениями. Мила часто его раздражала. Он любил аккуратность и привык считать, что аккуратность — это делать так, как делает Тоня. Мила же делала все иначе. И в общей кухне, по которой ползал хозяйский малыш, трудно было сохранить аккуратность.

Пропади она пропадом, квартира! В конце концов, Оля — единственная его дочь. Сознание своего великодушия возбуждало его.

Пили чай, разговаривали об Оле. Пришло время уходить, и Степану стало страшно. Что он Миле скажет? Уже попрощавшись, он стоял у двери, все не уходил, не то чтобы раскаивался в своем великодушии, но на что-то надеялся. Тоня пожалела его и сказала небрежно, как она умела:

— Так заходи. Мы так и не договорились...

Он обрадовался возможности отложить неприятное.

Тоня долго не засыпала. Слышно было, как дует за окном холодный ветер, как звенит в почерневших ветках замерзающий дождь. Ей казалось, что она вспоминает прошлое, но то были мечты о будущем, принявшем образ прошлого. Она любила. Появилось то, чего в прежней ее жизни не было. Как он живет теперь? Как переносит неустроенность и молодую любовь? Уж Тоня-то знает: не это ему нужно. Ему ли строить гнездо без ее помощи, ему ли растерять свои привычки — тот единственный груз, который сохраняет его равнове-

сие? Она любила Степана, потому что ей нужно было его любить. Она ждала его, она была благодарна ему за то, что он без нее такой несчастный. Он пропадет без нее. Он не виноват, что он слабый человек. Ему, пусть не понимает он этого сам, нужна только она, и никто другой. Она знала теперь, что может его вернуть. А как бы хорошо они зажили втроем, с Оленькой, как бы хорошо! И это так возможно!.. Тут она вспомнила ту, другую женщину, и оскорбленная гордость разогнала мечты-воспоминания. Но на гордость у нее не было прав, она вспомнила еще более непростительное, чем оскорбленная гордость,—вспомнила Ивана и тихонько замычала в темноте.

Оказывается, Мила и ее мать знали, что Степан придет ни с чем. Был неприятный разговор, похожий на предыдущие. В нем Степан и сам становился неприятным, мелочным и недобрим. Мила пригрозила, что сама возьмется за дело. Степан струсил, обещал назавтра опять попробовать. Как он вопреки вчерашнему решению начнет разговор о квартире — об этом он не думал. Ему хотелось посоветоваться с Тоней, она поможет, при ней он останется великодушным, какой он и есть на самом деле, каким ему необходимо быть для своего душевного спокойствия и каким ему не удастся быть с Милой.

Он вспомнил вчерашнее спокойствие Тони, какое-то ее превосходство, неуязвимость. Чем она держится? «Наверно, у нее кто-то есть»,—решил он. Конечно, поэтому ей и квартира нужна. Степан возмутился: а он-то, простофиля, вчера размяк... Нет, пора ему стать мужчиной, Мила права. Сегодня он не отступится, доведет разговор до конца, сегодня он не поддастся своему великодушию.

Тоня догадалась об этом его решении, как только увидела Степана. Вчерашние гордые мысли о его спасении оказались ночным бредом. Она стара, она устала, она уже ничего не может. Ей самой нужна помощь, хоть чуть-чуть.

Они сидели, как и вчера, друг против друга. Степан делал мужественные попытки начать разговор, расспрашивал Тоню об общих знакомых, надеясь, что тема сама подвернется, появится удобный момент, и тогда он скажет о квартире. Тоня отвечала на вопросы коротко и замолчала. Она тоже ждала, когда он спросит о квартире.

— Ты не заболела?

— Нет.

— Может, расстроена чем?

Тоня шевельнула нетерпеливо рукой, не ответила. Степан вздохнул и стал прощаться. Только у двери Тоня поняла: он уходит, может быть навсегда, уходит, так и не решившись на разговор. Он все такой же — беспомощный и добрый, ее Степан. Ей захотелось заплакать от жалости к нему и себе, от любви.

— Ты хотел менять квартиру. Я подумала... Ты делай, как тебе удобнее. Мне все равно...

Губы задрожали, пришлось замолчать. Степан заволновался:

— Тоня...

Замирая, он еще говорил то, о чем думал минуту назад:

— А вдруг ты еще раз выйдешь замуж? Как же тогда с квартирой?

Но все это было в далеком прошлом, и он уже бормотал, не слыша себя:

— Тоня... я тебя не стою, тебе... Тоня, ты могла бы?.. Если бы ты могла простить...

Тоня заплакала и спрятала лицо в рукав его плаща.

— Степа, это я виновата...

Счастливым, он обнял ее.

Глава одиннадцатая

МАРТ

Лаборатория Михалевича в последнее время занималась гипертермией. Суть гипертермии — нагрев человеческого тела с лечебной целью: при высокой температуре раковые клетки менее устойчивы, чем здоровые, и могут если не погибнуть, то хотя бы ослабеть.

В экспериментальной операционной поставили ванну. Из-за множества приборов и приспособлений сооружение получилось довольно сложное и выглядело внушительно. Помещенного в ванну человека нужно было нагревать в горячей воде до сорока — сорока одного градуса и выдерживать при этой температуре несколько часов. Лаборатория Михалевича отрабатывала этот процесс. Исследования проводили на себе по очереди. Каждый день кто-нибудь залезал в ванну, облепленный различными датчиками и оплетенный проводами от них, на голову его надевали охлаждающий шлем и постепенно нагревали воду. Температура тела начинала повышаться. Определяли наилучшие режимы, искали средства для борьбы с ожогами, исследовали влияние нагрева на организм. Ощущения испытуемого при этом были, конечно, неприятными, но работали с энтузиазмом. В лаборатории эти опыты называли варкой: «Сегодня варим Кошелева, завтра — Малышеву или Брагина». Каждого уже «варили» по нескольку раз.

Работа Аркадия неожиданно столкнулась с идеей гипертермии. Началась эта работа давно, когда он исследовал кровь барсуков, просыпающихся после зимней спячки, искал «внутренний будильник», оповещающий их о весне. Последние полгода он работал с биохимиками и фармакологами, и вот теперь у них был препарат — пирогенное вещество, желтоватый порошок, который повышал температуру тела, обеспечивая удовлетворительную точность. Опыты на собаках показали, что в зависимости от принятой дозы температуру тела можно регулировать с точностью до трех десятых градуса. Нужно было проводить опыт на человеке. Все разрешения были получены, и на 20 марта назначили первый эксперимент.

20 марта после обеденного перерыва в кабинете Михалевича собрались несколько человек. Операции закончились, операционную, отделенную от кабинета внутренним окном, готовили к эксперименту, а пока ожидали Аркадия и Михалевича. Собравшиеся вспомнили, что одна из подопытных собак сдохла, и обсуждали, отменяют или нет эксперимент.

— Я читал отчет, — сказал кто-то. — Шарик тут ни при чем.

Ему возразили:

— Отчеты пишут умные люди.

Нашелся и скептик:

— Всякое бывает. У меня был такой случай в четвертой клинике. Вводил я одной женщине инсулин. И вот ночью, когда все спали...

Анестезиолог беспокоился, сколько продлится опыт. По каким-то причинам в этот день ему нельзя было задерживаться.

— Повышать температуру три часа, не меньше, выдерживать... Сколько они собираются выдерживать?

— Кроме Брагина, тебе никто не объяснит.

— Он мне два часа объяснял. Думаешь, я что-нибудь понял?

— Не волнуйся, он просто плохо объясняет.

— А я не волнуюсь. Почему я должен волноваться?

— Ты совершенно не должен волноваться. Я тебе два часа это объясняю. Но ты не волнуйся, я тоже плохо объясняю.

— Ну, знаете... Чего вы ржете?

Вошли Михалевич и Аркадий. Анестезиолог, который сидел за столом Михалевича, поднялся, освобождая место, но Михалевич к столу не пошел, спросил:

— Где сестры?

— Моя готова,— сказал анестезиолог.

— Люду я видел в буфете,— сказал Кошелев.

— Поищи их, Дима. Двух на анализы, одну на физиологию, и Люда пусть будет на подхвате.

Михалевич, Кошелев и Аркадий отправились в умывальную. Аркадий был недоволен собой и не мог понять причину этого. Ему казалось, он что-то упустил.

В операционной анестезиолог готовил наркозный аппарат. Аркадий разделся и лег в трусах на кровать-весы. Михалевич и Кошелев укрепляли датчики.

— Будем до сорока? — полуутвердительно сказал Кошелев.

— Посмотрим,— буркнул Михалевич, а Аркадий увидел, как он кивнул Кошелеву, соглашаясь с ним.

— Игорь, мы же договорились. Сколько выдержу.

— Посмотрим, я же сказал.

Кошелев взял микродозатор.

— Ну что, начали, что ли?

— Пусть лучше сестра,— сказал Аркадий.— Ты мне всю шкуру испортишь.

Сестра, не зная, принять ли это за шутку, вопросительно посмотрела на Кошелева.

— Давай,— сказал ей Кошелев сердито.

Она ввела иглу в вену. Аркадий не видел мерной колбы, но знал, что уровень раствора в ней начал уменьшаться. В операционной стало тихо. Михалевич и Кошелев следили за приборами. Анестезиолог скучал у окна. Он был здесь на всякий случай. По опытам гипертермии Аркадий знал наперед те ощущения, которые ему предстояло испытать. Знал, что до тридцати восьми градусов он будет лишь слабо чувствовать неудобство, а около тридцати девяти будет кризис, когда все начнет раздражать и появятся самые мрачные мысли. После тридцати девяти начнется эйфория, он станет болтливым и чрезмерно оптимистичным. Он думал о том, как часто, наверно, его мысли зависят от состояния его тела. Можно ли в таком случае придавать им слишком большое значение? И все-таки он Аркадий Брагин — это именно его мысли, а уж потом — тело в горячей воде. Хоть сейчас для науки его тело важнее, чем его мысли.

Прошло больше часа.

— Сколько? — спросил Аркадий.

— Тридцать восемь и одна,— сказал Кошелев.

— Сколько уже ввели?

— Пять кубиков.

Аркадий пробовал подсчитать, но считать было лень. Кажется, все шло как надо. Михалевич и Кошелев изредка переговаривались. Иногда, поднимая глаза от приборов, поглядывали на него.

Захотелось пить, губы пересохли. Теперь Аркадий молчал, все его раздражало. Дыхание участилось. Он разозлился на Кошелева: «Сидит, молчит значительно. Пока не спрошу, сам никогда не скажет».

— Сколько?

— Тридцать восемь и девять,— не взглянув на него, ответил Кошелев.

— Я спрашиваю, времени сколько? — почему-то сказал Аркадий, хоть спрашивал он про температуру.

Кошелев заметил его злость, не удивился, бесцветно сообщил:

- Три десять.
- Сколько кубиков?
- Восемь.
- Добавь еще два,— сказал Аркадий.
- Добавим,— сказал Михалевич.— Через полчаса.
- Добавляйте сейчас.

Михалевич покачал головой.

«Лысый педант»,— подумал про него Аркадий, и хоть он заранее знал, что в это время у него появится раздражение, все же ничего не мог с собой сделать.

В коридоре, когда они шли сюда, им встретилась Янечка. «Как жизнь, самоед? — спросила ласково.— Разрешение на эксперимент получил?»

Самоед. Он не способен на лучшую жизнь, — мучить животных и мучить самого себя. Степан в тысячу раз мудрее его. Степан мудр по-настоящему, он умеет быть счастливым, и людей тянет к нему. Ни Степан, ни Тоня не подумали о девчонке, которая отдала Степану все и осталась ни с чем. Почему же он, Аркадий, мучился из-за этой девчонки и, когда она разыскала его, умоляла вернуть ей Степана, чувствовал себя виноватым? Почему всю жизнь совесть его больна? Глупо и никому не нужно, бесплодно. Совесть — маленький аппаратик, зашитый обществом ему под кожу наподобие электростимулятора сердца. Носит аппаратик он, но не он его хозяин. Не нужно его переоценивать. Отвращение к гнусностям внушает человеку общество и потребность их совершать — то же самое общество. Как он ни поступит, он будет орудием общества, одного и того же. Глупо лежать здесь, на кровати-весах, как Шарик. У него всегда болит сердце после выпивки и парной бани. Зря он это скрыл. Говорят, в минуту опасности обостряется инстинкт. Мечников был подвержен депрессиям, пока не привил себе тиф и едва не умер от него. Выздоровел он оптимистом... Но Аркадий и сейчас не чувствует страха смерти. Безразличие...

— Как чувствуешь? — склонился над ним Кошелев.

— Сейчас будет легче,— сказал откуда-то издадалека Михалевич.— Критическая точка прошла.

«Мы с Лерой плохо воспитаны. Мы слишком воспитаны. Мы слишком переоцениваем абстракции. Категории нравственности — это идеальные модели поведения, то есть не то, что достижимо, а то, к чему надо стремиться. Мы же с ней принимаем идеал за норму, за точку отсчета. Арифметическая ошибка, из-за которой человечество может стать для тебя отрицательной величиной...»

Аркадий взглянул на Михалевича и впервые заметил, что тот волнуется. И впервые он понял, как оберегал его всегда Михалевич, как много сделал для него. Свою доброту и заботу Михалевич умел оставлять незаметной. «Мне здорово везет на людей»,— подумал Аркадий.

— Добавьте еще три кубика,— сказал он.

— Хватит,— сказал Михалевич.

Теперь у Аркадия появился излишний оптимизм и ответственность перешла к окружающим. Аркадий горячился, спорил с ними: температура повысилась только до сорока, хоть бы еще на один градус... Михалевич не слушал его, кивнул сестре:

— Убирайте иглу.

Аркадий услышал, как Кошелев тихо, явно не для него сказал Михалевичу «сорок один и две», и успокоился. Все-таки это уже температура для первого раза.

«Мне везет,— думал Аркадий.— Всю жизнь мне везет. Все-таки

кое-что я сделал. Пусть не универсальное средство, но будут и излеченные. А возможно, и... чем черт не шутит... А ведь могло и не получиться. Случайность. Для настоящего исследователя у меня кашка тонка. Надо быть молчаливым, сосредоточенным, целеустремленным, как Флеминг... А я болтун, несобранный, надоедливый, не очень умный. Мне просто повезло в жизни, идиотски повезло...»

Он начал обильно потеть. Температура падала.

— Сколько времени?

— Пять.

— Нужно было выдержать при сорока одном хотя бы до семи.

— Хватит с тебя.

Аркадий всей кожей ощутил томительную, болезненную слабость. Замерзли ноги и руки, заломило зубы. Дышать стало трудно. «Нервная разрядка»,— подумал он и ошибся. Это поднималась температура. Голоса Михалевича и Кошелева доносились издалека. Михалевич протянул руку, и она полетела к Аркадию, огромная, больше человека.

— Братцы, у Тони день рождения, а я еще подарка не купил. Магазины закроются...

Сбоку выплыло лицо анестезиолога.

Михалевич оказался прав. Температура плясала. Неожиданно поднялась до сорока одного и восьми. Быстро падало давление...

Только в девять Михалевич разрешил Аркадию сесть. Люда — кроме них, она одна осталась в операционной — помогала одеться. Аркадий встал. Он еще не мог понять, что у него болит и что не болит.

— Люда, с меня бутылка,— сказал он.— Ты из-за нас свидание не пропустила?

— Подождет, Аркадий Алексеевич.

— Медицина требует жертв,— заметил Михалевич, и Аркадий добавил:

— ...сказал врач больному.

Они стали смеяться.

Люда, одна из самых смешливых сестер отделения, смотрела на них с неловкостью трезвого человека в компании пьяных и натянуто улыбалась. Отсмеявшись, они сконфузились и перешли в кабинет Михалевича. Аркадий сразу сел на ближайший стул — устал. Им теперь было неловко.

— Людочка, ты бы нам спирта грамм пятьдесят достала,— сказал Михалевич.

— Да не нужно,— сказал Аркадий.— Передохнем и пойдем.

Михалевич оставался, чтобы отвезти его на своей машине. Так он опекал Аркадия полгода. В институте ходили разговоры о «пробивной силе» Брагина: просунуть свою тему сверх плана, заставить работать на себя всех фармакологов, доставать бог знает какой дефицит — так, мол, можно и рак вылечить. И всю эту огромную и неблагодарную работу, как и многое другое, сделал Михалевич. И ответственность за сегодняшний риск лежала на нем. Аркадию хотелось сказать, что он понимает и ценит все это, что он в долгу, но вместо этого они говорили об опыте. Радоваться как будто рано. Михалевич уже подсчитал: сегодня они управляли температурой с точностью плюс-минус четыре десятых градуса, если не считать непонятного скачка в конце. Они наметили план завтрашней работы, набросали несколько вариантов, которые нужно будет проверить. Заглянула в дверь Люда, простилась.

— Погоди, я тебя подброшу,— сказал Михалевич.

— Спасибо, меня подвезут.

Пора было и им подниматься.

— Поедем ко мне,— предложил Михалевич.— Все же есть что отметить.

Аркадий только сейчас вспомнил:

— Мне же на день рождения надо. К невестке. Может быть, ты со мной поедешь?

Им обоим не хотелось расставаться.

«Москвич» стоял за воротами. На ветру Аркадия охватил озноб. Ноги дрожали. У сторожки лежали штабелем сосновые доски. Михалевич, проходя, отодрал щепку, сказал не совсем вразумительно:

— Люблю запах. Самое милое дело.

Он залез в машину, изнутри открыл дверцу для Аркадия.

— Сейчас будет тепло.

Фары осветили обледеневшие сосны. «Москвич» развернулся и покатил по выпуклой автобусной колее, лимонно-желтой в свете фар.

— Нахал ты,— вяло сказал Михалевич.— У меня тоже появилась как-то эта мыслишка... лет пять назад. Но подумал: если бы был смысл, так кто-нибудь и без меня давно догадался бы...

— И никому не сказал?

— Не помню... Заяц! Видишь?

Перед радиатором в световой полосе мчался заяц. Михалевич все увеличивал скорость, захваченный азартом погони. Дорога петляла среди леса, сосны, казалось, летели прямо на машину.

— Игорь, ты с ума сошел!

Михалевич опомнился. Застывшая жесткая улыбка обнажала зубы, но он уже не смотрел на зайца и сбросил газ. А потом и улыбка сошла, и лицо снова стало мягким и интеллигентным.

— А хорошие дощечки привезли,— сказал Михалевич.— Интересно, куда... Ты знаешь, я всю мебель в доме сам сделал. Не могу без какой-нибудь работы. Непокорно.

— Привычка, что ли?

Аркадий расслабился в тепле на мягком сиденье, в его спокойствие не могли проникнуть неуютные мысли. Пропустив междугородный автобус, «Москвич» выкатил на магистраль Москва — Брест.

— У профессора Певзнера сын попал под машину,— сказал Михалевич.— Раньше бы сказали: бог взял. И это бы помогло. А теперь? Случайность. И старость и одиночество — тоже случайность.

— Не трусь, Игорь,— ответил Аркадий.— Главное — не трусить. Это знаешь кто сказал? Помнишь Демину из восьмой палаты? Трусь — мать всех пороков.

Михалевич усмехнулся:

— Все мы умные и храбрые, когда нам хорошо.

«Он прав»,— подумал Аркадий, а вслух сказал:

— Однако согласись, что возможна обратная связь.

Впереди над горбом магистрали светлело небо. Там лежал город.

— Тебе куда?— спросил Михалевич.

— В заводской район.

«Москвич» вылетел на вершину горба. Начинаясь спуск, по обе стороны дорожной полосы белело снежное поле, вдалеке его отделяла от неба огненная полоса города. Справа, черная на снегу, тянулась через поле тропинка, по ней шел человек. И сейчас эта картина казалась Аркадию полной смысла. От разреженного воздуха абстракций до густого аромата сосновых стружек лежит широкое поле, в котором мы, как гончие, прослеживаем счастье по однажды узанному следу. Следов много, но каждый из нас может выбрать лишь некоторые из них. И каждому для своего счастья нужно много мужества. И

эти истины, всегда ему известные, сейчас представлялись новыми и важными. Они помогли утвердиться в себе и позволяли любить людей, среди которых он жил и которые жили иначе, чем он.

— Через пару дней войдешь в норму... Пожалуй, поздно уже тебе сегодня в гости?

— А сколько теперь?

— Одиннадцатый.

— Пожалуй,— согласился Аркадий.— Поедем к тебе? Я по телефону поздравлю.

Господи, скоро начнут собираться, а у нее ничего не готово. Оленька, скажи папе, гости сейчас будут! Мне нужна ванная! Корочка пирога отликает бронзой, золотом. Проще купить торт, но что за праздник без запаха пирога? С детских лет он празднично волнует ее, этот запах. Пусть еще чуть-чуть... Горит картошка! В форточку с размаху врывается мокрый мартовский ветер. Оля, иди, не стой под форточкой, а где же папа? Не слушается? Возьми молоток и барабань ему в дверь, да, да, я серьезно. Скажи, маме срочно нужна ванная. Ох, что делается на улице, хорошо смотреть туда из теплой кухни. Ветер заиграл газетами на полу. Она разложила газеты — на столе места уже нет,— стоит на коленях, раскладывает по блюдам закуски. Нет, лучше на минуту раскрыть окно, выгнать запах гари и тут же все плотно закрыть, чтобы не ушел из квартиры запах пирога. Когда времени мало, появляется вдохновение — движения становятся стремительны и безошибочны, даже если выскользнет из рук стакан, его подхватишь на лету. Оля, только дверь не разломай! Когда Степан в ванной занят фотографией, хоть свет перевернись. Он вообще становится упрямым. Мужчинам нужна отдушина. Некоторые наливаются и дерутся, на него же вдруг находит упрямство. Как сейчас: гости должны прийти, а он устроился... В такие минуты его лучше не трогать, но что ж делать? Оля, хватит барабанить. Оля, я кому сказала, прекрати сейчас же! Степан, считаю до пяти и зажигаю в ванной свет, прячь бумагу! Сейчас все соберутся! Раз, два, три, четыре, четыре с половиной, четыре с тремя четвертями... Он вылетел из ванной разъяренный, она, к восторгу дочери, чмокнула его в щеку. У кого сегодня день рождения, у тебя или у меня? Раз у меня, так помогай. Ну я же всегда знала, что ты умница, стол мне поставь. Ничего я у тебя здесь не трону, понимаю же... Оленька, принеси мне мой костюм, белый, он в спальне на кровати лежит!.. Ручки у тебя чистые? Ну скорей, мне холодно тут стоять... Мимоходом протереть зеркало... А что? Привлекательная молодая блондинка, больше тридцати не дашь. Пирог! Оленька, помогай папе накрывать на стол. На, неси, не разбей... Степа-а-ан... Степан, ты обворожительный мужчина, пиджак можешь не надевать. Оля, я что тебе сказала? Что значит не хочешь? Никаких хочешь — не хочешь, ну-ка быстро! Оля молодец. И почти не кашляет, напрасный был страх. Свекор и свекровь людоедом ее считали, а она забрала дочь, отвела в сад — и все. И вот нет же обострения. Не могла она смотреть, как делают из девочки изломанную куклолку. Оле, конечно, трудно перестроиться после дедушки и бабушки. В саду там у них есть Ирка-заводила, командует девочками и чуть что — исклочает Олю из игры. И рождаются же такие командиры! Степан, дай ей работу! Ему идут залысины, с годами он становится все благообразнее. Нужно довольно долго пожить на свете, чтобы узнать, что такое любовь. Ему ведь тоже нелегко, Степану. Все кругом спешат, торопятся, к чему-то стремятся, и он иногда готов потянуться за другими, а он не такой. Ему покой нужен, ему любовь нужна. Ему начинает казаться, что он хуже других, а он лучше, в тысячу раз лучше! Оля,

положи сию же минуту нож! Из-за тебя чуть не посадила пятно. Белый передник с желто-зеленым узором, новый, надетый в первый раз. Удивительна власть вещей над нашим настроением, бывает одежда, в которой невозможно быть унылой. Если бы прийти в белом костюме в цех? Сорвется оперативка у Важника, все вдруг станут галантными, руготня застрянет в глотке... Сегодня она схватилась с Корзуном, но куда ему с ней тягаться! Фонд зарплаты увеличили на десять процентов. Аля, когда узнала, ахнула: «Антонина, ты великий человек! Почти как мой начальник». А вы как хотели? Автоматизировать бегуны — совсем не значит уменьшить зарплату земледелам. Корзун сегодня спорил с Алей: «Ну зачем тебе два выходных? Дрыхнуть?» Он немного гордится, что не умеет отдыхать: «Тут не знаешь, что с одним выходным делать». Аля научилась у Кости: «Как это будет скажите по-русски...» — и загибает уморительное, но совершенно неприличное. Степан, включи магнитофон, пожалуйста. Там, где это, как его... Алло, алло, мама? Мама, мы вас тут ждем, ждем, спасайте же, я ничего не успеваю! Мама, я только спросить: а морковку вы крошите или натираете?.. Ага... Так мы ждем вас, папе привет! Нет, это не гости, это магнитофон у нас кричит!.. Что еще? Да, губы. Она двумя взмахами помадной палочки подводит перед зеркалом губы, пуховкой касается раскрасневшихся щек, пригляделась к себе в зеркале и карандашом подправляет глаза, поворачивается к мужу и дочке: дети, принимайте работу! Как ваша мама, годится? Она недавно начала подрисовывать глаза, в цехе ее поддразнивают за это, и никто не знает, что так она скрывает мешки под глазами. Никто не знает, что у нее с почками стало неладно и начало побаливать сердце, оттого и отечные мешки. А вчера еще под горячую руку таскала на конвейер стержни. Этого делать не следовало. Ну, пожалуй, все. Листиками петрушки, дольками моркови и свеклы украсить закуски... «Зачем вы, девушки, красивых любите, одни страдания от той любви». Степан, сделай чуть погромче... Ну вот, уже звонят.

Заводской поселок — десяток кирпичных кварталов против центральной проходной — прежде отделялся от города пустырем. Пустырь давно застроили, улицы поселка слились с городскими, а понятия «город» и «поселок» существуют до сих пор. Старые двухэтажные домики теряются теперь среди современных высоких коробок в пять и девять этажей, поставленных то плашмя, то на торец, серых и белых, с красными лоджиями. В середине весны на просторных новых улицах принимаются тоненькие молоденькие деревца, а на старых густые липы и клены закрывают небо. Поэтому, несмотря на близость крупного завода, в старых кварталах выживают запахи весны и осени, если северо-восточный ветер не несет гари литейных цехов.

Сейчас март, оттепель, но не пахнет весной. Дождь не дождь — оседающая с низкого неба вода не в силах пробить пленку луж, только пристаёт мокрой пылью к лицу и одежде.

Несколько дней он еще будет чувствовать слабость и головную боль, а потом все пройдет. Не уйдет ли вместе с этим спокойствие? Аркадий шел и думал о Тоне. О том, что любовь рождается вместе с надеждой и вместе с надеждой что-то в ней отмирает. И это хорошо. «Также и юношеская любовь к славе, — думал он, — проходит, когда появляется зрелость».

Хорошо это или плохо, много он потерял или мало, но он городской человек и между ним и землей добрых пять сантиметров асфальта на гравийной постели. И деревья каждую весну здесь стригут по самые стволы, так что их уродливые рогатки торчат из асфальта в бетонных коридорах улиц. И здесь, как во всяком другом месте и во

всякое время, как бы удобно люди ни устраивались на земле, как бы успешно ни изгоняли они из своей жизни боль, и голод, и случайность, и неуверенность в завтрашнем дне,— все равно даже для самого простого счастья им всегда будет нужно очень много мужества.

Гости ушли поздно, и Оля долго не засыпала. Расшалилась, просто беда. Тоня рассердилась:

— Ты будешь наконец спать?

— Не буду! — Оля отбросила одеяло.

Пришлось на нее прикрикнуть. Степан уже лежал в спальне, в ожидании жены развернул газету. Тоня убрала квартиру, перемыла посуду, пошла в ванную. Чтобы умыться, пришлось выловить из воды фотокарточки, выложить их в кухне на газете. После душа она надела японский халатик, расставила вещи на полочке перед зеркалом: белую с красным электробритву Степана, ярко-алый тюбик зубной пасты. У Степана всегда красивые вещи. Тоня любит вещи мужа.

Оля заснула. Тоня поправила на ней одеяло. Единственный ребенок. Трудно ей будет. Нужен Илюша.

Степан читал газету, сказал из спальни:

— Слышишь, электронный библиограф скоро будет...


Степану часто бывает скучно. У него слишком мало забот. Тоня поцеловала дочь. Нужен Илюша.

Он появится на свет и тем самым отделится от нее. Первой победой его сознания будет умение отличить себя от окружающего мира. Повинуясь вложенному в него природой любопытству, он потянется к вещам. Он будет изучать вещи — их звуки, форму и цвет, их движения, отделять уже знакомое от незнакомого. Перед незнакомым у него будет страх. Жизнь для него станет овладением вещами. С природной способностью получать удовольствие от своего развития он будет радоваться ярким, доступным узнаванию цветам вещей, отчетливо различимым звукам вещей. Коварные вначале вещи подчинятся ему одна за другой. Увидев незнакомое, он сначала будет его опасаться, убедившись же в безопасности, постарается им овладеть. Количество подчинившихся вещей станет мерой его возмужания.

Интерес к людям появится позднее. Обнаружится, что их полезность зависит и от его поведения. Выработаются правила поведения, приводящие к желаемому результату, так возникнут этические ценности. Высшими из них станут любовь людей и средства для ее достижения. Все прочее придет потом.

А. Л. Каштанов родился в 1938 году. Закончил автомеханический институт в Москве. Работает в Минске инженером-литейщиком.

В общесоюзном журнале печатается впервые.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

Роман

Дядя Сандро, княгиня и богатый армянин

Дядя Сандро прожил почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком. А если учесть, что его много раз пытались убить в молодости, да и не только в молодости, можно сказать, что ему просто повезло.

В первый раз он получил пулю от какого-то юного негодяя, как он его неизменно называл. Он получил пулю, когда затыгивал подпругу своему коню, перед тем как покинуть княжеский двор.

Дело в том, что он тогда был любовником княгини и торчал у нее день и ночь. Благодаря своим выдающимся рыцарским достоинствам он был в то время первым или даже единственным ее любовником.

Юный негодяй был влюблен в княгиню и тоже торчал у нее день и ночь, кажется, на правах соседа или дальнего родственника со стороны мужа. Но он, по словам дяди Сандро, не обладал столь выдающимися рыцарскими достоинствами, как сам дядя Сандро. А может, и обладал, но никак не мог найти случая применить их к делу, потому что княгиня была без ума от дяди Сандро.

Все-таки он надеялся на что-то и потому ни на шаг не отходил от дома княгини или даже самой княгини, когда она это позволяла. Возможно, она его не прогоняла, потому что он подхлестывал дядю Сандро на все новые и новые любовные подвиги. А может, она его держала при себе на случай, если дядя Сандро внезапно выйдет из строя. Кто его знает.

Княгиня эта была по происхождению сванка. Возможно, именно этим объясняются ее некоторые любовные странности. К достоинствам ее прекрасной внешности (дядя Сандро говорил, что она была белая, как молоко), я думаю, необходимо добавить, что она отлично ездила верхом, неплохо стреляла, а при случае могла подоить и буйволицу.

Я об этом говорю потому, что доить буйволицу трудно, для этого надо иметь очень крепкие пальцы. Так что вопрос об изнеженности, инфантильности или физическом вырождении сам по себе отпадает, несмотря на то, что она была чистокровным потомком сванских князей.

Дядя Сандро говорил, что иногда в интимные минуты эта амазонка не прочь была ущипнуть своего любимчика, но он терпел и ни разу не вскрикнул, потому что был настоящим рыцарем.

Я подозреваю, что мужу ее, мирному абхазскому князю, прихо-

дилось терпеть более грубые формы проявления ее деспотического темперамента, и он на всякий случай старался держаться в сторонке.

Одно время этот юный негодяй пытался заручиться его поддержкой, так что скорее всего он был родственником мужа, а не соседом. Но пользы от этого было мало, хотя муж ее тоже довольно часто торчал у себя дома. Но, разумеется, не так часто, как дядя Сандро, потому что он был страстным охотником на туров, а занятие это требует энергии и многонедельных походов.

Возможно, ему нужно было, чтобы во время длительных охотничьих отлучек в доме оставался расторопный и храбрый молодой человек, который мог бы развлекать княгиню, принимать гостей, а если надо, и защитить честь дома. Именно таким молодым человеком и был в те времена дядя Сандро. Так что муж княгини, по словам дяди Сандро, любил его не меньше самой княгини. Поэтому на происки юного негодяя он раз и навсегда сказал ему:

— Вы меня в свои дела не впутывайте.

Возможно, после таких слов этот безымянный юный негодяй почувствовал себя до того одиноко и сиротливо, что иного выхода не нашел, как выстрелить в дядю Сандро.

Во всяком случае, так обстояли дела до того дня, когда дядя Сандро бодро затягивал подругу своему коню, а его безутешный соперник уныло стоял посреди двора и в его голове созревало легкомысленное даже по тем временам решение стрелять в дядю Сандро.

И вот только он затянул переднюю подругу своей лошади, как тот окликнул его. Дядя Сандро повернулся, и тот выстрелил.

— ...твою мать! — крикнул ему дядя Сандро сгоряча. — Если ты думаешь меня одной пулей уложить! Стреляй еще!

Но тут подбежали люди княгини, да и она сама выскочила на террасу.

Дядю Сандро подхватили, а он еще некоторое время продолжал ругаться с пулей в животе, а потом уже упал.

Его сначала уложили в доме княгини, но потом это стало неприлично, и через несколько дней родственники унесли его на носилках домой. Княгиня поехала за ним и проводила у его постели ночи и дни, что было немалой честью, потому что отец его был хотя и довольно зажиточным, но простым крестьянином.

Дяде Сандро пришлось очень плохо, потому что турецкий пистолет этого юного негодяя был заряжен чуть ли не осколками разбитого чугунка. Для спасения его жизни из города был привезен знаменитый по тем временам доктор, который сделал ему операцию и лечил его около двух месяцев. За каждый день лечения он брал по барану, так что отец впоследствии говорил про дядю Сандро, что этот козел ему обошелся в шестьдесят баранов.

Неизвестно, сколько бы еще длилось лечение, если б однажды отец дяди Сандро в неуточное время не вернулся с поля. У него сломалась мотыга, и он пришел за новой. Войдя во двор, он увидел, что доктор мирно спит под тенью грецкого ореха, вместо того чтобы лечить его сына или хотя бы готовить ему снадобья. «Небось его бараны пасутся и набираются жиру для него, а он в это время спит», — подумал старик и прошел в дом.

Он вошел в комнату дяди Сандро и еще больше удивился, потому что дядя Сандро спал, и притом не один. Для сестры милосердия даже княжеского происхождения это было слишком. Старик больше всего рассердился потому, что не знал, в какой из этих шестидесяти дней она прыгнула к нему в постель, первая догадавшись, что он выздоровел или, по крайней мере, что ему нужно сменить процедуру. Узнай он пораньше об этом, может быть, десяток баранов можно бы-

ло бы и не давать этому бездельнику. Так или иначе он растолкал княгиню.

— Вставай, княгиня, князь у ворот! — сказал он.

— Я, кажется, прикорнула, пока отгоняла от него мух, — вздохнула она, потягиваясь и приподымаясь.

— Ну да, из-под одеяла, — буркнул старик и вышел из комнаты.

Тут дядя Сандро, который притворялся спящим и хотел притворяться дальше, не выдержал. Он прыснул. Княгиня тоже рассмеялась, потому что, как истинная патрицианка, хотя и высокогорного происхождения, она была не слишком смущена.

В тот же день доктор с причитавшимися ему баранами был отправлен в город, а княгиня еще несколько дней погостила в доме дяди Сандро и, уезжая, по-княжески одарила его сестер своими шелками и бусами. Так что все остались довольны, разумеется, все, кроме юного негодяя. После своего злополучного выстрела он окончательно осиротел, потому что княгиня переехала в дом дяди Сандро, а он, при всем своем нахальстве, никак не мог там показаться. Более того. Ему пришлось совсем уехать из наших мест. Разумеется, он скрывался не столько от возмездия закона, сколько от пули одного из родственников дяди Сандро. Так что если в доме княгини он все-таки мог надеяться на какой-нибудь случай, чтобы доказать свои более выдающиеся рыцарские способности, если, разумеется, они у него были, то теперь ему приходилось страдать издали. Кроме этого случая, в жизни дяди Сандро было множество других, когда его могли убить или, по крайней мере, ранить. Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если бы он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если бы он в ней не принимал участия.

Кстати, перескажу одно его приключение, по-моему, характерное для смутного времени меньшевиков.

Однажды дядя Сандро возвращался домой с какого-то пиршества. Незаметно в пути его застигла ночь. Время было опасное, кругом шныряли меньшевистские отряды, и он решил попроситься переночевать где-нибудь под ближайшей крышей. Он вспомнил, что поблизости живет один богатый армянин. Дядя Сандро был с ним немного знаком. Этот армянин в свое время бежал из Турции от резни. Здесь он выращивал высокосортные табаки и продавал их трапезундским и батумским купцам, которые платили ему, по словам дяди Сандро, чистым золотом.

И вот он подъехал к воротам его дома и крикнул своим зычным голосом:

— Эй, хозяин!

Ему никто не ответил. Он только заметил, что на кухне погас свет, а окна изнутри прикрыли деревянными ставнями. Он еще раз крикнул, но ему никто не ответил. Тогда он пригнулся и, открыв себе ворота, въехал во двор.

— Не подъезжай, стрелять буду! — услышал он не слишком уверенный голос хозяина. «Плохи времена, — подумал дядя Сандро, — если этот табачник взялся за оружие».

— С каких это пор ты в гостей стреляешь? — крикнул дядя Сандро, отмахиваясь камчой от собаки, которая выскочила ему навстречу.

Он слышал, как из кухни доносились женские голоса и голос самого хозяина. Видимо, там держали военный совет.

— А ты не меньшевик? — наконец спросил хозяин, голосом умоляя, чтобы он оказался не меньшевиком или, по крайней мере, назвался как-нибудь иначе.

— Нет,— гордо сказал дядя Сандро,— я сам по себе, я Сандро из Чегема.

— Что ж я твой голос не признал? — спросил хозяин.

— С испугу,— объяснил дядя Сандро.

Кухонная дверь осторожно приоткрылась, и оттуда вышел старик с ружьем. Он подошел к дяде Сандро и, окончательно признав его, отогнал собаку. Дядя Сандро спешил, хозяин привязал лошадь к яблоне, и они вошли в кухню. Дядя Сандро сразу заметил, что хозяин и его семья ему обрадовались, хотя истинную причину этой радости он понял гораздо позже. Но тогда он ее принял за чистую монету, так сказать, за скромную дань благодарности его рыцарским подвигам, и это ему было приятно. Кстати, семья хозяина состояла из жены, тещи и двух детей-подростков — мальчика и девочки.

В честь дяди Сандро хозяин послал своего мальчика резать барана, достал вино, и хотя гость для приличия пытался удержать его от кровопролития, все было сделано как надо. Дядя Сандро был рад, что остановил выбор на этом доме, что ему не изменило его тогда еще только брезжущее чутье на возможности гостеприимства, заложенные в малознакомых людях. Впоследствии бесперывными упражнениями он это чутье развил до степени абсолютного слуха, что отчасти позволило ему стать знаменитым в наших краях тамадой, так сказать, самой веселой и в то же время самой печальной звездой на небосклоне свадебных и поминальных пиршеств.

Попробовав вина, дядя Сандро убедился, что богатый армянин уже научился делать хорошее вино, хотя еще и не научился как следует защищать свой дом. «Ничего,— подумал дядя Сандро,— в наших краях всему научишься». Так они сидели за полночь у горящего камина, за обильным хорошим столом, и хозяин все время направлял разговор в сторону подвигов дяди Сандро, и дядя Сандро, не упираясь, с удовольствием шел в этом направлении, так что застольная беседа их была оживленной и поучительной. Кстати, дядя Сандро рассказал ему знаменитый эпизод из своей жизни, когда он силой своего голоса контузил какого-то всадника, как бы самой звуковой волной смысл его с коня.

— У меня в те времена,— добавлял он, пересказывая мне приключение с богатым армянином,— был один такой голос, что если в темноте неожиданно крикнуть, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал.

— От чего это зависело? — пробовал я уточнить.

— От крови,— уверенно пояснил он,— плохая кровь от страха свертывается, как молоко, и человек падает замертво, хотя и не умирает.

Но пойдем дальше. Беседа и вино мирно журчали, дрова в камине потрескивали, и дядя Сандро был вполне доволен. Правда, ему показалось немного странным, что хозяин не отсылает спать своих детей и тещу, потому что хозяйка вполне могла справиться и одна, обслуживая их за столом. Но потом он решил, что детям будет полезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема.

Но тут снова залаяла собака, и хозяин посмотрел на дядю Сандро, а дядя Сандро на хозяина.

— Эй, хозяин! — раздалось со двора.

Дядя Сандро прислушался и по перемещающемуся звуку собачьего лая определил, что она облаивает по крайней мере пять-шесть человек.

— Меньшевики,— прошептал хозяин и с надеждой посмотрел на дядю Сандро.

Дяде Сандро это не понравилось, но отступать было уже стыдно. — Попробую голосом, — сказал он, — если не поможет, будем защищаться.

— Эй, хозяин! — снова раздался сквозь собачий лай чей-то голос. — Выходи, а то хуже будет!

— Отойдите от дверей, — приказал дядя Сандро, — они сейчас будут стрелять в дверь. Большевики сначала в дверь стреляют, — пояснил он некоторые особенности тактики большевиков.

Только он это сказал, как — шлеп! шлеп! шлеп! — ударили пули по дверям, выбрызгивая щепки в кухню.

Тут все три женщины заплакали, а теща богатого армянина даже завывала совсем как наши женщины на похоронах.

— Что же у тебя двери не из каштана? — удивился дядя Сандро, видя, что дверь ни черта не держит.

— О аллах! — воскликнул хозяин. — Я знаю табачное дело, такие дела я не знаю.

Он совсем растерялся. Он держал свою старую флинтку, по словам дяди Сандро, как пастушеский посох. «Хоть бы хорошую винтовку привез из Турции», — подумал дядя Сандро с раздражением. Он понял, что на помощь этого табачника рассчитывать не стоит.

— Куда эта дверь ведет? — спросил дядя Сандро, кивнув на вторую дверь в кухню.

— В кладовку, — сказал хозяин.

— Сейчас буду кричать, — объявил дядя Сандро, — пусть женщины и дети запрутся в кладовке, а то они своим плачем испортят мой крик.

Хозяин пропустил свою семью в кладовку и уже сам хотел туда войти, чтобы никто не мешал дяде Сандро, но тот его остановил. Он приказал ему стоять у одного из закрытых окон, а сам подошел к другому, держа наготове винтовку.

— Открой, хозяин, а то хуже будет! — закричали большевики и снова стали стрелять в дверь, и дверь стала опять выщелкивать щепки.

Одна щепка ударила дядю Сандро по щеке и впилась в нее, как клещ. Дядя Сандро вынул ее и разозлился на богатого армянина.

— Хоть бы дубовые сделал, — сказал он, — раз уж вы в Турции о каштановых слыхом не слыхали.

— Я эти дела не знаю и знать не хочу, — запричитал богатый армянин, — я хочу продавать табак трапезундским и батумским купцам, я больше ничего не хочу.

Но тут дядя Сандро набрал полную грудь воздуха и закричал своим невероятным голосом.

— Эй вы! — закричал он. — У меня полный патронташ, я буду защищать дом, берегитесь!

С этими словами он слегка приоткрыл ставню и выглянул во двор. Светила луна, но дядя Сандро сначала ничего не заметил. Потом он взгляделся в черную тень грецкого ореха и понял, что они там укрываются. Он удивился, что они сразу не прошли в дом к богатому армянину, ведь бояться они его не могли, но потом догадался, что они заметили чужого коня, привязанного к яблоне, и решили подождать.

Видимо, они совещались, обсуждая его грозное предупреждение. «Может быть, уйдут, — подумал он. — Как бы не прихватили мою лошадь», — вдруг пришло ему в голову, и он замер у окна, вглядываясь в тех, что стояли в тени грецкого ореха.

— Ну что, попадали они со своих лошадей? — спросил старый табачник. Он совсем не доверял большевикам и потому не решался приоткрыть ставню и выглянуть.

— Откуда у этих эндурских голодранцев лошади? — пробормотал дядя Сандро, продолжая свои наблюдения.

В те времена он считал, что все меньшевики эндурского происхождения. Конечно, он знал, что у них есть всякие местные прихвостни, но сама родина меньшевизма, само осиное гнездо, сама идейная пчеломатка, по его мнению, обитала в Эндурске.

Тут дядя Сандро заметил, что один из этих прохвостов быстро перебежал двор и остановился в тени яблони, возле его лошади. Дядя Сандро не заметил, что он там делает, потому что тот стоял за лошадь. Все равно ему это не понравилось.

— Эй,— крикнул он,— это моя лошадь! — Он своим голосом дал знать, что кричащий и хозяин дома далеко не одно и то же.

— А ты Ной Жордания, что ли? — ответил тот, что был у лошади, роясь, как теперь догадался дядя Сандро, в его дорожной сумке.

И хотя сумка была пустая, дяде Сандро такое дело совсем не понравилось. Если человек лезет в твою сумку, значит, он тебя не боится, а раз не боится, значит, может убить.

— Я Сандро из Чегема! — гордо крикнул дядя Сандро, и ему до того захотелось снести голову этому парню из своей винтовки, что он еле сдержал себя. Он знал, что если он одного или двоих уложит, остальные сбегут, но потом они придут целым отрядом и наделают бед.

— Мы тебя убьем вместе с хозяином, если не откроете,— сказал тот, продолжая возиться с его сумкой.

— Если меня убьете, за меня отомстит Щащико! — гордо крикнул дядя Сандро.

Услышав такое, те, что стояли в тени грецкого ореха, немного поговорили между собой и отозвали того, что стоял у лошади. Дядя Сандро подумал, что слухи о знаменитом Щащико дошли до самого Эндурска.

— А кем он тебе приходится? — услышал он.

— Он мой двоюродный брат,— ответил дядя Сандро, хотя Щащико был с ним в очень далеком родстве.

Щащико был известным абхазским абреком и стоил примерно ста меньшевиков, как разъярил мне дядя Сандро.

— Пусть откроет, мы золото не будем искать! — крикнул один из них.

— Золота все равно нету,— встrepенулcя старый табачник.

— Какой же ты богатый табачник, если у тебя нету золота? — удивился дядя Сандро.

— Уже взяли! — нервно вскрикнул старый табачник и, бросив свою фленту, стал бить себя по голове.

— Золото вы уже взяли! — крикнул дядя Сандро сердито.

Тут меньшевики начали что-то хором кричать, так что нельзя было разобрать, что они говорят.

— Говорите кто-нибудь один,— крикнул дядя Сандро,— мы не на базаре!

— Это не мы, это другой отряд брал золото! — крикнул один из меньшевиков обиженным голосом.

— Тогда что вам надо? — удивился дядя Сандро.

— Мы возьмем немного скотины, раз ты брат Щащико,— ответил один из них.

— Так что, впускать? — спросил дядя Сандро, потому что ему не очень хотелось рисковать жизнью ради этого табачника, тем более что дверь у него прошивалась пулями, как тыква.

— Пускай идут, пускай грабят,— махнул рукой старый табачник,— все равно я отсюда уеду.

И вот дядя Сандро открыл дверь и, держа винтовку наготове, вышел из дому. Меньшевики тоже вышли из тени и пошли ему навстречу, не спуская с него глаз. Их было шесть человек вместе с писарем этого села, который слегка пожал плечами, когда дядя Сандро взглянул на него. Он пожал плечами в том смысле, что они его заставили заниматься этим некрасивым делом.

Меньшевики, опасливо озираясь, вошли в кухню. По тому, как они сразу же усадились на стол, дядя Сандро понял, что эти голодранцы не каждый день обедают, и еще больше стал их презирать, хотя и не подал виду.

— А эта дверь куда ведет? — спросил старший из них. Он был в офицерской форме, хотя и без погон.

— Там кладовка, — сказал хозяин.

— Там кто-то есть, — сказал один из меньшевиков и направил свою винтовку на дверь.

— Там семья, — сказал старый армянин.

Его теща слегка завывала, показывая, что она женщина.

— Пусть выходят, — сказал старший.

Хозяин проковылял в кладовку и стал их по-армянски уговаривать, чтобы они вышли. Но они стали отказываться и всячески упираться. Дядя Сандро все понимал по-армянски, поэтому он подсказал хозяину, как их оттуда выкурить.

— Скажи им, что солдатам надо харч приготовить, чтобы они не боялись, — подсказал он ему по-турецки.

Хозяин сказал им про харч, и они в самом деле вышли и стали у дверей. Один из солдат взял лампу и заглянул в кладовку, чтоб узнать, нет ли там вооруженных мужчин. Вооруженных мужчин не оказалось, и меньшевики немного успокоились.

Теща хозяина подбросила в огонь свежих поленьев и стала мыть котел, чтобы сварить в нем остатки барана. Как только она взялась за стирку, она перестала бояться солдат и начала ругать их, правда по-армянски.

— Давайте к столу, — сказал дядя Сандро, — а винтовки сложите в углу.

Меньшевикам очень хотелось к столу, но винтовки бросать не хотелось. Хозяина-то они не боялись, но уже поняли, что дяде Сандро пальца в рот не клади.

— Ты тоже свою винтовку положи, — сказал старший.

— Вы гости, вы первые должны это сделать, — разъяснил дядя Сандро простейший этикет невежественному руководителю солдат.

— Но ты тоже гость, — попытался он спорить.

Но в таких делах спорить с дядей Сандро уже тогда было бесполезно.

— Я первый пришел, значит, я гость по отношению к хозяину, а вы пришли после меня, значит, вы гости по отношению ко мне, — окончательно добил он его, показывая этому выскочке, как нужно вести себя в приличном доме, перед тем как сесть за хороший стол.

Тут старший окончательно понял, что дядя Сандро не из простых, и первым поставил свою винтовку в угол. За ним последовали остальные, кроме писаря, потому что у него не было никакой винтовки. Дядя Сандро поставил свою винтовку отдельно в другой угол кухни. Флинта хозяина валялась возле окна. На нее никто не обратил внимания.

И вот они вместе с дядей Сандро уселись за стол друг против друга, в каждое мгновение готовые сорваться за своей винтовкой, понимая, что главное — не дать опередить себя. Вообще-то у дяди Сандро был еще в кармане пистолет, но он делал вид, что теперь безоружен.

— Обычно,— прервал на этом месте дядя Сандро свой рассказ,— я, перед тем как войти в дом, где может быть опасность, прятал где-нибудь поблизости винтовку или запасной пистолет. Но здесь ничего не спрятал, потому что это был мирный армянин.

— Зачем прятали оружие? — спросил я, зная, что он ждет этого вопроса.

— А как же,— хитро улыбнулся он,— если на тебя неожиданно кто-то напал и разоружил тебя, лучше этого способа нет. Он уходит с твоим оружием, он торжествует, он потерял над собой контроль, и тут ты догоняешь его и отбираешь у него свое оружие и все, что он имеет. Понимаешь?

— Понимаю,— сказал я,— но если и он прятал оружие и теперь догонит вас и отберет свое оружие, ваше оружие и все, что вы имеете?

— Этого не могло быть,— сказал дядя Сандро уверенно.

— Почему? — спросил я.

— Потому что это был мой секрет,— ответил он и горделиво разгладил свои серебряные усы,— я его тебе открываю, потому что ты не только моими секретами, даже своими не можешь пользоваться.

После этого небольшого лирического отступления он продолжал свой рассказ.

Одним словом, они просидели за столом остаток ночи — пили вино и доедали барана. Они поднимали тосты за счастливую старость хозяина, за будущее его детей. Пили, косясь на винтовки, за цветущую Абхазию, Грузию, Армению и за свободную федерацию закавказских республик, разумеется, под руководством Ноя Жордания.

На рассвете старший поблагодарил хозяина за хлеб-соль и сказал, что надо уладить дело, потому что им пора идти. С этими словами он вынул из кармана бумагу, где было записано, сколько у хозяина мелкого и крупного рогатого скота. Когда офицер вынул бумагу, дядя Сандро посмотрел на писаря так, что тот съежился.

— Я подтвердил, что Щащико твой брат,— сказал ему писарь по-абхазски вполголоса.

— Молчи, чесотка,— ответил дядя Сандро презрительно.

— Ты не у себя в Чегеме,— огрызнулся писарь, видимо, осмелев от выпитого.

— Чтоб раздавить жабу, необязательно ехать в Чегем,— сказал дядя Сандро и так посмотрел на писаря, что тот сразу же отрезвел и прикусил язык.

Руководитель отряда долго торговался с хозяином, и наконец они сговорились на том, что старик даст ему двадцать баранов и трех быков.

— Нет, я здесь не останусь, я уеду в Батум,— причитал старик, вскрикивая.

— В Батуме будет то же самое,— честно обещал тот, что был в офицерской форме, но без погон.

— Турки резали за то, что армяне, а вы за что? — допытывался старик.

— Для нас все нации равны,— важно отвечал ему старший,— это помощь населения, а не грабеж.

Потом все они поднялись из-за стола, взяли свои ружья и все вместе вышли во двор. Было раннее утро, и в доме старика все еще спали.

— Уеду, уеду, уеду,— причитал старый табачник, пока они проходили к скотному двору.

Старый табачник, продолжая ругаться и проклинать шайтанское равенство, вывел из сарая быков. Это были сильные и породистые

быки. Дядя Сандро пожалел, что таких хороших быков приходится отдавать этим громилам. Он заметил, что в сарае на привязи стоит еще один бык. «С одним быком много не напашешь», — подумал дядя Сандро, жалея хозяина. Потом он вспомнил, что сам недавно проиграл в кости быка, и помрачнел. Долг все еще висел на его чести и иногда мешал ему веселиться.

Руководитель отряда договорился с хозяином, что овец выбирать не будут, а прямо отсчитают первые двадцать голов, которые выйдут из загона. Писарь, хрустнув плетнем, перелез в загон и стал выгонять овец. Когда овец перегнали на скотный двор, оказалось, что среди них одна хромая, еле-еле волочится.

— Брак, — сказал руководитель отряда.

— О аллах! — взмолился табачник. — Мы же договорились, не я выгонял овец.

— Но она же не дойдет? — задумался руководитель.

— Какое мое дело! — воскликнул хозяин. — Пусть кто-нибудь из твоих людей возьмет ее на плечи.

— Да ну ее, — сказали солдаты, — может, еще заразная.

— Какое мое дело, — повторил хозяин, закрывая загон и показывая, что торг закончился.

— Дайте мне ее, — не выдержал тут писарь, обращаясь к руководителю, — раз она вам не нужна.

— Черт с тобой, бери! — сказал тот.

Он был рад, что не приходится заставлять солдат, потому что боялся, что они его не послушаются и ему будет стыдно перед дядей Сандро.

Писарь с жадной радостью поймал больную овцу, взвалил ее себе на плечи и стал выходить на дорогу. «Как собака, получившая свою кость», — подумал дядя Сандро, глядя на него.

— Чесотка к чесотке тянется, — сказал он, когда тот проходил мимо.

Писарь ничего не ответил, но нарочно, чтобы разозлить дядю Сандро, прочавкал мимо него по грязи, осторожно ликуя под тяжестью добычи. Как только он немного отошел, больная овца, вывернув шею и глядя в сторону загона, так жалобно заблеяла, что дяде Сандро стало не по себе. Потом, когда солдаты вслед за писарем погнали остальных овец, больная овца успокоилась. Но дядя Сандро знал, что, когда писарь свернет к себе домой, а солдаты пойдут дальше, она опять начнет кричать, и ему было жалко эту несчастную овцу, этого старого табачника и самого себя.

Когда меньшевики скрылись из глаз, дядя Сандро, не глядя на хозяина, сказал:

— Все равно они тебя в покое не оставят, дай мне этого быка...

Хозяин посмотрел на дядю Сандро и молча стал бить себя по голове. Дяде Сандро было неприятно говорить хозяину про быка, но этот проклятый писарь с больной овцой совсем доконал его.

— Бери, все бери, я здесь ни дня не останусь! — наконец закричал хозяин, продолжая бить себя по голове, словно исполняя мрачный обряд шахсей-вахсея.

— Нет, — сказал дядя Сандро, сдерживая рыдания, — я возьму только быка, я его должен одному человеку...

С этими словами он прошел в сарай и стал отвязывать быка.

— Все бери! — закричал ему вслед старый табачник. — Только веревку оставь!

— Зачем тебе веревка? — удивился дядя Сандро.

— Повеситься хочу! — весело крикнул ему старый табачник.

Не понравилось дяде Сандро его веселье, и он стал стыдить старого табачника за малодушие, напоминая, что у него семья и дети.

— В Батум, в Батум уеду,— бормотал старый табачник, уже не слушая его.

— Послушай,— сказал дядя Сандро вразумительно,— если ты один уедешь, тебя десять раз ограбят по дороге. Даю тебе слово Сандро из Чегема, что я провожу тебя до самого парохода, дай только знать, когда будешь ехать.

С этими словами он ударил быка так, чтобы тот шел вперед по дороге, а сам вернулся во двор и подошел к своей лошади. Он быстро затащил подпругу и только хотел сесть, как вспомнил, что солдат рылся у него в сумке. «Может, бомбу подложил»,— подумал он и, сунув руку в сумку, быстро обшарил ее. Она была пуста. Дядя Сандро вскочил на свою лошадь и выехал со двора. Бык медленно шел впереди него вдоль усадьбы старого табачника. Догоняя его, дядя Сандро не удержался и оглянулся на хозяина. Старый табачник, пригнувшись к плетню, старательно поправлял разъехавшиеся прутья загона, словно в эту дыру утекли все его богатства.

Дядя Сандро исполнил свое обещание. Месяца через два старый табачник продал все, что можно еще было продать, нанял аробщика и отправился в город. Дядя Сандро сопровождал его верхом на лошади до самой пристани. Глядя на убогий скарб переселенца, никто бы не поверил, что это бывший богатый армянин, поставщик высоко-сортных табаков трапезундским и батумским купцам.

— Если б Дверь была из каштана, еще можно было бы сопротивляться,— вспомнил дядя Сандро, прощаясь.

— Даже слышать не хочу об этом,— махнул рукой старый табачник.

Так они расстались навсегда, и больше его дядя Сандро не встречал в наших краях.

Дядя Сандро у себя дома

Однажды, когда я собирался уехать из горной деревушки Чегем, где гостил у своих родичей в доме дедушки, мне сказали, что меня хочет видеть один человек.

Я вышел из дому и увидел старика, который, палкой отбиваясь от собак, входил во двор. В одной руке он держал довольно увесистый жбан. Я отогнал собак и подошел к нему.

Взглянув на старика, я подумал, что где-то его видел, но не мог вспомнить где. Вернее, даже не сам старик, а то, с какой радостной злостью накинулись на него собаки, и то, с какой неутихающей яростью он от них отбивался, напомнили мне знакомую картину, но я никак не мог припомнить, когда и где это было.

И только потом, уже в автобусе на обратном пути, я вспомнил, что это было там же, возле дедушкиного дома. Видимо, надо было отойти от этого места, чтобы восстановить в памяти полузабытую картину.

Я вспомнил, что в детстве, во время войны, когда я жил у дедушки, этот человек проходил время от времени мимо нашего дома и собаки всегда с такой же веселой злостью нападали на него и он с такой же неутихающей яростью от них отбивался, при этом не убыстряя и не замедляя шагов.

Тогда у нас, посмеиваясь, говорили, что он до самого города ходит пешком, потому что во время войны машины были редки, да и сесть в них было не так-то просто.

Было странно, вернее как-то чудно, что собаки только на него так набрасывались, потому что он проходил здесь довольно часто, так что им можно было привыкнуть к нему, как они привыкали ко всем остальным, но почему-то к нему они никак не хотели привыкать. Поэтому-то можно было, не выходя из дому, по собачьему лаю определить, что это он проходит по дороге.

Обычно, конечно, кто-нибудь выходил, чтобы унять собак, но не всегда это удавалось, да и он, видимо, несколько их не боялся, а проходил с мешком или без мешка своей упорной походкой, даже успевал, если возвращался из города, прокричать сквозь собачий лай городские военные новости и не останавливаясь шел дальше. Но все это, повторяю, я вспомнил на обратном пути, уже в автобусе.

...Мы поздоровались со стариком. Он приподнял жбан и, в то же время озираясь на собак с презрительной яростью, попросил, чтобы я передал в городе этот небольшой гостинчик его брату Сандро.

Я покосился на жбан. Дело было не из приятных. Тащиться с ним километров десять до автобуса, а там еще искать в городе какого-то Сандро. Но и прямо отказать тоже было как-то неудобно, я замаялся, чем и воспользовался старик. Поняв мой взгляд, который я бросил на жбан, он опередил мой отказ, сказав, что проведет меня до машины.

— Хорошо,— согласился я,— только где он живет?

— Бумагу внучка написала,— ответил он и, воткнув свой посох в землю (при этом он снова покосился на собак, словно давая им знать, что все равно успеет схватить палку, когда надо), достал из кармана негнушейся ладонью тетрадный лист.

На нем крупным детским почерком был написан адрес. Тут я опять пожалел, что согласился, но было уже поздно. Брат его жил в пригороде. Правда, туда регулярно ходят автобусы, но все же что за охота тащиться к этому Сандро. Лень изобретательна, и мне пришло в голову, что, может, он работает где-то в городе, так что удобней будет этот жбан занести ему на работу. Я спросил об этом старика.

— Сандро не из простых, он из присматривающих,— сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По-абхазски слово «присматривающий» означает также и «руководящий».

Я попытался выяснить, за чем он присматривает. Старик снова посмотрел мне в глаза с тайной насмешкой, и теперь я понял, что смысл ее в том, что я не могу не знать людей присматривающих, потому что их не так уж много, и если я к ним не принадлежу, то это не значит, что они сами по себе не существуют или я о них не слышал.

— Он бывает на сборищах, где собираются стоящие люди,— пояснил он терпеливо и в то же время давая знать, что мне не удастся его перехитрить.

Через полчаса я распрощался с родственниками и пустился в путь. Кстати, они мне напомнили, что речь идет о том самом Сандро, который до войны жил недалеко от дедушкиного дома. Потом уже, после наших первых встреч в городе, я, как это бывает, вспомнил многое, связанное с его жизнью в деревне, но тогда напоминание о нем мне почти ничего не сказало.

Мой спутник оказался очень услужливым и на редкость молчаливым стариком. По дороге он несколько раз порывался взять мой вещмешок, а когда тропа проходила сквозь кустарники дикого ореха, он придерживал нависающие ветки и пропускал меня вперед.

Когда мы спустились к реке и стояли на берегу в ожидании парома, он почему-то сунул жбан в воду и держал его там, покамест

паром подходил. Зачем ему надо было охлаждать мед, для меня так и осталось загадкой. Не мог же он не знать, что мед и вообще-то не портится, а такое кратковременное охлаждение все равно никакой пользы не принесет. Солнце довольно сильно пекло, и я в конце концов решил, что он погрузил жбан в холодную горную реку просто для того, чтобы сделать приятное меду или даже самому жбану.

— Не потеряй жбан, он мне нужен для одного дела,— сказал старик, когда я влезал в автобус.

— Не потеряю,— ответил я, понимая, что означает его якобы отвлеченный интерес к жбану.

Он стоял возле машины, терпеливо дожидаясь отправки. Я ему сказал, чтобы он шел домой, но он остался ждать, продолжая загадочно улыбаться, словно я опять пытался его в чем-то перехитрить. Кажется, он хотел увериться, что жбан с медом, по крайней мере, выехал в нужном направлении.

— Передай Сандро, что орехи и кукурузу привезу, как только управлюсь! — крикнул он, после того как автобус тронулся. При этом он закивал головой, словно раскрывая более глубокий смысл своих слов: да, да, там-то я и проверю, как ты справился с моим поручением.

На следующий день я не без труда нашел участок дяди Сандро, как я его потом называл. Впрочем, так его называл чуть ли не весь город.

Обсаженный фруктовыми деревьями и мандариновыми кустами участок был расположен на крутом косогоре. Поднимаясь к дому по узкой тропке, я подумал, что хозяин и здесь, поблизости от города, выбрал себе место, в миниатюре повторяющее рельеф гор. Теплый осенний день клонился к закату. В воздухе стоял запах перезревшего инжира и тонкий аромат цитрусов. Я подошел к дому.

Опрятная милостивая старушка, стоя на крыльце, ласковым голосом сзывала кур, равномерно, как сеятель, разбрасывая пригоршни кукурузы. Увидев меня, она добрала с подола последнюю горсть зерна, высыпала и, отряхнув фартук, приветливо улыбнулась.

— Хозяин дома? — спросил я.

— Тебя,— повернулась она в сторону веранды.

Услышав ее голос, я вдруг вспомнил ее имя: тетя Катя!

— Кто? — спросил с веранды сдержанный, но сильный мужской голос.

Веранда была открытая, и я удивился, что говорящего не видно. Я решил, что хозяин лежит на кушетке.

— Первый раз вижу,— сказала старушка, мельком улыбнувшись мне, словно извиняясь за то, что вынуждена объясняться при мне.

— Пусть подыметесь,— сказал голос откуда-то снизу.

Я взошел на веранду и увидел дядю Сандро. Он сидел на низенькой скамеечке и мыл ноги в тазу.

— Добро пожаловать,— сказал он и чуть привстал, показывая, что тазик мешает ему сделать жест гостеприимства более широким, одновременно как бы предлагая убедиться в его потенциальной широте.

После этого он удобней уселся на стульчике, потирая ногой ногу, с вежливым любопытством оглядел меня, показывая, что любопытство его целиком поглощено моей духовной сущностью и никак не распространяется на жбан.

— По обличью вижу, что городской,— сказал он, с хрустом потирая сильные гибкие ступни ног.

Я назвал себя, объяснил ему цель своего визита и уселся на стул,

который подала мне хозяйка. Дядя Сандро повел бровями в сторону жбана и вполголоса бросил жене:

— Убери.

Старушка взяла жбан и, улыбнувшись мне в том смысле, что человека моего калибра, пожалуй, не стоило беспокоить из-за какого-то меда, унесла его на кухню.

Удивившись, что с тех, довоенных, времен я довольно сильно вырос, хотя было бы удивительней, если б я остался таким же, он, посетовав на быстротекущую жизнь, успокоился и стал расспрашивать о родственниках и видах на урожай в этом году. Я отвечал, разглядывая его.

Это был на редкость благообразный старик с короткой серебряной шевелюрой, белыми усами и белой бородкой. Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподымал голову, на его высокой породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая, заматерелая складка, которая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы сказал, высококалорийного жира, которую откладывает, вероятно, очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями, и в оставшееся время он, этот неуязвимый организм, балуется этим жирком, как, скажем, не слишком занятые женщины балуются вязаньем.

Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навывкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийских извращений с выражением риторической свирепости престарелого льва.

Во время нашей легкой беседы он продолжал омовение ног, время от времени подливая из кувшинчика теплую воду, словно добавляя в тазик благовонные масла.

Вымыв ноги, он расставил их, проследив за симметрией, по краям тастика и, продолжая разговаривать со мной, бросил жене:

— Принеси.

Старушка вошла в кухню и вынесла оттуда старое, но чистенькое полотенце. Он взял у нее из рук полотенце и легко приподнял обе ноги, показывая, что тазик можно убрать, что и сделала эта милостивая старушка. Она приподняла тазик и тут же шлепнула воду с крыльца.

Дядя Сандро оперся пяткой одной ноги о пол и, продолжая держать другую на весу, стал тщательно протирать ее полотенцем. Он протер одну ногу одним концом полотенца, затем другим концом другую ногу, словно давая каждой ноге, а также окружающим людям урок справедливости и равноправия в пользовании благами жизни.

Все это время он разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало как в театре реплики в сторону, которых якобы зритель не слышит.

— Безразмерные.— сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки.

Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее.

— Новые,— сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода.

Старушка унесла старые галоши и принесла новые, сверкающие черным лаком, с загнутыми вверх носками.

Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался, ко всем своим достоинствам, еще и высоким, стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконописность его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно отчасти за счет галош с загнутыми носками.

— Накроешь здесь,— сказал он жене, переходя к столу, что стоял в конце веранды.

Я попытался отказаться, но дядя Сандро не пустил меня. Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыру, лобию, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюда, наполненные пахучим медом.

За ужином дядя Сандро спросил у меня, где я работаю. Я сказал, что работаю в газете.

— Писарь? — спросил он, насторожившись.

Я ему сказал, что иногда пишу сам, а чаще всего привожу в порядок то, что пишут другие.

— Значит, присматриваешь за пишущими,— догадался и успокоился он.

Дядя Сандро на некоторое время задумался, а потом, взглянув мне в глаза, спросил, сколько теперь стоит нанять человека из газеты для написания фельетона. Я ему ответил, что для этого ничего не надо платить.

— А почему тогда за объявление о смерти родственника берут деньги? — спросил он.

Я объяснил ему разницу и сказал, что фельетоны пишутся о жуликах, тунеядцах и бюрократах.

— Значит, сначала надо нанять адвоката, чтобы он доказал, что этот человек жулик или бюрократ? — спросил он.

— А в чем дело? — сказал я.

— У меня есть враг в горсовете,— пояснил дядя Сандро,— инженерчик из Эндурска, хотя и скрывает происхождение. Должен деньги получить за оползень, а он не дает.

— Что за оползень? — спросил я.

— У меня на участке оползень, а дом застрахован. Этот негодяй не хочет акт подписывать. Хорошо бы его напугать фельетоном,— сказал дядя Сандро и, сжав кулак, пригрозил им инженерчику из горсовета.

В это время на веранду вошла женщина и, увидев нас за столом, смущенно остановилась.

— Дорогой дядя Сандро,— сказала она, краснея и запинаясь,— извините, что напоминаю, но вы не забыли?..

— Как можно! — воскликнул дядя Сандро и, привстав, жестом пригласил ее к столу.

— Что вы, сидите! — всплеснула она руками.— Я забежала на минутку.

— Он такие вещи не забывает,— вставила тетя Катя не то с грустью, не то с насмешкой.

— Помолчи,— сказал дядя Сандро миролюбиво и добавил, деловито взглянув на женщину: — Вино откуда привезли?

— Вино лыхнинское, пьется как лимонад,— сказала женщина и добавила: — Говорят, с ними будет один человек, прямо, говорят, чудище какое-то... Собирается всех наших спойть...

— Кто такой? — встрепенулся дядя Сандро.

— Родственник шарбовцев,— пояснила женщина,— прямо какое-то чудище говорят. Как бы он нас не опозорил, дядя Сандро, уж вы постарайтесь...

— А-а, знаю его, сидел с ним,— вспомнил дядя Сандро и презрительно выпятил нижнюю губу. В это мгновение, казалось, он мысленно пробежал картотеку своих застолий и, вытащив нужную карточку, удостоверился, что соперник никакой опасности не представляет.— Передай своим: то, что он выпьет, я в ухо налью,— добавил дядя Сандро и для наглядности похлопал по уху.

— За вами мы как за большой крепостью, дядя Сандро,— сказала женщина и, пятясь к дверям, заспешила.— Так я пойду, дядя Сандро, а то еще столько дел.

— Через час буду у вас,— сказал он и принялся за кислое молоко.

— За вами мы как за большой стеной,— донесся голос женщины уже с тропинки.

— Мясо не переварите, мясо! — вдруг напомнил дядя Сандро привычным голосом, когда она уже скрылась в зарослях мандарина.

— Не беспокойтесь, дядя Сандро, мы стараемся! — успела она ответить откуда-то снизу.

— На забывай, что ты старик,— сказала тетя Катя с бесполезной грустью.

— С тобой забудешь,— сказал дядя Сандро и, макая ложку сначала в мед, а потом в кислое молоко, принялся за еду.— Зятя впускают в дом,— пояснил он причину посещения женщины, легко, я бы сказал, красиво отправляя ложку в рот,— хотят, чтобы я был тамадой. Невозможно отказать — соседи.

— Для тебя весь город соседи,— сказала жена все с той же бесполезной грустью, вглядываясь в дорогу, проходящую под их усадьбой.

— И ты можешь гордиться этим,— заметил дядя Сандро значительно.

— Ты все время забываешь, что ты старик,— сказала она, все еще глядя на дорогу.

— Разве я такой уж старик? — спросил дядя Сандро, взглянув на меня.

— Вы еще хоть куда,— сказал я.

После ужина мы вымыли руки, причем дядя Сандро долго и тщательно полоскал водой свои большие желтоватые зубы. Потом он натянул на ноги легкие азиатские сапоги, надел черкеску, слегка пожурив жену, что газыри плохо протерты. Он чистым платком протер их и затянул кавказским поясом свою прямо-таки осиную талию.

— Пойдем покажу, что сделал оползень,— сказал дядя Сандро, и мы спустились.

Дядя Сандро шел легкой гарцующей походкой, и я снова залюбовался этим серебряноголовым, неправдоподобно сохранившимся стариком.

Он показал рукой на цементные сваи, подпиравшие дом. На двух сваях в самом деле были трещины, на мой взгляд, не слишком катастрофические. Забегая вперед, скажу, что дом его до сих пор стоит на месте, хотя с тех пор прошло несколько лет.

— Все-таки его можно было бы припугнуть фельетоном,— сказал дядя Сандро, заметив, что трещины на сваях не произвели на меня большого впечатления.

— Надо посоветоваться,— сказал я неопределенно.

Я попрощался со старушкой, и мы с дядей Сандро пошли по тропинке к выходу.

— Не перепивай, не забывай, что ты старик,— с бесполезным упрямством кинула старушка ему вслед. Было похоже, что она ему эту мысль внушает уже десятки лет.

— Вот женщина,— пробормотал дядя Сандро и, не оборачиваясь, кивнул головой в сторону жены в том смысле, что она сознательно упрощает сложный круг его общественных обязанностей.

Покамест мы спускались, дядя Сандро спросил у меня, нет ли среди моих знакомых надежного проводника, чтобы ему можно было доверить фрукты для отправки в Москву. Я сказал, что у меня есть несколько знакомых проводников, но они скорее всего мошенники.

— Таких не надо,— сказал дядя Сандро и, просунув руку между штaketниками, щеколдой закрыл изнутри калитку.

Мы вышли на дорогу.

Нам надо было идти в разные стороны, но дядя Сандро медлил, словно хотел спросить о чем-то важном, но не решался. Все же он спросил у меня, нет ли среди моих знакомых людей, которые хотели бы купить свежие фрукты прямо с дерева. По интонации я понял, что это не тот вопрос, который он хотел мне задать, скорее всего этот вопрос — подступ к тому, который он сейчас решил отложить. Я сказал ему, что такие знакомые у меня есть.

— Так приведи их,— сказал он,— или же сам бери.

— Хорошо,— сказал я.

— Подумай насчет инженерчика,— напомнил он мне осторожно.

— Хорошо,— сказал я бодро, что ему, видно, понравилось.

Он оживился.

— Лучше даже не печатать,— добавил он,— а так просто показать и припугнуть...

— Я подумаю,— сказал я серьезно.

— Мы, земляки, должны друг другу помогать,— заметил дядя Сандро, прощаясь,— заходи.

Видно было, что он доволен и решил, что на этот раз с меня хватит. Он пошел, а я еще немного постоял, любуясь его величественной и несколько оперной фигурой, как бы иронически осознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни.

* * *

Так я стал бывать у дяди Сандро. Возможно, если бы не его рассказы о пережитых приключениях, которые я с удовольствием слушал, мы встречались бы гораздо реже. Я считаю хорошим слушателем, потому что умею отключаться, когда рассказ входит в нудную стадию своего развития. При этом я время от времени что-нибудь уточняю, ухватившись за хвост последней фразы, что до сих пор помогает мне поддерживать репутацию.

Во всяком случае, дядю Сандро я слушал всегда с неослабевающим вниманием и не помню случая, чтобы хоть на минутку отвлекся.

Постепенно из этих рассказов стала вырисовываться его полуфантастическая в молодости жизнь и довольно странная, во всяком случае необычная, старость.

Оказывается, впервые дядя Сандро переехал в город еще в начале тридцатых годов. В те времена он прогремел как один из лучших танцоров знаменитого абхазского ансамбля песен и плясок под руководством Платона Панцулая. Уже тогда он танцевал почти на уровне лучшего танцора ансамбля Паты Патарая, во всяком случае горячо дышал ему в затылок, и кто его знает, может быть, дядя Санд-

ро дотанцевался бы до такого времени, что почувствовал бы на собственном затылке ревнивое дыхание первого солиста, если бы не некоторые события тех лет.

Когда не стало руководителя ансамбля Платона Панцулая, дядя Сандро провидчески захромал, а потом и вовсе, уволившись из ансамбля, вернулся в деревню.

Второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз скорее всего из осторожности свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался.

За это время слава его как одного из лучших украшателей стола, веселого и мудрого тамады продолжала расти и ко времени моего с ним знакомства достигла внушительных размеров, хотя я тогда ничего об этом не знал. Я как бы жил в другом измерении и, раз выйдя из него, стал встречать дядю Сандро или слышать его имя довольно часто.

В середине пятидесятых годов он стал появляться у должностных лиц иногда на правах человека, который неоднократно встречался с ними за столом, а иногда просто входил к ним с административными предложениями. Так, мне доподлинно известно, что он побывал у одного крупного должностного лица с предложением вернуть местным рекам, горам и долинам их древние абхазские названия, ошибочно переименованные лет двадцать тому назад.

К сожалению, с его предложением тогда не посчитались. И напрасно, потому что еще десять лет спустя это же самое пришлось проделать спешным порядком, что привело к некоторой путанице и бестолковщине.

Когда наступило поветрие защищать кандидатские диссертации, многие молодые научные работники нередко обращались к дяде Сандро с просьбой разъяснить внешние поводы некоторых дореволюционных, а иногда и послереволюционных княжеских междоусобиц. Дядя Сандро охотно разъяснял им внешние поводы, после чего они в своих диссертациях раскрывали внутренние причины и давали анализ разложения абхазского дворянства. В списке использованной литературы дядя Сандро проходил как престарелый очевидец разложения.

В первое время, когда я у него стал бывать, я обычно находил его в общественном саду, который он сторожил. Сад был расположен недалеко от дома и принадлежал табачной фабрике. В саду росли яблоки, груши, сливы и хурма. Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты там уже были убраны, только хурма светилась фонарями своих плодов и несколько яблонь, абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках.

В этом саду дядя Сандро пас свою полулегальную корову, держа ее на длинной веревке. Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал на привязи не обычную корову, а небольшого зубробизона, укрощенного лично им. Иногда на шее у него висел прекрасный цейсовский бинокль, как впоследствии выяснилось, личный подарок принца Ольденбургского.

Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога, и если на ней появлялся, с его точки зрения, подозрительный человек, он загонял корову за большой развесистый куст ежевики, словно нарочно для этой цели выращенный в саду.

Корова, по-видимому, так к этому привыкла, что как только дядя Сандро вставал, а то и не вставая, бывало, подергивал веревку, она сама брела за куст и, кажется, выглядывая оттуда, ждала, пока

пройдет подозрительный человек. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы эта корова замычала.

Я этим не хочу сказать, что дядя Сандро приучил ее к молчанию или она сама понимала незаконность своего пребывания в пригороде. Все же было довольно странно видеть столь уж бессловесное животное.

В тот первый раз, когда я его посетил в саду, произошел забавный эпизод. Внизу, на дороге, появился милиционер, судя по буханке хлеба, которую он держал под мышкой, местный человек. Дядя Сандро, продолжая сидеть на своем потнике, слегка приосанился.

Милиционер, поравнявшись с нами, остановился у забора, почем-то бросил тоскливый взгляд на одну из яблонь, потом на дядю Сандро и сказал:

— Пасешь?

— Пасу,— твердо ответил дядя Сандро.

— Хорошую ты мне яблоню отвел,— вздохнул милиционер и снова оглядел яблоню, на которой, как я теперь заметил, и в самом деле почти не было плодов. Это была яблоня местного сорта.

— Сам выбирал,— ответил дядя Сандро загадочно.

— Хорошо ты мне удружил, по-соседски,— сказал милиционер и, укрепив под мышкой буханку, двинулся дальше, все еще продолжая ворчать.

— Что такое? — спросил я.

— Из-за коровы отвел ему яблоню,— сказал дядя Сандро,— а она в этом году, как видишь, не дала урожая. Вот он и сердится.

— И давно это вы так? — спросил я.

— Шестой год,— сказал дядя Сандро,— раньше я коз держал. Выбрать дерево я ему даю весной. В этом году ему не повезло. Я ему дал в придачу сливу-скороспелку, но он все равно недоволен.

Я спросил у него, чего он все следит за дорогой, если уж с милиционером у него налажены деловые отношения.

— А инспектор райсовета? — сказал дядя Сандро.

— Отведите и ему какое-нибудь дерево,— предложил я.

— На всех не напасешься,— ответил он, как мне показалось, несколько раздраженный неуместностью моего шутиwego тона.

Приходя сюда, я обычно усаживался рядом с ним, и мы беседовали, причем дядя Сандро предупреждал меня, чтобы я не сидел на голой земле, ибо от этого, по его мнению, происходит большинство болезней. Сидеть, уверял он, надо на камне, на бревне, на шкуре животного или в крайнем случае, если ничего нет, на собственной шапке. По его словам, за всю свою долгую жизнь он ни разу не сидел на земле.

— И как ты видишь, я неплохо сохранился,— говорил он, поглаживая ладонью свое лицо.

На это возразить было нечего.

Почти по любому поводу он вспоминал случаи из своей бурной жизни или меня просил рассказать о том, что делается на свете. Слушал внимательно, но не слишком удивляясь, словно все, что происходит теперь, это разновидность того, что он давно знал или сам пережил.

Подвиги в космосе как будто оставили его равнодушным. Главное, что меня слегка раздражало, он сначала обо всем очень подробно расспрашивал, а потом, выслушав, махал рукой: мол, все это неправда.

— Один человек из нашей деревни,— сказал он как-то после очередного моего космического рассказа,— вбил кол у себя в огоро-

де, а потом всем говорил, что это середина земли. Попробуй проверить!

Меня это задело, и я, несколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть никакого обмана.

— Послушай сюда,— сказал он и сановито дотронулся до своих серебристых усов,— один пастух, когда кончился март, самый дождливый и неприятный для пастухов месяц, оказывается, сказал: «Слава богу, кончился этот вонючий март, теперь и вздохнуть можно». Услышал это март и обиделся на пастуха. «Ну,— говорит,— покажу я этому негодяю». Просит март у апреля: «Одолжи мне пару дней, отомщу я этому голодранцу за оскорбление». «Хорошо,— говорит апрель,— пару дней я тебе дам по-соседски, но больше не проси, потому что самому времени не хватает». Взял март у апреля два дня и нагнал такую погоду, что по нужде не выйдешь из-под крыши, а не то чтобы стадо вывести. Что делать? Голодные козы кричат, козлята беспокоятся, без молока вот-вот перемерут. И все-таки пастух вывернулся. Посадил он кошку в козий мешок и подвесил за балку в сарае, где держал коз. Кошка кричит из мешка и раскачивает его над головами коз. А козы, как ты знаешь, любопытные вроде женщин. Вот они и прозыркали два дня, стараясь понять, почему этот мешок качается и кричит кошачьим голосом, а про голод забыли. Вот так наш пастух перехитрил март.

— Ну, это вы перехватили, дядя Сандро,— смеюсь я.

— Меня не проведешь,— улыбается он, довольный.— Сандро из Чегема кое-что видел на свете... Чем ты меня еще удивишь?

— Расскажите,— прошу я.

— В свое время, в своем месте,— отвечает он, задумавшись, и глядит вдаль.

Под нами живописный косогор с домами, проглядывающими из зелени садов и виноградников. Дома самые разные: обычные деревенские, на высоких сваях, а рядом наскоро сколоченные хибарки только набирающих силу хозяев, а там и двухэтажные безвкусные домины процветающих пригородников.

Дядя Сандро, окидывая взглядом поселок, бросает замечания по поводу возвышения или падения отдельных хозяйств. Тут я впервые услышал о Тенгизе, которого он обычно уменьшительно называл Тенго.

— Далеко пойдет этот парень,— сказал он, показывая на его дом со стороны веранды, уютно озелененной стеной винограда, а с другой еще в строительных лесах.

— А кто он?— спросил я.

— Он присматривает за всеми машинами, идущими по эндурской дороге,— сказал дядя Сандро.

— Автоинспектор, что ли?— спросил я.

Возможно, в моем вопросе ему почудился недостаток уважения к его любимчику, потому что глаза его внезапно вспыхнули, и выражение свирепости престарелого льва на лице его показалось мне теперь не столь уж риторическим.

— Ты его можешь назвать мусорщиком, но он присматривает за идущими машинами и имеет государственный пистолет...

— Я и не спорю.— вставил я.

— Какой может быть спор,— успокаиваясь, заметил он,— раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время, а тебе,— тут он неожиданно ткнул пальцем в колпачок авто-ручки, торчавшей из кармана моего пиджака,— доверили этот пугач, стреляющий чернилами, и то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета.

С тех пор я старался быть осторожней, когда речь заходила о Тенгизе, и по мере сил изображал на лице восхищение его любимчиком.

Иногда я встречал дядю Сандро на берегу моря, где он сидел на скамейке, перебирая четки и любуясь мельтешением чаек. Порой он важно прохаживался вдоль берега, изредка поглядывая из-под руки на горизонт, словно переодетый адмирал, ждущий тайного транспорта. Или я его заставал сидящим на берегу с газетой в руках, и тут он неожиданно бывал похож на дореволюционного профессора, удачно вросшего в социализм и потому хорошо сохранившегося, если, конечно, не обращать внимания на его экзотический наряд или на то, что он в отличие от профессора все же читал по слогам.

Он сживал и в кофейнях в окружении шумной компании, между прочим, нередко молодых людей. Видимо, он им рассказывал что-то веселое, потому что оттуда время от времени доносились взрывы смеха. Иногда я его перехватывал, если он только заходил в кофейню, и усаживался с ним за отдельный столик.

— Встречаю на базаре братьев Ламба, — начал он однажды в кофейне без всякого вступления, — давно я с ними хотел поговорить, да все случая не было. «Идемте, говорю, в кофейню, у меня к вам разговор есть». «Пойдемте, говорят, дядя Сандро». Заходим, садимся. Я за свой счет заказываю кофе, коньяк, боржом. Официантка подает. Я молчу. Думаю, пусть она отойдет. Она отходит. Я смотрю на них, сидят напротив два здоровых лба и смотрят. «Догадываетесь, говорю, зачем я вас позвал?» «Нет», — говорят лбы, переглянувшись. «А отчего, говорю, вы такие недогадливые?» «Не знаем», — говорят лбы и снова переглядываются. «Может, говорю, родители виноваты?» — «Нет, говорят, мы сами такие». — «Значит, родители не виноваты?» «Нет», — говорят. «В том числе и отец?» — «В том числе и отец». — «Так слушайте меня внимательно, говорю. Я знал хорошо вашего отца. Сорок лет назад его убил холуй князя Чачба. С князем справилась советская власть, а холуй до сих пор ходит по нашей земле и смеется над вами про себя, а иногда и открыто. За сорок лет советской власти самые дремучие пастухи, говорю, из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете: за отца сыновья должны отомстить?!» И что, ты думаешь, они на мои чистые, красивые слова ответили? — обратился дядя Сандро ко мне.

— Не знаю, — говорю.

— Так слушай, если не знаешь, — заметил дядя Сандро, — так вот... «Дядя Сандро, — говорит лоб, что постарше, — но ведь нас за это арестуют». — «Козлиная голова, отвечаю ему, конечно, арестуют, если поймают. Но ты подумай, какие люди по десять, по пятнадцать лет просидели, а ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?» — «Не отрекаемся, — отвечает теперь лоб, что помладше, — но, может, в этом деле наш отец был виноват?» — «Ты что, говорю, судья?» — «Нет, говорит, я завмаг». — «Тогда, говорю, ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват». — «Нет, говорит, ты нас, дядя Сандро, в такие дела не втягивай...» Тут я не выдержал. Я ему напоминаю о его чести, я его за свой счет угощаю коньяком, чтобы пробудить в нем мужество, и я же виноват! «Чтоб я, говорю, твой гроб купил в твоём же магазине! Убирайтесь отсюда, и чтоб на базаре и в других общественных местах вашей ноги не было, пока я жив!» Слова не сказали — встали, ушли. Да что толку — люди совесть забыли, освинели... Правда, я тоже ошибку допустил: надо было сначала отдельно друг от друга

с ними поговорить, да понадеялся на их совесть... Отец-то у них был орел,— добавляет дядя Сандро после некоторого молчания, как бы еще раз мысленно пересмотрев все возможные причины падения братьев Ламба,— но со стороны матери, кажется, у них кровь подпорчена эндурской примесью.

Он допивает свой остывший кофе несколькими большими глотками и окончательно успокаивается.

— Между прочим, мой Тенго помог мне с оползнем,— вспоминает он своего чистокровного скакуна, может быть, мысленно отталкиваясь от подпорченного завмага.

— Значит, выплатили?

— Нет, бетонную канаву провели за счет горсовета — и то хлеб...

После этой встречи мы с ним не виделись около месяца, и я случайно узнал, что дядя Сандро попал в автомобильную катастрофу. Он ехал на грузовике вместе со своими земляками на какие-то большие похороны в селе Атары. Навстречу им мчался грузовик, возвращавший людей с этих же похорон. Шофер встречного грузовика, оказывается, по неопытности перепил на поминках. Одним словом, машины столкнулись. К счастью, никого не убило, но было много раненых. Дядя Сандро сравнительно легко отделался, он вывихнул ногу и потерял один зуб.

— Чуть со своими покойниками не приехали на эти похороны,— рассказывал он во время нашей следующей встречи и, пальцем оттопырив губу, показал на единственный проем между зубами, явно насильственный, во рту, и без этого зуба переполненном крепкими желтоватыми зубами.

Он сидел в саду на том же потнике, и только теперь рядом с ним торчал посох, к которому он, оказывается, пристрастился после этой автомобильной катастрофы. Корова на длинной веревке паслась тут же; время от времени отрываясь от своего сочного занятия, она, подняв голову, поглядывала на дорогу.

В то время как раз проходила кампания по пересмотру пенсионного дела. То ли дядя Сандро узнал о ней, то ли решил, что автомобильная катастрофа — это не что иное, как производственная травма, но он стал просить помочь ему выхлопотать пенсию. В каком-то идеальном смысле он и в самом деле получил производственную травму, но навряд ли собес захотел бы это понять.

Он показал мне два длинных заявления с перечислением его скромных заслуг в хозяйственном и культурном (годы, проведенные в ансамбле песен и плясок) строительстве Абхазии.

— Как ты думаешь, поможет? — спросил он.

— Не знаю,— сказал я, возвращая ему машинописные копии заявлений. По-видимому, оригиналы уже были посланы...

— Ну и ты со своей стороны поднажми,— попросил он, пряча бумаги в карман.

— Дядя Сандро,— сказал я,— но ведь у вас нет трудового стажа.

— Шесть лет за этим садом присматриваю, гори он огнем,— сказал он без особого энтузиазма.

Видно, вопрос этот уже подымался и без меня.

— Мало,— сказал я.

— Выдумали какой-то стаж,— проворчал он,— можно подумать, что все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом... А что, если хлопотать как о престарелом колхознике?

Я засмеялся.

— Но мои братья там,— ответил он на мой смех,— все налоги платят вовремя...

— Наверяд ли поможет,— сказал я.

— Посмотрим,— сказал дядя Сандро,— с моим Тенго посоветуюсь. Ты не слыхал, что он сделал?

— Нет,— сказал я, стараясь следить за собой.

— Электрическим насосом воду подымает на свой участок, вот что сделал! — воскликнул дядя Сандро.

— Выдающийся человек,— сказал я и твердо посмотрел ему в глаза.

— В хорошем смысле,— поправил меня дядя Сандро и тоже твердо посмотрел мне в глаза.

Опять на дороге появился милиционер. Дядя Сандро несколько подобрался в ожидании, когда тот поравняется с нами. Поравнявшись, милиционер снова остановился и мельком взглянул на свое дерево как бы с презрительной надеждой увидеть на нем неожиданно появившиеся плоды, хотя теперь уже и на других деревьях не было ни одного плода.

— Пасешь? — перевел он взгляд на дядю Сандро.

— Пасу,— с достоинством ответил дядя Сандро.

— Чтоб ты столько счастья имел, сколько я пользы имею с твоего дерева,— проговорил милиционер и пошел дальше.

— Другой раз будешь летние выбирать! — крикнул вслед ему дядя Сандро.

Милиционер остановился и, обернувшись, горестно протянул:

— Летние... Ничего, Сандро, дожدهшься похуже того, что с тобой случилось,— добавил он и пошел дальше.

Было похоже, что милиционер этой загадочной фразой дал знать, что автомобильная катастрофа — это деликатный намек того, кто свыше следит за нашими поступками и время от времени легкими щелчками напоминает о себе.

— Иди, иди, дуралей,— проговорил дядя Сандро скептически, но не очень громко.

— А почему ему летние сорта не нравятся? — спросил я.

— Наш сорт тем и хорош, что толстокорый... весной можно про-
давать...

Кажется, этим замечанием о выгодной толстокорости абхазских яблочек в тот раз и закончилась наша встреча. В последующие годы, видимо потеряв надежду использовать меня в административном порядке, дядя Сандро поручал мне, если я к нему приходил в сезон, только собирать фрукты.

— Можешь есть от пуза,— говорил он, стоя под деревом и подавая мне снизу корзину, когда я вскарабкивался на нижнюю ветку.

Между прочим, пенсию он все-таки получил той же зимой. Правда, небольшую, что-то около двухсот рублей старыми деньгами, но все-таки пенсию. Я уж не знаю, что он там использовал для этого — то ли автомобильную катастрофу, то ли еще что. А может быть, люди, достигшие его возраста, вообще независимо от трудового стажа имеют право на пенсию.

— Нет,— сказал он, словно мягко возражая кому-то,— все-таки власть у нас неплохая, идет навстречу человеку.

— Как же все-таки получили? — полюбопытствовал я.

Мы сидели за столиком в той же приморской кофейне. Пытаясь загладить свою вину за неучастие в его пенсионных делах, я заказал графинчик коньяка, боржом и кофе — легкий горючий материал наших бесед.

Был один из тех чудных декабрьских дней, когда солнце не наваливается, распустив пояс, а доносит свое тепло в благородной, сдержанной дозировке. Дядя Сандро был в отличном настроении. Рассеянно, но доброжелательно оглядывая столики, он выслушал мой вопрос, погладил усы и, слегка запрокинув голову, притронулся к нежной складке на шее.

— Ты знаешь, что это такое? — спросил он, веселея глазами.

— Жир,— упрощенно ответил я.

— Мозоль,— ответил он с шутливой гордостью.

— От чего? — спросил я, стараясь угадать его стройный, хотя все еще непонятный силлогизм.

— Думаешь, легко быть вечным тамадой? — ответил он и еще сильнее запрокинул голову, показывая, что, когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении. Он снова притронулся к этой складке на шее и даже поощрительно похлопал ее в том смысле, что она ему еще послужит.

Именно в эту встречу у нас разговор зашел о божественных промыслах. В это время газеты были переполнены разговорами о снежном человеке, и я кое-что пересказал ему.

Он с интересом выслушал меня и спокойно подтвердил, что все это правда, что сам он в молодости видел в горах лесную женщину, как он ее назвал на наш лад. На его глазах она выскочила из зарослей с длинными, до колен, развевающимися волосами и побежала вниз, в котловину, на ходу ударяя руками по голове, как это делают у нас женщины во время оплакивания.

— Вы не испугались? — спросил я.

— Нет,— сказал он просто,— у меня было ружье. Я даже пытался ее догнать, но она как чесанула в заросли рододендрона, вмиг сгнула.

— Вы что, хотели ее поймать? — спросил я.

— Сам не знаю,— пожал он плечами,— выдумывать не хочу. Вообще, когда женщина бежит, хочется погнаться за нею, а мы тогда пастушили в горах и я несколько месяцев женщину не видел. В те времена лесных людей многие видели, но женщины среди них попадались очень редко. Вот другой случай был у меня в горах, тут я испугался по-настоящему. Но это он нам подстроил,— заключил дядя Сандро и кивнул головой на небо.

— Как он? — переспросил я, потому что никогда до этого не слышал, чтобы дядя Сандро ссылался на небеса.

— Он или кто-то из его людей,— уточнил дядя Сандро и посмотрел на меня многозначительно.

— Так расскажите,— попросил я.

— Выпьем еще по кофе и коньяку,— согласился дядя Сандро, кивнув на официантку,— я этот случай редко рассказываю, но тебе расскажу...

Я подозвал официантку и заказал. Дядя Сандро, пока я заказывал, спокойно сидел напротив, внушительно положив руки на посох. Я ждал, когда он начнет рассказывать, но дядя Сандро молчал, поглядывая на официантку, убирающую со столика, в том смысле, что рассказ не рассчитан для слуха непосвященных.

И вот он начал говорить, и я впервые понял, что вещи эпического склада получаются у него не хуже бытовых.

— Это было,— начал он, отхлебнув кофе из чашки,— за год до Большого Снега и через год после того, как наш народный герой Щащико убил стражника и ушел в лес. Его ловили пятнадцать лет и не могли поймать. Ни один пристав не мог пройти пешком или проехать на лошади от Чегема до самого Цабала. Везде его поджидала

верная пуля Щащико. Но что о нем говорить, я не о нем, царство ему небесное. Обманом его выманили из леса, обещали амнистию, а потом вместе с братом убили в тюрьме. Но я не об этом. Я хочу рассказать, что было со мной. В то лето отец держал скот в урочище Башкапсар. Здесь в те времена дичь еще была не пугана и косули иногда заходили в наше стадо поиграть с козами.

Однажды у нас пропала лошадь. Мы с раннего утра ее искали, и когда солнце поднялось на высоту хорошего бука, мы напали на ее след. Часа два шли мы по следу, пока не увидели ее на таком выступе, откуда она сама спуститься не могла. Со скотом такое бывает, особенно когда он голоден и нападет на хорошую траву. А эту лошадь только-только пригнали из деревни. Семь потов с нас сошло, пока мы ее оттуда выволокли и пригнали обратно.

И вот мы уже подходим к нашему лагерю, но решили передохнуть на взгорье у ручейка. Лучшего места для отдыха не сыщешь. Мы присели у ручья и напилась. Товарищ мой, наш односельчанин, я его не называю, потому что он еще живой, решил смочить в воде свои чувяки. Они у него пересохли. Вижу: снимает с ног и сует прямо туда, где мы пили воду. «Что ты делаешь, говорю, разве ты не знаешь, что это не положено по нашим обычаям? Раз ты пил здесь воду, значит, надо спуститься пониже, если хочешь вымыть ноги, или смочить чувяки, или платок постирать». — «А-а-а, говорит, ничего не случится. Мы уже напилась, а люди здесь не ходят». — «Может, ничего и не случится, говорю, но зачем обычай нарушать? Не мы его придумали». «Тех, кто придумал, — отвечает он вроде в шутку, — давно уже нет, а мы никому не скажем...» Не понравилось мне это, но что скажешь? Слишком легкий он был человек, да и я был молод. Думал, обойдется как-нибудь... Так вот он и сунул свои чувяки в воду и даже камнем их прикрыл, чтобы лучше водой пропитались.

И вот, значит, лежим мы в медовой траве. Солнце греет, ручеек журчит, дремота забирает... Такое сладкое место было — нельзя не уснуть. И уже я, наверное, видел второй сон и переходил к третьему, как почувствовал во сне — случилось что-то нехорошее. Еще сплю, а сам думаю: что бы могло случиться? Неужели широколапый зарезал что-нибудь из нашего стада? И так во сне хочу догадаться, что случилось, потому что, думаю, проснусь — поздно будет. Но чувствую — никак не могу догадаться во сне. Нет, думаю, надо проснуться и на все посмотреть своими глазами, тогда, может, пойму, что случилось. Подымаю голову, озираюсь.

Смотрю вниз — балаганы на месте, дым идет, пастухи обед готовят. Смотрю направо по склону, вижу — коровы пасутся, выше лошади и совсем наверху козы, как белые камни. Нет, думаю, там ничего не случилось, иначе стадо всполошилось бы. Товарищ мой спокойно спит. Отчего же, думаю, что-то душу свербит? И вдруг прислушался и обмер — ручей перестал журчать. Я заглянул в него и почувствовал... Не дай тебе бог почувствовать такое! Словом, вижу — ручей пересох. Вода кое-где в углублениях, как на дороге после дождя. Так что и горсти не наберешь.

Тряхнул я своего товарища и говорю: «Посмотри, что ты наделал!» Он так перепугался, что никак не мог на ноги натянуть свои чувяки. Руки болтаются как сломанные, губы шепчут: «Аллах, пощади...» В то лето его буйволица во время грозы, ошалев от крупного града, сорвалась со скалы и сдохла, а у меня медведь зарезал годовалого телка. С тех пор мы на эти пастбища не возвращались.

— Дядя Сандро, — говорю я, — а что, если где-то сверху сорвался большой камень или лавина перекрыла ручей?

— Так и знал, что-нибудь такое скажешь,— ответил дядя Сандро с усмешкой,— значит, по-твоему, лавина день и ночь ждала, покамест мой товарищ чувяки вымоет в этом ручье, а потом сказала себе: ага, теперь самое время сорваться и перекрыть ручей?!

— Мало ли что могло случиться,— сказал я.

— Тогда ответь,— вдруг оживился дядя Сандро,— почему он у него взял буйвола, а у меня только телку?

— При чем тут буйвол и телка? — не понял я.

— А при том,— ответил дядя Сандро,— что он, как хороший судья, наказал нас. У него как у главного виновника взял буйвола, а у меня годовалую телку за то, что не остановил его.

— Дядя Сандро,— говорю я,— неужели он за вами не видел других грехов?

Дядя Сандро спокойно посмотрел на меня и сказал:

— Он не всякие грехи карает. Если ты грешил, рискуя жизнью, он это учитывает. Но если ты грешил, ничем не рискуя, наказания не избежать... И у меня есть такой грех.

— Расскажите, дядя Сандро,— попросил я, разливая остаток коньяка.

— Нечего рассказывать,— сказал дядя Сандро и, сполоснув рот коньяком, проглотил его.— На свадьбе Татырхана я своей рукой зарезал двенадцать быков, и теперь в последние годы кисть правой руки болит.

Дядя Сандро зашевелил вытянутой кистью правой руки, как бы прислушиваясь к действию давнего греха.

— И тогда, помнится, вот так же болело запястье... Глупый был, согласился...

Он задумался, и выражение его слегка выпученных глаз мне впервые показалось сентиментальным.

— Да,— проговорил он,— двенадцать беззащитных быков...

Мне показалось, что он сейчас разрыдается. Но тут к нам подошел молодой человек, исполненный ликующего почтения.

— Дядя Сандро! — воскликнул он.— А я вас ищу по всему городу...

— Что ты говоришь! — оживился дядя Сандро.— А я совсем забыл. Старею, старею, дорогой.

— Как можно, дядя Сандро, вас ждут! — воскликнул молодой человек.— Никто ни к чему не хочет притронуться.

— Иду, мой мальчик, иду! — сказал дядя Сандро и, встав, оправил черкеску.

— Извините, дорогой, но компания ждет,— добавил молодой человек миролюбиво, но твердо обращаясь ко мне, как бы давая знать, что было бы безумным расточительством тратить драгоценные силы великого тамады на одного человека, когда его ждут жажущие массы.

— Так ты остаешься? — спросил дядя Сандро, словно до этого уговаривал меня пойти с ним, но я отказался.

— Да,— сказал я,— я еще посижу.

Постукивая посохом и кивая знакомым, дядя Сандро прошел между столиками походкой щеголеватого пророка и скрылся на улице.

Всегда бывает немного обидно, если кто-нибудь в твоём присутствии уходит веселиться, даже если ты и не собирался сопровождать его. Я еще посидел немного, раздумывая над рассказом дяди Сандро, а потом пошел домой в состоянии некоторой грусти. Помню, в голове застрял какой-то обрывок мысли насчет того, что не только люди создали богов по своему подобию, но и каждый человек

в отдельности его создает по своему собственному подобию. Впрочем, возможно, я об этом подумал не тогда, а несколько позже, а то и раньше.

Дядя Сандро и черный лебедь

Принц Ольденбургский, задумавшись, стоял над прудом гагринского парка, как Петр над водами Балтийского моря. Он стоял, слегка опершись на палку огромным, все еще поджарым, несмотря на возраст, телом.

Александр Петрович был не в духе. Свита вместе с адъютантом в количестве шести человек, стоявшая рядом на длинной и широкой, как петербургский проспект, парковой аллее, всей своей позой выражала готовность броситься выполнять любой его приказ, как, впрочем, и просто разбежаться во все стороны.

Свита молча следила за принцем. Сам же принц следил за черным австралийским лебедем, бесшумно скользившим по воде в его сторону. Казалось, маленький пиратский фрегат бесстрашно атакует имперский крейсер, то есть самого принца.

Это был старый яростный самец, рвавшийся в драку с молодым соперником, стоявшим на воде в двух шагах от принца Ольденбургского. Молодой лебедь, изогнув свою бескостную шею, с глупой беспечностью рылся красным пасхальным клювом у себя под крылом.

Был чудный солнечный день начала октября. Легкая тень принца падала на воду. Молодой лебедь, стоя в его тени, продолжал рыться клювом под крылом. Александр Петрович вдруг подумал, что молодой лебедь потому и беспечен сейчас, что чувствует его отеческую тень. Возможно, так оно и было.

Между тем старый забияка, вытянув копьевидную голову, приближался к берегу. «Заклюет, сволоочь»,— подумал принц, когда тот, не снижая скорости и не меняя своих воинственных намерений, вплыл в его тень. Принц Ольденбургский с неожиданным проворством пригнулся и ударил палкой по воде перед самым носом старого самца. Тот остановился и возмущенно вскинул голову. Потом он вытянул шею и, уже не продвигаясь, попытался дотянуться до своего беспечного соперника. Принц Ольденбургский палкой надавил ему на шею и с трудом оттолкнул упрямо тормозящее, тяжелое тело лебедя. После этого он еще несколько раз ударил палкой по воде, и старый самец, несколько охлажденный ргутными брызгами, посыпавшимися на него, повернул обратно, чтобы взять разгон для новой атаки.

Розовый пеликан Федька дремал на искусственном островке, положив на крыло тяжелый меч клюва. Иногда он открывал глаз и без особого любопытства следил за происходящим. Так умная, уважающая себя собака иногда сквозь дрему послеживает за щенячьей возней.

Огромный белый лебедь-шипун, привлеченный шумом воды, осторожно приближившись, проплыл мимо принца. Было странное противоречие между белоснежным величием его царственно скользящего тела и выражением алчного любопытства глупенького глаза, увенчивающего божественную шею. Хаос мировой глупости и жестокая глупость всех женщин глядели из этого глаза.

Лебедь, которого защищал принц, так и не заметив опасности, продолжал сладострастно рыться у себя под крылом.

Александр Петрович выпрямился и вздохнул. Сейчас он с особенной тоской вспомнил, чего ему не хватало в последние недели. Он вспомнил мягкие, сильные пальцы своей массажистки Элеоноры

Леонтьевны Картуховой, или Картучихи, как ее обычно называли гагринцы, да и сам принц, когда бывал шутливо или, наоборот, сердито настроен.

Почти месяц назад он приказал ей пребывать под домашним арестом и не под каким предлогом не появляться на улицах местечка под угрозой высылки в отдаленные места, потому что открылось безобразное коварство этой женщины.

В те дни принц был занят хлопотами, готовя гостиницу к приезду из Петербурга фрейлин императрицы Александры Федоровны. Тогда же неожиданно запил, вернее с неожиданной широтой запил, бывший солдат Преображенского полка, промышлявший в местечке крысиным ядом и мочегонными средствами. Когда один из собутыльников бывшего преображенца спросил, откуда у него столько денег, тот проговорился, что Картучиха закупила у него крысиного яда для отравления прибывающих фрейлин, которые, кстати, так и не прибыли.

Преображенец спяну проговорился, собутыльник с похмелья донес. И хотя Александр Петрович не вполне поверил, что Картучиха и в самом деле собирается отравить фрейлин императрицы или, по крайней мере, одну из них, которую он якобы собирается прельстить, но сама попытка шантажировать его таким образом привела принца в законную ярость.

В прошлом Картучиха была массажисткой и любовницей принца, совмещая эти две, естественно, перерастающие одна в другую должности. Но в последние годы ей все чаще приходилось ограничиваться массажем по причине мирного угасания страсти стареющего принца. Ему уже было за семьдесят.

Картучиха, думая, что принц охладил именно к ней, бешено его ревновала и особенно утонченными массажами пыталась восстановить свою вторую должность.

Никогда раньше принц Ольденбургский не чувствовал себя после этих массажей столь освеженным и бодрым, но отнюдь не для любовных утех, а для деятельности государственной, чего эта дура, без которой он уже не мог обойтись, никак не могла понять.

Бог с ней, с этой Картучихой, баба она и есть баба, но разве в Петербурге его понимают? Царь, которого Александр Петрович, несмотря на все его слабости, так нежно любит, постоянно вводится в гиблые заблуждения придворными интриганями. Сколько своевременных и прекрасных начинаний было испорчено из-за того, что люди, окружающие его, свою личную корысть ставят выше интересов империи, чем так ловко пользуются для своей агитации иуды социалисты.

Когда в начале века он пришел к царю с проектом создания на Черноморском побережье климатической станции, с тем чтобы со временем превратить ее в кавказскую ривьеру, царь с неожиданной быстротой согласился с его предложением. Потом-то Александр Петрович догадался, что они таким образом просто хотят избавиться от него в Петербурге. Александр Петрович знал, что его при дворе считают чудачком за то, что он всегда, невзирая на лица, со всей откровенностью верноподданного высказывал свои мысли о средствах к спасению царя и государства Российского. Все Ольденбургские принцы были такими, и все считались чудачками.

Для создания кавказской ривьеры принц Ольденбургский выдвинул весьма действенный аргумент, заключавшийся в том, что русские толстосумы будут ездить в Гагры, вместо того чтобы прокучивать свои деньги на Средиземноморском побережье. Но даже сам этот достаточно важный расчет был только тонким тактическим ходом.

Истинная пламенная мечта принца, пока тщательно скрываемая от всех, заключалась в том, что он здесь, на Черноморском побережье, внутри Российской империи, создаст маленький, но уютный остров идеальной монархии, царство порядка, справедливости и полного слияния монарха с народом и даже народами (словно нарочно для удобства эксперимента берег был богат многообразием чужеродцев).

И вот выросли на диком побережье дворцы и виллы, на месте болота разбит огромный «парк с наслаждениями», как он именовался, порт, электростанция, больница, гостиницы и наконец гордость принца — рабочая столовая с двумя отделениями: для мусульманских и христианских рабочих. В обоих отделениях столовой кухня была отгорожена от общего зала стеклянной перегородкой, чтобы неряхи повара все время были на виду у рабочих.

Это было личное изобретение принца, которое там, в Петербурге, тоже могло показаться смешным. Но бунт на броненосце «Потемкин», не забываяте, господа, начался с кухни!

И все-таки венец всего сделанного принцем здесь — лучшее в Европе пожарное депо, где каждый инструмент пронумерован, а наиболее отважные и сильные жители местечка снабжены особыми бляхами с соответствующим номером, чтобы в случае пожара не метаться, не хватать что попало, а бежать к месту бедствия со своим инструментом.

Наиболее ценные здания местечка были снабжены дырчатыми трубопроводами, расположенными в середине потолка каждого помещения. В случае пожара, по замыслу, в эти трубы должна была под большим давлением накачиваться вода, чтобы сбивать пламя не только снаружи, но и, подобно неожиданному кавалерийскому рейду в тылы врага, уничтожать его изнутри. Потомственный преобразенец, участник турецкой кампании, принц знал толк в таких вещах.

Правда, пожары в Гаграх, как в турецкой бане, случались крайне редко, но на то и санитарные меры. Санитария — великая вещь! Недаром принц Ольденбургский в свое время возглавлял комиссию по борьбе с чумой.

Подобно великому Петру, принц Ольденбургский организовал в Гаграх кунсткамеру с живыми и мертвыми чудесами. Кунсткамера была организована для развития любознательности у аборигенов. За интересные экспонаты принц щедро вознаграждал. Дабы избежать в этом деле бюрократической рутины, Александр Петрович особым приказом повелел направлять людей с интересными находками лично к нему.

В кунсткамере хранились образцы местных минералов и руд, огромная древнегреческая амфора с лепешкой запекшегося вина на дне, еще не слишком проржавевшие стрелы и феодальные мечи, женское седло величиной с верблюжий горб, названное седлом «неизвестной амазонки», и многое другое не менее любопытное и поучительное.

Живая природа была представлена в виде чучел местных орлов, с ненавистью взиравших на своих живых собратьев. Здесь же находились кукурузный стебель с четырнадцатью початками, корни абхазского женьшеня, совершенно белый дикий кабан-альбинос, папоротниковое дерево величиной с вишню, дикий буйвол, пойманный в горах, но впоследствии узнанный хозяином и признанный одичавшим.

Кроме всего, принц Ольденбургский много экспериментировал для украшения и развития самой природы, хотя наряду с успехами в этой области были и досадные неудачи.

Так, полсотни розовощеких ангольских попугайчиков, купленных в берлинском зоопарке, были выпущены на волю. Попугайчики сна-

чала хорошо прижились и даже прилетали в парк, но потом их довольно быстро переклевали растерявшиеся было сперва местные ястребы.

Вопреки уверениям специалистов, что обезьяны не смогут пережить местной зимы, принц Ольденбургский выпустил на волю десять мартышек обоего пола. Вопрос о возможности приживания африканских мартышек остался открытым, потому что еще до наступления зимы их перестреляли местные охотники.

Первую убитую мартышку принцу привез сам охотник, ничего не знаящий об эксперименте и требовавший вознаграждения. Потом явилась целая делегация старейшин окрестных сел и довольно твердо заявила, что абхазцы в дальнейшем не потерпят осквернения дедовских лесов человекоподобными тварями. Принц смирил гордость и махнул рукой на обезьян во имя главного дела. Ведь он надеялся неустанно привлекать чужеродцев разумной целесообразностью русского покровительства.

Цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда натыкалась на неожиданные препятствия. Так и сегодня ряд безобразных случаев испортил ему настроение.

Ровно в шесть утра Александр Петрович проснулся по сигналу горниста и сразу же покинул постель. По замыслу, серебряный звук горна, раздававшийся над Гаграми в шесть утра, должен был призывать жителей местечка к созидательной работе. На самом деле по сигналу горна вставали только сам принц и рабочие ремонтных мастерских.

Обход своих владений принц в этот день решил начать с ремонтных мастерских. Ряды деловито жужжащих станков, сосредоточенные фигуры рабочих, склоненные над ними, всегда способствовали его радостному созидательному настроению.

В это утро душевное состояние принца было недостаточно ясное, все еще мешала некоторая оскомина вчерашнего безобразия. Накануне утром он посетил бараки, расположенные недалеко от Гагр, где жили пленные австрийцы, работавшие на прокладке железной дороги. Принц нашел общее состояние барачников неудовлетворительным. Особенно его возмутило, что, при огромной вместительности барачников, они имели только по одной двери, что в случае ночного пожара могло привести к панике и человеческим жертвам. Принц Ольденбургский приказал начальнику участка инженеру Бартмеру немедленно вызвать всех плотников и к пяти часам вечера во всех бараках прорубить двери через каждое третье окно. Ровно в пять часов вечера лимузин «бенц» Ольденбургского снова остановился в ущелье Жюеквары недалеко от барачников. К этому времени оставалось прорубить и навесить три двери. На начальника участка инженера Бартмера был наложен месячный арест с исполнением служебных обязанностей.

Вот что случилось вчера и отчего на душе у принца оставалась некоторая смутность. Для восстановления ясности духа Александр Петрович и решил начать день с ремонтных мастерских.

...Золотисто-зеленое утреннее небо обещало хороший день. Лимузин «бенц», ведомый кожаным шофером-итальянцем, вместе с сонной свитой и дураком адъютантом вез его к рабочим.

— Зхаствуйте, бхатцы! — гулко разнеслось в помещении мастерских, и принц Ольденбургский легко зашагал в сопровождении мастера между деятельно жужжащими станками.

Иногда он останавливался у станка и спрашивал у мастера, кто, что и для чего делает, каждый раз получая толковый умиротворяющий ответ. Настроение улучшалось. А главное, эти прекрасные, сосредоточенные лица рабочих, которые без тени подобострастия или

жульничества продолжали работать даже тогда, когда он останавливался возле их станков. Поблагодарив рабочих за службу, Александр Петрович уселся вместе со свитой в машину и поехал дальше осматривать другие заведения местечка.

— Выключай станки,— сказал мастер, проследив в окно за удаляющейся машиной. Часть станков, не нужных для дела, тут же выключили. Было замечено, что принцу нравится, когда работают все станки.

В это же утро за завтраком принц узнал о новых безобразиях. Как обычно, завтракая, он просматривал свежую почту. Письма, требующие безотлагательного ответа, складывались в аккуратную стопку, остальные отбрасывались в ворох никчемных или не требующих быстрого ответа.

Теперь управляющий доложил принцу еще о двух безобразиях. И это было особенно трудно, учитывая характер безобразий и высокое состояние принца. Но так или иначе доложить пришлось.

Первое безобразие состояло в том, что сегодня рано утром некий абхазец разбил голову сторожу гостиницы «Альпийская» у него же выхваченным из рук ружьем. Преступник, не оказавший сопротивления, был схвачен служителями гостиницы и отправлен в полицию вместе со своей лошадью. В свое оправдание он заявил, что сторож его оскорбил посредством непристойного звука, якобы нарочно изданного, когда абориген пил воду из источника возле гостиницы.

Издавал ли сторож непристойный звук, и притом нарочно, чтобы оскорбить аборигена, было неизвестно, потому что сам он в бессознательном состоянии отправлен в больницу, а других свидетелей нет.

Второе безобразие состояло в том, что ночью исчез один из трех черных лебедей, как раз любимец принца. По слухам, из парка в эту ночь раздавались пьяные голоса неизвестных людей, а сторож за день до этого был свален тропической лихорадкой.

— Узнать, кто знал, что сторож болеет,— приказал принц.

Но это ничего не дало, потому что все знали, что сторож заболел.

Принц приказал своему адъютанту на моторной лодке обойти море в окрестностях Гагр на случай, если лебедь просто улетел от преследователей. Иногда лебеди и сами улетали в море, но потом всегда возвращались.

Поиски лебеда на моторной лодке окончились безрезультатно. О пьяных ничего не было известно, кроме того, что на берегу пруда был найден ремень без всяких опознавательных знаков, из чего можно было заключить, что пьяные, во всяком случае один из них, раздвигались, пытаясь поймать лебеда в самом пруду.

Не давая волю личным переживаниям, принц Ольденбургский непреклонно продолжал свой распорядок дня, приказав к одиннадцати часам привести преступника в парк, где он будет в это время рассматривать место ночного происшествия.

Исчезнувший лебедь обычно защищал молодого самца от наскоков старого вояки. Отчасти за эти рыцарские качества принц Ольденбургский его и любил. Он вообще очень любил все свое птичье хозяйство, но особенно выделял розового пеликана и этого исчезнувшего лебеда за красоту и благородство.

После массажей Картучихи, будь она неладна, и осмотра ремонтных мастерских кормление пеликанов было третьим по силе воздействия успокаивающим средством Александра Петровича.

Розовый пеликан все еще дремал на островке, а три черные лебедицы, из-за которых старый самец не давал покоя молодому, спойкойно паслись в дальнем конце пруда. Судя по всему, поглощенный

процессом вражды, старый самец забыл о ее причине. Сейчас он опять приближался к своему сопернику.

— Так и буду стоять,— пробормотал принц, снова отогнав самца и отряхивая свою палку.

— Уже ведут, ваше высочество,— как всегда невпопад отозвался адъютант, кивнув на парковую аллею, в конце которой появились три фигуры — начальник полиции, переводчик канцелярии принца и преступный абхазец.

Адъютант даже приподнял на груди бинокль и взглянул на эту группу из присущей ему, как считал принц, паразитической праздности. Бинокль остался у него на груди после бесцельных поисков пропавшего лебеда.

Александр Петрович не любил своего адъютанта, считая его шалопаем и бездельником. Он бы давно его выгнал, но, подозревая, что адъютант отчасти следит за ним и время от времени доносит на него в Петербург, нарочно из гордости продолжал оставлять его при себе.

Принц Ольденбургский подошел к свите и посмотрел вперед. Они приближались. Впереди шел, по-видимому, сам преступник — стройный молодой человек в черкеске и в мягких азиатских сапогах. Одной рукой он придерживал перекинутый через плечо дорожный хурджин. Александр Петрович невольно залюбовался его упругой рысью походкой.

Шагов за тридцать преступник оглянулся и спросил у переводчика по-абхазски:

— Который из них сам?

— Тот, что с палкой,— тихо ответил переводчик.

— Я так и думал,— сказал молодой человек.

Молодой человек — увы, это был дядя Сандро — приостановился шагах в пяти от принца и, слегка поклонившись, пробормотал по-абхазски приветствие. На приветствие ему никто ничего не ответил, и он притих, стараясь умерить природную живость своих глаз, которая сейчас не без основания могла быть воспринята как признак дерзости, граничащей с нахальством.

Несколько секунд длилось неловкое молчание, потому что Александр Петрович почувствовал неудобство оттого, что судилище приходится производить стоя. В этом был какой-то непорядок, и он молча двинулся к скамейке, стоявшей в десяти шагах от него под глицинией. Все последовали за ним.

Наконец принц уселся, а свита, симметрично разделившись, стояла по обе стороны скамейки.

— Как случилось? — спросил принц, сутуло наклоняясь вперед и исподлобья оглядывая дядю Сандро.

Эта привычка придавала его позе грозную стремительность и внушала собеседнику необходимость идти к истине кратчайшим путем.

Дядя Сандро это сразу понял и, почувствовав, что кратчайший путь к истине будет для него наиболее гибельным, решил не поддаваться, а навязать ему свой путь к истине. Начало этого пути уже было заложено в полицейском участке, где он притворился не понимающим русского языка.

Переводчик перевел вопрос принца. Дядя Сандро благодарно ему кивнул за перевод и начал излагать свою версию происшествия. Принц Ольденбургский почувствовал, что дядя Сандро уклоняется от кратчайшего пути к истине, перебил его, ткнув палкой на хурджин.

— Что это у него там шевелится? — спросил он у переводчика.

Дядя Сандро закивал головой и стал развязывать хурджин. К великому удивлению окружающих и самого принца, он вытащил оттуда

несколько придушенного и измазанного в собственном помете черного лебедя.

— Откуда? — восторженно воскликнул принц и, легко вскочив на ноги, взял у него любимую птицу.

— Может запачкать, — предупредил дядя Сандро, но переводчик не осмелился перевести. — В подарок привез, — добавил дядя Сандро.

Принц Ольденбургский с лебедем в руках подошел к пруду и поставил его на воду. Лебедь несколько секунд скучно стоял на воде, но потом вдруг восторженно и с криком поплыл на середину пруда, раскатывая грудью треугольную рябь.

— Что ж ты сразу не сказал? — спросил принц, удивленно уставившись на дядю Сандро. Наглое обаяние дяди Сандро начинало действовать на принца.

— Я это вез ему в подарок, но раз такое случилось, решил: пусть сначала накажут, а потом подарю. — ответил дядя Сандро.

— Что ж, благородно, — кивнул принц, снова усаживаясь на скамейку. На самом деле дядя Сандро, увидев в пруду нескольких черных лебедей, приуныл, решив, что у принца уже такое есть и находка его не представляет большой ценности.

— Где ты его нашел? — спросил принц, откидываясь на скамейке и доброжелательно оглядывая дядю Сандро, как бы разрешая ему несколько удлинить путь к истине.

Дядя Сандро это сразу же почувствовал и, не скупясь на краски, рассказал историю поимки черного лебедя.

В то раннее утро дядя Сандро ехал верхом из Гудаут в село Ачандары, где он собирался погостить несколько дней у своего родственника в ожидании поминального пиршества, которое должно было состояться в соседнем доме. В наших краях сорокадневье устраивается не очень точно — то к погоде прилаживаются, то еще какие-нибудь хозяйственные расчеты, — так что дядя Сандро решил, что лучше не рисковать и подождать на месте, чем пропустить хорошие поминки.

И вот он едет по приморской дороге и вдруг видит, что недалеко от берега на воде сидит невиданная в наших краях черная птица с длинной шеей.

До этого он о лебедях Ольденбургского и слыхом не слыхал, хотя о самом принце слышался, но не видел его ни разу.

Так вот, дядя Сандро заинтересовался этой птицей и осторожно подъехал к самому берегу. Птица тоже заметила дядю Сандро и, может быть, даже заинтересовалась им, потому что, вытянув длинную шею, стала за ним следить. Дядя Сандро очень удивился этой странной встрече и решил пристрелить ее и принести родственнику на завтрак, если она не слишком воняет рыбой. По его словам, она была покрупнее хорошей индюшки.

Дядя Сандро, не слезая с лошади, вытащил свой «смит-вессон», прицелился и выстрелил. Птица стояла на воде метрах в тридцати от берега, но дядя Сандро в нее не попал. Но самое главное, что птица никуда не улетела, а только отплыла метров на двадцать, и не в глубь моря, а вдоль берега. Дядя Сандро слегка тронул лошадь и, поравнявшись с птицей, еще более тщательно прицелился и снова выстрелил. Опять не попал, а главное, птица никуда не улетела, а только проплыла вдоль берега примерно на такое же расстояние. Дядя Сандро раззадорился и, снова поравнявшись с птицей, пальнул в нее. Опять не попал. То ли «смит-вессон» не брал на таком расстоянии, то ли птица была замороженная. Будь у меня, говаривал дядя Сандро, побольше патронов, так бы и пригнал ее в Гагры, потому что она все время отплывала в одну сторону. У дяди Сандро было всего пять или шесть

зарядов, и, расстреляв их задаром, он пришел в такое бешенство, что решил вплавь пуститься за ней, раз уж она не улетает.

Недолго думая он загнал в море своего рябого скакуна. До этого дядя Сандро в море его никогда не пробовал, но абхазские и мингрельские реки скакун одолевал хорошо.

Все же море ему не понравилось, и он долго упирался. Дядя Сандро загнал его в воду. Как только конь поплыл, он сразу же сделался послушным, потому что упираться стало не во что. Проклятая птица подпускала его довольно близко, но, как только он подплывал, отходила, и опять же в сторону Гагр.

Или подранок, или наваждение, думал дядя Сандро, и хотя весь промок, но до того разгорячился, что не замечал холода. И главное, конь, говаривал дядя Сандро, уже как хорошая собака, напавшая на след дичи, сам рвался за ней, но все же догнать не мог.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б, на счастье, они не вышли на мелководье. Почувствовав под ногами дно, конь припустил, а птица, говаривал дядя Сандро, припустить не могла, потому хоть и шия у нее была длинной, с мою руку, ноги все же у нее были короткими, особенно против лошадиных. В последнее мгновение она попыталась нырнуть, но дядя Сандро успел ухватить ее за черную задницу и приподнять над водой.

Дядя Сандро страшно замерз и разозлился на эту странную птицу, особенно после того, как, пощупав ее, убедился, что тело у нее твердое, как доска, и до индюшки ей далековато. Хотел он ей тут же размозжить голову, но вспомнил, что рядом, в Гаграх, живет принц Ольденбургский и от скуки покупает всякую всячину.

Может, купит, подумал дядя Сандро и, сунув птицу в хурджин, притороченный к седлу, поехал в Гагры.

Часа через два дядя Сандро был в Гаграх. Одежда на нем кое-как обсохла, но все же он сильно продрог и очень хотел выпить, чтобы согреть кровь, но выпить было нечего и не на что.

В самих Гаграх он встретил одного абхазца и спросил у него, принимает ли все еще принц всякую всячину.

— Если всякая всячина понравится, то принимает,— ответил абхазец.

Тогда дядя Сандро попросил отвести его к принцу. Но тот отказался, ссылаясь на то, что принц со вчерашнего дня не в духе.

— Что же случилось вчера? — спросил дядя Сандро, начиная раздражаться.

Тут абхазец этот радостно, но под большим секретом рассказал ему, что двери в бараках пленных австрийцев все еще не дорубили и что принц из-за этого сильно сердает, особенно на инженера Бартмера, который считай что мертвый и не слишком ошибешься.

Дядя Сандро еще больше помрачнел, и тогда абхазец сказал, что в Гаграх живет один грек, который перекупает подарки принцу, а потом сам или через своих родственников преподносит ему.

— Дом построил на этом деле,— похвастался он своим знакомым греком и предложил свести его с ним.

Дядя Сандро отказался. Тогда абхазец попросил показать ему подарок принцу, но дядя Сандро и тут отказался.

— Да так, пустячок,— сказал он.

— Учти, если орел,— сказал абхазец, оглядывая хурджин и стараясь угадать, что в нем лежит,— можешь его собакам отдать, орлов уже не принимает.

— Как же, орел,— сказал дядя Сандро, радуясь за свою птицу,— чуть не заклевал меня вместе с лошастью.

Тут абхазец двинулся дальше, и дядя Сандро, оставшись один, опять помрачнел.

— Так когда же они эти проклятушие двери прорубят?! — крикнул ему вслед дядя Сандро.

— Никто не знает! — радостно обернулся абхазец. — Одно могу сказать: за мильон рублей не хотел бы я быть инженером Бартмером.

Абхазец, махнув рукой, скрылся за углом, все еще радуясь, что он не инженер Бартмер.

Дядя Сандро поехал дальше. Он подъехал к гостинице «Альпийская» и увидел этого несчастного сторожа. Дядя Сандро спросил у него, нельзя ли ему увидеться с принцем Ольденбургским, которому он привез одну диковинку. Сторож ему на это ответил, что с принцем увидеться нельзя, и опять, как тот абхазец, стал ему рассказывать про ненавешенные двери и пленных австрийцев, хотя про инженера Бартмера ничего не сказал.

Можно себе представить, каково было дяде Сандро слушать все это во второй раз. К тому же сторож поинтересовался, какой он подарок везет принцу Ольденбургскому.

— Камень или животное? — спросил сторож.

— Уж во всяком случае, не орел, — ответил дядя Сандро, еле сдерживая себя.

Видя, что из-за этих дурацких ненавешенных дверей ему не удастся свидеться с принцем, дядя Сандро, отчаявшись, спросил у сторожа, как найти этого грека, который перекупает всякую всячину для принца. Сторож ему на это ничего не ответил, а только подозрительно посмотрел на него и сурово замкнулся, намекая на свою должность.

Дядя Сандро проглотил это оскорбление, но чтобы сторож не подумал, что он его испугался, он слез с лошади и стал пить воду из фонтанчика, устроенного перед входом в гостиницу, хотя пить ему не хотелось.

Дядя Сандро, нагнувшись, сделал пять-шесть глотков из этого фонтанчика, как вдруг услышал непристойный звук, изданный гяурской задницей сторожа.

Ошеломленный странными гагринскими делами, еще до этого замученный птицей, дядя Сандро не выдержал. Он бросил свою лошадь, подскочил к сторожу, выхватил у него винтовку и дал ему прикладом по голове. Обливаясь кровью, сторож рухнул у своей гостиницы. Из гостиницы выскочили служители, схватили дядю Сандро и переправили его в полицейский участок.

Все это дядя Сандро рассказал принцу, по дороге отбрасывая ненужные детали и, наоборот, останавливая внимание на деталях полезных. Так, он решил, что про «смит-вессон» и упоминать не стоит, тогда как расстояние от берега до черного лебедя смело увеличил до одной версты.

— Да как ты его разглядел с берега? — удивился принц.

— У нас, у чегемцев, глаз острый, — скромно пояснил дядя Сандро.

Принц Ольденбургский выразительно посмотрел на адъютанта.

— Так он же возле Гудаут нашел его, — напомнил адъютант.

— А бинокль? — спросил Александр Петрович, на что адъютант ничего не смог ответить.

— Так, значит, — повернулся принц к дяде Сандро, — у всех чегемцев глаз острый?

— Да, — сказал дядя Сандро, не моргнув своим острым чегемским глазом, — у нас вода такая.

— Интересно, что за вода, — сказал принц Ольденбургский задумчиво, — надо будет снарядить человека за пробой...

Дядя Сандро ясным взором смотрел на принца, выражая готовность внести любые уточнения по поводу чегемских источников.

— Дарю тебе за любознательность и остроглазие,— сказал принц Ольденбургский и кивнул на бинокль адъютанта.

Тот молча снял его и передал дяде Сандро. Дядя Сандро поблагодарил принца и повесил бинокль на шею.

— Ах ты везунчик,— сказал переводчик по-абхазски.

Происшествие со сторожем дядя Сандро изложил как бы мимоходом, стараясь не портить хорошего впечатления от остального рассказа. Он сказал, что, проезжая мимо гостиницы, решил выпить и когда, спешившись, стал пить из фонтанчика, сторож без всякого повода издал непристойный звук, что, по абхазским обычаям, считается страшным оскорблением. Вот он и не выдержал.

«Дикарь,— подумал Александр Петрович,— но какое чувство собственного достоинства».

— Спроси,— кивнул он своему переводчику,— откуда он знает, что сторож хотел его этим оскорбить?

— А там больше никого не было,— ответил дядя Сандро.

Свита рассмеялась. Принц нахмурился: не вполне законная симпатия к этому молодому человеку начала передаваться свите.

— А если сторож умрет? — спросил принц, стараясь постигнуть психологию проступка молодого аборигена.

— Значит, так у него на роду написано,— ответил дядя Сандро и для полной ясности постучал указательным пальцем себя по лбу.

— Тогда мы тебя сошлем на каторгу,— сказал принц, все еще пытаясь раскрыть перед его сознанием, упрямо отказывающимся рефлексировать, всю трагическую нелепость его поступка.

— Знаю, в Сибирь,— поправил его дядя Сандро и добавил:— Значит, так суждено.

-- Ну, а если у него это нечаянно получилось? — не унимался принц.

— Он должен был сразу же, пока я еще не успел оскорбиться, сказать: «Не взыщите, нечаянно!»,— радостно ответил дядя Сандро, показывая, что при отсутствии злого умысла всегда можно найти общий язык.

Принц Ольденбургский задумался. Дядя Сандро, почувствовав, что допрос, по-видимому, окончился, вывернул свой хурджин и, присев у пруда, стал его обмывать.

«Дикарь, но как свободно держится,— думал Александр Петрович,— крепостного рабства не знали, вот в чем дело...»

— Ваше высочество, так как же быть с этим? — спросил начальник полиции, почувствовав, что дальше занимать время принца неприлично и опасно.

— Если сторож придет в себя, отпустить, а если что, будем судить,— сказал принц.

Дядя Сандро вместе с переводчиком и начальником полиции пустился в обратный путь.

Начальник полиции туго обдумывал слова принца, стараясь вникнуть в их подспудный смысл, угадать, нет ли ловушки, тайного испытания. Он чувствовал, что преступник чем-то понравился принцу, иначе он не стал бы дарить ему бинокль, но, с другой стороны, ему же, принцу, в угоду надо было неукоснительно выполнять законы.

С пристани раздался выстрел шомпольной пушки, возвестившей законный полдень. Принц Ольденбургский покосился на свиту. Свита подчеркнута замерла, выражая полное доверие к точной работе шомпольной пушки. А раньше, бывало, как только ударит пушка, кто-ни-

будь нет-нет и посмотрит на часы, словно надеясь, что пушка вдруг ошибется. Но пушка не могла ошибиться, потому что была связана электрической проводкой с башенными часами.

В двенадцать часов начинался перерыв на всех рабочих предприятиях Гагр. Кроме того, это было время кормления пеликанов и цапель.

Услышав выстрел, розовый пеликан бросился в воду и теперь ракетными толчками пересекал пруд.

Через несколько минут у пруда появился боцман пристани с мокрым сачком, наполненным ставридой. Принц Ольденбургский требовал для кормления пеликанов самой свежей рыбы, поэтому боцман всегда держал про запас сачок, наполненный рыбой и опущенный в море. Такая рыба по крайней мере в течение суток была похожа на свежевывловленную.

Увидев боцмана, пеликан, выходя из воды, хлопотнул и, расправив огромные крылья, словно прикрывая беговую дорожку от возможных соперников, побежал к нему. Как пеликан ни спешил, а все-таки остановился на краю аллеи, там, где кончался зеленый дерн, — знал, дальше не положено. За пеликаном более сдержанно приковыляла пеликанша, а там и вовсе скромно, не доходя до границы аллеи, остановились цапли.

Птицы лучше иных людей усваивали порядок, который с такой энергией насаждал принц Ольденбургский.

Началось кормление. Александр Петрович вынул из сачка крупную ставриду и бросил ее пеликану. Разинув свой чудовищный клюв, пеликан с ловкостью собаки на лету подхватил добычу. Мгновение было видно, как рыба, скользя, проваливается по желобу нижней челюсти. Пасть захлопнулась с полноценным звуком одернутого зонтика. Александр Петрович бросил рыбу пеликанше. Тот же благородный костяной звук с металлическим оттенком, только зонт поменьше. Так повторялось много раз, и пасти пеликанов перещелкивались, прихватывая рыбу.

Иногда Александр Петрович нарочно подбрасывал обезглавленные экземпляры ставриды, и оба пеликана гневным движением так и не раскрывшихся клювов отменяли попытку подsunуть им неполноценную добычу. Обезглавленная рыба каждый раз определялась безошибочно и на лету, вызывая горестное восхищение Александра Петровича. О, если бы правители России и ее народы так же точно подхватывали полноценные идеи и отбрасывали идеи порочные!

Наконец пеликаны наелись. Самка отошла, а самец, расправив мощные крылья из розового мрамора и выставив вперед первобытный клюв, застыл в позе неведомого герба. С остатками их обеда скромно справлялись цапли.

Александр Петрович почувствовал, что к нему возвращается гармоническое состояние.

— Поехали поглядим, как поубили двеи в бааках, — обратился он к свите, вытирая руки чистым полотенцем, поданным боцманом пристани.

Усаживаясь в машину рядом с кожаным шофером, он подумал: «Если все будет хорошо, после обеда зайду к Картучихе». В сущности, думал он, это не будет нарушением собственного приказа. Ведь приказ пребывать под домашним арестом, до конца которого оставалось два дня, никак не оговаривал ежедневные массажи. Массаж он отменил ввиду личной немилости, хотя сам же от этого и страдал.

— Пеедай, буду после обеда, — сказал он адъютанту, усевшись рядом с шофером и тем самым останавливая его попытку влезть в ма-

шину. Надо было показать, что его бездарный объезд залива в поисках черного лебедя не остался безнаказанным.

Адъютант придал лицу кающееся выражение, хотя был рад, что ему не придется топтаться возле этих вонючих барачков.

Лимузин «бенц» ехал в сторону ущелья Жоеквары. Редкие прохожие, останавливаясь, смотрели на экипаж принца и на самого Ольденбургского. Он сидел откинувшись назад, как бы полностью доверяясь стремительности мотора и потому давая отдохнуть собственной стремительности. Сейчас загнутая ручка его знаменитой палки свободно висела на его костистом запястье — верный признак ясного состояния духа.

Через полчаса веселый абхазец, встретивший утром дядю Сандро, потерял свой мифический миллион — инженер Бартмер был прощен ввиду того, что последняя дверь в последнем бараке (приказ: по фасаду через три окна) ко времени приезда принца была навешена.

В шестом часу вечера огромная спина принца принимала заслуженную дозу блаженства. Принц лежал в спальне Картучихи на низкой тахте, уютно продавленной за многие годы его большим телом. Картучиха работала над ним, как истосковавшийся арендатор над своим участком. Александр Петрович засыпал. Последние волны блаженства стекали к ногам и подымались к затылку. Картучиха прикрыла его легким одеялом и тихо вышла из спальни.

Через минуту, хлопнув калиткой, она шла по улице к соседу-турку, кофевару, якобы для покупки кофе. На самом деле она хотела показать людям, чтобы все поняли, что полоса великого гнева сменялась на милость. Хотя принц Ольденбургский и не отменял своего наказания, она знала по опыту, что спина Александра Петровича, вкусившая массаж, сама похлопочет за нее и в конце концов смягчит суровую точность его приказа.

На улице Картучиха встретила санитару, бежавшего из больницы в полицейский участок.

— Куда бежишь, Серафим? — спросила Картучиха, останавливая его.

— Сторож очнулся и попросил водицы, — сказал санитар, обалдело оглядывая ее, — бегу в полицию.

— А-а, — сказала Картучиха, — давай беги.

И санитар припустил дальше. Услышав сообщение санитары, заместитель начальника полиции, точно исполняя приказ своего начальника, лично открыл камеру, в которой сидел дядя Сандро, и выпустил его вон, сказав при этом:

— Катись к едреной матери, пока сторож в сознании. Моя бы воля...

В чем заключалась его воля, дядя Сандро так и не узнал, хотя догадывался, что она ему ничего хорошего не сулила. Он поспешно вывел свою лошадь из полицейской конюшни и выехал на улицу.

В тот раз дядя Сандро так и не попал на поминальное пиршество в селе Ачандара, потому что, не слишком надеясь на здоровье сторожа, решил не рисковать и уехал к себе в Чегем. Бинобль, болтавшийся у него на груди, приятно тяжелил ему шею, напоминая об удивительной встрече с удивительным принцем Ольденбургским.

(Продолжение следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*

А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ



ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТУРМ — КРЫМ СВОБОДЕН

Весною 1944 года на очередь встало как практическая задача освобождение Крыма. Я на протяжении этой операции, будучи начальником Генерального штаба, одновременно координировал действия войск III и IV Украинских фронтов. Все представители Ставки обычно ведали двумя-тремя фронтами. Эта форма управления войсками через представителей Ставки, находившихся непосредственно в зоне боевых действий, оправдала себя. Случалось, конечно, что иногда они выполняли свои обязанности неудачно. В частности, Верховный Главнокомандующий сурово оценил работу одного из них именно в Крыму двумя годами ранее, когда нас постигла неудача под Керчью весной 1942 года. Но как правило, представители Ставки действовали с максимальной пользой. Так что в целесообразности самого института представителей сомнений не было: речь шла о пригодности того или иного лица для выполнения задания Ставки.

На Крымской операции мне хочется остановиться особо, ибо она, по моему мнению, освещена недостаточно. К тому же в живых нет уже многих ответственных военных руководителей, кто мог бы рассказать о ней подробнее. Ушли из жизни командующий IV Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин, чьи войска сыграли основную роль в освобождении Крыма; его начальник штаба генерал-лейтенант С. С. Бирюзов; начальник фронтового политуправления генерал-лейтенант М. М. Пронин; командующий артиллерией генерал-майор С. А. Краснопевцев, постоянно находившийся в боевых порядках артиллерийских частей; командующие армиями, участвовавшими в этой операции: Отдельной Приморской — генерал А. И. Еременко, 2-й гвардейской — генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров, 51-й — генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер, 8-й воздушной — Т. Т. Хрюкин; командующий Черноморским флотом Филипп Сергеевич Иванов, известный в стране под фамилией Октябрьский, один из руководителей славной обороны Одессы и Севастополя в 1941—1942 годах. Нет среди нас представителя Ставки в период Крымской операции 1944 года незабвенного Маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова...

Огромное военно-политическое и стратегическое значение Крыма объясняет характер ожесточенной борьбы за него на протяжении почти всей Великой Отечественной войны. Враг цеплялся за Крым до последней возможности. Владея им, гитлеровцы могли держать под постоянной угрозой все Черноморское побережье и оказывать давление на политику Румынии, Болгарии и Турции. Крым служил фашистам также плацдармом для вторжения на территорию советского Кавказа и стабилизации южного крыла всего германо-советского фронта. Как известно, в ноябре 1941 года мы вынуждены были оставить большую часть Крыма. Но сражение за главную военно-морскую

* Продолжение Начало см «Новый мир» №№ 4, 5, 7 с. г.

базу Черноморского военного флота — Севастополь продолжалось. Верный боевым традициям, Севастополь, с именем которого тесно связаны многие славные страницы исторического прошлого родины, отрезанный врагом от суши и в значительной степени блокированный с моря, в течение восьми месяцев героически боролся с многократно превосходящими силами противника. И только в начале июля 1942 года по приказу Верховного Главнокомандующего войска Приморской армии и корабли Черноморского флота оставили город. За время напряженнейших боев за Севастополь фашисты потеряли убитыми и ранеными около 300 тысяч человек, много вооружения и боевой техники. В результате войска 11-й немецкой армии оказались настолько ослабленными, что до осени 1942 года вражеское командование не могло использовать их на других участках фронта.

С оставлением Севастополя и полной потерей Крыма резко ухудшилась стратегическая обстановка на юге советско-германского фронта и в бассейне Черного моря. Враг угрожал теперь захватом Кавказа, мог развить наступательные действия с ближайшей целью выйти на нижнее течение Волги. Все это не могло не сказаться на настроениях правящих кругов Турции, королевской Румынии и царской Болгарии. Но прошел еще год, и положение в корне изменилось. В октябре 1943 года, когда Южный фронт готовился к прорыву Восточного вала на реке Молочной, прикрывшего подступы к Крыму с севера, а Северо-Кавказский фронт генерал-полковника И. Е. Петрова во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией очистили от противника Таманский полуостров и вновь вышли к Керченскому проливу, Ставка Верховного Главнокомандования приказала Военным советам этих фронтов провести десантную операцию по захвату плацдарма на Керченском полуострове. В то время гитлеровское командование возложило оборону Крыма на 17-ю немецкую армию. Потерпев ранее тяжелые поражения от советских войск под Новороссийском и на Таманском полуострове, она вынуждена была эвакуироваться в Крым. Начав десантную операцию 1 ноября, корабли Черноморского флота через два дня высадили на Керченском полуострове первый эшелон 56-й армии генерал-лейтенанта К. С. Мельника. Преодолев упорное сопротивление врага, десантники сумели овладеть несколькими опорными пунктами и создать северо-восточнее Керчи плацдарм размерами десять километров по фронту и шесть километров в глубину. Начались упорные бои за его расширение.

15 ноября 1943 года по решению Ставки Северо-Кавказский фронт реорганизовали в Отдельную Приморскую армию. Для действий на этом направлении была оставлена 4-я воздушная армия генерал-полковника авиации К. А. Вершинина. И. Е. Петрова на посту командарма Отдельной Приморской армии сменил позднее А. И. Еременко, в свою очередь замененный, уже в ходе Крымской операции, К. С. Мельником. Управление этой армии, с 18 апреля вошедшей в состав IV Украинского фронта, формировалось на базе 58-й армии и усиливалось за счет бывшего Северо-Кавказского фронта, 18-я армия которого в составе двух стрелковых корпусов была выведена в резерв Ставки на пополнение. Для помощи командованию Отдельной Приморской армии Ставка направила Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова. От Генерального штаба был послан начальник Оперативного управления генерал-полковник С. М. Штеменко.

Уже с зимы шли ожесточенные бои за плацдарм на Керченском полуострове. Так, в донесении командования Отдельной Приморской армии от 15 января 1944 года говорилось: «1. Сегодня войска армии продолжали наступление на правом фланге двумя дивизиями и в центре одной дивизией. Задача состояла в том, чтобы овладеть тремя сильными опорными узлами сопротивления противника, высотами 136,0, 92,7 и Безымянной в 1,5 км северо-восточнее Булганак. 128-я гвардейская стрелковая дивизия после упорного боя, доходившего до рукопашных схваток, сломила сопротивление противника и полностью овладела высотой 92,7. В траншеях на высоте захвачено 20 человек пленных. Противник, не имея крупных резервов, упорно сопротивляется, опираясь на высоты, превращенные им в мощные узлы сопротивления. Бои носят ожесточенный характер, войскам приходится штурмовать каждую высоту, так как обходить их невозможно в силу того, что глубокого маневра при таком узком фронте осуществить нельзя, а обход высот по близлежащим ложинам и оврагам невозможен из-за сильных фланкирующих огней с соседних высот. 2. Завтра наступление будет продолжаться с целью

последовательного захвата опорных пунктов противника перед правым флангом и центром армии...»¹.

Чтобы сковать противника по всему фронту, измотать его силы, командование армии активизировало действия войск и на левом фланге. С этой целью оно предлагало высадить десант непосредственно в Керченском порту и просило разрешения Ставки использовать батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Новороссийске. Ставка согласилась с этими предложениями. Однако, несмотря на настойчивость и упорство Приморской армии, действия ее войск не только не дали желаемых результатов, но привели к значительным и неоправданным потерям, а потому вызвали беспокойство в Ставке. Верховный Главнокомандующий в разговоре со мной по телефону неоднократно выражал свое недовольство руководством боевыми действиями Приморской армии. 27 января в адрес Петрова и Ворошилова последовала директива:

«Из действий Приморской армии видно, что главные усилия армии направлены сейчас на овладение г. Керчь путем уличных тяжелых боев. Бои в городе приводят к большим потерям в живой силе и затрудняют использование имеющихся в армии средств усиления: артиллерии, РС, танков, авиации. Ставка Верховного Главнокомандования указывает на разницу между Приморской армией и противником, состоящую в том, что Приморская армия имеет значительное преимущество над противником в численности войск, в артиллерии, в танках и в авиации. Эти преимущества армия теряет, ввязавшись в уличные бои в городе, где противник укрепился, где приходится вести затяжные наступательные бои за каждую улицу и за каждый дом и где нет условий для эффективного использования всех имеющихся средств подавления. Такую тактику командования армии Ставка считает в корне неправильной, выгодной для противника и совершенно невыгодной для нас.

Ставка считает, что главные усилия армии должны быть направлены для действий против противника в открытом поле, где имеется полная возможность эффективно использовать все армейские средства усиления. Разговоры о том, что невозможно прорвать сильную оборону противника в открытом поле, лишены всяких оснований, ибо даже такая оборона, какую имели немцы под Ленинградом, втрое сильнее, чем оборона немцев под Керчью, оказалась прорванной благодаря умелому руководству.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 1. Перенести основные боевые действия войск армии в открытое поле. 2. Действия в городе ограничить операциями, имеющими вспомогательную роль в отношении действий главных сил армии в открытом поле. 3. Исходя из этих указаний, перегруппировать силы и представить свои соображения о плане дальнейших действий в Генеральный штаб не позже 28.I.44 г.»².

Учтя критику, командование Отдельной Приморской армии предложило новую операцию, обязавшись начать ее через десять—двенадцать дней. 31 января Ставка утвердила этот план. Однако и эта операция, равно как и последующие попытки очистить от врага Керченский полуостров до начала основной операции по освобождению Крыма с участием войск IV Украинского фронта, существенных успехов не принесла. Занятый нами плацдарм к северо-востоку от Керчи был использован в апреле в качестве исходного положения для основных сил Отдельной Приморской армии при проведении главной операции.

Вернемся теперь к войскам IV Украинского фронта. Когда в ноябре 1943 года они частью сил с ходу ворвались на Перекопский перешеек, форсировали Сиваш и овладели плацдармом на его южном берегу, 19-му танковому корпусу генерал-лейтенанта танковых войск И. Д. Васильева удалось с боями пробиться через укрепления врага на Турецком валу и выйти к Армянску Правда, вслед за этим гитлеровцы, используя отрыв танкистов от пехоты и кавалерии, сумели закрыть брешь в своей обороне и временно блокировать танковый корпус. Вскоре основные войска 51-й армии Я. Г. Крейзера переместились через Перекоп и соединились с мужественно сражавшимися танкистами. Затем бои здесь временно заглохли.

С выходом наших войск в низовья Днепра, к Перекопскому перешейку, на Сиваш

¹ Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1795, д. 414, лл. 171—172.

² Там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 36, лл. 25—26.

и с одновременным захватом плацдарма на Керченском полуострове группировка врага, оборонявшаяся в Крыму (17-я немецкая армия и ряд румынских соединений), оказалась блокированной и отрезанной от остальных наземных сил противника.

Планирование наступательной операции по освобождению Крыма претерпело несколько стадий. После того как войскам IV Украинского фронта не удалось с ходу ворваться в глубь Крымского полуострова, Ставка считала решающим моментом для начала наступательной операции этого фронта разгром никопольской группировки противника и ликвидацию его плацдарма на левом берегу Днепра у Большой Лепетихи. В первых числах января 1944 года, исходя из выгодной стратегической обстановки, сложившейся на территории Правобережной Украины, мы с командующими III и IV Украинскими фронтами рассчитывали, что враг во избежание полного разгрома на южном крыле советско-германского фронта вынужден будет начать немедленный отвод войск из днепровской дуги и с никопольского плацдарма, а также приступить к эвакуации войск из Крыма. Я внес в Ставку предложение: начать в январе или в первых числах февраля параллельно с разгромом войск к западу от нижнего течения Днепра наступательную операцию войск IV Украинского фронта по освобождению Крыма. Однако последующие дни показали, что наши прогнозы не оправдались: враг не только не начал отвод войск, а усилил свое сопротивление в районе Никополя и Кривого Рога.

После детального обсуждения этого вопроса в Ставке пришли к следующему выводу. Учитывая, что борьба за Крым будет носить крайне упорный характер и потребует от командования и войск больших усилий и настойчивости, возложить главную ответственность за проведение Крымской операции на командование IV Украинского фронта, освободив его на это время от каких-либо других задач. Было решено также оставить во фронте для этой цели две армии соответствующего состава — одну для действий с Перекопа, а другую с Сиваша — и 19-й танковый корпус. По-прежнему имелось в виду, что совместно с войсками IV Украинского фронта в этой операции примут участие войска Отдельной Приморской армии, Черноморского военно-морского флота, Азовской флотилии и партизаны Крыма.

Первоначально планировалось начать операцию в марте, однако крайне неблагоприятная погода в районе Крыма и сильные штормы на Азовском море не позволили осуществить это. Решили начать ее после выхода советских войск к Одессе, что могло облегчить проведение операции по освобождению Крыма.

В конце февраля, после освобождения советскими войсками Кривого Рога и выхода их на реку Ингулец, командование IV Украинского фронта получило возможность заняться подготовкой Крымской операции и переместилось со своим управлением на крымское направление, в селение Отрада, известное еще по гражданской войне

К началу Крымской операции блокированная в Крыму 17-я немецкая армия имела в своем составе: пять немецких пехотных дивизий — 50-ю, 73-ю (переброшенную в Крым морем и по воздуху в начале февраля), 98-ю, 111-ю (прибывшую в начале марта с юга Украины) и 336-ю; семь румынских дивизий — 10-ю и 19-ю пехотные, 1-ю, 2-ю и 3-ю горнострелковые, 6-ю и 9-ю кавалерийские; 191-ю и 279-ю бригады штурмовых орудий; большое количество артиллерийских, инженерных, строительных, охранных и полицейских частей³.

Вражеская группировка в Крыму насчитывала примерно 260 тысяч солдат и офицеров, имела около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий и 260 самолетов, базировавшихся в Крыму; кроме того, фашисты могли использовать здесь части авиации, находившейся на аэродромах в Румынии и Молдавии.

На Черном море, в портах Румынии и в Крыму противник имел 7 эсминцев и миноносцев, 14 подводных лодок, 3 сторожевых корабля, 3 канонерские лодки, 28 торпедных катеров и большое количество катеров-тральщиков, сторожевых катеров, самоходных барж, вспомогательных и транспортных судов⁴.

Основные силы 17-й немецкой армии оборонялись в северной части Крыма. На Керченском полуострове находились 5-й армейский корпус в составе 73-й и 98-й пехотных дивизий и 191-й бригады штурмовых орудий немцев, 6-я кавалерийская и 3-я гор-

³ Архив МО СССР, ф. 346, оп. 3000, д. 807, л. 151.

⁴ «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945», т. 4, стр. 451.

нострелковая дивизия румын. На побережье Крыма были дислоцированы 1-я и 2-я горнострелковые и 9-я кавалерийская дивизия румын. На Перекопском перешейке на глубину до тридцати пяти километров были оборудованы три сильные оборонительные полосы, первые две из них — по линии Ишуньского рубежа и по реке Чатырлык. Перед нашими войсками на южном берегу Сиваша противник создал две, а местами и три оборонительные полосы, на Керченском полуострове на всю его глубину — четыре оборонительные полосы.

По решению, принятому Ставкой, замысел Крымской операции заключался в том, чтобы одновременно ударами войск IV Украинского фронта с севера — от Перекопа и Сиваша — и Отдельной Приморской армии с востока — из района Керчи — в общем направлении на Симферополь—Севастополь при содействии Черноморского флота и партизан расчленил вражеские войска, не допустить их эвакуации из Крыма.

Еще в феврале мы с командованием IV Украинского фронта приняли решение, одобренное в дальнейшем Ставкой, главный удар нанести с плацдарма на южном берегу Сиваша силами 51-й армии (командующий — генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер, член Военного совета — генерал-майор В. И. Уранов, начальник штаба — генерал-майор Я. С. Дашевский) в направлении Симферополь—Севастополь, а вспомогательный удар — на Перекопском перешейке силами 2-й гвардейской армии (командующий — генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров, член Военного совета — генерал-майор В. И. Черешнюк, начальник штаба — генерал-майор П. И. Левин).

Почему же мы приняли решение нанести главный удар с плацдармов за Сивашем, а не с Перекопа? Ведь здесь наши войска ожидали наибольшие трудности и неудобства. Исходили мы из того, что именно здесь главный удар окажется для противника более неожиданным, чем с Перекопа. К тому же удар со стороны Сиваша в случае его удачи выводил наши войска в тыл всем укреплениям врага на Перекопе, а следовательно, позволял нам гораздо быстрее вырваться на просторы Крыма. Мы решили ввести здесь в бой 19-й танковый корпус, чтобы как можно быстрее развить успех по прорыву оборонительной полосы врага в направлении Джанкоя и Симферополя. И Ставка Верховного Главнокомандования согласилась с нами. К концу февраля была закончена перегруппировка войск на Сиваш и Перекоп, и командование 51-й и 2-й гвардейской армий приступило к руководству войсками на этих направлениях.

На основе принятого и утвержденного Ставкой решения Военный совет фронта 22 февраля отдал армиям боевые распоряжения, которые и легли в основу всей дальнейшей работы по подготовке Крымской наступательной операции.

Возвращусь несколько назад. В связи с серьезными наступательными операциями, проводимыми III Украинским фронтом, всю вторую половину февраля я пробыл в его войсках и лишь 2 марта перелетел на крымское направление, в штаб IV Украинского фронта. С утра 3 марта мы с Ф. И. Толбухиным отправились на Сиваш. Вместе с вызванными мною руководящими лицами фронта, командованием 2-й гвардейской и 51-й армий мы провели рекогносцировку и рассмотрели основные вопросы, связанные с первым этапом Крымской операции, уделив особое внимание организации переправ через Сиваш, переброске по ним 19-го танкового корпуса, а также созданию надежного прикрытия переправ и быстрому их восстановлению в случае разрушения. Вся эта работа проходила в очень трудных условиях. Штормы, налеты вражеской авиации и артиллерийский обстрел разрушали мосты. К началу операции удалось создать две переправы (мост на рамных опорах длиной в тысячу восемьсот шестьдесят пять метров и две земляные дамбы длиной в шестьсот—семьсот метров) и понтонный мост между ними длиной в тысячу триста пятьдесят метров. Грузоподъемность этих переправ усиливали инженерных войск фронта довели до 30 тонн, что обеспечивало переправу танков «Т-34» и тяжелой артиллерии. С целью маскировки в километре от этих переправ соорудили ложный мост.

В ночь на 4 марта я доложил Верховному Главнокомандующему: «Сегодня вместе с тов. Обуховым⁵ был на Сиваше у Крейзера, туда же вызвал с Перекопа Захарова и на месте ознакомился с условиями подготовки Крымской операции. Прошедший вчера и сегодня дождь окончательно вывел из рабочего состояния дороги. Весь автотранспорт

* Толбухин.

стоит на дорогах в грязи. С трудом кое-как работают лишь тракторами. От попытки пробраться к Крейзеру на машинах пришлось отказаться, летали на «У-2»⁶. При таком состоянии дорог начинать операцию нельзя, не сумеем за продвигающимися войсками подать не только пушки и снаряды, но даже продовольствие и кухни. К тому же переправы на Сиваше, разрушенные штормом в последних числах февраля, восстановлением из-за подвоза лесоматериалов задерживаются. На основе всего виденного лично и на основе докладов непосредственных участников в подготовке операции считаю, что Крымскую операцию можно будет начать лишь в период между 15—20 марта. Только к этому времени сумеем иметь на Сиваше две серьезные переправы и сумеем подвезти как на Перекоп, так и на Сиваш все необходимое. Прошу Вас утвердить указанные сроки. Все указания по подготовке операции дал, и к отработке всех вопросов в армиях с учетом моих указаний приступят немедленно. 4 марта вновь вылетаю к Родионову, с тем чтобы вернуться к Обухову дней за пять до начала операции. Александров»⁷.

28 марта во время телефонного разговора Верховный Главнокомандующий обязал меня встретиться с К. Е. Ворошиловым и согласовать с ним вопросы, касающиеся взаимодействия войск IV Украинского фронта и Приморской армии на первых этапах Крымской операции. Он сообщил, что Ворошилов прибудет к 10 часам 29 марта в Кривой Рог. Я тоже прилетел туда из штаба III Украинского фронта, где размещалась моя группа офицеров. Климент Ефремович принял меня в своем вагоне. Память об этой очередной встрече храню до сих пор. Радушие и гостеприимство всегда были свойственны Клименту Ефремовичу. Большие победы советских войск над фашистскими захватчиками делали встречу особенно приятной. Ворошилов детально проинформировал меня также о ходе недавно закончившейся Тегеранской конференции. Обсудив в принципе вопросы, относящиеся к Крымской операции, мы решили привлечь к дальнейшей работе командование IV Украинского фронта. Для этой цели мы должны были переехать в Мелитополь к 10 часам 30 марта.

В следующей нашей встрече на станции Мелитополь приняли участие Ф. И. Толбухин, член Военного совета IV Украинского фронта Н. Е. Субботин, начальник штаба С. С. Бирюзов и командующий 8-й воздушной армией Т. Т. Хрюкин. Мы подробно ознакомили К. Е. Ворошилова с планом проведения операции войсками IV Украинского фронта, а он нас — с планом действий Приморской армии. Она готовилась прорвать оборону противника севернее Керчи, уничтожить по частям керченскую группировку врага, не позволив ему отойти на Ак-Монайские позиции, и развить в дальнейшем удар на Симферополь—Севастополь, а частью сил — вдоль южного берега Крымского полуострова. Мы познакомились и с задачами, поставленными в связи с этим 11-му, 3-му гвардейскому, 16-му стрелковым корпусам Приморской армии.

Обсудив основные вопросы, касавшиеся взаимодействия войск в начальный период Крымской операции, мы направили Верховному Главнокомандующему 31 марта следующий доклад:

«30 марта в Мелитополе совместно с Военсоветом IV Украинского фронта обсудили вопросы, связанные с проведением Крымской операции. 1. Считаю необходимым принятие решительных мер по организации настоящей блокады Крыма, которая воспрепятствовала бы переброске войск и материальных ресурсов как в Крым, так и обратно. Для этой цели необходимо немедленно усилить авиагруппу Черноморского флота в Скадовске, которая в данный момент вместе с авиацией прикрытия составляет меньше 100 самолетов, и при этом слабо обеспеченных транспортными средствами и горючим. Блокаду Крыма в настоящее время считать важнейшей задачей для Черноморского флота. Поэтому из имеющихся в распоряжении Черноморского флота более 500 самолетов необходимо довести авиацию Скадовска до 250—300 самолетов. Кроме того, для этой же цели следовало бы теперь перебросить до 10 подлодок в город Николаев. По этим вопросам просим указаний наркомку Кузнецову. 2. IV Украинский фронт полностью подготовлен к выполнению задачи. Выпал глубокий снег, который вывел аэродром из строя, а частые метели и туманы исключают возможность проведения нормальной работы артиллерии. Если погода позволит, то IV Украинский

⁶ Так в то время назывался самолет «ПО-2».

⁷ Архив МО СССР, ф. 48-А. оп. 1795, д. 414, лл. 814—815.

Фронт начнет операцию не позднее 5 апреля 1944 г. На Керченском направлении предлагаем начать через 2—3 дня после начала Перекопской операции. Просим утверждения. К. Ворошилов. А. Василевский»⁸.

В ночь на 31 марта самолетом под управлением опытного пилота Афанасьева и не менее опытного штурмана Шехмана, с которыми я благополучно летал всю войну даже в неблагоприятных погодных условиях, я вернулся из Мелитополя на III Украинский фронт.

Войска IV Украинского фронта начали Крымскую наступательную операцию 8 апреля, а войска Приморской армии 11 апреля. К этому времени советские войска, привлеченные к участию в этой операции, насчитывали без учета флота и флотилии около 330 тысяч человек, 6575 орудий и минометов, 560 танков и САУ, около 1000 самолетов. Войска имели до четырех боекомплектов боеприпасов основных калибров, около пяти заправок горюче-смазочных материалов и более чем на восемнадцать суток продовольствия. Огромную помощь советским войскам на протяжении всей операции оказывали крымские партизаны.

С разрешения Верховного Главнокомандующего я вернулся в штаб IV Украинского фронта 11 апреля, после освобождения Одессы. В тот же день из Ставки поступила директива. В ней были изложены конкретные задачи Черноморскому флоту: «1. Систематически нарушать коммуникации противника в Черном море, а в ближайший период нарушение коммуникаций с Крымом считать главной задачей. Для действия на коммуникациях использовать подводные лодки, бомбардировочную и минно-торпедную авиацию, а на ближних коммуникациях — бомбардировочно-штурмовую авиацию и торпедные катера. 2. Быть готовыми к высадке в тыл противника тактических десантов силой батальон — стрелковый полк. 3. Охранять побережье и приморские фланги армии, содействовать фланговым частям армий при их продвижении огнем береговой и корабельной артиллерии мелких кораблей. 4. Повседневнo расширять и закреплять операционную зону флота в Черном море путем уничтожения минных полей, открытия и поддержания своих фарватеров и маневренных районов, безопасных от мин. 5. Обеспечивать свои коммуникации от воздействия противника, в частности организовав надежную противолодочную оборону. 6. Путем систематического траления в первую очередь создать возможность плавания по фарватерам с дальнейшим переходом к сплошному тралению загражденных минами районов. 7. Крупные надводные корабли тщательно готовить к морским операциям, которые будут, при изменении обстановки, указаны Ставкой. 8. Быть готовым к перебазированию флота в Севастополь и к организации обороны Крыма. 9. Быть готовым к формированию и перебазированию Дунайской военной флотилии»⁹.

По данным авиационной и агентурной разведки нам стало известно, что противник в результате успешных действий 51-й армии Крейзера на Джанкойском направлении начинает отвод своих войск с Керченского полуострова. Ф. И. Толбухин просил меня ускорить переход в наступление Приморской армии. Я поддержал его просьбу и немедленно передал ее К. Е. Ворошилову.

10 апреля войска 51-й армии прорвали оборону противника, и с утра 11 апреля в прорыв ввели 19-й танковый корпус. Стремительным ударом он овладел Джанкоем и успешно продолжал развивать наступление степями на Симферополь. Под Перекопом враг оказывал 2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова упорное сопротивление. Посоветовавшись с Ф. И. Толбухиным, мы решили для быстреего освобождения Симферополя создать подвижную группу в составе 19-го танкового корпуса, усиленного 279-й стрелковой дивизией на автомашинах и 21-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой, поставив во главе группы заместителя командующего 51-й армией генерал-майора В. Н. Разуваева, с основной задачей — 13 апреля захватить Симферополь. Мы приняли также решение боковым отрядом 51-й армии не позднее 12 апреля во взаимодействии с основными силами армии разгромить ишуньскую группировку врага, зайдя в тыл его войскам, оборонявшимся на Перекопе.

Вечером 11 апреля столица нашей родины Москва салютовала доблестным войскам

⁸ Там же, ф. 43-А, оп. 1144, д. 4, лл. 65—66.

⁹ Там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 35, лл. 16—17.

IV Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе и на Сиваше и овладевшим городом Джанкой.

Из телефонных переговоров с К. Е. Ворошиловым мне стало известно, что войска Отдельной Приморской армии, начав с 22 часов 10 апреля боевые действия, заняли передовые траншеи противника. Главные ее силы, перейдя в наступление ночью, к утру 11 апреля полностью освободили Керчь и стали выдвигаться к промежуточным рубежам обороны фашистов между Арабатским и Феодосийским заливами.

В ночь на 12 апреля я послал донесение Верховному Главнокомандующему о ходе боевых действий на IV Украинском фронте и о наших намерениях по дальнейшему развитию операции и отправился на правое крыло 51-й армии Я. Г. Крейзера, чтобы помочь его войскам побыстрее пробиться навстречу войскам 2-й гвардейской армии Г. Ф. Захарова.

В течение 12 апреля IV Украинский фронт освободил 314 населенных пунктов. Были прорваны Ишуньские позиции восточнее Каркинитского залива, Ак-Монойские позиции у основания Арабатской стрелки и Биюк-Онларские позиции в центре Крыма. Теперь наступление пошло развернутым фронтом, 2-я гвардейская армия шла западным берегом полуострова на Евпаторию; 51-я армия — через степи прямо на Симферополь, Приморская армия — через Феодосию южным берегом Крыма, где в горах открыто перешли к активным действиям наши партизанские соединения. Черноморский флот с морской авиацией наносил удары по морским коммуникациям противника и скоплениям его войск и кораблей в Судаке, Алуште и Балаклаве.

13 апреля вновь взвилось наше знамя над Симферополем, Евпаторией и Феодосией. Последовало стремительное продвижение советских войск на всех направлениях на юге полуострова. Враг в панике бежал. Уже 14 и 15 апреля были освобождены Бахчисарай, Судак и Алушта. 15 апреля подвижные части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу Севастополя, последней надежде врага, создавшего здесь мощный оборонительный район. За отличные боевые действия Верховный Главнокомандующий объявил освободителям Симферополя благодарность, а Москва торжественно салтовала им.

В стане врага резко наметилось расслоение. Румыны предпочитали сдаваться в плен. Немцы стягивались к Севастополю. Гитлер объявил его «городом-крепостью». Это означало, что войска должны защищать его до последнего солдата. Гитлер призывал их оборонять Крым «как последнюю крепость готтов». Но тщетны были призывы фюрера, его попытки обратить себе в помощницы историю: находившиеся в Крыму немцы в значительной мере были деморализованы. На взятие Севастополя нашим войскам понадобилось лишь несколько дней. А от заклинаний и призывов фашистского командования остались валявшиеся повсюду листовки, гонимые морским ветром.

Непрерывное отступление немцев по всему полуострову заставило Гитлера искать «козла отпущения». В начале мая генерал-полковника Э. Йенеке заменил на посту командующего 17-й армией генерал пехоты К. Альмендингер.

Фашисты, отступая, взрывали и сжигали все, что только успевали. Пострадали, в частности, многие дворцы на южном берегу Крыма. Уцелело лишь здание неподалеку от Ялты: его Гитлер «подарил» в 1942 году Манштейну, командовавшему тогда войсками, захватившими Севастополь. К 14 апреля IV Украинский фронт захватил уже до 20 тысяч пленных. Войска фронта успешно очищали тылы от мелких групп гитлеровцев, а его основные силы стягивались к дуге немецких укреплений, прикрывавших Севастополь.

Вместе с Толбухиным я побывал в войсках 2-й гвардейской армии, продвигавшейся с севера от города Саки к реке Булганак, затем в 51-й армии, ведшей бои восточнее, в междуречье Альмы и Качи, а потом вернулся в штаб фронта, переместившийся уже в Сарабуз Болгарский.

Войска Отдельной Приморской армии должны были выйти с юга к Балаклаве. До их подхода мы решили начать атаку севастопольского оборонительного района врага в 14 часов 16 апреля, поддержав ее всей фронтовой артиллерией. В Сарабуз приехал К. Е. Ворошилов. Договариваясь с ним о согласовании действий IV Украинского фронта и Приморской армии, я поставил вопрос о подчинении ее Толбухину. Это мнение разделял и Сталин. Еще 11 апреля после освобождения Джанкоя он сообщил мне по теле-

фону о своем намерении перевести в этом случае командарма А. И. Еременко на II Прибалтийский фронт вместо М. М. Попова (он направлялся в Ленинград начальником штаба к Л. А. Говорову). К. Е. Ворошилов не возражал против этого предложения, о чем я и сообщил Верховному. В ночь на 16 апреля был получен соответствующий приказ. Приморская армия перестала считаться отдельной и включилась в состав IV Украинского фронта. Ее командующим стал К. С. Мельник.

16 апреля из Крыма был отозван Климент Ефремович. Мне же приказали оставаться на IV Украинском вплоть до полного очищения Крыма от врага и одновременно не забывать о войсках III Украинского фронта, ведших бои в Молдавии. К исходу 16 апреля Приморская армия подтягивалась на линию армии Крейзера: ее 11-й гвардейский корпус был на марше из Симферополя в Бахчисарай, 16-й стрелковый корпус находился в районе Алушты, 3-й горнострелковый корпус пока что вступал в горы между Карасубазаром и Старым Крымом. 20-й стрелковый корпус по-прежнему оставался на Таманском полуострове. Разбросаны были и бронетанковые силы этой армии. Нас это не устраивало, и мы беспрестанно поторапливали армейское командование, особенно потому, что объединения Г. Ф. Захарова и Я. Г. Крейзера сражались уже южнее реки Качи.

С утра 17 апреля мы с Ф. И. Толбухиным вновь находились в войсках Захарова и Крейзера. Из личных наблюдений, опроса пленных, данных воздушной разведки и донесений от партизан мы пришли к заключению, что противник, занимая по южному берегу реки Бельбек исключительно сильные позиции, прикрывающие подступы к Севастополю и его Северной бухте, намерен упорно обороняться, чтобы выиграть время для эвакуации морем войск и техники. Эти позиции имели шесть линий траншей, усиленных проволокой, минными полями и отчасти дотами. Заметно активизировался огонь вражеской наземной и зенитной артиллерии.

Частные атаки войск армии Захарова существенных результатов не дали. Войскам Крейзера совместно с подошедшими передовыми частями Приморской армии удалось овладеть несколькими высотами в восьми километрах восточнее Севастополя, а также населенными пунктами Верхняя и Нижняя Чоргунь и Камары. После обсуждения с командармами сложившейся обстановки мы решили немедленно атаковать противника, чтобы попытаться захватить Севастополь с ходу и сорвать начавшуюся эвакуацию немецких войск. С этого момента, по существу, начался последний этап операции по освобождению Крыма.

Вечером 17 апреля на основе принятого нами решения Ф. И. Толбухин поставил Приморской армии следующие задачи: 18 апреля действиями передовых отрядов продолжать очищение от противника лесных массивов северо-восточнее и восточнее Черной реки. 19 апреля главными силами 11-го гвардейского и 16-го стрелкового корпусов прорвать вражеские оборонительные рубежи и овладеть Сапун-горой и Балаклавой, а в дальнейшем во взаимодействии с 51-й армией захватить западную часть Севастополя. Одну стрелковую дивизию оставить для обороны южного побережья Крыма в полосе Тессели — Алушта. Для участия в прорыве привлечь всю артиллерию усиления армии, обеспечив плотность огня не менее 150 стволов на километр фронта.

Ставка постоянно интересовалась ходом операции. Поэтому я посылал подробные донесения. 18 апреля сообщал Верховному Главнокомандующему, в частности, следующее: «По показанию пленных, эвакуация живой силы противника из Севастополя планируется в первую очередь, после чего, если обстановка позволит, приступят к эвакуации техники. Пленные румынские офицеры говорят, что в вопросах последовательной эвакуации между румынскими и немецкими частями происходят большие недоразумения, сопровождающиеся в последние дни огнем. В течение ночи и утра 19.4 принимаем все меры к тому, чтобы подвезти 51-й и Приморской армиям до 1 боекомплекта снарядов и мин. Главные усилия по-прежнему сосредоточиваем на юге со стороны Балаклавы, с тем чтобы отрезать Севастополь от моря с юга и юго-запада. Кроме того, ударом Крейзера на гору Сахарная Головка и Гайтани стремимся выйти в Инкерманскую долину, с тем чтобы взять под огонь орудий прямой наводки Северную бухту и изолировать войска противника, обороняющиеся к северу от нее. Главные усилия штурмовой авиации сосредоточиваются на балаклавском направлении, сюда же подтягивается и 19-й танковый корпус, имеющий к вечеру 18.4 сто машин на ходу. «Бостоны» и пикировщи-

ки будут использованы для ударов по севастопольским портам и по транспортам, выходящим из них. Для борьбы с транспортами в открытом море привлечена скадовская авиационная группа, по докладу которой за сегодняшний день потоплен транспорт водоизмещением в 5000 т и один транспорт поврежден»¹⁰.

Во второй половине дня 19 апреля 51-я и Приморская армии перешли в наступление на заданных направлениях. Но, встретив упорное сопротивление врага, бросающегося в яростные контратаки, существенного успеха не добились. Требовалась более мощная помощь войскам со стороны артиллерии и авиации, а также обеспечение войск хотя бы полутора комплектами боеприпасов. Чтобы избежать напрасных потерь, мы приняли решение, правда не совсем охотно утвержденное Верховным Главнокомандующим, перенести генеральную атаку севастопольской обороны врага на 23 апреля.

В эти же дни приступили к отправке из Приморской армии на центральный участок советско-германского фронта в состав вновь создаваемого II Белорусского фронта 55-й гвардейской стрелковой, 20-й горнострелковой дивизий, Управления 4-й воздушной армии генерал-полковника К. А. Вершинина с частями обеспечения и обслуживания. Ее самолеты оставались в Крыму и были переданы 8-й воздушной армии. Эти переброски осуществлялись в связи с ранее принятым решением Ставки направить основные усилия летом на разгром немецко-фашистской группы армий «Центр» с целью освобождения Белоруссии.

23 апреля войска фронта перешли в наступление, нанося основной удар со стороны Балаклавы на мыс Херсонес. В результате ожесточеннейших боев, отличных действий нашей авиации и артиллерии войска Приморской армии продвинулись за день на три километра. Ввести здесь в тот день 19-й танковый корпус из-за сплошных минных полей не удалось. Войска 2-й гвардейской армии Захарова овладели железнодорожной станцией Мекензиевы Горы. Войскам 51-й армии Крейзера удалось на отдельных направлениях ворваться в оборону противника и занять в ней две-три траншеи. С некоторых наблюдательных пунктов можно было видеть продолжавшуюся эвакуацию войск противника из Северной бухты, хотя мы принимали все меры к тому, чтобы огнем дальнбойной артиллерии, флотом и авиацией всемерно препятствовать этому. За сутки Черноморский флот потопил три вражеских транспорта общим водоизмещением в 6500 тонн и сторожевой корабль¹¹.

И. В. Сталин неоднократно напоминал нам о необходимости поспешить с ликвидацией крымской группировки врага, да и сами мы отлично понимали всю важность этого с военной и с политической точки зрения. Однако и это наше наступление должного успеха не принесло. Потребовалась новая перегруппировка и подготовка войск, дополнительная отработка взаимодействия между ними, подвоз боеприпасов и горючего.

Решили: 30 апреля нанести удар на вспомогательном направлении силами 2-й гвардейской армии с вводом в бой 13-го гвардейского стрелкового корпуса через Мекензиевы Горы, выйти к Северной бухте и отвлечь сюда часть вражеских сил, действовавших в Южном секторе. Удар этой армии поддержать всей авиацией фронта. Во всех пехотных соединениях на направлениях главного удара армии создать и подготовить штурмовые блокирующие группы в составе пехоты, саперов, огнеметных танков и орудий сопровождения. В течение 29 и в ночь на 30 апреля артиллерия большой мощности и 152-миллиметровые пушки-гаубицы огнем на разрушение вскрытых оборонительных сооружений противника будут готовить этот штурм пехоты и танков. Перед рассветом 30 апреля авиация дальнего действия ударом крупнокалиберными бомбами по боевым порядкам противника усилит эту подготовку. С утра 1 мая войсками Приморской и левого фланга 51-й армий нанести основной удар в общем направлении на поселок Шестая Верста и мыс Херсонес, обходя Севастополь с юга. В этот день все основные средства усиления фронта и всю авиацию использовать на данном направлении. 2-я же гвардейская армия продолжит наступление, используя преимущественно собственные средства усиления.

В ночь на 29 апреля по всем этим планам у меня состоялся длительный разговор

¹⁰ Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 2294, д. 6 лл. 321—326.

¹¹ Там же, лл. 346—349.

с Верховным Главнокомандующим. Намечаемый оперативный замысел и группировка сил никаких сомнений у него не вызывали и существенных поправок не потребовали. Но зато когда речь зашла о новой отсрочке наступления, Верховный вышел из равновесия. Разговор приобрел довольно острый характер. Но я не отступал от своего и в результате получил разрешение, если потребуется, начать наступательные действия 2-й гвардейской армии на вспомогательном направлении 5 мая, а генеральный штурм Севастопольского укрепрайона усилиями всех войск фронта, Черноморского флота и партизан — 7 мая.

Исходя из этого, командование IV Украинского фронта уточнило задачи своим армиям. До 5 мая войска фронта разрушали артогнем укрепления врага, осуществляли перегруппировку и подготовку соединений и частей и пополняли боеприпасы, чтобы к началу наступления иметь по войскам 2-й гвардейской не менее 1,5 боевого комплекта снарядов и мин и по остальным армиям 1,5 боекомплекта снарядов и до 2,5 — мин. За эти же дни со всем командным составом были неоднократно проведены на их участках наступления рекогносцировки с детальным изучением местности, противника и тщательной отработкой планов выполнения ближайших задач. В тылу расположения наших войск создали учебные штурмовые городки для отработки элементов боя в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. Особенно внимательно обрабатывалась взаимодействие пехоты с артиллерией, танками и авиацией. Во всех воинских частях проводилась напряженная партийно-политическая работа, направленная на обеспечение успешного выполнения боевых задач. Партийные организации включили в состав штурмовых групп наиболее опытных в военном деле коммунистов. В подразделениях и частях проводились партийные и общие собрания, семинары агитаторов и митинги.

Нам стало известно, что некоторые румынские войсковые части, как явно ненадежные, снимаются с фронта и сосредоточиваются для эвакуации в районе мыса Херсонес. Одновременно с эвакуацией войск из Крыма на пополнение остающихся в Крыму войск немецкой 17-й армии, для прикрытия эвакуации, перебрасываются морем и по воздуху свежие маршевые батальоны; чтобы поднять настроение солдат и офицеров, указанием высшего фашистского командования в Крыму были установлены двойные оклады содержания, а за активное участие в обороне были обещаны земельные наделы. Для устрашения гитлеровцы довольно часто практиковали публичный расстрел дезертиров.

Учитывая ту огромную роль, которую сыграли на протяжении всей Крымской операции 1944 года советские партизаны, 3 мая мы с первым секретарем Крымского обкома партии направили в Государственный Комитет Обороны подготовленные при активном участии командования и политуправления IV Украинского фронта представления к правительственным наградам участников партизанского движения: 6 человек к присвоению звания Героя Советского Союза, 14 — к награждению орденом Ленина, 17 — орденом Красного Знамени, 23 — Отечественной войны I степени, 63 — Отечественной войны II степени и т. д.

5 мая 2-я гвардейская армия после двухчасовой артиллерийской подготовки и ударов авиации перешла в наступление. Артиллерия большой мощности накануне атаки и с утра в день наступления вела огонь на разрушение долговременных оборонительных сооружений. Вся авиация фронта бомбила и обстреливала боевые порядки и артиллерию врага, особенно мешавшую продвижению нашей пехоты и танков. Бои носили исключительно упорный характер и на ряде участков переходили в горячие рукопашные схватки. За первый день гвардейцы продвинулись на тысячу метров. В их руки попали три-четыре линии траншей с дзотами и дотами. По показаниям пленных, противник со второй половины дня начал, как нам того и хотелось, усиливать свой северный сектор за счет войск с внутреннего обвода Севастопольского укрепленного района. 6 мая гвардейцы возобновили атаку. И вновь бои развертывались с небывалым ожесточением.

7 мая в 10 часов 30 минут утра после полуторачасовой артиллерийской подготовки и при массивной поддержке всей авиацией фронта наши войска начали генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. Оборона фашистов была прорвана на девятикилометровом участке. Удалось овладеть Сапун-горой, на склонах которой располагалась многоярусная линия вражеских укреплений со сплошными траншеями.

36 дотами и 27 дзотами. Падение Сапун-горы, ключевого пункта фашистской обороны, предредило взятие Севастополя. С ее вершины, а также с горы Каябаш (306,3 м) мы получили возможность просматривать весь город и равнину до мыса Херсонес.

Мы с Ф. И. Толбухиным почти не уходили с командного пункта Приморской армии севернее Балаклавы. Туда же прибыло к нам сообщение, что войска 2-й гвардейской пробилась к Северной бухте и держат ее акваторию под огнем своих орудий прямой наводкой. Теперь следовало добиться успеха в стыке 51-й и Приморской армий. Воины 51-й армии уже овладели Английским кладбищем, бойцы Приморской сражались у Мраморной горы.

Если взглянуть на карты боевых действий 1855, 1920, 1942 и 1944 годов, легко заметить, что во всех четырех случаях оборона Севастополя строилась примерно одинаково. Это объясняется важнейшей ролью, которую играл тут природный фактор: расположение гор, наличие моря, весь характер местности. И теперь враг цеплялся за выгодные с точки зрения защиты города пункты. Их новый командующий Альмендингер разразился особым обращением к войскам: «Фюрер поручил мне командование 17-й армией... Я получил приказ защищать каждую пядь севастопольского плацдарма. Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова; чтобы никто не отходил и удерживал бы каждую траншею, каждую воронку и каждый окоп. В случае прорыва танков противника пехота должна оставаться на своих позициях и уничтожать танки как на переднем крае, так и в глубине обороны мощным противотанковым оружием... Честь армии зависит от защиты каждого метра вверенной нам территории. Германия ожидает, что мы выполним свой долг. Да здравствует фюрер!»¹²

Но уже в первый день штурма Севастопольского укрепленного района враг потерпел крупное поражение, вынужден был оставить основной оборонительный рубеж и отвести войска на внутренний обвод. Ликвидировать оборону на нем и окончательно освободить Севастополь — такова была наша задача на 9 мая. Борьба не прекращалась и ночью. Особенно активно действовала наша бомбардировочная авиация. Общую атаку мы решили возобновить в 8 утра 9 мая. От командующего 2-й гвардейской Захарова мы потребовали за день ликвидировать противника на северной стороне города и выйти к побережью Северной бухты на всем ее протяжении, левифланговым корпусом нанести удар по Корабельной слободе и овладеть ею. Командующему Приморской армией Мельнику было приказано ночными действиями пехоты овладеть Безымянной высотой юго-западнее совхоза № 10 и обеспечить ввод в бой 19-го танкового корпуса.

Ровно в 8 часов IV Украинский возобновил общий штурм Севастополя. Бои за город продолжались весь день, а к его исходу наши войска вышли к заранее подготовленному врагом оборонительному рубежу от бухты Стрелецкой к морю. Впереди лежала последняя полоска Крыма, еще принадлежавшая фашистам, — от Омеги до мыса Херсонес.

Утром 10 мая последовал приказ Верховного Главнокомандующего: «Маршалу Советского Союза Василевскому. Генералу армии Толбухину. Войска IV Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии в результате трехдневных наступательных боев прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоящую из трех полос железобетонных оборонительных сооружений, и несколько часов тому назад штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море — городом Севастополь. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму и Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков»¹³. Далее перечислялись все отличившиеся в боях за Севастополь войска, которые представлялись к присвоению наименования Севастопольских и к награждению орденами.

10 мая столица родины салютовала доблестным войскам IV Украинского фронта, освободившим Севастополь.

В ночь на 12 мая Приморская и 51-я армии, прорвав оборону врага на оборонительном рубеже, прикрывавшем мыс Херсонес, полностью ликвидировали остатки севастопольской группировки противника и через сутки вышли к побережью Черного моря по всей линии фронта.

¹² Архив МО СССР. Ф. 244, оп. 3000, д. 807, л. 151.

¹³ «Правда», 10 мая 1944 года.

Остатки вражеских дивизий бежали к Херсонесскому мысу, надеясь на эвакуацию. Но надеяться им было не на кого. За три дня штурма Севастополя и за два дня боев на мысе Херсонес мы взяли в плен 25 тысяч немецких и румынских солдат и офицеров, захватили множество всевозможной боевой техники, имущества и снаряжения.

Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12 мая 1944 года сокрушительным разгромом двухсоттысячной 17-й немецкой армии. Вся ее боевая техника и припасы оказались в руках советских войск. Двести пятьдесят дней осаждали немецко-румынские войска Севастополь в 1941—1942 годах. Нам же потребовалось лишь тридцать пять дней, чтобы взломать мощные укрепления врага в Крыму; из них только три дня ушло на то, чтобы сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 году, долговременную оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота.

Пять раз салютовала Москва воинам армии и флота, освобождавшим Крым от немецко-фашистских захватчиков. Многим соединениям и частям были присвоены почетные наименования Перекопских, Сивашских, Керченских, Феодосийских, Симферопольских и Севастопольских. 126 воинов получили звание Героя Советского Союза, командир воздушной эскадрильи В. Д. Лавриненков был награжден второй медалью Золотая Звезда, тысячи удостоились других правительственных наград...

Мне очень хотелось посмотреть Севастополь в первый же день его освобождения. Переезжая через одну из фашистских траншей в районе Мекензиевых гор, наша автомашина наскочила на мину. Каким образом она там уцелела, невозможно понять: за двое суток по этой дороге прошла не одна сотня машин. Произошел невероятный случай: мотор и передние колеса взрывной волной были отброшены от кузова на несколько метров в сторону, шоферу — лейтенанту В. Б. Смирнову — повредило левую ногу, а я, сидевший рядом с ним в кабине, получил весьма ощутимый ушиб головы и мелкие ранения лица стеклом. Сопровождавшие меня генерал Кияницкий и адъютанты А. И. Гриненко и П. Г. Копылов, сидевшие сзади, вообще не пострадали. После перевязки нас с В. Б. Смирновым отправили в тыловой эшелон штаба армии, затем в штаб фронта. Оттуда я по настоянию медиков самолетом был эвакуирован в Москву...

ПЕРЕД БЕЛОРУССКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

Некоторое время врачи удерживали меня в постели. У меня появилась, таким образом, «возможность» еще раз вникнуть в детали подготавливаемой Генштабом Белорусской операции. Разрабатывая ее план, мы исходили из благоприятной обстановки, складывающейся к тому времени для нас на фронте.

Третье военное лето было для советского народа многообещающим. Позади удачно проведенные крупные операции по освобождению десятков наших городов и сотен деревень. Теперь Красная Армия по своему усмотрению определяла темп и характер борьбы на фронтах.

К лету 1944 года фашистские войска были отброшены на линию Нарва—Псков—Витебск—Кричев—Мозырь—Пинск—Камень-Каширский—Броды—Коломыя—Яссы—Дубоссары—Днестровский лиман. Красная Армия освободила Ленинградскую и Калининскую области, часть Белоруссии, почти всю Украину, часть Молдавии и Крым. На южном участке фронта боевые действия велись уже за пределами СССР — на территории Румынии.

Наш тыл все обильнее снабжал фронт вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, материальными ресурсами. Совершенствовалась организационная структура войск, формировались новые танковые объединения и соединения, авиационные части и соединения Резерва Верховного Главнокомандования. К началу летней кампании 1944 года в резерве Ставки находились две общевойсковые, одна танковая и одна воздушная армии, а на доукомплектовании — ряд стрелковых, кавалерийских, танковых, механизированных, артиллерийских и авиационных соединений. Советские Вооруженные Силы все более крепили организационно, неуклонно повышались боевое мастерство и моральный дух воинов. К 1944 году в составе Вооруженных Сил насчитывалось 2,7 миллиона коммунистов и 2,38 миллиона комсомольцев.

Еще при планировании операций на зимний период 1944 года Советское Верховное Главнокомандование приняло решение провести летом основные операции по разгрому центральной группировки фашистских войск и освобождению Белоруссии. Собственно, с апреля фактически и должно было начаться материальное обеспечение предстоящей летней кампании. Центральный Комитет партии, Государственный Комитет Обороны принимали меры к своевременному созданию для этого всех предпосылок. Генеральный штаб представил в ГКО расчеты на требовавшиеся воинские силы, запасы боевой техники, вооружения, боеприпасы, горючее, снаряжение, продовольствие и другие материальные ресурсы. Генштаб считал при этом возможным привлечь к участию в Белорусской операции некоторую часть войск за счет тех, которые освободятся в результате наступательных операций на юге. Разрабатывался и проводился в жизнь также ряд других крупных организационных мероприятий. В частности, в целях улучшения управления войсками на территории Белоруссии Западный фронт в апреле разделили на II и III Белорусские, а прежний Белорусский переименовали в I Белорусский. Последовали меры по укомплектованию и обеспечению новых фронтов.

Больших трудов и внимания Центрального Комитета партии, Генерального штаба и центральных управлений Наркоматов обороны и путей сообщения потребовали меры, связанные с предстоявшей перегруппировкой войск и с переброской всего необходимого для Белорусской операции из глубины страны. Вся эта колоссальная работа должна была проводиться в обстановке строгой секретности, чтобы скрыть от врага огромный комплекс подготовительных работ для предстоявшей летней операции. Поэтому к руководству подготовительными мероприятиями привлекался крайне ограниченный круг лиц. Готовясь к летней кампании 1944 года, фашистское командование считало наиболее вероятным, что Красная Армия нанесет главный удар на юге. В Белоруссии же они рассчитывали на местные операции сковывающего характера, надеясь отразить их силами группы армий «Центр». Гитлеровская клика не допускала мысли, что советские войска смогут наступать по всему фронту. Поэтому свои основные силы враг держал не в Белоруссии, а на юге. Например, из 22 танковых дивизий, находившихся в то время на Восточном фронте, 20 располагались к югу от Припяти и только две к северу от нее. Чтобы укрепить фашистов в этом мнении, мы демонстративно «оставляли на юге» большинство своих танковых армий. Все светлое время суток в войсках центрального участка советско-германского фронта велись лихорадочные оборонительные работы (на южном участке то же самое делали, наоборот, ночью) и т. д. Вот лишь небольшая часть вопросов, над которыми трудились тогда Генеральный штаб и соответствующие управления Наркомата обороны.

К разработке конкретного оперативного плана проведения Белорусской операции и плана летней кампании 1944 года в целом Генеральный штаб вплотную приступил с апреля. В основу его лег замысел Верховного Главнокомандования, которым предусматривалось мощными сходящимися ударами по флангам Белорусского выступа — с севера от Витебска через Борисов на Минск и с юга через Бобруйск также на Минск — разгромить главные силы немецкой группы армий «Центр», находившиеся в середине выступа, восточнее Минска. Предполагалось, что успешное выполнение замысла позволит полностью освободить всю территорию Белоруссии, отбросить все еще нависший над Москвой вражеский фронт западнее Смоленска. Далее — выходом на побережье с Балтийского моря и к границам Восточной Пруссии расщепить стратегический фронт врага, поставив в опасное положение действовавшую в Прибалтике группу армий «Север». Наконец, создать выгодные предпосылки для нанесения последующих ударов по врагу в Прибалтике и в западных районах Украины и для развития новых, решающих операций на наиболее уязвимых для немцев восточнопрусском и варшавском направлениях.

Для разгрома группы армий «Центр» Ставка считала необходимым привлечь войска I Прибалтийского фронта (командующий — генерал армии И. Х. Баграмян, член Военного совета — генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба — генерал-лейтенант, затем генерал-полковник В. В. Курасов), стоявшие от озера Нещердо западнее Невеля по Невельской гряде до Западной Двины; III Белорусского фронта (командующий — генерал-полковник, а затем генерал армии И. Д. Черняховский, член Военного

совета — генерал-лейтенант В. Е. Макаров, начальник штаба — генерал-лейтенант, затем генерал-полковник А. П. Покровский) — от Западной Двины по Витебской гряде до западных отрогов Смоленской возвышенности: II Белорусского фронта (командующий — генерал-полковник Г. Ф. Захаров, член Военного совета — генерал-лейтенант Л. З. Мехлис, затем генерал-лейтенант П. Е. Суботин, начальник штаба — генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов) — от восточной границы между Витебской и Могилевской областями до северной границы Гомельской области; I Белорусского фронта (командующий — генерал армии, затем Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, член Военного совета — генерал-лейтенант, затем генерал-полковник Н. А. Булганин, начальник штаба — генерал-полковник М. С. Калинин) — от Нового Быхова через Жлобин к устью Птичи, затем вдоль Припяти на запад до Ратно и оттуда к Ковелю; Днепровскую военную флотилию (командующий — капитан 1-го ранга, затем контр-адмирал В. В. Григорьев, член Военного совета — капитан 1-го ранга П. В. Боярченко, начальник штаба — капитан 2-го ранга К. М. Балакирев), корабли которой находились на Днепре, Березине и Припяти; наконец, крупные силы партизан, активно действовавших на территории Белоруссии.

Замыслом предусматривался одновременный переход в наступление на лепельском, витебском, богушевском, оршанском, могилевском, свислочском и бобруйском направлениях, чтобы мощными и неожиданными для врага ударами раздробить его стратегический фронт обороны, окружить и уничтожить немецкие группировки в районе Витебска и Бобруйска, затем, стремительно развивая наступление в глубину, окружить и разгромить войска 4-й немецкой армии восточнее Минска. Это создало бы благоприятные условия для развития операций всех четырех фронтов на большую глубину.

Одновременно с подготовкой Белорусской операции Генеральный штаб совместно с командованием Ленинградского и Карельского фронтов разрабатывал наступательные операции на Карельском перешейке и в Южной Карелии. Они должны были отвлечь силы и внимание врага от центрального участка фронта. Успех советских войск в этих операциях, которые планировалось провести раньше, мог резко повлиять на правящие круги Финляндии, вынудить их к разрыву с Германией и скорейшему выходу из войны.

В течение марта и апреля замысел легкой кампании неоднократно обсуждался и уточнялся у Верховного Главнокомандующего.

Г. К. Жукова и меня не раз вызывали в Москву. Много раз Верховный Главнокомандующий говорил с нами по отдельным деталям и по телефону. При этом Сталин нередко ссылался на свои переговоры по этим вопросам с командующими войсками фронтов, особенно с К. К. Рокоссовским. Когда шли операции по освобождению Правобережной Украины и Крыма, Сталин напоминал мне о необходимости во что бы то ни стало закончить их в апреле, чтобы в мае полностью переключиться на подготовку Белорусской операции. В начале апреля в одном из разговоров он сообщил мне, что склонен вопреки возражениям командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова снова разделить этот фронт на два, оставить за Ленинградским фронтом к югу от Финского залива нарвское направление (примерно до Гдова), а южнее, на псковско-валгском направлении, создать III Прибалтийский фронт, передав ему из Ленинградского три армии. Тогда же он поставил мне и другой вопрос, который обсуждался в Ставке, — о разделении Западного фронта, о чем я уже говорил выше, для удобства управления войсками при проведении Белорусской операции. Словом, Верховный постоянно обращал наше внимание на подготовку этой операции. Заранее был решен вопрос и о назначении командующих Белорусскими фронтами.

Помню, Сталин спросил меня, кого бы я мог рекомендовать на должность командующего III Белорусским фронтом. Я сказал, что по всем вопросам, связанным с Белорусской операцией, мы неоднократно вели переговоры с Антоновым. В качестве командующего III Белорусским я порекомендовал кандидатуру генерал-полковника И. Д. Черняховского. Помню и другую беседу того времени. IV Украинский фронт готовился тогда к штурму Сапун-горы и взятию Севастополя. Сталин поинтересовался, какие войска этого фронта можно будет взять после освобождения Севастополя на усиление фронтов белорусского направления. По нашему с А. И. Антоновым мнению, управление фронта и две армии (2-ю гвардейскую и 51-ю) можно было вывести в резерв

Ставки, причем обязательно на территорию Белоруссии. Из них одну разместить восточнее Витебска для усиления правого крыла создаваемой там группировки.

Сталин не возражал и приказал мне еще раз обсудить эти вопросы с Антоновым, после этого окончательно согласовать со Ставкой предложение Генерального штаба. Попросил также сообщить свои предложения о начальниках штабов создаваемых на белорусском направлении фронтов и наметить из состава войск IV Украинского фронта известный мне и наиболее опытный высший командный состав, который полезно будет использовать при проведении Белорусской операции. Обдумав это, я несколько позднее назвал двух командармов — Г. Ф. Захарова и Я. Г. Крейзера, а из командиров корпусов — А. А. Лучинского, П. К. Кошевого и ряд других командиров. Данные рекомендации тоже не пропали даром. Захаров стал командовать после И. Е. Петрова II Белорусским фронтом, Крейзер — опять 51-й армией, во главе которой он с июля участвовал в развитии Витебской операции, Лучинский с 28-й армией участвовал в развитии Бобруйской операции, Кошевой командовал во время освобождения Белоруссии 71-м стрелковым корпусом и т. д.

В первой половине апреля 1944 года Генеральный штаб с разрешения Верховного Главнокомандующего запросил мнение командующих соответствующими фронтами о летней кампании в проведении Белорусской операции. С 17 по 19 апреля Ставка дала директивы фронтам северо-западного, западного и юго-западного направлений перейти к местной обороне и созданию оборонительных рубежей. При этом указывалось, что мероприятие это временное, направленное на подготовку войск к последующим активным действиям. II и III Украинские фронты получили аналогичные директивы 6 мая.

20 мая разработанный Генштабом план Белорусской операции был представлен Верховному Главнокомандующему. Вскоре его рассмотрели в Ставке с участием некоторых командующих и членов Военных советов фронтов. В ближайшие же дни Генштаб должен был представить уточненный план на окончательное утверждение в Ставку. Мне уже разрешили встать с постели, и я вместе с Г. К. Жуковым и А. И. Антоновым неоднократно бывал в те дни у Верховного Главнокомандующего. Каждый раз во время этих встреч мы возвращались к обсуждению деталей плана и проведения Белорусской операции, получившей наименование «Багратион». Тогда же всесторонне рассмотрели вопрос о готовности Ленинградского фронта к проведению в начале июня наступательной операции на Карельском перешейке и план операции Карельского фронта в Южной Карелии, которая должна была начаться через несколько дней после операции Ленинградского фронта.

30 мая И. В. Сталин окончательно утвердил план операции «Багратион». Он был прост и в то же время смел и грандиозен. Простота его заключалась в том, что в его основу легло решение использовать выгодную для нас конфигурацию советско-германского фронта на белорусском театре военных действий, причем мы заведомо знали, что эти фланговые направления являются наиболее опасными для врага, следовательно, и наиболее защищенными. Смелость замысла вытекала из стремления, не боясь контрпланов противника, нанести решающий для всей летней кампании удар в одном стратегическом направлении. О грандиозности замысла свидетельствует исключительно важное военно-политическое его значение для дальнейшего хода второй мировой войны, невиданный его размах, а также количество одновременно или последовательно предусмотренных планом и, казалось бы, самостоятельных, но вместе с тем тесно связанных между собой фронтовых операций, направленных к достижению общих военно-стратегических задач и политических целей.

Конфигурация фронта в Белоруссии представляла собой к тому времени огромный выступ на восток площадью около двухсот пятидесяти тысяч квадратных километров, огромной дугой огибавший Минск. Северный его фас был обращен к Великим Лукам, восточный смотрел с немецкой стороны на Смоленскую и Гомельскую области, южный тянулся вдоль Припяти. Нависая над правым крылом I Украинского фронта, выступ создавал с севера угрозу коммуникациям этого фронта и способствовал обороне фашистских подступов к границам Польши и Восточной Пруссии. Поэтому немецкое командование стремилось удержать выступ во что бы то ни стало и уделяло его обороне исключительное внимание. Главная полоса вражеской обороны проходила по линии Витебск—

Орша—Могилев—Рогачев—Жлобин—Бобруйск. Особенно сильно были укреплены районы Витебска и Бобруйска, то есть фланги группы армий «Центр». Мощную оборону она имела также на оршанском и могилевском направлениях. Имелись оборонительные рубежи и в оперативной глубине — по берегам Днепра, Друти и Березины. Все инженерные оборонительные сооружения довольно удачно увязывались с естественными, очень выгодными для обороны условиями местности — реками, озерами, болотами, лесами. Крупные города гитлеровцы превратили в сильные узлы сопротивления, укрепленные системой хорошо развитых траншей, дотов и дзотов, а такие города, как Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов и Минск, приказом Гитлера объявлялись «укрепленными районами». Это, как обычно, означало, что их следовало удерживать любой ценой. В немецкую группу армий «Центр» входили 3-я танковая, 4-я, 9-я и 2-я армии. В первой полосе обороны находилось 39 дивизий, во втором эшелоне и в резерве — 14 дивизий с большим количеством спецподразделений и команд, а всего с учетом фланговых соединений соседних групп армий немцы имели в Белоруссии 63 дивизии и 3 бригады. Командовал центральной группой вражеских войск генерал-фельдмаршал Э. Буш. Его армиями командовали генерал-полковник Г. Рейнгардт, генерал пехоты К. Типпельскирх, генерал танковых войск Н. Фэрман и генерал-полковник В. Вейс. Несколькими позже к участию в боях здесь подключилась 4-я танковая армия генерала танковых войск В. Неринга. Бушу подчинялось 800 тысяч солдат и офицеров, имевших 9,5 тысячи орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1300 боевых самолетов.

По утвержденному Ставкой плану, операцию «Багратион» решено было начать 19—20 июня. На вторую половину 1944 года руководящий состав Вооруженных Сил получил новые условные фамилии. Сталин теперь именовался Семеновым, Жуков — Жаровым, я — Владимировым; командующие фронтами: Говоров — Гавриловым, Масленников — Мироновым, Еременко — Егоровым, Баграмян — Батуриным, Черняховский — Черновым, Захаров — Зориным, Рокоссовский — Румянцевым, Конев — Киевским, Малиновский — Морозовым и т. д.

Утверждая 30 мая план Белорусской операции, Сталин, как это было уже не раз, заявил, что ближайшая задача Ставки — помочь командованию и войскам фронтов лучше подготовиться и провести задуманную операцию, а ГКО и Генштаб обязаны принять меры к тому, чтобы своевременно и полностью обеспечить войска всем необходимым. Он предложил направить Г. К. Жукова и меня в Белоруссию в качестве представителей Ставки и спросил, на какие фронты мы хотели бы поехать. Мы оба ответили, что готовы работать там, где будет указано. Приняли решение послать Жукова для координации действий I и II Белорусских, а меня — I Прибалтийского и III Белорусского фронтов.

В ночь на 31 мая Сталин, Жуков, я и Антонов отработали в Ставке частные директивы фронтам белорусского направления, указания немедленно приступить к подготовке операции «Багратион» и конкретные задачи на первый этап ее проведения. 31 мая директивы за подписью Сталина и Жукова направили фронтам. Г. К. Жуков подписал распоряжение Захарову и Рокоссовскому определить срок готовности и начало наступления. Аналогичное распоряжение за моей подписью посылалось Баграмяну и Черняховскому¹⁴.

Принимая решение по освобождению Белоруссии и ставя задачи фронтам, Ставка Верховного Главнокомандования намечала следующий план дальнейшего развития операции. I Прибалтийский фронт через Полоцк, Глубокое, Швенченис (Свенцяны) на Шяуляй, отсекая немецкую группу армий «Север» от центральной группы, выходит на Балтику в районе Клайпеды; войска III Белорусского фронта после разгрома врага в районе Витебска и Орши и удара на Борисов направляются через Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас, Лиду и Гродно к границам Восточной Пруссии; II Белорусский фронт, скользя немецкую группу армий «Центр» с востока, наносит удар на Могилев, затем через Столбцы и Новогрудок выходит в район Волковыск, Белосток. I Белорусский фронт после выполнения первого этапа операции и окружения вместе с войсками II

¹⁴ Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2542, д. 13, лл. 211—216.

Белорусского фронта минской группировки противника должен направить войска своего правого крыла на Слуцк, Барановичи, Слоним и Пружаны, а левого через Пинск, Кобрин, Брест, Ковель и Хелм на Седлец и Люблин.

31 мая я встретился в Генштабе с командующим III Белорусским фронтом И. Д. Черняховским, которому из-за болезни не удалось принять участие в совещании у Верховного Главнокомандующего при рассмотрении плана операции. Иван Данилович искренне обрадовался встрече и выразил удовлетворение тем, что мы с ним вместе будем осуществлять операцию, в которой он впервые выступит в качестве командующего фронтом. В нашей беседе с ним о замысле операции «Багратион» и о задачах III Белорусского фронта принимали участие Г. К. Жуков и А. И. Антонов.

В те же дни фронтам был дан ряд конкретных указаний, имевших отношение к летним наступательным операциям. Так, 27 мая директивой Ставки участок правого фланговой 6-й гвардейской армии I Прибалтийского фронта передавался II Прибалтийскому, а 6-я гвардейская должна была использоваться в ударной группировке своего фронта. 29 мая всем командующим фронтами направили подробную директиву Генштаба, в которой перечислялись все основные мероприятия, обеспечивающие скрытность работы при подготовке летних операций.

Перед нашим отъездом И. В. Сталин дал нам с Жуковым последние указания относительно нашей деятельности на фронтах, просил постоянно держать его в курсе происходящих событий и пожелал войскам и нам лично успеха.

4 июня в 16 часов я прибыл в штаб III Белорусского фронта, располагавшийся в лесу вблизи городка Красное Смоленской области. Там заранее подготовили пункт управления с соответствующими средствами связи, обеспечивавший постоянную и надежную телефонную, телеграфную и радиосвязь со Ставкой, Генеральным штабом и всеми командующими фронтами и армиями. Вместе со мной приехали: заместитель командующего артиллерией Красной Армии генерал-полковник артиллерии (позднее маршал) М. Н. Чистяков, который должен был координировать действия артиллерии двух фронтов, заместитель командующего ВВС генерал-полковник авиации Ф. Я. Фалалеев (с той же целью по авиации) и группа офицеров Генерального штаба, возглавлявшаяся состоявшим при мне генералом для поручений генерал-лейтенантом М. М. Потаповым.

Вечером И. Д. Черняховский ознакомил нас с окончательно отработанным командованием фронта планом операции, с задачами армий и доложил о проделанной работе по подготовке операции.

Согласно директиве Ставки, этот фронт был обязан, проведя операцию во взаимодействии с левым крылом I Прибалтийского и войсками II Белорусского фронтов, разгромить витебско-оршанскую группировку врага. Для этой цели предусматривалось нанести два удара: один 39-й и 5-й армиями на севере фронта, причем 39-я, обходя Витебск с юго-запада, во взаимодействии с левым крылом I Прибалтийского фронта должна была разгромить витебскую группировку врага и овладеть Витебском, а 5-я через Богусhevск, Сенно и Лукомль пробиваться к верхнему течению реки Березина; другой удар — 11-й гвардейской и 31-й армиями, — разгромив оршанскую группировку врага, развить наступление вдоль Минской автострады на Борисов. Подвижные войска (конницу и танки) предполагалось использовать для развития успеха в общем направлении на Борисов. К началу операции фронт имел 6445 стволов артиллерии и минометов (от 76-миллиметровых и выше), 689 установок реактивной артиллерии, 1810 танков и самоходных орудий (с учетом стоявшей в резерве 5-й гвардейской танковой армии) и 1864 боевых самолета.

По решению командующего фронтом для выполнения этих задач создавались ударные группы: в 39-й армии (командующий — генерал-лейтенант И. И. Людников, член Военного совета — генерал-майор В. Р. Бойко) — 84-й и 5-й гвардейский стрелковые корпуса в составе пяти стрелковых дивизий и 28-я танковая бригада; в 5-й армии (командующий — генерал-лейтенант Н. И. Крылов, член Военного совета — генерал-майор И. М. Пономарев) — 72-й и 65-й стрелковые корпуса в составе шести стрелковых дивизий, 153-я и 2-я гвардейская танковые бригады; в 11-й гвардейской армии (командующий — генерал-лейтенант К. Н. Галицкий, член Военного совета — генерал-майор П. Н. Куликов) — 8-й и 36-й гвардейский стрелковые корпуса в составе пяти

стрелковых дивизий и 120-я танковая бригада, в 31-й армии (командующий — генерал-лейтенант В. В. Глаголев, член Военного совета — генерал-майор Д. А. Карпенков) — 71-й и 36-й стрелковые корпуса в составе пяти стрелковых дивизий и 213-я танковая бригада.

Второй эшелон фронта составляли подвижные соединения: 3-й гвардейский механизированный корпус, 3-й гвардейский кавалерийский корпус, а в последующем и 5-й гвардейская танковая армия; в 11-й гвардейской армии — 2-й гвардейский танковый Тацинский корпус.

По плану, утвержденному командующим фронтом, из артиллерийских и танковых средств фронта для обеспечения успеха на армейских участках прорыва обороны врага привлекалось: 5764 орудия и миномета, или 80,1 процента от общего количества стволов, — это составляло в среднем артиллерийскую плотность на один километр фронта прорыва до 175 стволов; 1466 танков и САУ, или 80,9 процента от общего количества, — это составляло общую плотность на один километр участка прорыва до 44 единиц.

Такая плотность позволяла рассчитывать на успех предстоящей операции.

Проверкой установили, что командование, штаб и политуправление фронта уделяют серьезное внимание маскировке прибывавших во фронт общевойсковых, танковых, артиллерийских соединений и других специальных войсковых частей и всевозможных воинских грузов. Офицеры штаба фронта встречали на станциях выгрузки войска и сопровождали их в указанные для них районы сосредоточения, строжайше требуя мер маскировки. Категорически запрещалось производить днем перегруппировки и крупные передвижения войск; осуществлять рекогносцировки большими группами командного состава; нарушать существовавший ранее режим огня; производить ознакомительные облеты занятых противником территорий. Маскировка районов сосредоточения повседневно проверялась с воздуха офицерами штаба фронта. Одновременно проводился ряд хорошо продуманных и умело организованных мероприятий с целью дезориентации противника. Seriously организовали и боевую подготовку войск на хорошо оборудованных полигонах и учебных полях в тылу, куда дивизии и специальные части, предназначенные для прорыва, последовательно и скрытно выводились во вторые эшелоны.

Во всем чувствовался мудрый опыт командования и штабов всех степеней фронта, накопленный на протяжении войны.

5 июня командование фронта рассматривало планы армий по проведению операции. Докладывали командармы И. И. Людников (39-я армия) и В. В. Глаголев (31-я армия). Особых замечаний их планы не вызвали и были одобрены.

6 июня с утра вместе с Черняховским побывали в 5-й армии Н. И. Крылова, детально на участке прорыва проанализировали планы командующего и начальников родов войск армии. Особое внимание уделили вопросам использования артиллерии и увязке действий пехоты, танков, артиллерии и авиации. Докладывали командующий и командиры четко, со знанием деталей. Мы покинули армию вполне уверенными в том, что она находится в твердых, умелых и надежных руках.

В ночь на 7 июня я доложил Верховному, что на III Белорусском и I Прибалтийском фронтах за эти дни никаких изменений в оперативной обстановке не произошло. Подготовка войск в III Белорусском идет в соответствии с установленным планом. 7 июня вместе с Черняховским, Фалалеевым и командованием 1-й воздушной армии мы обсуждали задачи, стоявшие перед авиацией, а на рассвете 8 июня перелетали на I Прибалтийский фронт. Командующего фронтом И. Х. Баграмяна я знал еще до Великой Отечественной войны по учебе в Академии Генерального штаба. Наше первое знакомство с начальником штаба фронта В. В. Курасовым состоялось в 1935—1936 годах во время оперативно-стратегических полевых поездок, проводившихся командующим Белорусским военным округом И. П. Уборевичем. Я тогда работал начальником отдела боевой подготовки в штабе Приволжского военного округа, командование которого привлекалось в роли одного из армейских управлений. В. В. Курасов служил в Белорусском военном округе. В 1940 году, после того как я был назначен на должность заместителя начальника Оперативного управления Генштаба, по моему же предложению на мою прежнюю должность был переведен старший преподаватель Академии Генштаба В. В. Курасов. В первых числах августа 1941 года я стал начальником Опера-

тивного управления и заместителем начальника Генерального штаба, а В. В. Кура-сов — заместителем начальника Оперативного управления. Он много помогал Б. М. Шапошникову и мне в те тяжелые месяцы войны. На протяжении последующих лет возглавлявшиеся Владимиром Васильевичем штабы армий и фронтов всегда получали высокую оценку Ставки Верховного Главнокомандования и руководства Генерального штаба. Установившимся между нами еще в те годы дружественными отношениями я очень дорожу и по сей день.

Итак, военная служба снова, в третий раз привела меня туда, где мне довелось быть во время гражданской войны и в 30-е годы. Естественно, нахлынули воспоминания. Но действительность быстро вернула меня к напряженным повседневным делам. Весь день 8 июня мы пробыли на КП И. Х. Баграмяна. Заслушали доклады командующего, начальника штаба, начальников родов войск и члена Военного совета фронта о ходе подготовки к операции, ее материальном и политическом обеспечении. Согласно директивам Ставки от 31 мая, командованию I Прибалтийского фронта на первом этапе стратегической Белорусской операции приказывалось во взаимодействии с III Белорусским фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку противника и выйти на южный берег Западной Двины в районе Чашники, Лепель, для чего силами 6-й гвардейской и 43-й армий предусматривалось прорвать оборону противника юго-западнее Городка (в тридцати пяти километрах северо-западнее Витебска), нанося общий удар в направлении Бешенковичи, Чашники.

Решая задачу, войска фронта обязаны были форсировать Западную Двину и овладеть Бешенковичами, а частью сил во взаимодействии с правым крылом III Белорусского фронта разгромить витебскую группировку противника и освободить Витебск, чтобы в дальнейшем, развивая наступление на Лепель, прочно обеспечивать главную группировку фронта с севера на полоцком направлении.

В состав I Прибалтийского фронта к началу Белорусской операции входили: 4-я Ударная армия (командующий — генерал-лейтенант П. Ф. Малышев, член Военного совета — генерал-майор Т. Я. Белик) — 14-й, 83-й и 100-й стрелковые корпуса; 6-я гвардейская армия (командующий — генерал-лейтенант, вскоре генерал-полковник И. М. Чистяков, член Военного совета — генерал-майор К. К. Абрамов) — 22-й, 23-й, 103-й и 2-й гвардейский стрелковые корпуса; 43-я армия (командующий — генерал-лейтенант А. П. Белобородов, член Военного совета — генерал-майор С. И. Шабалов) — 1-й, 60-й и 92-й стрелковые корпуса; 3-я воздушная армия (командующий — генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Папивин, начальник штаба — генерал-майор авиации Н. П. Дагаев); 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск В. В. Будкова; ряд других стрелковых, танковых, самоходно-артиллерийских, артиллерийских и инженерных соединений и частей, подчиненных непосредственно командованию фронта. Согласно указаниям Ставки, взлом тактической обороны врага решено было осуществить на двадцатипятикилометровом фронте, на стыке 16-й немецкой армии группы армий «Север» с 3-й танковой армией группы армий «Центр». К месту прорыва сосредоточивались две армии фронта — 6-я гвардейская и главные силы 43-й, а также основные фронтовые резервы и 1-й танковый корпус. Главный удар предусматривалось нанести смежными флангами армий в общем направлении на Бешенковичи, Лепель, имея ближайшей задачей прорыв тактической зоны обороны врага, чтобы затем во взаимодействии с 39-й армией III Белорусского фронта окружить и разгромить витебскую группировку врага, а главными силами с ходу форсировать Западную Двину и овладеть плацдармом на ее левом берегу.

В дальнейшем намечалось главными силами фронта развивать наступление на запад, чтобы, разгромив лепельскую группировку, с ходу овладеть Лепелем, а ударом частью сил вдоль правого берега Западной Двины отсечь войска 16-й армии от войск 3-й немецкой танковой армии.

Для осуществления этой и последующих задач командование фронта решило вернуть силы в одном оперативном эшелоне, используя танковый корпус в качестве подвижной группы. Операция предусматривала три этапа. Основным содержанием первого являлся взлом обороны противника на всю глубину тактической зоны. На втором этапе намечалось ввести в прорыв танковый корпус в направлении на Бешенковичи, форсирование Западной Двины и захват плацдарма на ее левом берегу. Одновре-

менно 43-я армия во взаимодействии с 39-й армией III Белорусского фронта должна была окружить и уничтожить витебскую группировку противника. На третьем этапе планировалось форсировать реку Уллу и овладеть городами Камень и Лепель. Дальнейшие действия зависели от хода развития стратегической операции. К участку прорыва привлекалось до 75 процентов всех находившихся в составе фронта стрелковых войск, 3760 орудий и минометов, 535 танков и САУ.

Командование фронта определило и состав армейских ударных группировок. В 6-й гвардейской армии для прорыва предназначались два стрелковых корпуса (22-й и 23-й) в первом эшелоне и два (103-й и 2-й гвардейский) во втором. 43-я армия имела в ударной группировке два стрелковых корпуса — 1-й и 60-й — в первом эшелоне и 92-й во втором. После такого распределения сил и средств в резерве фронта, кроме танкового корпуса, оставалась одна стрелковая дивизия на правом крыле ударной группировки. Здесь, как и на III Белорусском фронте, командованием и штабами всех степеней и войсками в целом была развернута огромная подготовительная работа.

В ночь на 9 июня в очередном донесении Верховному Главнокомандующему я сообщил, что подготовка к операции в I Прибалтийском фронте идет успешно; доложил и о том, что прибытие войск на III Белорусский фронт из-за неудовлетворительной работы железных дорог задерживается и что утвержденный план перевозок срывается. Так, 9 июня из 3-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта танковых войск В. Т. Обухова прибыло всего лишь 50 процентов состава, тогда как по плану корпус должен был прибыть полностью еще 5 июня. Добавлю, что вообще в те месяцы работа железных дорог не раз вызывала у нас нарекания, их отставание от фронтовых нужд чрезвычайно осложняло выполнение боевых заданий.

В ту же ночь мы вернулись на III Белорусский фронт и весь день 9 июня вместе с И. Д. Черняховским знакомимся с 11-й гвардейской армией К. Н. Галицкого. Армия в целом производила отличное впечатление, хотя в связи с ее перегруппировкой на новое направление подготовка к операции несколько отставала. Заслушав решение и основные соображения Галицкого и командиров корпусов по проведению операции, мы внесли некоторые коррективы и дали дополнительные указания.

Озабоченный задержкой с подвозом войск, я предложил начальнику Главного организационного управления Генерального штаба, моему заместителю генерал-лейтенанту А. Г. Карпоносову, прибыть ко мне на фронт. В первом часу ночи на 10 июня, докладывая Сталину о проделанном за день, я вновь высказал беспокойство по поводу несвоевременного прибытия на фронт войск. Поделится также и тем, что первое впечатление об И. Д. Черняховском как о командующем фронтом очень хорошее: трудится он много, умело и уверенно.

Пока Черняховский продолжал свою работу в 11-й гвардейской армии, я занялся подготовкой к операции 3-го гвардейского механизированного Сталинградского и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов. Познакомился с их командирами, детально ознакомил их с обстановкой, задачами и той спецификой, при которой корпусам, объединенным в конно-механизированную группу, придется выполнять ответственные задачи в значительном отрыве от основных сил фронта.

Пользуясь приездом А. Г. Карпоносова, 11 июня занимался вопросами железнодорожных перевозок. Подготовив письмо в Наркомат путей сообщения с просьбой во что бы то ни стало улучшить дело и закончить перевозки (с учетом прибытия войск 5-й гвардейской танковой армии) не позднее 18 июня, отправил его с А. Г. Карпоносовым.

12 июня вместе с Черняховским мы проверяли окончательную готовность 5-й армии Крылова и 39-й армии Людникава. Как раз в этот день прибыл на фронт командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров. Мы тщательно оработали с ним вопросы о районе и сроках сосредоточения войск армии, рекогносцировке возможных направлений ее действий. Решили, что основным направлением будет оршанско-борисовское. 13 июня продолжали работу в армиях Крылова и Людникава. Уже этот краткий перечень до некоторой степени показывает, чем у меня были заполнены эти предоперационные дни. Я всячески старался помочь Черняховскому, чтобы его III Белорусский фронт, игравший наряду с I Белорусским фронтом Рокоссовского главную роль при осуществлении операции «Багра-

тион», оказался на высоте. В ночь на 14 июня я писал в докладе И. В. Сталину: «Подготовка к выполнению Вашего задания идет полным ходом, с отработкой мельчайших деталей. Наличие войск к указанному Вами сроку, безусловно, будут готовы. Уверенность в успехе у всех полная. По-прежнему опасения за своевременный подход по железной дороге 4-й и 15-й артиллерийских бригад, кавалерийского корпуса Осиковского, боеприпасов, горючего и соединений Ротмистрова... Еще раз докладываю, что окончательный срок начала всецело зависит от работы железных дорог, мы со своей стороны сделали и делаем все, чтобы выдержать установленные Вами сроки»¹⁵.

Утром 14 июня И. В. Сталин сообщил мне, что из-за задержки в железнодорожных перевозках начало операции переносится на 23 июня.

В полной уверенности в готовности войск И. Д. Черняховского я во второй половине дня вместе с М. Н. Чистяковым и Ф. Я. Фалалеевым перелетел снова на I Прибалтийский фронт И. Х. Баграмяна. Здесь в течение 15 и 16 июня мы детально проверили ход подготовки и материальное обеспечение 6-й гвардейской, 43-й и 3-й воздушной армий.

6-ю гвардейскую армию я отлично знал еще по Сталинградской и Курской битвам. С 43-й непосредственно познакомился впервые. Хорошее впечатление произвел на меня ее новый командующий генерал-лейтенант А. П. Белобородов, при моем участии сменивший на этом посту К. Д. Голубева. Большим боевым опытом обладали и командиры корпусов в его армии. Афанасий Павлантьевич Белобородов прошел славный боевой путь, был известен как смелый и решительный человек. Успешно воевал и в Белоруссии в последующих операциях, и позднее в Восточной Маньчжурии. Последний крупный пост, который он занимал, — командующий войсками Московского военного округа. Автомобильная катастрофа, серьезно повредив его здоровье, вынудила оставить столь кипучую и плодотворную деятельность. В ходе Белорусской операции, несмотря на всю сложность боевой обстановки, молодой командарм А. П. Белобородов очень умело руководил войсками армии. Принятое им и доложенное нам решение на прорыв, проверенное нами на местности, было совершенно правильным и никаких серьезных поправок не потребовало.

Продуманной выглядела подготовка прорыва обороны врага и в 6-й гвардейской армии. Мы ограничились лишь незначительными замечаниями, несколькими советами и с удовлетворением утвердили решения командарма.

В донесении Сталину вечером 16 июня я писал: «Хорошее впечатление производит новый командарм 43-й Белобородов. Отлично работают присланные с юга на фронт командиры корпусов Васильев и Ручкин. Дал указание сохранить за Васильевым, переведенным с гвардейского на негвардейский корпус, гвардейский оклад. Прошу санкционировать мое распоряжение и дать соответствующие указания тов. Хрулеву. Подготовка войск обоих фронтов идет вполне нормально, и, если погода позволит, к выполнению задания приступим строго в намеченный Вами срок. По-прежнему несколько нервирует работа железных дорог и вызывает опасения в своевременном сосредоточении некоторых из предназначенных фронтам войск, а также в подаче некоторых видов снабжения, хотя все необходимое для начала операции будем иметь на месте».

В ту же ночь в разговоре по телефону И. В. Сталин спросил меня, как он часто это делал, не смогу ли я без особого ущерба для выполняемого задания прибыть на два-три дня в Москву. Я согласился и уже днем был в столице, а вечером 17 июня вместе с А. И. Антоновым встретился с И. В. Сталиным. Как выяснилось, основным вопросом, ради которого меня вызвали в Ставку, явились события на севере. Войска Ленинградского фронта после ожесточенных боев на Карельском перешейке, нанеся серьезное поражение финским войскам, готовились к штурму последнего оборонительного рубежа, проходившего в районе Вуоксинской водной системы.

Связавшись по телефону с командующим Ленинградским фронтом Л. А. Говоровым, И. В. Сталин заслушал его детальный доклад о ходе событий и подготовке к штурму, дал ему ряд советов и указаний. Удовлетворенный заверениями Говорова в том, что задача ускорить наступление будет решена его войсками в течение ближайшей недели, пожелал Леониду Александровичу успеха. Тогда же решили, что после

¹⁵ Архив МО СССР, ф. 168, оп. 416, д. 31.

взятия Выборга необходимо будет продолжать наступление и с выходом войск на рубеж Элисенваара — Имагра — Виройски и освобожденным при помощи Балтийского флота Большого Березового и других островов Выборгского залива прочно закрепиться на Карельском перешейке, а затем, перейдя там к обороне, сосредоточить основное внимание Ленинградского фронта на участии в боях по освобождению Эстонии.

В тот же вечер у Сталина рассматривался вопрос о проведении Карельским фронтом с участием Онежской и Ладожской военных флотилий Свирско-Петрозаводской операции в Южной Карелии. Сталин по телефону заслушал доклад командующего фронтом К. А. Мерецкова о готовности войск и подчеркнул, что благодаря успешным действиям войск Ленинградского фронта у Карельского фронта создались более благоприятные условия для выполнения задачи, и потребовал начать операцию не позже 21 июня.

Затем Сталин попросил Антонова доложить о последних событиях в Нормандии. Войска союзников после высадки продвигались крайне медленно. Им удалось объединить в один лишь три небольших плацдарма и несколько расширить его в сторону полуострова Котантен. Обсуждая вопрос о том, как может отразиться высадка англо-американских войск в Нормандии на советско-германском фронте, мы приходили к выводу, что, когда Красная Армия начнет Белорусскую операцию и продолжит успешное наступление против Финляндии, гитлеровское командование перебросит войска Западного фронта на Восточный.

После обмена мнениями Верховный назначил мне на следующий вечер встречу для доклада по всем имеющимся у меня вопросам в связи с Белорусской операцией.

Заслушав мой краткий доклад о ходе подготовки III Белорусского и I Прибалтийского фронтов к выполнению поставленных перед нами задач, Сталин остался доволен и особенно остановился на использовании 5-й гвардейской танковой армии на фронте у Черняховского. Я сообщил, что на оршанско-борисовском направлении против 11-й гвардейской армии оборона врага в инженерном отношении развита гораздо сильнее, чем на участке 5-й армии, да и группировка войск противника там значительно плотнее. Поэтому оршанское направление для ввода танковой армии в прорыв на борисовское направление я считал менее перспективным, чем богусhevско-борисовское. Договорились, что временно основным направлением ввода танковой армии в прорыв будем считать оршанско-борисовское как кратчайшее и по характеру местности наиболее удобное для маневра. Окончательное же решение отложили до первых дней операции. Поэтому условились, что 5-я гвардейская танковая армия пока остается в резерве Ставки, а в нужный момент я как представитель Ставки дам указание передать ее фронту. При этом Ставкой предусматривалось, что во всех случаях основная задача танковой армии — быстрый выход на реку Березину, захват переправ и освобождение города Борисова. Как всегда, Сталин особенно интересовался настроениями, подготовленностью и материальной обеспеченностью войск, а также работой командно-политического, и прежде всего руководящего, состава фронта.

В дни моего пребывания в Москве Г. К. Жуков попросил И. В. Сталина начать операцию I Белорусского фронта не 23, а 24 июня. Сталин спросил о моем мнении. Посоветовавшись по телефону с И. Д. Черняховским и И. Х. Баграмяном, я сказал, что считаю такое предложение для фронтов нашего направления целесообразным, поскольку оно позволяет в ночь на 23 июня, перед началом операции I Прибалтийского и III Белорусского фронтов, использовать здесь авиацию дальнего действия, направленную к Рокоссовскому. Сталин согласился с этим и добавил, что мы с Черняховским упускаем из виду еще одну выгодную для нас деталь: III Белорусский фронт выигрывает в этом случае лишние сутки. Он обещал сообщить мне окончательное решение после разговора с Жуковым.

17, 18 и 19 июня я занимался в Генеральном штабе главным образом вопросами связи Генштаба с фронтами и армиями, доставки всего необходимого войскам для предстоящих операций, восстановлением и развитием железных дорог.

20 июня я вернулся на КП Черняховского. 21 июня вместе с Иваном Даниловичем и командованием 1-й воздушной армии мы проверяли готовность авиации, провели совещание с командирами авиакорпусов, дивизий и начальниками политотделов соединений.

Я счел необходимым подчеркнуть, что Белорусская операция по своему замыслу превосходит все ранее проводившиеся. Она будет осуществляться на широком фронте и на большую глубину. Страна, партия дали нам все, чтобы мы сумели выполнить поставленную перед нами задачу. Задача авиации — успешно помочь нашей пехоте прорвать оборонительный рубеж противника, изолировать поле боя от вражеских истребителей и бомбардировщиков, надежно прикрыть наземные войска, особенно подвижные, дав им возможность работать нормально. Удары с воздуха должны быть эффективными, действия истребителей активными, чтобы искать и уничтожать врага.

По телефону я обговорил с Г. К. Жуковым порядок привлечения в ночь на 23 июня основной массы авиации дальнего действия в полосе III Белорусского и I Прибалтийского фронтов. Вечером от Рокоссовского ко мне прибыл заместитель командующего авиацией дальнего действия Н. С. Скрипко, находившийся на I Белорусском фронте. Я согласовал с ним задачи, которые должна будет выполнить авиация в интересах III Белорусского и I Прибалтийского фронтов.

В донесениях Верховному Главнокомандующему, отправленных в последние дни перед началом этой исторической операции, я писал, что подготовка войск I Прибалтийского и III Белорусского фронтов заканчивается. В ночь на 22 июня войска будут выведены в исходное для операции положение. В течение суток на всех участках произведут разведку боем. В ночь на 23 июня разведку повторим. При благоприятной погоде наступление начнем в строго назначенный срок. Использование авиации дальнего действия в ночь на 23 июня спланировано. Не ясен лишь вопрос о дивизии бомбардировщиков «ТУ-2», ибо, как сообщил командующий ВВС маршал авиации А. А. Новиков, она прибывает на фронт лишь 23 июня, причем поступает в его распоряжение, тогда как я, согласно решению Ставки, на первые дни операции планировал использовать ее для помощи войскам Баграмяна, которые не имеют ни одного бомбардировщика. Сказал, что буду договариваться по этому вопросу лично с Новиковым.

Через сутки я доложил И. В. Сталину о полной готовности I Прибалтийского и III Белорусского фронтов начать операцию 23 июня и сообщил, что 22 июня войска этих фронтов действиями усиленных батальонов вели разведку переднего края обороны противника и проверяли его огневую систему. Каких-либо изменений не установлено. Большинству передовых батальонов удалось ворваться в первую, а местами даже во вторую траншею врага. Наибольших успехов добился 22-й гвардейский стрелковый корпус 6-й гвардейской армии I Прибалтийского фронта, которому удалось вклиниться в фашистскую оборону на шесть километров и расширить фронт прорыва до девяти километров. Ночью 23 июня здесь будет введен весь 22-й и дополнительно 103-й стрелковые корпуса. На остальных участках I Прибалтийского и III Белорусского фронтов артподготовка начнется строго по плану, между 6 и 7 часами, а атака между 9 и 10 часами утра.

Так протекала общая работа на I Прибалтийском и III Белорусском фронтах при подготовке их к Белорусской операции. Накануне наступления войска получили боевые приказы и обращения Военных советов, с содержанием которых ознакомили весь личный состав. В подразделениях прошли партийные и комсомольские собрания, совещания, беседы с коммунистами и комсомольцами.

(Продолжение следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ



ОТКРЫТОЕ В ЖИЗНИ, В СЕБЕ САМОМ ОТКРЫТОЕ

Самая что ни на есть традиционность может, оказывается, звучать новаторски. Если она — новое возвращение к самим истокам, основам искусства...

«Люди на болоте»... Человек, писатель всю свою творческую жизнь шел к простому, казалось бы, решению: рассказать о самом близком, о том, что срослось с душой накрепко с детских лет. И в «Горячем августе» (ранней «деревенской» повести И. Мележа), и в некоторых рассказах, и на тех страницах «Минского направления», где появляются люди крестьянской судьбы, нащупывалась главная мележевская тема, самая «личностная». Уже на этих ранних страницах И. Мележ сочен в красках и языке и, главное, в самом чувстве талантлив и глубок — в чувстве сыновней любви и уважения к своим героям. Чего еще не было, так это уверенности, что и люди эти и судьбы их безмерно значительны сами по себе, а не как дополнение к чему-то. Ведь даже Шабуниха в первом романе И. Мележа «Минское направление» — яркий образ белорусской крестьянки, которая кормила и спасала партизан, которая мучилась вместе с ними в блокаду, окруженная беспомощным выводком детишек, — даже этот образ в общей системе романа звучал несколько иллюстративно. Он яркая, реальная и все-таки иллюстрация к общей авторской мысли о мудрой и простой стойкости людей из народа. Тут не жизнь, не человек первичен, а общая панорама, общая мысль, а человек лишь включен в нее, подтверждает ее.

Критика не раз отмечала значительные достоинства романа «Минское направление», находя в нем много хорошего. В опубликованном письме А. Фадеева И. Мележу (тогда еще молодому, начинающему ав-

тору) оценка романа достаточно высокая. А. Фадеев отметил, что лучшие страницы романа те, где рисуются быт, повседневность народной жизни, образы людей из народа.

Несомненно, в романе есть и широта взгляда на события — стремление видеть и показать всю Белоруссию, и фронт и «тыл», как единую панораму борьбы, героизма и трагедий военных лет — и вместе с тем множество правдивых деталей, черт и черточек психологии и быта, фронтового и партизанского.

И. Мележ упорно, упрямо дорабатывает свой первый роман, затрачено (и безрезультатно, конечно) много усилий, творческого времени. И это так понятно: возросшее чувство требовательности, ответственности за все, что написано было, пусть даже в молодые годы, и желание все «подтянуть», поднять к «Людам на болоте».

Но в основе каждого произведения — та или иная эстетическая система. И та или иная мера правды, правдивости. При доработке или переработке важно ее затронуть, ее изменить. Без этого не произойдет качественного скачка — как не возникает новый элемент, если воздействовать на вещество не на атомном, а лишь на молекулярном уровне.

Какая же эстетическая «система», какая «мера» легла в основу «Минского направления», одного из лучших в своем ряду произведений первых послевоенных лет?

Современная литература о войне, которая традицию толстовскую осваивает по-своему («В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Последние залпы» Ю. Бондарева, повести В. Быкова), принципиально «автобиографична». В широком смысле автобиографична. Пережи-

тое лично — тут начало всего, самого взгляда на события, даже если что-то взято и «со стороны».

Севастопольский артиллерийский офицер Лев Толстой и в романе об Отечественной войне 1812 года с особенным «профессиональным» интересом и писательским сочувствием следит «за работой» батарейных расчетов, будь то Аустерлицкое сражение или Бородино. Не случайно, что и любимец его Тушин — артиллерист.

Сама панорама передвижения войсковых масс и солдатских толп, панорама боя эстетически оценивается, рисуется человеком, художником, в котором угадывается «глазомер» артиллериста. Интересной могла быть работа, где бы это подробно прослеживалось по страницам всей толстовской эпопеи. Помните, как в «Войне и мире» пространство предстоящего боя, предстоящей трагедии вначале отмечается, «измеряется» веселым звуком выстрела и плотными клубочками дыма («пуф-пуф»), — наметанный глаз артиллериста обнаруживает в самом психологизме Толстого-баталиста.

Пережитое — солдатский или офицерский, журналистский или «артиллерийский» угол зрения определяет многое в самой «эстетике» военных повестей и романов Казакевича, Симонова, Бакланова, Бондарева, Ананьева...

В. Быков — тот свою пушечку «сорокапятку» волочит в труде и поте через многие и многие повести, все тащит ее с отчаяньем и горькой благодарностью как свой солдатский крест.

И сравним с этими книгами «Минское направление»... Молодой, можно сказать, начинающий автор в конце 40-х годов берется писать большое полотно. Он бывший артиллерист, раненный, познавший беды 1941 года. Кажется, все есть у него для настоящего творчества: и талант и жизненный опыт. Нет одного — уверенности, что его опыт и есть главный «клад», что тут точка приложения таланта. Объектом изображения он выбирает не то, что знает «лучше всех на свете», а почему-то танкистов, целую танковую часть. И еще партизан, о которых был хорошо слышан, но и только.

Понять, почему так поступил молодой автор, можно... Мое, мной пережитое — вот ведь как все было: и узко, и обидно не ярко, не победно (самое начало войны!), горько. То ли дело танки, танковая часть. Широта обзора, стратегические задачи! У них, у других, конечно же, было все и масштабнее и не так буднично... Сколько даже таких сильных талантов проходило и

проходит через подобные сомнения и искрешения, переболевают ими. Тем более что и «опыт» (отрицательный в данном случае) других авторов влиял и критика.

И вот перед нами вроде бы и нелегкая военная судьба танкиста Лагуновича, который со своей частью освобождает Белоруссию, надеется на встречу с Ниной, а она уже погибла, как и многие по «партизанскую сторону» фронта. И все это написано с немалой дозой и правды и психологической талантливости (особенно блокада, гибель Нины), а линия командующего Черняховского — пожалуй, первая значительная попытка в показе реального исторического лица Великой Отечественной войны. «Блокада» А. Чаковского и трилогия Симонова — все это появилось гораздо позже.

Многое есть в романе, все есть, кроме очень, казалось, малого и едва уловимого, но именно того, что и отличает «Людей на болоте» от «Минского направления»: не та мера эстетической первичности материала, психологии, быта; недостает во всем того проклятого «чуть-чуть», от которого в искусстве зависит столь многое, а в определенном смысле все зависит¹.

А ведь даже «Люди на болоте» вначале мыслились, задумывались автором в этом же становившемся опасно привычным «клубе»: «...вначале был замысел написать небольшую повесть о мелиораторах, о людях, которые дают Полесью новую жизнь», — вспоминал автор в интервью в газете «Известия».

Но в процессе работы, под влиянием самого времени из первоначально узкого, иллюстративного замысла выступило, вырвалось, подчинив себе и автора, нечто другое. Сама жизнь и чувство великого перед ней долга, задолженности своей сыновней «отчужденности» (как написано в эпиграфе).

«Я родился и вырос в Полесье. Этот поистине удивительный край и еще более удивительные его люди, полешуки, вошли в мое сознание с тех пор, как я стал помнить себя... Я сутками мерз в окопах, а перед моими глазами стояло мое жаркое Полесье. Я месяцами валялся в госпиталях — у моего изголовья стояли полешуки. Я писал роман о войне — они стояли за моими плечами, волнуня мое воображение. И вот пришел день, когда я отчетливо осознал: все, больше не могу, надо писать...»

¹ Сейчас готовится к изданию новый, основательно переработанный вариант романа «Минское направление». Его мы здесь, конечно же, не касались.

Первоначальный замысел, внешне очень современный («...о мелиораторах, о людях, которые...»), располагался в русле привычно иллюстративном: общая мысль плюс жизненный материал (на этот раз, правда, более личностный, близкий, «из памяти»). Последовавшее за этим отступление в прошлое (в 20-е годы, к ситуации еще довольно камерной: Ганна — Василь — Евхим) оказалось очень плодотворным, потому что это было одновременно приближением к самому себе, к памяти, опыту собственной жизни, и сама жизнь делалась теперь почвой и источником замысла, идей, мысли-й.

Отступление писателя в прошлое, как это часто случалось в истории литературы, было формой усиления именно личностного, авторского, лирического начала. У Мележа оно сопровождалось все большим вовлечением в русле творческой фантазии материала исторической жизни народа, целого края.

Где-то писателю пришлось преодолеть порог неуверенности: он ведь удалялся, уходил от современности в какие-то самим богом не учтенные Курени и в далекие 20-е годы. А нужно ли это кому-либо? И потому писал вначале как что-то не основное, «для себя», «для души», счастливый столь свободным и «бескорыстным» общением со своими героями, которые «живут сами» — не надо за них стараться. Писал, радуясь погружению в реальность мира, уже такого далекого по времени, но такого близкого по чувству, дорогому, сыновнему...

Из этого-то и все остальное возникло, родилось. В том числе и та самая современность, о которой мы столько хлопочем. Потому что родилось настоящее искусство, а оно всегда современно. «Искусства же несовременного, не соответствующего современным потребностям, и совсем быть не может. Если оно и есть, то оно не искусство; оно мельчает, вырождается, теряет силу и всякую художественность» (Достоевский).

«Люди на болоте» и «Дыхание грозы» — еще один случай, когда, казалось бы, уходя в прошлое, искусство движется к современности, звучит остросовременно. Необходимо иметь в виду особенное, эстетическое значение воспоминания в литературе — и не только как часть содержания (сюжета, темы и т. д.), но и как момент творческого акта художника. Ведь само искусство (в определенном смысле) — «воспоминание». И другого, кажется, нет. Л. Толстой, во всяком случае, так считает:

«...Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям раз испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его». Обобщение, типизация обнаруживается уже в самом первоначальном чувстве, из которого творческий акт рождается: в сопереживании, в повторном чувстве-воспоминании. И интересно, что «лично пережитое», объективизируясь, отодвигаясь, часто не мельчится, а как раз укрупняется и тем самым словно бы надвигается: как укрупняются и надвигаются на тебя предметы в редеющем тумане (существует такой оптический эффект).

В искусстве чрезвычайно важно это — сила, степень повторного переживания или сопереживания, иными словами, воспоминания о своем чувстве или чувстве другого (других), восстанавливаемого как свое собственное. Без присутствия такого «воспоминания» нет самого искусства, во всяком случае литературы. Это надо бы иметь в виду критике, которая, ратуя за «современность» в литературе, часто видит какую-то непроходимую стену между тем, что есть «день сегодняшний», и что «день вчерашний». А ведь и день сегодняшний в произведении воспроизводится по тем же законам психологии творчества — как воспоминание. И если такое «воспоминание» о дне бегущем еще не стало достоянием личным, острым, если оно и смутно и смазано в некоторых романах на современную тему, а события 20—40-х годов в других романах надвигаются на нас крупно, реально, то явления меняются местами в литературе, нравится нам это или нет. Люди, персонажи, герои таких романов, как мележевский, становятся рядом с нами, мы чувствуем себя среди них, они есть, и они заслоняют будто бы современников из иных современных по теме, материалу романов, потому что тех нет, те художественно не родились.

Конечно, такой эстетический эффект, как с романом Мележа, возникает, возможен лишь в случае, если в сопереживании, в «воспоминании» затронут самый широкий диапазон общественных, гражданственных чувств.

Романы Мележа, повествующие о жизни чуть ли не полустолетней давности, сразу восприняты были нами как то, что н у ж н о сейчас, что ожидалось. И судьба этих книг писателя складывалась счастливо. В «полесской хронике» И. Мележа выразились тенденции, характерные для многих

современных произведений о деревне: прозу Залыгина, Друцэ, Айтматова, Абрамова, Белова, Распутина отличает возросший интерес к народной жизни.

В народе и народной жизни ищут эти писатели (притом мучительно, всерьез) ответы на сами идеи. Там, в практике народной жизни, все это проверялось и проверяется — истинность любых мыслей, идей, целей, средств. Нравственная выверенность, чувства, взгляда, отношения к жизни, человеку для этой литературы и писателей имеет особенное, принципиальное и эстетическое значение. В этом смысле она по-новому переключается с великой гуманистической традицией русской классики (и белорусской тоже). Да, многое в жизни изменилось, но планета для счастья оборудована все еще трудно, через великие потери, тревоги, опасности, промахи, возвращения назад, а ведь жизнь человека и целых поколений, оплачивающих зигзаги истории, невозвратима, и литература, если она действительно гуманистическое чувствилище истории, жизни, и писатель, если он действительно совесть времени, обязаны «брать на себя» не только радости побед человеческих, но и горести утрат, неудач, поражений. И не только те, которые, как говорится в «Жестокости» П. Нилина, «были при нас», но и которые вообще когда-либо были или будут. С таким всевременным чувством писали Толстой, Достоевский, Чехов.

Интересно это происходит в литературе: движение вперед через видимость как бы возвращения к прежнему. Это напоминает сильную накатывающуюся волну у морского берега: в ней два одновременных движения — несущее вперед и отбрасывающее назад, в море...

Но такое движение — вперед с одновременным возвращением назад, в «море» великой литературной традиции человечества, — есть, может быть, сама форма существования искусства, которое, чтобы не погноряться, не омертветь, должно все время искать, уходить вперед от самого себя, но и возвращаться с такой же неизбежностью к той пограничной черте, где искусство не то начинается, не то кончается. А «за черту» выносятся гниющий мусор ложных попыток, ходов, заблуждений — все, что так и не стало искусством.

С таким чувством новизны и одновременно «возвращения» читали мы и «Людей на болоте».

Ощущение новизны таких произведений,

как дилогия Мележа (возьму примеры только из нашей белорусской литературы), проза Брыля, Быкова, Шамякина, Лобана, Науменки, Стрельцова, Адамчика, Кудравца, рождается прежде всего из чувства раскованности авторского анализа, обращенного ко всем пластам общественной и духовной жизни (у Мележа — вплоть до столетней сессии, где делается политика уже в самом широком масштабе).

Такое качество литературы — заслуга самого времени. Но возможность надо еще реализовать в серьезное идейно-эстетическое качество. Ведь все еще выходят книги и иного рода: пугливо косящие недоверчивым взглядом на реальную жизнь реальных людей. Не с идеальными вовсе людьми имела дело революция. Ленин на идеальных не рассчитывал и других учил не рассчитывать.

А как соблазнительно! Оценивай и требуй по «идеальной мерке», а не подходят, не соответствуют, не совсем так, как ждешь, поступают, пусть сетуют на себя. В критике упреки теоретикам «идеального героя» сводятся к замечаниям, что, мол, эстетическая сторона литературы от таких теорий страдает. Только эстетическая? А нравственный, а политический и даже экономический ущерб, притом самой жизни, разве не наносится? Ох, не такая это безобидная вещь — не видеть, не ценить людей реальных во имя придуманных, желаемых. «Он был отвлечен, а следовательно, жесток» — это не про одного Родиона Раскольникова.

Конечно, и большая литература бывает порой нетерпимой и нетерпеливой, желая быстрейшего счастья человеку, осуществления своего идеала. Но сколько в такой литературе (у Горького, например) настоящей боли за человека, за все свинцовые мерзости, которые человек как кандалы влачит через века. И какое понимание и вины, но и беды человеческой! И никогда нет у такой литературы этого чиновничьего взгляда — поверх человека!

В романах И. Мележа не только пристальное и сыновнее разумение, какие они, реальные его земляки-крестьяне, что плохого и что хорошего в них есть; Мележ не только понимает, что за всем хорошим и плохим — история поколений, края, народа; у Мележа очень четкое, справедливое нравственное чутье, в чем можно, а в чем нельзя попрекать человека, людей, каждого из его героев. И чего можно, а чего нельзя от человека требовать, каких чувств следу-

ет ждать и на какие, в конце концов, человек имеет право, даже если потом история его поправит, докажет его неправоту. Многие, за что Башлыков (да и Миканор) готов карать и ненавидеть Василя, Игната или Со року, всех, кто не поспевал за «темпами», не вкладывался в «досрочную и стопроцентную», это многое в мележевском показе, оценке — просто естественная реакция крестьянина (Другой она и не могла быть!) на то, что происходило в Куренях и вокруг. И часто реакция эта очень высокой человеческой пробы.

Любовь Василя к земле, его одержимость землей, жажда получить ее и работать на ней — тут и собственническое что-то проявляется, но не одно это и не оно для Мележа на первом плане в его земляках-крестьянах, хотя именно так порой характеризуют критики образ Василя. Не это, а извечная их истовая любовь к земле-кормилице, почти всегда без взаимности любовь, потому что вон какая удачливость, везение нужны крестьянину, чтобы вознаградила его земля за пот и труды, даже если она есть у него, эта земля: чтобы и не вымерзло, и не вымокло, и не высохло.. А тут еще и нет ее, или мало, или плохая она, скудная. Тем более у полешука, которого от века теснили леса да болота. Это особенное, полешуцкое чувство, отношение к земле в Василе Дятле нужно тоже учитывать, как учитывает критика «казачью психологию» в крестьянине Григории Мелехове. И тогда тем более понятна станет и поэтически оправданнее будет его истовость, одержимость землей, его страсть и жадность к земле, не по-болотному твердой, плодоносящей, кормящей.

Когда весь мир, кажется, плавает в болоте, а под ногами у человека клочок хоть и песчаной, но плодоносящей, устойчивой, еще отцовской земли — тут ее ценить научишься по-полешуцки. Как Василь. И не удивительно, что для него отдать свою полоску-кормилицу в «чужие руки» (а так ему вначале представляется колхоз) — это то же самое, что отдать на досмотр другому человеку коня, корову — живые, привыкшие к его рукам, ласке существа. Можно сказать: все это психология, а происходила вон какая ломка всей жизни, и в каких масштабах! До майданниковых ли, что вздыхают по-бабы возле теплой лошадиной морды? До Василевых ли тут сантиментов возле зазеленевшей полоски? Башлыковым до этого дела действительно было мало, так же как и литературе, кото-

рая брала на себя всего лишь роль «уполномоченных»: подоспеть к сроку, пошуметь, «провернуть мероприятие», «провести кампанию».

Подобной литературе такая крестьянская психология представлялась или резко враждебной, заслуживающей лишь разоблачения, или в лучшем случае забавной, смешной.

А вот Апейке, истинному ленинцу, который сам кость от кости народа, и литературе типа зальгинской или мележевской все это не кажется малозначимым. Такая литература со всей серьезностью старается понять, объяснить, оценить поведение крестьянина, его психологию. Тут судьбы миллионов и миллионов людей.

И особенно интересна в романе И. Мележа, пожалуй, самая непривычная для литературы нашей мысль: не попреки крестьянину за его недоверчивость и упрямство (хоть и видит, показывает эти черты в том же Василе), а удивление, что так просто и, в общем-то, доверчиво (если учесть все) решила крестьянская масса попробовать жить сообща, в общем коллективе, расставшись с тем, что было не лишнее у крестьянина — бедняка или середняка, а от чего жизнь или смерть его самого и семьи зависела. Ведь привык на вековом опыте знать: подохла корова или лошадь — умерли и дети с голодухи. Так что напрямую все это в его памяти, сознании связано.

И вот расстался со своим «скарбом» крестьянин, все-таки поверил. Несмотря на то, что вовсе порой не через «идеальных» людей шел и доходил к нему призыв к коллективной жизни, работе (а зачастую через башлыковых, галенчиков или в лучшем случае миканоров). Да и сам он, крестьянин, конечно же, существо вовсе не «идеальное», как думали народники (в социальном, психологическом плане), для построения коллективного земледелия.

Такая доверчивость почти всегда жила в крестьянине наряду с мужицкой отгороженностью от целого мира, настороженным недоверием к людям «со стороны». Это великолепно видел, чувствовал и показывал Лев Толстой. А ведь этот граф мужика знал как никто.

Существовала, правда, и иконописная, народническая традиция показа мужика. Литература русская немало сделала, чтобы развенчать такой идеалистический, слащавый, придуманный «лик» крестьянина, мужика. Но в этой нужной, просто необходимой работе литературы, **проделанной, в частности,**

Бунинным, Чеховым, Горьким, оказались, как всегда, и свои потери, издержки, позже обнаружившиеся, гораздо позже, и тут названные писатели были уже ни при чем. Они не в ответе за эпигонов. Шолохов, может быть, потому есть Шолохов, что он столь талантливо вернул в литературу, заново увидел крестьянина (казака) во всей человеческой сложности. Не идеально-народнические иллюзии, а реальные качества разглядел, так сказать, по справедливости. И снова перед читателем пошла вереница людей по-крестьянски простых, доверчивых даже под оболочкой ожесточения.

То же мы находим и у Купалы, Колааса, у Чорного — это традиция и белорусской классики. К таким истокам тяготеет и Мележ в своем показе, раздумье, анализе всего происходившего в деревне.

Простота, доверчивость крестьянина. И революция, ленинская революция. Доверие именно к ней — вот что, по Мележу, прежде всего определило поведение крестьянской массы в целом, невзирая на многое и многое косное, что было в крестьянине, в том же Василе, например, или что совершали безответственные «загибщики».

Но дело не в том только, чтобы «масса пошла в колхозы». Это не завершение процесса, это лишь начало, и очень многого начало. Во всем этом и старается разобраться автор «полесской хроники» по-полешуцки неторопливо, основательно, упрямо и мудро. Чтобы понять также и то, что происходило в конце 30-х годов и в годы войны.

Роман повествует вначале о самом, казалось бы, «периферийном» уголке жизни. Но начинается он с такой внутренней раскованностью, свободой, с такой активностью, мобильностью (художественной и гражданской), готовностью решать самые большие и острые проблемы времени, что выход к масштабности последующих сцен и книг романа «запрограммирован» как бы в каждой «клеточке» художественной ткани и в каждой сцене, какой бы бытовой и локальной она ни выглядела. Само время, как мы уже говорили, помогало художнику находить путь к всеобщему через свое. «Местное», отыскивать не иллюстративную, а истинно художественную широту, масштабность. Потребность разобраться во всем без исключения, заново осмыслить то, о чем вроде все уже было сказано и даже показано, говоря словами А. Твардовского,

«где и какому портрету висеть», — это была потребность самого времени.

Но ощутить ее в себе и пойти ей навстречу каждый художник должен сам, через истинное чувство и свой духовный опыт прокладывая путь зачастую и общественному самосознанию. Как делал это названный здесь автор поэмы «За далью — даль». А иначе и тут прорвется иллюстративность («иллюстративность наоборот»).

У Мележа также «вначале было чувство», в основу всего легло чувство. Во всяком случае, оно оказалось куда плодотворнее, нежели изначальная холодная иллюстраторская мысль «показать мелиораторов», о которой писатель говорит в своем интервью.

Да, началом всего было чувство любви, благодарности. Помнящее и вспоминающее чувство твоей близости тому уголку планеты, тем лицам, голосам, именам, крышам, плетням, дорогам и стежкам, кустарникам и болотным туманам (да, и этому), с которых не только начинается мир и ты сам, но которые дали тебе первое ощущение, что ты среди людей, а значит, человек, и еще чему-то, что уже в середине твоего века (после столького пережитого, увиденного, полюбленного) заново вдруг и неудержимо повлекло, потянуло все твои мысли и чувства, остановило их на себе надолго.

Им, этим чувством, рожден и анализ, сама мысль углубляется — сыновним желанием разобраться в судьбах «отца, матери, отчей земли», в том, что было рядом, но и далеко, что происходило тогда, но что происходит и теперь.

Поэзия народной жизни, пусть такой трудной, неустроенной, грубой и бедной (как груба и бедна одежда на красавице Ганне), — вот что в основе всего. Жизнь эта, какой бы бедной и далекой от всех «магистралей» ни выглядела, исторически содержательна в показе Мележа и в этом смысле поэтична. Революция сдвинула с неподвижной точки всех и всё. А кроме того, литература белорусская уже в творчестве К. Чорного училась видеть и показывать, как захватывает в свое движение исторический поток самые периферийные и глубинные слои народной среды, жизни. Вот уж где легкое волнение, пену не примешь за само движение! Только вселенский шторм может раскатать эту неподвижность и эту глубину.

Вначале Мележ вроде бы поддался традиции — показывать Полесье чуть экзоти-

чески, этнографически. Да и трудно было сразу обойти колею, которую прокладывали и Купала и Колас. Но очень скоро другая интонация делается у Мележа господствующей. Да, это край своеобразный, необычный, я, автор «Людей на болоте» (видите!), делаю акцент на непривычности всего, даже парадоксальности (люди, не видевшие моря, а между тем живут... на «островах»!), но теперь, когда я тебя, читатель, повел за своим рассказом, давай смотреть пристальнее и всерьез. Край как край, и люди как люди. А что тебе говорили или читал ты, что полешуки будто бы сами себя не вполне людьми считали («...полешуки мы — не человеки!»), это с чужих слов так про них думали или попадались, как на крючок, на хитрую издевку полешудким же мужикам. Себя они, медлительные, дюжие работяги-полешуки, не только «человеками» считали, но еще какими первосортными, и сами спрашивали: «А за Гомелем (это значит не на Полесье.— А. А.) люди есть?

— Есть. Только дробненькие».

Одним словом, как сказано у Мележа неожиданно просто: «Людам тут нужно было жить, и они жили».

Жизнь эта прежде всего обычная, человеческая. Со всеми страстями человеческими, которые — везде, и высокой духовностью в поисках лучшей дороги в жизни, с любовью и ненавистью, с радостями и драмами людскими.

Так возвращаются назад и заново к развилке дорог: уже зная, что будет (было) впереди и как вернее избрать свой путь. Это возвращение художника в чем-то к самому себе, понявшему, что писательская «вездеходность» — лишь мнимое достоинство и бесполезная роскошь.

В такой книге, в какую вырастает, складывается замысел И. Мележа, не может не возникнуть задача: постараться дать цельнопозитический образ самого народа белорусского, показать национальный характер белоруса (в движении, конечно, в развитии, тем более что перед нами хроника, а не поэма). А этого достичь никак невозможно, если потерять (от излишней «серьезности» или чрезмерного «уважения») такую черту характера народа, такое свойство его национальное (и одновременно интернациональное, потому что всякому народу это свойственно), как умение на самого себя смотреть, если надо, с усмешкой, а где так и с насмешкой. И не только когда весело

и легко, но и на трудных перевалах пути народной жизни. Лучшее свидетельство этому — фольклор.

Так что серьезность, глубина взгляда на народную жизнь, на путь, пройденный народом, которые свойственны «хронике» Мележа, и юмор, который эту вещь просвечивает и просветляет, — одно с другим связано, одно заключено в другом.

Тем более что и сами полешуки — вот, оказывается, какие острые на язык: и Ганна и Сорока, и молодые и старые, и хлопцы и девчата! И совсем они, полешуки, не те бессловесные тяжкодумы, какими их привыкли представлять. Перед «чужими», «на людях» — может быть! Надо же проявить осторожность или показать степенность, достоинство. И пусть другие себя выскажут, а мы послушаем, посмотрим! А потом расскажем «своим», какие люди бывают «за Гомелем».

Стало быть, серую жизнь необязательно одним серым «малевать», тем более что не такая уж она однотонная и серая, полешуцкая жизнь. Или «довольно однородная», как вычитал Апейка «в одной краеведческой книжке» и с чем активно (и автор тоже, конечно) не соглашается.

При такой-то колоритности характеров, людей — и «однородная»!

Многие и многие страницы в романе об этом — страницы открытой полемики с традиционным взглядом на земляков Мележа.

Но лучшая и самая результативная полемика — в самих образах «полесской хроники», в людях, населяющих мир мележевской эпопеи. И люди эти — особенно в труде — вон какие необычные!

У Мележа, писателя, который широко и многослойно чувствует свой «материал», который из живой жизни сучит нити и тклет свое полотно, — у такого художника есть большое преимущество «расширяться», куда поведет его сама жизнь, человеческие характеры. Но это преимущество таит, заключает в себе и немалые трудности, опасности — художественные. Каждый персонаж, если он столь живой, равноценно реальный, «свой», будет провоцировать автора на то, чтобы с ним (именно с ним и о нем) «беседу» продолжить, сделать самостоятельной линией в романе. И нужны усилия немалые, чтобы не поддаваться этому, чтобы все было в меру и определялось большой художественной целью, общей, расширяющейся, но и целесообразно огра-

ничивающей себя от книги к книге задачей, целью.

В условиях принципиальной равноценности «главных» и «неглавных» персонажей существует для романиста и другая опасность: он может чрезмерно задержаться на «главных» и тогда «роман-жизнь», «роман-народ» сузится к «роману-сюжету», что было бы большей потерей в данном случае. Как ни дороги, ни важны, ни интересны нам Василь и Ганна (и весь треугольник с Евхимом — соперником Василя), мне представляется, что «уход» Мележа во второй книге от них к Апейке не только вполне оправдан идейно-художественными соображениями, но и просто очень своевремен. Критики и читатели, которым это не понравилось и которые спешат говорить о «спаде» во второй книге, сами, наверное, пожаловались бы на затянутость и скуку, если бы автор не увел нас из Куреней на «чистку», на «сессию» — туда, где накапливается электричество, которое должно потом грозой разрядиться, где освежающей, урожайной, а где и разрушительной, над теми же Куренями. И тут Мележем руководила сама жизнь, а не чистое своеволие романиста, — жизнь и чутье художника.

В одной из первых статей о «Людах на болоте», где автора упрекали за «уход» от современности в прошлое², между прочим, Мележу давался и такой совет: если уж писать о том, ушедшем, времени, так в центре следовало поставить передового Миканора, а не тянущего «темпы» коллективизации назад Василя Дятла.

Нет, и Василь не тот, каким его видит и разгадал наперед всезнающий автор статьи «Взгляд назад», и Миканор тоже совсем не тот. Сложнее всё. Как в жизни. Миканор — фигура сложная. И по социально-психологическому содержанию, эволюции этого образа, и по авторской оценке действий Миканора, меняющейся, по мере того как меняется этот человек, смысл, мотивы его поступков.

Кто он вначале, когда из Красной Армии возвращается в родные Курени? Не очень грамотный, но с тем большим уважением относящийся к «науке политграмоты», пришедший ее в Курени с искренним желанием добра и света своим землякам. Вон как солдатски решительно и с душой взялся Миканор просвещать куреневцев насчет

«опиума для народа» — всяких разорительных и пьяных праздников и обычаев. С мыслью о людях и для людей старается Миканор, и авторитета у него больше, нежели прав, а все права его рождаются, возникают из инициативности да из готовности самую тяжесть брать на себя. Нелегко с людьми, не привыкшими вместе делать общее дело. Но главное — показать людям, что они лучше, чем сами думали, — Миканору удается.

Вот — Миканор, каким он предстает в дальнейшем, с каким мы и расстанемся в «Дыхании грозы»:

«На побитом оспой Миканоровом лице была та же презрительная уверенность. Будто хвастал своей силой. Будто издевался над его бедой.

— Земля — народная, — проговорил Миканор.

В голосе его послышалось мстительное злорадство³.

Так он разговаривает теперь с Василем, который для него опасен, потому что Василь «не смолчит», а Миканор начинает привыкать к мысли, что удобнее и легче, когда помалкивают. И гляди ты, не признает Миканорова командирства!

Да и с другими односельчанами так только и разговаривает теперь Миканор:

«— Народу собралось! — Все поняли и усмешку и это недоброе «собралось», в котором звучал мстительный упрек за другие собрания, упрек, который не обещал снисхождения. Одни неловко, виновато засмеялись, другие крепче задымили. Все ждали дальнейшего. Недобрая усмешка все не сходила с плоского, побитого оспой Миканорова лица. — Дружно — не секрет — собрались, — промолвил он снова мстительно».

Снова — «мстительно»! И об этом много раз, что «мстительно» теперь разговаривает и само дело делает Миканор.

Что же произошло с Миканором и с чего, откуда эта во всем «мстительность»? За что и кому он «мстит»?

Вся вторая книга Мележа пронизана вопросами, вопросами... На них где-то пытается ответить напрямую, публицистически герой романа Апейка или сам автор (через мысли Апейки), на другие вопросы отвечает диалогия в целом, иные лишь встанут и во всем значении встанут, очевидно, только на страницах, которые еще пишутся.

Миканора с его неожиданной злобой,

² См. В. Карпов. Взгляд назад. «Полымя». 1966, № 3.

³ Роман И. Мележа «Дыхание грозы» цитируется в моем переводе.

мстительностью, безоглядным командирством и взывавшим самолюбием рассматривать нужно в общей той обстановке, атмосфере. Но при этом нельзя пренебрегать и логикой развития самого характера, это как раз особенно важно. Ведь было в этом человеке, было и другое! Не только вначале, на гребле, но и потом. Когда он свою волю, энергию бескорыстно направлял на самое важное, нужное, необходимое людям, и жило в нем сознание, что он с ними, со своими людьми, а не над ними. Впереди, ведет их, в чем-то обгоняет, но с ними.

Вон какие были светлые минуты в его и других куреневцев жизни (Олеши, Хоня, Зайчика, Грибка, их семей), и какие светлые страницы написал об этом И. Мележ — о рождении их трудового братства, первого коллектива в Куренях, маленького, но настоящего, сознательно избранного и потому живого и радостного.

«Было что-то новое в том, что чувствовали друг к другу, было какое-то удивительное, необычное понимание друг друга, близость. Будто они свои уже, братья и сестры будто. Эта близость делалась только крепче от того, что одновременно лезла в мысли, в душу забота, которая кое у кого становилась просто-таки беспокойством: а как оно будет позже, что выйдет из всего, что начинается здесь, этой душной ночью».

Как и шолоховский Григорий Мелехов, Василь Дятел в романе И. Мележа живет, существует в определенном слое крестьянства, и социальное положение его определенное. Да, Мелехов — середняк, но «Тихий Дон» — это не просто о судьбе середняка или «середняка-казака» в революции, как писали в свое время. А и о судьбе крестьянства, и трудового народа, да и вообще человека на горячей от битв и страстей планете.

Нет, не все Курени, куда возвращаемся мы с Апейкой после «сессии», не всю деревню, крестьянство тех лет увидишь через Василя Дятла. Оно разноликое, сложное: и Миканор, и Хоня, и Зайчик, а с другой стороны, кулаки Корчи — ведь это тоже крестьянство.

Но тем не менее многое, очень многое собрано именно в Василе, в этом особенно емком образе романа. Здесь и отношение Василя и других крестьян к «темпам» и к «методам». Да, Василь тебе не побежит в коллектив без оглядки, «прослышав про

агророда-гиганты». Тут потребуется что-то, может быть, менее гигантское, но более реальное. Кстатi, сами куреневцы немало о таком думают, рассуждают наедине с собой, но и на собраниях также: и о тракторах и о кредитах...

Стоит припомнить все эти собрания куреневские, на которых Миканор и растерял последнее свое терпение (не очень хотя и богатое). Ведь там что ни крестьянин, что ни куреневец — то «Василь»: «Обождать да посмотреть надо!» Василь Дятел, правда, и моложе и горячее других крестьян-куреневцев. И бесхитростнее. Но даже те, кого бедняцкое положение ставит ближе к Миканору — Хоня, Зайчик, Олеша, — даже они одновременно и с Василем.

Великолепная в этом плане есть во второй книге сцена, по художественной, психологической емкости одна из лучших. Столько там сказано каждой фразой куреневцев и каждой репликой автора.

Миканор с первыми колхозниками и землемером проходит на Василево лучшее поле («за цагельней»), ради которого тот стольким (даже Ганны любовью) готов пожертвовать. И вот поле это забирают. Василь понимает, что и право и сила на стороне Миканора. Но стоит на своей полосе, чего-то дожидается.

«И все же не мог сойти с нее, отдать все так просто. На это был как бы некий неотменимый приказ всей жизни. И он готовился, ждал.

Будто не своими ногами ступил он к Хоня, что подтянул ленту к его полосе. Дрожавшим и хриловатым голосом вытиснул:

— Тут... засеяно...

— Все, брат, — и засеянное и не засеянное, — одинаково, — сказал, выпрямившись, весело глядя на него, Хоня. В голосе его было что-то странно дружеское, товарищеское.

Василь заметил, как возле них быстро собирается толпа. Тетки, дядьки, дети, злорадствующие, просто любопытные.

— Все, брат Василь, под один гребень! — весело посочувствовал Хоня.

На осповатом Миканоровом лице была та же презрительная уверенность...

Миканор шагнул, уверенно взял его за плечо. Хотел столкнуть его. Василь будто только и ждал этого.

— А-а, т-ты так!

Он оторвал руку матери, как-то дико-расторопно — не помня уже, что делает, — ри-

нулся на Миканора. Хватился за грудки... Сильно рванул на себя, Миканор почти вплотную увидел слепые и радостные, полные люто́сти глаза...»

В этом «и радостные» — целая драма души человеческой. Радостные — оттого что хоть такой бессмысленный и безнадежный, но выход! Из всего, что завязалось в нем и вокруг него, Василя Тут и замужня теперь Ганна — к ней любовь, и к «сопернице» Ганны, к земле, уже не любовь, а страсть, но и там и тут — крах, бессилие что-то изменить, осгановиться на том, что ему, Василю, надо... И вдруг — иллюзия, что вот кто виноват, наконец Василь держит «его» за грудки, и радость, что выход — пусть хоть тюрьма. На этот раз Василь, кажется, сам обрадовался бы еще большей беде — только бы не чувство, что все делается, происходит помимо и мимо тебя, а ты ничего не можешь!..

Да, конечно же, не иллюстрация Василь к чему бы там ни было, а живой, эстетически самоценный характер, чрезвычайно богатый, сложный, емкий — столько «силовых линий» самой жизни, наэлектризованной, как воздух перед грозой, пронизывает этот образ.

Василь живет прежде всего чувством, хотя он может и показаться вон каким расчетливым «рационалистом» той же Ганне, да и читателю. Вьсь-то он в расчетах, подсчетах: какой бы ему землицы, да что важнее — Ганны любовь, призыв ее все бросить и уйти, уехать или хозяйство, земля «за цагельней», которую добыл женитьбой на нелюбой Прокоповой дочке Мане.

Но и в своих расчетах-подсчетах Василь — человек страсти. Она висит над ним как «неотменимый приказ», когда он схватывается с Миканором на своей полосе. Из-за нее, рядом с ней меркнет и как бы гаснет и его к Ганне любовь. Ганну он способен оставить, «уступить» Евхиму, поверив как-то очень охотно сплетням, наговорам, и даже потом найдет утешение в холодных и тоже как бы расчетливых рассуждениях, что «не судьба», что «вот и хорошо!» и можно отдать что-то главному... Другой страсти.

Так бегут к возлюбленной на свидание, как Василь ходит к своей «полосе» смотреть на всходы, радоваться и тревожиться за них! И так мучаются ревностью, терзаются всем адом подозрений, надежд и «видений наяву» великие ревнивицы, надеясь и боясь застать соперника, как терзался

Василь, когда на рассвете, почти ночью, бежал он к «цагельне», чтобы первому захватить, запахать землю, о которой всегда и столько мечтал.

Но «богатство», к которому Василь так безоглядно рвется, — особого рода. Это не мертвое богатство сундуков, с высоты которых скупой рыцарь «взирает на все, что ему подвластно», упиваясь сознанием силы своей, которое тем острее, что он силой этой не пользуется. И это не богатство Корча — куреневского кулака, который среди людей, а не в подвалах живет и людьми, их трудом пользуется, готовый (если бы позволили) свой «талант хозяина» и накопленное превращать в новые гектары земли, в молотилки, а соседей в батраков.

Что ж, Василь и тем и другим мог бы стать. И может. Особенно Корчом. При определенных условиях.

Но чем только человек не может стать! Так сразу ли за это судить и карать его? Ни один кодекс человека за это не карает. Разве что христианство — за «первородный грех».

Потому-то серьезная литература («Тихий Дон», «Страна Муравия», «На Иртыше» и др.), зная, по-марксистски понимая, что частнособственническая деревня рождает капитализм ежечасно, ежеминутно и в массовом масштабе, литература эта тем не менее вовсе не преисполнена заведомым недоверием или неприязнью к самому крестьянину и к тем качествам его психологии, которые его крестьянином, земледельцем и делают.

Да, много раз мы видим и ощущаем, как не прав, исторически не прав крестьянин Василь Дятел в своих поступках, желаниях, чувствах. Автор романа нам об этом говорит. Ведь то, что совершается в его Куренях, по всей стране, и ради Василя совершается. Как совершалась социалистическая революция ради Григория Мелехова тоже, хотя вон как яростно, саблей Григорий рубится с нею! Но правда и то, что и Миканор этого тоже не понимает, и Башлыков не понимает, что во имя Василя, вот этого конкретного, куреневского, даже если он ведет себя и не «идеально», с их точки зрения.

А именно так думает, так это понимает коммунист Апейка, который столь близок автору. Вот он разговаривает в Жлобине на вокзале с крестьянами, бегущими из деревни — от колхоза, который организовывает еще один башлыков:

«Вот именно: смотреть будете! Другие будут пахать, сеять, драться, поднимать хозяйство в селах, а вы...»

Он знает неправоту этих беглецов, потому что колхоз — что бы там ни накрутил загибщик Ярощук — «сам по себе дело надежное... Разумное. И свое возьмет». Но он и понимает их чувства. «Есть у них своя правда, есть, и нечего прятать это». Главное, «как остановить», задержать в селах все ценное. Не позволить, чтобы село теряло попусту людей... «Необходимо бороться с их страхом. Терпеливо объяснять. Прививать веру... Единственный выход».

Василь, однако, не убежит — почему-то веришь в это. Земля не пустит, даже когда она перестанет быть «лично его» землей. И если этого Василя события куда-то и отнесут, оторвут от земли, то миллионы других не подадутся следом за теми, жлобинскими. Вот так повернется та «Василева страсть» — любовь крестьянская к земле-кормилице, — становясь неожиданным и таким необходимым достоинством, в процессе новой практики приобретая, конечно, иное психологическое и социальное содержание.

Ошибается Василь в чем-то очень большом, важном. Но его отличие от Ярощука, Башлыкова, что ошибки свои оплачивает он сам, а не другие. И все, что он говорит, делает, все оплачено страстью, кипением души и чувств его.

На том же поле, где он схватывается с Миканором, присутствует молодой землемер, удивительно посторонний всему, что происходит возле и вокруг него. Образ эпизодический, безмянный, но через него вдруг открывается столько — и в Башлыкове, и в том далеком Ярощуке: человек ходит по полю, отмеряет Василю, Хоне, всем куреневцам кому радость, удачу, кому огорчение, беду, а сам вон какой чужой и безразличный и к тем и к другим, сам он ничем не платит за то, в чем участвует, ни единым нервом не жертвует...

Да, Василевы недостатки, пусть и небольшие, являются продолжением достоинств его — тоже крестьянских и тоже немалых. Припомним, как умеет он, еще неокрепший, почти паренек, работать (сцена косьбы в самом начале романа). Сколько души, тепла он вкладывает в каждое растение, которое выращивает. Кто знает, не этим ли теплом крестьянских рук и дыхания земледельца вместе с лучами солнца, с которыми тепло это совмещалось, отогрета была, за-

зеленела вновь наша планета — после всех оледенений!

Ну, а если без поэтических преувеличений, а если припомнить реальную историю и реальную жизнь тысяч и миллионов таких упрямых, влюбленных в землю-кормилицу крестьян, так можно и Василеву судьбу представить дальше вполне реально (хотя это, может быть, и не совпадет с сюжетной, романной судьбой конкретно этого Василя).

Крестьян позвала социалистическая революция, которой трудовой человек глубоко доверял со времен Ленина — потому крестьяне вступили на незнакомый путь коллективной жизни всей массой, увлекая и самых упрямых, недоверчивых. И сделал это, решился на это крестьянин-земледелец с неожиданной простотой — как умеет только народ поступать, решать на поворотах своей истории... (Эта мысль в романе присутствует в самом авторском отношении к крестьянам-куреневцам, в массовых, групповых сценах куреневских собраний, к ней, к этой мысли, ведет вся логика событий первых двух книг И. Мележа.)

А дальше война, тяжелейшие испытания для народа, страны, общественного строя, и из нее мы вышли победителями благодаря не в последнюю очередь тем качествам, которые народ пронес через все века трудовой жизни и великих испытаний исторических. И благодаря новым качествам, которые взрастила в людях действительность уже советская.

А затем послевоенные трудности в деревне. О, как нужен был в тех условиях полного разора, обезлюдения деревень наших Василь, пусть со многими его недостатками. Тот, который от земли не убежит. С этим его трепетным отношением ко всему, что кормит человека на земле, со злым упорством в работе. Даже если ты голоден на ней, на этой земле, потому что враг все истребил, сжег... И потому, что, может быть, какой-нибудь ярощук или башлыкков снова не хотят ничего знать, кроме «давай! быстрее!».

Как много значило в этих тяжелейших условиях чувство земледельца! Вспоминается, как в трудном 1949-м председатель колхоза в бывшей партизанской деревне пошел по хатам и ничего уже не обещал разувярившимся в трудные людям, а только сообщал, что «жито осыпается, осыпается жито!». Заходил, сообщал и, ни о чем не прося, уходил. И выходили из хат бабы, деды, которые и на улицу уже не показывались

из-за старости, болезней, и долго искали серпы, косы...

...Судьба Ганны и Василя, жизнь их обоих выстраивается по «силовым линиям» сложного, противоречивого времени — между двумя полюсами. Эти напряженные «линии» держат их (Василя — возле земли, хозяйства, дома) или, наоборот, зовут куда-то, уводят от прежнего (Ганну). И друг от друга. И, возможно, жизнь разведет их еще дальше: вон уже из Куреней, от Евхима убегает Ганна. В большой мир. Навстречу неведомому, неизведанному. Конечно, это роман 60—70-х годов, и такая судьба не может кончаться, как порой в литературе было, просто уходом «в новую жизнь», где все заново и легко решается и разрешается. Там, куда уходит Ганна, нет ее проклятия — Глушаков с их домом и безжалостным кулацким хозяйством, с нелюбой любовью и тяжелыми кулаками (уже в прямом смысле) ревнивца Евхима... Но там свои проблемы, конфликты, ситуации, тоже непростые, нелегкие.

Белорусская современная проза — часть многонациональной советской литературы — испытывает сегодня и радость, но и тревогу активно растущего «организма», обнару-

живающего в себе качества, вроде бы не свойственные еще вчера.

Роман-хроника И. Мележа принадлежит к числу, к типу произведений, казалось бы, подчеркнутого традиционных. Но мележевское возвращение к традиционным для белорусской литературы теме, материалу, проблемам — это возвращение вперед. Это спиральное движение литературы к новым, новаторским идейным эстетическим открытиям.

Стремительно движется само время, уже наше время — вторая половина XX века. А из прошлого, догоняя, обгоняя его и уже идя навстречу ему, разрезая его бурные волны, высокие валы, движется литература. Большая литература. В которой сама «традиционность», как в мележевской «хронике», звучит современно и даже новаторски. Потому что взгляд на мир, на общество и человека в таких «традиционных» по стилю произведениях — это взгляд нашего времени. Он-то и определяет новаторские черты такой прозы.

Работа И. Мележа над «полесской хроникой» продолжается. Пишется третья книга, угадывать которую не будем. Будем ждать. С верой в поиск, в талант большого советского писателя.



СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...

(Рассказы о писателях, книгах и словах)

СТАТЬЯ ПЯТАЯ*

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ. «БЕСЫ»

1

Обыкновенно литераторы поручают выражать свои заветные думы персонажам положительным.

Достоевский принадлежал к иной категории писателей. Он не колеблясь одарял мыслями, которые разделял, и героев положительных и весьма отрицательных.

Это происходило, между прочим, и оттого, что ни один свой вывод этот мудрый человек в глубине души не считал окончательным.

— О, как мучила его эта книга! — восклицал повествователь «Бесов» по поводу Степана Трофимовича, разумея под книгой роман Н. Чернышевского «Что делать?».

Восклицание это можно полностью отнести и к Достоевскому. Вопросы, поднятые Н. Чернышевским, мучили его до самой смерти.

Первый бой идеям романа Достоевский дал меньше чем через год после его появления — в повести «Записки из подполья».

Л. Гроссман заметил, что «Записки из подполья» представляют собой развернутый конспект «Преступления и наказания». Это верно. Так что не будь романа Н. Чернышевского, не было бы, может быть, ни «Записок из подполья», ни «Преступления и наказания».

Следы чтения романа «Что делать?», чтения с пристрастием, с негодованием, во всех произведениях Достоевского весьма

явственны. В «Преступлении и наказании» выведен, между прочим, некий Лебезятников. Сам того не ведая, он глуповато пародировал Н. Чернышевского, произносил пышные фразы вроде: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь же я тебя уважаю», расписывал Соне прелести гражданского брака, жизни втроем, объяснял, почему мужчина оскорбляет женщину, целуя ей руку, и сразу вслед за этим склонял Соню к сожительству.

Некоторые наши исследователи сердятся, что Лебезятников осмеивал высокие идеалы революционных демократов. Но, изображая лебезятниковых, Достоевский осмеивал не идеалы, а пошляков, падких на моду и марающих по своему скудоумию все, чего ни касаются.

Главный аргумент в споре с идеями демократов в «Преступлении и наказании» — судьба Раскольникова. Трагедия Раскольникова должна была подтвердить левиз Достоевского: «Чтоб умно поступать — одного ума мало».

2

Повесть «Записки из подполья» почти не заметили. В статьях по поводу «Преступления и наказания» утверждали, что Достоевский скатывается в лагерь реакции. «Он не говорит прямо, что либеральные идеи и естественные науки ведут молодых людей к убийству, а молодых девиц к проституции, а так, косвенным образом, дает это почувствовать...» («Неделя», 1866).

* Предыдущие статьи см. «Новый мир», 1972, №№ 10, 11; №№ 2, 3 с. г.

Между тем популярность романа «Что делать?» росла с каждым днем. Бастион революционной мысли оказался несокрушимым. Роман переписывали от руки, зачитывали до лохмотьев. Молодежь с радостью и надеждой откликалась на призыв Н. Чернышевского: «Поднимайтесь из вашей грязи, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет». По всей России росли коммуны, швейные и сапожные мастерские, кружки самообразования. Казалось, сбылись сны Веры Павловны. Девушки обрезали косы, убегали от родительского деспотизма, молодые люди, следуя примеру Рахметова, спали на голом полу, занимались на самую тяжелую работу...

Достоевский бросается в новую атаку и в 1868 году печатает роман «Идиот».

Это произведение кажется мне более ожесточенным, чем «Преступление и наказание». Автор не ограничивается тем, что изображает нигилистов-утилитаристов злее и карикатурней, чем одиночку Раскольникова. В противовес Лопухову и Рахметову он рисует и свой положительный идеал — князя Мышкина. Утилитарные соображения «пользы» князю недоступны. Со слов врача, Мышкин говорит о себе: «Я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил».

Эта умственная невинность облегчает князю выводить глубокие, дальновидные заключения.

Способность князя, минуя разум и следуя чистому голосу сердца, проникать в скрытые закоулки души, изощрена до крайней степени потребностью сострадания, того самого сострадания, которое, по мнению Достоевского, «есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества». Это качество и составляет то, что влюбленная Аглая назвала главным умом князя. «Хоть вы и в самом деле больны умом,— откровенно говорит она,— зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился».

Князь Мышкин, по замыслу автора, образец поведения в мире, где мера всех вещей — капитал.

Перепуганный обыватель Лебедев пророчит: наступает конец света Алчность и нажива ведут человечество прямехонько в ад.

«Чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали,— вы люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной и прочего? Чем?» — вопрошает Лебедев.

— Мир спасет красота,— твердо отвечает князь Мышкин.

Мысль эта неоригинальна. В разных вариантах ее повторяли достойные уважения мыслители и до и после князя Мышкина. Бернард Шоу, например, писал: «...основанием нравственности я полагаю художественное чувство».

В этом утверждении — один из центральных узлов романа, и тут Достоевский снова сталкивался с революционными демократами.

Писарев, например, начисто отвергал живопись, музыку, театр. Он решительно не верил, «чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества», и советовал Салтыкову-Щедрину бросить сатиру и переводить статьи по естествознанию.

Стремление Д. Писарева и В. Зайцева «доконать эстетику» легко объяснимо. Они желали отвлечь творческие силы общества от «искусства для искусства», направить эти силы «на решение главных, жгучих и неотразимых вопросов первостепенной важности».

Несмотря на полемические крайности, произведения Писарева содержат ценнейшие мысли о связи искусства с жизнью.

Возражая «разрушителям эстетики», Достоевский перегибал палку в другую сторону, но при этом высказывал поучительные мысли о деятельности художника.

Б противоположность мнению Д. Писарева о том, что созданный художником, скульптором, писателем образ «не более как бледный и общий, неопределенный намек на действительность», Достоевский считал, и, я думаю, считал правильно, что типический образ становится полноценным только в результате творческой обработки: «В действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти жорж-дандены и подколесины существуют действительно, снуют и бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии».

Достоевский считал, что нормальные, естественные пути, ведущие к тому, что полезно людям, не совсем известны. Научно определить с совершенной точностью, что

вредно и что полезно в данный момент, было бы равнозначно возможности «рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря». А искусство «всегда в высшей степени верно действительности» («Иначе оно не настоящее искусство», — добавляет Достоевский). Оно всегда современно, «насуточно полезно». В силах искусства — отличить теорию нравственную, а следовательно, полезную, от теории безнравственной, следовательно, вредной¹. «Нравственно только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете».

В романе «Идиот» поступки персонажей в нравственном смысле легко поделить на «красивые» и «некрасивые».

Нигилисты, выведенные в романе, совершают поступки до крайней степени «некрасивые»: пишут клеветническую «абличительную» статью «за шесть целковых», грубо вымогают деньги.

Богатый «европеец» Тоцкий, человек «изящного характера, с необыкновенною утонченностью вкуса», пытается припудривать красотой свою малопочтенную натуру. «Ценитель красоты он был чрезвычайный», — замечает Достоевский и на примере этого «промышленника» показывает, что красоту не подделать, что зло и подлость использовать красоту в качестве грима не в силах.

Зато князь Мышкин ведет себя до того «красиво», что, глядя на него, исправляются самые заскорузлые нигилисты.

Сейчас мало кто сомневается в том, что совершенствование духовной природы человека неотделимо от развития его эстетической чуткости.

Красота используется в качестве ориентира и при поисках истины. То, что правомерность такого использования оспаривается, не удивительно. Удивительно, что возражения исходят в основном из лагеря современных идеалистов. В частности, по мнению Н. Бердяева, «эстетическая ориентация в жизни ослабляет чувство реальности, ведет к тому, что целые области реальности выпадают». А вот знаменитый физик, пред-

¹ Спор этот велся еще в те далекие времена, когда слово «эстетика» писалось «эсфетика». И Пушкина удивляло, что «мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готтшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза».

сказавший нейтрон, П. Дирак считает, что красота — самый надежный показатель истинности научной теории. Очевидно, слово «красота» ученые понимают несколько иначе, чем мы, литераторы. Ведь оно тяготеет к греческому «космос»: слово «космос» в древности противопоставлялось понятию беспорядка и хаоса и означало порядок и красоту. Может быть, утверждение П. Дирака — крайность, но практика показывает, что доля правды в нем есть.

Вспомним, что в число обязательных принципов, которыми испытывается истинность теории Большого Взрыва Вселенной, астрономы включают такой: удовлетворять требованиям эстетики.

Выдвигая критерий «внутреннего совершенства» теории, Эйнштейн руководствовался и эстетической интуицией. Для него изящество — симптом достоверности.

Венгерский математик Янош Бойи отдал лучшие годы жизни доказательству справедливости пятого постулата Эвклида. До Бойи эту же задачу в течение веков пыталось решить множество ученых (в том числе и Омар Хайям), и только потому, что Эвклидово доказательство выглядит недостаточно изящным.

Пытался доказывать пятый постулат и наш великий соотечественник Н. Лобачевский. Задачи не решил и он, зато в процессе работы открыл законы неевклидовых пространств, в одном из которых мы, по видимому, обитаем. Об истории всех этих доказательств В. Смилга написал талантливую книгу, которая называется «В погоне за красотой» («Молодая гвардия». 1968).

3

Роман «Идиот» не оправдал надежд Достоевского. Враги в меру своего остроумия потешались над Мышкиным, друзья ограничились вежливо-сниходительным одобрением.

Неуспех был особенно чувствителен на фоне триумфа романа Н. Чернышевского Печатай «Что делать?» отдельной книгой было запрещено, упоминать фамилию опального автора не разрешалось ни в газетах, ни в журналах. Но популярность романа была стойкой, предсказывала его долговечность. По свидетельству Суворина, номера «Современника», в которых был опубликован роман, продавали за шестьдесят рублей.

Смириться с этой неудачей Достоевский не мог. С присущим ему страстным раздражением он стремился втолковать, что «болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали». Удостоверившись, насколько малодейственной оказалась его беллетристическая деликатность, он решил высказаться до конца, публицистически, «не заигрывая с молодым поколением».

В набросках к давно задуманному роману, который должен был называться «Атеизм», намечен некий «князь», «барчук», дошедший до крайней деградации. Фамилия его была Ставрогин. Этому моральному уроду поначалу и была предназначена главная роль в новом антинигилистическом романе-памфлете.

Чем дальше продвигалась подготовительная работа, тем больше замысел приходил в противоречие с законами прекрасного, которые были объявлены в «Идиоте».

Давно ли Достоевский жаловался на приверженцев «натуральной школы»: «...напишите им самое поэтическое произведение; они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь секут. Поэтическая правда считается дичью. Надо только одно копирование с действительного факта. Проза у нас страшная». А тут вдруг и сам берется за то же: копирует полицейские отчеты и утверждает, что нигилисты «требуют окончательной плети». «Дикое для меня дело», — спохватывается он.

Долго, мучительно определялась манера писания «Бесов». С каждым новым началом (а их было забраковано около десяти) все больше выпирала умышленная тенденция и роман приобретал неприкрыто злобную окраску. Писатель, которого после «Преступления и наказания» открыто обвиняли в «грязеньких инсинуациях», должен был особенно болезненно ощущать этот недочет.

Может быть, в поисках верного тона Достоевский и вспомнил о Лебезятникове из «Преступления и наказания». И правда: не будет ли лучше, если поручить рассказ персонажу, схожему с Андреем Семеновичем Лебезятниковым? Роль рассказчика в сюжете будет второстепенной, даже третьестепенной. Достаточно того, чтобы он, как и Лебезятников, сочувствовал нигилистам или хотя бы тяготел к их лагерю.

Он доведет идеи нигилистов до абсурда не осуждением их, а хвалой, и у читателя установится верный иронический взгляд и

на идеи и на самого рассказчика. Вспомним, как смешно было слушать разглагольствования Лебезятникова об отмене законного брака и уговоры не мешать невесте завести любовника.

Такой рассказчик будет ценен не только тем, что он говорит, но и тем, как он проговаривается: «Я к вам, Софья Семеновна. Извините... Я так и думал, что вас застану, — обратился он вдруг к Раскольникову, — то есть я ничего не думал... в этом роде... но я именно думал...» Он фантазер, наш Лебезятников, и ради эффекта готов уснастить факты такими нечаянными подробностями, что любая трагедия превратится в фарс, а фарс в трагедию. Рассказывая, как сошедшая с ума Мармеладова выплясывала на улице, он искренне верил, что она за неимением бубна била в кастрюлю. Самые немислимые, самые бесовские поступки покажутся достоверными по одному тому, что рассказывать о них будет не раздраженный обличитель, а приверженец «новых идей». А чрезмерные выпадать легко списать на невинность повествователя. Нужно только не делать его радикальным бесом, не заставлять спорить с Добролюбовым и «закатывать Белинского», как грозился почтенный Андрей Семенович. Пусть он будет «недосиженным», не лишенным обывательской порядочности болтуном-либералом.

Итак, решено: нужно писать не от собственного лица. Пусть рассказчик-очевидец излагает события в виде хроники.

И в феврале 1870 года в черновой тетради появляется запись: «Рассказ отлично выйдет без малейшей шероховатости. Главное ХРОНИКА».

4

Персонаж, исполняющий ответственную роль хроникера в «Бесах», не является, конечно, копией Лебезятникова. К нему не подходят суровые эпитеты, которыми Достоевский награждал петербургского «прогрессиста»: «дохленький недоносок», «недоучившийся самодур» и другие. Но, может быть, потому, что внешность хроникера не описана, хроникер этот, Антон Лаврентьевич Г—в, молодой человек «классического воспитания и в связях с самым высшим обществом», представляется мне таким же, как Лебезятников, — худосочным и золотушным.

Вероятно, по склонности к пустому либеральничанию он и стал «конфидентом» Степана Трофимовича. Несмотря на значи-

тельную разницу лет, их объединяла такая трогательная дружба, что иногда Антон Лаврентьевич не отделяет себя от своего учителя и записывает: «Мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали, «с горя мы немножко выпили» или «мы с ним, может быть, и преувеличивали».

Хроникер ведет свое повествование после потрясений, взбудораживших город. Испуганный происшедшим, он поутих, стал называть бывших своих приятелей «сволочью» и «мерзавцами» и каяться в безумствах либерализма.

Отличительная особенность Антона Лаврентьевича — подобострастие, подчеркнутое заботой о том, чтобы оно не выглядело слишком лакейским.

Это свойство делает его не просто рупором авторских намерений, а живым, характерным лицом и кладет своеобразный отпечаток на его повествование.

«Я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению», — заявил как-то Антон Лаврентьевич. Между тем убеждения его крайне смутны. Может быть, по этой причине он являет собой самое бездействующее лицо из всех персонажей. Он не действует, а суетится. В суете его не видно ни цели, ни смысла. С этим его свойством настолько свыклись, что когда вдруг по какому-то поводу он попробовал заявить претензию, Липутин с откровенным изумлением спросил: «Вам-то что за дело?»

При подходящей закваске из такого обывателя мог бы выработаться добротный бесенок, если бы в характере его было меньше самой прозаической трусости. Когда на балу стала накаляться атмосфера и благородный распорядитель Антон Лаврентьевич почувал, что пахнет жареным, он решил про себя: «...в самом деле, мне-то что за дело, сниму бант и уйду домой, когда начнется». Обыватель-мещанин обожает всяческие отличительные банты, куда они не опасны.

И своей любви к Лизе Дроздовой Антон Лаврентьевич струсил, но утешился тем, что осознал «всю невозможность» ответного чувства.

Единственное дело, которым всерьез озабочен Антон Лаврентьевич, — быть достойным «конфидентом» Степана Трофимовича. Лиза Дроздова сразу угадала натуру хроникера: «Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфидент Степана Трофимовича?»

Давно известно, что когда начинают расхваливать сверх меры какую-либо, пусть и достойную того, личность, становится немного конфуздно, особенно если златоуст глуповат и, как говорят, без царя в голове.

Антон Лаврентьевич чрезвычайно уважал «высшую даму» Варвару Петровну, но как только принимался ее описывать, каждая фраза оборачивалась юмористически. А, сказано в романе, «ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла».

Антон Лаврентьевич любит и глубоко уважает Степана Трофимовича. Но как только упоминает о нем — и вроде бы дословно передает его фразы и проповеди, — становится смешно. «А не было человека, столь заботящегося о красоте и о строгости форм в сношениях с друзьями, как Степан Трофимович», — сказано в романе.

Антон Лаврентьевич с должным почтением относился и к властям предрержащим. Но как только упоминает о губернаторе фон Лембке, невозможно удержаться от хохота. А смеха почтенный градоправитель пугался и не терпел до такой степени, что повелел однажды: «Выгнать всех мерзавцев, которые смеются!»

5

По давней традиции, за «Бесами» установилась репутация сочинения жуткого, безнадёжного. «Эта книга великого гнева написана в апокалипсических красках... Не хватает в романе только апокалипсического Дракона, передающего свою власть первому зверю...» — писали в 1903 году.

«Среди романов-трагедий Достоевского нет ни одного, который мог бы сравняться с «Бесами» по оставляемому им мрачному, гнетущему впечатлению. В финале — одни лишь смерти и никакого просвета в будущее...» — писали в 1959 году.

Но чем дальше идут года, чем больше горячая тенденциозность оборачивается хладнокровной историей, тем отчетливей выступает высокая художественность романа и тем виднее становится, что мир «Бесов» проникнут «необузданной стихией комического». Так говорил о творчестве Достоевского Томас Манн. Самое прямое отношение эти слова, по-моему, имеют к «Бесам». По диапазону смеха, включающего все оттенки — от беззлобного юмора до едкой са-

тиры, — «Бесы» — произведение исключительное.

Вспомним Лебядкина, читающего Варваре Петровне про «мухоедство», водевильную сцену проклятия Степаном Трофимовичем своего сына, комическое явление фон Лембке на пожаре, буффонаду праздника с чтением «Мерси» и хождением вверх ногами, бурлескный обыск у Степана Трофимовича и трагикомедию его последнего странствования.

А как по-гоголевски выписана провинциальная администрация: губернатор Лембке, «до самой своей женитьбы пребывавший в невинности», причем «задумываться ему было вредно и запрещено докторами»; его супруга Юлия Михайловна, которой нравились «и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент». Как пощедрински выглядит полицеймейстер, который, скача на дрожках, становился во весь рост, «простирая правую руку в пространство, как на монументах, обрубая таким образом город»; или квартальный, почтительно упрощающий окончательно свихнувшегося губернатора «испробовать домашний покой-с»; или пристав Флибустьеров, отличавшийся «прирожденным нетрезвым состоянием»; или «согбенный от почтения» советник губернатора Блюм.

Даже в названиях глав переливаются самые разные оттенки комического. Пародийный заголовок «Несколько подробностей из биографии многотимого Степана Трофимовича Верховенского» сменяется саркастическим «Принц Гарри», злобно-насмешливое «У наших» следует за подтрунивающим «Степана Трофимовича описали».

«Бесы» представляют собой энциклопедию видов и приемов комического. И недостижимых высот в этой сфере Достоевский достигает в главах, посвященных Степану Трофимовичу, которые оправдывают его изречение: «Возбуждение сострадания и есть тайна юмора».

6

Роман «Бесы» начинается изложением подробностей биографии Степана Трофимовича.

Характер этого персонажа определен в черновых набросках так: «жаждет гонений и любит говорить о претерпленном им».

Степан Трофимович был одним из тех либеральных бездельников, которых во множестве поставляло дворянство 40-х годов прошлого века. Он порицал самовластье, цокал языком по поводу преступлений крепостничества, но за цветным жилетом его, за изящной фразой, пересыпанной французскими словечками, скрывалась ридовка и попытка усыпить разбухшую декабристами совесть. Либеральное фронтдерство становилось модой. Мода эта до поры до времени не мешала служить по полицейскому или цензурному ведомству, получать кресты в петлицу, но в обществе уездных невест выглядела бунтарем.

Тщеславный позер-либерал быстро смирился и завершал свой путь примерным чиновником или помещиком. А ленивый Степан Трофимович так и остался болтуном до самой старости. Устроившись под кровом богатой барыни, он разыгрывал перед кучкой молодых бездельников выдуманную им самим роль патриарха, наставника, гонимого за идею, и произносил кисло-сладкие монологи о судьбах России. С ним произошло то «самоотравление фантазией», о котором упоминал Достоевский по другому поводу. Он твердо уверовал в свое высшее предназначение, в свою особую миссию, даже в то, что Третье отделение установило за ним тщательную слежку. Он был страшный трус, но за эту свою мечту держался как за спасательный круг. А что еще оставалось делать плаксивому, старчески неопрятному пятидесятичетырехлетнему ребенку?

Самовлюбленные болтуны вроде Степана Трофимовича, по мнению Достоевского, породили и выпестовали бесовское поколение — нигилистов 60-х годов.

Легко заметить, что Антон Лаврентьевич (хроникер) наиболее активно действует в тех сценах, где появляется Степан Трофимович. В отличие от некоторых других персонажей Степана Трофимовича мы все время видим глазами хроникера. Эту особенность не объяснить тем, что хроникер — «конфидент» Степана Трофимовича. Мы чувствуем Антона Лаврентьевича и в тех сценах, где он не присутствует да и не может присутствовать (например, в «последнем странствии»).

Суть здесь в изобретенном Достоевским тоне, в манере повествования. Манера хроникера — не просто почтительное, а усиленно почтительное преклонение перед учителем — оказалась идеальной для изображения Степана Трофимовича.

Недалекий хроникер чрезвычайно хлопочет о высоких достоинствах своего наставника. На первой же странице он торопится выразить учителю свое высокое уважение: «Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти,— так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю».

Хроникер хлопочет, чтобы его не поняли превратно, и, озабоченный постоянными хлопотами, то и дело попадает впросак. По поводу «классической дружбы» Степана Трофимовича с Варварой Петровной он повествует: «Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуть в одном лишь самом высоконравственном смысле».

И чем простодушнее Антон Лаврентьевич спохватывается и поправляется, тем смешней выглядит его друг и учитель.

Хроникеру, при всем его старании, никак не удается совместить возвышенность натуры любимого наставника с его прозаическими привычками, с игрой в ералаш и с пристрастием к выпивке. «Бывало и то,— вспоминает хроникер,— возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль-де-Кока», и добавляет весьма неловко: «Но, впрочем, это пустяки». Упомянув о соображении Степана Трофимовича, которое может показаться циническим, он торопливо выдвигает сомнительную гипотезу: «Мысль циническая, но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям уже по одной только многосторонности развития».

На первых страницах романа хроникер расхваливает Степана Трофимовича без всякого удержу. «Это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего». Антон Лаврентьевич, словно спохватившись, растерянно разевает рот, а автор незаметно помогает ему исправить оплошность: «Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается».

Иногда создается впечатление, будто хроникер сознательно снижает романтическую фразу, обожаемую его учителем, а возвышенная аллегория оборачивается будничной, вызывающей смех изнанкой. Рассказывается, например, о том, как, поссорившись с Варварой Петровной, Степан Трофимович «вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену». А строчкой ниже уточняется: «Происходило это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку».

Тот же прием использован в одной из самых трогательных глав, в той самой, где описывается многие годы лелеемое в душе Степана Трофимовича «мстительно-любственное» бегство от своей благодетельницы. О, как красиво, как театрально красиво мечтал он о своем бегстве: «Итак, в путь, чтобы поправить дело! В поздний путь, на дворе поздняя осень, туман лежит над полями, мерзлый, старческий иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле...» Прямо король Лир! А хроникер все портит: «Представлялся мне не раз и еще вопрос: почему он именно бежал, т. е. бежал ногами, в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадах? Я сначала объяснял это пятидесятилетнюю непрактичность и фантастическим уклоном идей, под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадах (хотя бы и с колокольчиком) должна была представляться ему слишком простою и прозаичною; напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-любвым».

Двух слов оказалось достаточно — «бежал ногами»,— чтобы разрушить всю возвышенность предприятия. А изысканное словечко «пилигримство» рядом с банальнейшим зонтиком еще больше выпячивает разницу между шекспировской мечтой Степана Трофимовича и ее комическим воплощением.

Зараженный таким тоном, читатель вскоре сам, без подсказок иронически оборачивает любое пышное словцо. Антон Лаврентьевич без задней мысли пишет про своего наставника: «Друзья мои,— учил он нас,— наша национальность...» — и т. д., а словечко «учил» уже плутовато ухмыляется, и все дальнейшее длинное, на страницу, псевдозападническое поучение Степана Трофимовича озаряется шутовским отблеском этого безобидного, в сущности, слова.

Принятый повествователем тон проникает и за пределы глав, посвященных Степану Трофимовичу. Не без влияния Степана Трофимовича и не без мысли о нем писал Антон Лаврентьевич, как «дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антон Горемыку», а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее».

Антон Лаврентьевич оказался до того прилежным учеником, что временами, сам того не ведая, повторял всерьез шутки своего наставника.

Приведа строки Некрасова:

Воплощенной укоризною
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист,—

хроникер продолжает: «Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении».

Все это и умно и зло, но к умственным качествам Антона Лаврентьевича имеет косвенное отношение. Наш хроникер настолько пропитался взглядами Степана Трофимовича, настолько усвоил его манеру судить и подтрунивать хотя бы и над самим собой, что совершил бессознательный плагиат.

«Укоряет, зачем я ничего не пишу? — гваривал Степан Трофимович.— Странная мысль!.. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». Но, между нами, что же и делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать,— знает ли она это?»

Комментаторы «Бесов» один за другим подчеркивают крошечные мелочи, которые должны навести на мысль, будто Степан Трофимович — карикатурное изображение Гимефея Николаевича Грановского, историка и философа, «просветителя русской нации», по характеристике Н. Чернышевского. Стоит хроникеру упомянуть, что Степан Трофимович писал диссертацию о значении немецкого городка Ганау в эпоху между 1413 и 1428 годами, комментаторы тут как тут: «...диссертация Грановского была посвящена вопросу о средневековых городах». Хроникер вспоминает мимоходом, что Степан Трофимович пострадал в

связи с каким-то письмом, а в комментариях услужливо объясняется, что на судьбу Т. Грановского оказало влияние письмо, обнаруженное при аресте петрашевцев.

Все это действительно так. Но наблюдения, интересующие узкий круг исследователей психологии творчества, могут сбить доверчивого читателя с толку.

Литераторы не раз предупреждали, что созданные ими персонажи не есть копии действительных личностей. Но поиски прототипов, как рок, преследуют их. Достоевскому действительно было известно название диссертации Т. Грановского: «Волин, Иомсбург и Винета»; за Т. Грановским действительно был учрежден негласный надзор, после того как в материалах по делу петрашевцев оказалось письмо А. Плещеева к С. Дурову. Но что делать писателю-реалисту? Ведь он берет материал из действительности и лепит воображаемые образы из того, что видит и слышит: из разговоров и поступков близких ему лиц, родственников, друзей, знакомых.

Возьмем, к примеру, монолог капитана Лебядкина: «Сударыня,— вопрошал он Варвару Петровну,— я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната,— почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де-Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебеда,— почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему?»

Монолог этот, как и все прочее в романе, не нафантазирован, не сочинен без всякого сопряжения с действительностью. Истоки его, «черновой вариант», нужно искать в окружающей писателя жизни. Один из вероятных истоков — статья Н. Добролюбова «Забитые люди». В этой статье критикуется, между прочим, слабость мотивировок в сочинениях Достоевского: «Отчего Голядкин в конце концов «мешается в рассудке»? Отчего Прохарчин «скряжничает и бедствует»? Отчего маленькая Неточка «унижается» перед Катей? Отчего Ростанев «отрекается от своей воли перед Фомой Фомичом»? Отчего Наташа «теряет волю и рассудок»?»

Статья была напечатана в 1861 году. Возможно, что и в 1870 году Достоевский помнил о ней и спародировал выразительную интонацию вопросника. Можно ли, однако,

этот факт считать пародией на Н. Добролюбова?

Как человек, питаюсь телятиной, не становится похожим на теленка, так и литературный тип, насыщенный действительными черточками живого человека, не становится его подобием.

В набросках к роману Степан Трофимович обозначен «Гр—й». Однако это обозначение определяет не личность, а идею будущего образа, идею «западничества».

Враждебно относясь к «закалятым» западникам, Достоевский припас для Степана Трофимовича весьма выразительные детали: «Ставит себя бессознательно на пьедестал, вроде мощей, к которым приезжают поклоняться, любит это», «Любит шампанское», «Любит писать плачевные письма. Лил слезы там-то, тут-то», «Плачет о всех женах и поминутно женится», «Струсил сам и умер поносом».

Но все эти детали так и остались в черновиках. Изучая существо образа под микроскопом хроникера, переживая сущность этого образа художественно, Достоевский за шутовским нарядом первоначального наброска все отчетливей постигал трагические черты личности, испытывающей «затаенное, глубокое неуважение к себе».

В «Медвежьей охоте» Н. Некрасова, из которой хроникер с ехидством цитировал стихи про либерала-идеалиста, двумя страницами дальше сказано:

Поверхностной иронии печать
Мы очень часто налагаем
На то, что должно уважать.

Написано это по поводу того самого Т. Грановского, фамилией которого был зашифрован в черновиках Степан Трофимович. Чем больше Достоевский вникал в существо образа, тем больше чувствовал мудрость некрасовских строк. Через пять лет после опубликования романа он признался: «...я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его». Но эта фраза, к сожалению, редко упоминается в комментариях к «Бесам». Считается более полезным подчеркивать, что Достоевский мечет свои отравленные стрелы в Тургенева, Грановского и Некрасова, Белинского и Герцена, Чернышевского и Писарева, Зайцева и Огарева и во многих Других.

Постепенно Степан Трофимович заслонил в романе всех других действующих лиц и в конце концов вопреки замыслу стал художественным центром произведения.

Перед смертью Степан Трофимович произнес такой автонекролог:

«Друг мой, я всю жизнь мою лгал. Даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя, я это и прежде знал, но теперь только вижу... я, может, лгу и теперь; наверно лгу и теперь. Главное в том, что я сам себе верю, когда лгу. Всего трудней в жизни жить и не лгать... и... и собственной лжи не верить».

В этих словах — трагедия жертв николаевского безвременья. Их было множество. Цензор А. Никитенко исповедовался своему дневнику: «...наклонность к ничегонеделанию вместе с праздным, безрезультатным разгулом мысли и фантазии, кажется, лежит в натуре нашей. Удивительнее всего, что эти стремления к пустоте, прикрываемые вычурным умозрением или умничаньем, мы готовы вменить себе в достоинство и восхищаться этим как истинно самородною чертою нашей широким и целью природы». Тот же А. Никитенко нашел в себе мужество подытожить: «Я сам себе кажусь ужасною гадостью, а жизнь моя — бессвязным, пустым, бесплодным сновидением...»

7

Степана Трофимовича Достоевский постепенно полюбил. А к подруге его Варваре Петровне от начала до самого конца он относился так же, как и ко всем остальным представителям светского общества, выведенным в романе, — с устойчивым отвращением.

Антон Лаврентьевич и не подозревает, какие издевательские нотки звучат в его рассказе, как только он почтительно, местами даже галантно, заговаривает о «женщине-классике», «женщине-меценатке» Варваре Петровне.

Главная идея этого образа — жажда присваивать. Присваивание здесь надо понимать в самом широком и самом крайнем, как это свойственно всем героям Достоевского, смысле. Варвара Петровна присваивает все: вещи, слова, мысли, людей, почет... Породистой помещице и в голову не приходит усомниться в законности и непререкаемости своего права «суверенничать», прибирать к рукам все что заблагорассудится, судить, рядить и миловать. Такой она родилась, такой и кончит дни свои.

Она и друга-то своего любимого Степана Трофимовича присвоила. Двадцать лет она держит его при себе как редкую достопримечательность, в пару к картине «мужичкого» художника Тенирса. Даже когда она отдает черную (очень не дешевую) шаль бедной хромоножке, этот эффектно совершаемый на людях дар тоже воспринимается не как благорасположение: «высшая дама», укутывая шалью хромоножку, вроде бы не шаль дарит хромоножке, а, наоборот, хромоножку дарит своей роскошной шали.

Если персона Степана Трофимовича вырисовывается поначалу из иронического пересказа некоторых подробностей его биографии, то суть Варвары Петровны хроникер вскрывает главным образом передачей (также иронической) ее собственной речи.

Обыкновенно, когда рассказчик передает разговоры действующих лиц, он либо воспроизводит речь пассивно, со всеми ее случайностями и особенностями, отступая на это время в тень, либо активно, от себя пересказывая беседу.

Во втором случае он обыкновенно вкрапляет в пересказ характерные реплики персонажей и наиболее его поразившие словечки, перебивает пересказ собственными комментариями.

В монологах Варвары Петровны мы сталкиваемся с третьим, наиболее тонким приемом. Сперва кажется, что хроникер выписывает ее речь стенографически. На самом же деле он передает не истинную речь, не монолог, а тенденциозный вариант монолога, искаженный таким образом, чтобы и в стдельных словах и в самой интонации можно было уловить основное свойство характера «высшей дамы» — присваивание. Вот переломный момент: страшное подозрение, будто ее сын Николай Ставрогин женат на хромоножке, не подтверждается. И Варвара Петровна пускается расхваливать любимого Nicolas:

«Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высоту его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом... И если бы всегда подле (отчасти пела уже Варвара Петровна) находился тихий, великий в смирении своем Горацио,— другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович,—то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и «внезапного демона иронии», который всю жизнь терзал

его. (О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович)...»

Сочинив, таким образом, своего сына, своего «принца Гарри», она восклицает: «О, это мой характер! Я узнаю себя в Nicolas. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов».

Достоевский — великий мастер передачи человеческой речи. Одной только манерой действующего лица изъясняться в «Бесах» решаются сложнейшие психологические задачи. Радикальное изменение взглядов Варвары Петровны под зловредным влиянием нигилистов исчерпывающе изображено ее коротким разговором со Степаном Трофимовичем.

Прежде чем привести реплики Варвары Петровны, разукрашенные чужими, краденными словечками, вспомним предшествующие разговоры подробности.

В городе неожиданно появляется главный «бес», Петр Верховенский. Отец его Степан Трофимович, не видевший «Петрушу» долгие годы, простирает к нему руки. И тут определяется вся суть «Петруши»:

«Ну, не шали, не шали, без жестов, ну и довольно, довольно, прошу тебя,— торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий».

Затем в присутствии Варвары Петровны он объявляет отцу по поводу писем:

«Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласишься, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства...»

Про дружбу с Варварой Петровной он разглагольствует: «Я ей прямо растолковал, что вся эта ваша дружба — есть одно только взаимное излияние помой».

А теперь послушаем Варвару Петровну:

«Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Далась вам наши двадцать лет! Двадцать лет обоюдного самолюбия и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг, а дружба — это только прославленное слово, в сущности: взаимное излияние помой...»

В конце концов, когда между друзьями произошло что-то вроде разрыва, когда Степан Трофимович заплакал, предварительно продекламировав две строчки из Пушкина, и сказал по-латыни: «Жребий брошен», — она, едва удерживая слезы, закончила разговор опять-таки не своей, а краденой фра-

зой: «Я знаю только одно, именно, что все это шалости».

Кажется, что прием несколько, что ли, густоват, что он слишком назойливо подчеркивает намерения автора. Ясно, что Варвара Петровна присваивает все и вся, ясно, что теперь она от макушки до пяток заражена нигилизмом, но не чересчур ли это ясно? Думаю, что такая назойливость закономерна. Речь Варвары Петровны воспроизведена не фонографом, а человеком, Антоном Лаврентьевичем. Передавая дословно речь какого-нибудь «икса», мы бессознательно примешиваем и свое отношение к этому «иксу» и свое отношение к тому, о чем говорится, интонацией, жестом, невольно умалчивая об одном, подчеркивая другое.

В приведенных здесь образцах Варвара Петровна разговаривает двойным голосом. За голосом «высшей дамы» отчетливо различается почтительный голосок хроникера. Благодаря такой маскировке снимается ощущение тенденциозности: читателю кажется, что ему никто не навязывает отношение к Варваре Петровне, что он разгадывает ее сам.

8

Осторожный хроникер предупреждает, что действия властей, административную сторону, устранил из повествования. К губернатору фон Лембке и к его жене Юлии Михайловне он относится с почтением и, чтобы быть подальше от греха, характеристику фон Лембке передоверяет его супруге. Он старается приуменьшить нелепость мер, принятых во время так называемого «шпигулинского дела».

Если губернские власти и порицаются, то с оговорочками и комплиментами.

Упомянув о редких, впрочем, припадках противоречия губернатора супруге, которая уж очень «начала себе чувствовать цену, даже, может быть, немного и слишком», хроникер замечает: «К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере. Увы! ей было не до того, и от этого произошло много недоумений».

Остороженьким словом «недоумения» хроникер пытается запудрить все безобразия, совершившиеся за короткий срок в городе, — и пожары, и убийства, и самоубийства. В главах, имеющих отношение к чете Лембке, таких деликатных словечек поря-

дочно. Самое простое слово «сладенько» неожиданно выворачивается в «лембковском» тексте: «Он очень бы удовольствовался каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде».

И Лембке и вся губернская бюрократия вплоть до мелкого чиновника Блюма осмеивается беспощадней, чем даже Варвара Петровна. Достоевский осуждает губернские власти за то, что они не принимают решительных мер против «социалистов». Вместо того чтобы хватать смутьянов и сажать в каталажки, губернатор разглагольствует о виггах и тори, а Юлия Михайловна, которая, собственно, и держит вожжи правления, кокетничает с молодежью, пытается действовать «лаской и удерживать их на краю». Видно, Достоевский вполне согласен с хроникером, когда тот с редкой для него храбростью заявляет: «...если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна!»

Если ироническое отношение к Степану Трофимовичу в первых главах романа достигалось главным образом переслащиванием его мнимых достоинств и невольными комическими оговорками, если Варвара Петровна самообличалась лексикой, иронически подчеркнутой манерой своих возвышенных монологов, то для Лембке Достоевский припас еще более коварный сильнодействующий прием.

Прием этот состоит в особом тоне повествования².

Великое это дело — тон повествования!

В разговоре Петра Верховенского с Кирилловым, как на учебной модели, демонстрируется механика приема: высокие понятия и идеи применяются в чуждых ситуациях и контекстах, приправляются едва заметными насмешливыми словечками и, таким образом, снижаются, развенчиваются, «показывают язык». Кириллов употребляет этот издевательский прием сознательно, а у хроникера нужный тон возникает как бы непроизвольно и определяется глубинным, иногда неосознанным впечатлением от персонажа.

² Изображая какого-либо персонажа «Бесов», автор стремится использовать все виды иронического и сатирического повествования. Здесь я выделяю только ведущий прием.

Трудно представить фигуру, менее подходящую для административного поприща, чем господин Лембке. Хотя, по уверению супруги, в его голове и мелькали хвостики мыслей, но ухватить эти хвостики, сосредоточиться, подумать, а тем более сделать какие-то выводы — для всего этого господин Лембке был мало приспособлен. Если будет позволено понятие «мысль» свести с враждебным этому понятию словом «неподвижность», то господин Лембке был законченным представителем неподвижной мысли. Ходячие догмы и унылые максимы осели под его черепными сводами и окаменели там навеки. Впрочем, оригинальность такого рода не шокировала высшее общество. Умственная стагнация, очевидно, считалась необходимым качеством губернаторской власти. И когда, окончательно свихнувшись, господин Лембке стал бормотать, как щедринский «органчик»: «Довольно, флибустьеры нашего времени определены. Ни слова более. Меры приняты», — никто не удивился его появлению на другой день на благотворительном балу.

Бисерность рефлексий, мелочность, рассыпчатость мысли и уловил хроникер и отобразил тоном, вернее, особой стилистической манерой, определившей все вплоть до расстановки слов.

Описывая начало карьеры Лембке, хроникер повествует: «Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию все-таки выдали когда пришло время, за одного старого заводчика-немца, старого товарища старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками: в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши... Лембке был очень доволен и скоро утешился».

Упорное стремление Андрея Антоновича уйти от главного, основного, закопаться в мелочи подчеркнуто всем строем и ладом фразы — и микроскопическим, бисерным описанием рукодельных игрушек, и неожиданно увиливающим оборотом: «Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр».

Этот тон со свойственной не хроникеру, а Лембке туповатостью повторяется, словно **фуга**: Юлии Михайловне «хотелось перелить в него свое честолюбие, а он вдруг на-

чал клеить кирку: пастор выходил говорить проповедь, молящиеся слушали, набожно сложив пред собою руки, одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался».

Ироническое отношение к Лембке навязывается тоном рассказа настолько непридуманно, что кажется, будто и сам хроникер не ощущает насмешки. И читателю снова представляется, будто он, читатель, самостоятельно проник в самую сердцевину образа.

9

Перед нами прошли персонажи, которые, по замыслу Достоевского, вольно или невольно мирволили «дурным людишкам» и несли ответственность за распространение в России «нигилятины».

И самые резкие критики «Бесов» признают, что эти светские господа выписаны превосходно и среди них Степан Трофимович по праву занимает центральное место.

Нельзя не подивиться пронизательности Достоевского, решившего вести рассказ не от собственного лица. Антон Лаврентьевич оказался незаменимым посредником между героями и читателями. Авторская тенденция, как бы процеженная сквозь деликатную добропорядочность хроникера, несколько остудившись, превращается в полускрытую иронию — и, как живой водой спрыснутые этой иронией, губернские потатчики одухотворяются, превращаются из двуногих идей в людей оригинальных, смешных, страдающих, а порой трогательных в своих слабостях.

Обратимся теперь к бесам, в первую очередь к Ставрогину. Ведь именно ему была предназначена главная роль, именно он должен был выразить ключевую идею искупления «несением креста» («ставрог» по-гречески — крест).

В каких отношениях к Ставрогину находится наш хроникер? К сожалению, ни в каких. Как только на сцене появляется Ставрогин, хроникер исчезает.

Правда, хлопоты Ставрогина таинственны, глубоко интимны, а то и преступны. Ему приходится ходить тайком, поздно вечером, глубокой ночью. Но Достоевский это учитывал.

В черновых набросках был определен принцип описания событий, которых хроникер не видел: «Я сидел у Гр — го третьим и слушал его азартный разговор с Ш.: Вооб-

ще, если я описываю разговоры даже сам друг (то есть если описываются разговоры двух персонажей, при которых хроникер не присутствует — С. А.) — не обращайтесь внимания: или я имею твердые данные, или, пожалуй, сочиняю сам — но знайте, что все верно».

И еще:

«NB. Там, где говорится о заседаниях, делает, как хроникер, примечание: Может быть, у них и еще были заседания — и конечно были, — я не знаю, но дело, наверно, происходило так...»

Решение Достоевский принял рискованное.

Беседа с молодыми писателями, М. Горький предупреждал: «Когда человек пишет от первого лица, надо помнить, что поле зрения этого «я» ограничено. О тех событиях, которые происходят не в комнате и не в деревне, где он живет, он рассказывать не может». В таких случаях ради естественности повествования приходится менять план, вводить новых героев, изобретать хитроумные ситуации (Р. Л. Стивенсону, чтобы обнаружить заговор пиратов в «Острове сокровищ», пришлось посадить рассказчика в бочку).

Поначалу и Достоевского беспокоила эта проблема: «Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность, — спохватывается в первой главе хроникер. — А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную?»

Прочитав начало романа, Н. Страхов упрекнул автора: «Степан Трофимович — прелесть. Я нахожу, что тон рассказа не везде выдерживается; но первые страницы, где взят этот тон, — очарование». С этим замечанием Достоевский был согласен в высшей степени. «Я мучился долго этой невыдержкой тона, — отвечал он. — С возвращением в Россию придется прервать даже работу». Однако в последующих главах «невыдержка тона» усугублялась. Достоевский, видимо, просто махнул рукой на эту документу.

Авторские интонации прорываются уже в первой части. Вот, например, какими словами представлен Ставрогин:

«Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярк и чист,

зубы как жемчужины, губы: как коралловые, — казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску».

Хотя хроникер и здесь пытается напомнить о себе, читатель безошибочно узнает авторский голос. В «Преступлении и наказании» наружность Свидригайлова изображена почти теми же словами: «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румянными, алыми губами... Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно молодом, судя по летам, лице». А ведь это написано от автора.

Обыкновенно Достоевский остается один на один с героями в тех случаях, когда на сцену являются бесы, и не мелкие бесы, а главари, зачинщики, представляющие бесовскую сущность, Ставрогин и Петр Верховенский.

Как только нужно описывать действия или идеи Ставрогина или Верховенского сына, хроникер дезертирует. Речь идет опять-таки не о физическом отсутствии хроникера, а об изменении манеры изложения. В главах, имеющих отношение к Ставрогину, присущий Антону Лаврентьевичу наивно-иронический тон блекнет, а местами исчезает вовсе. Почему?

10

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить происхождение идеи Ставрогина.

Поклонников Достоевского огорчает тот факт, что необходимость сочинять к сроку, скитания по чужим странам, нужда и бедность так и не дали писателю возможности исполнить самый дорогой замысел.

«Этот роман я считаю моим последним словом в литературной карьере моей, — писал он Н. Страхову. — Писать его буду во всяком случае несколько лет. Название его: Житие великого грешника».

Романа под таким названием Достоевский действительно не написал, но сетовать по этому поводу, мне кажется, нет оснований.

Великий грешник существует во всех его романах, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Братьями Карамазовыми».

Тема «великого грешника» — заветная тема Достоевского. Направлена она была ост-

рием своим против революционно-демократического движения, против социализма.

Социалисты, по Достоевскому, предлагали человечеству рецепт немедленного, «бесплатного», сиюминутного счастья путем изменения общественного строя.

В такое счастье, достигнутое улучшением обстановки, «среды», Достоевский не верил. Он считал, что «нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием».

Такая позиция определила программу «Жития великого грешника».

1. Грешник (или позитивист, атеист, или верующий, внезапно потерявший веру) совершает преступление. Он не простой преступник, он преступник идейный — «гордый из всех гордецов и с величайшей надменностью относится к людям».

2. В жизни великого грешника наступает перелом. «Роман. Любовь. Жажда смирения».

3. Возрождение грешника. Смирение. Обращение в лоно православия.

Так излагается план «Преступления и наказания» в известном письме Каткову.

Однако этот план не был выполнен.

Грешником должен был стать неверующий Раскольников.

По плану предполагалось, что на Раскольникова никаких подозрений нет и не может быть и он доносит на себя под давлением «божией правды». В романе же он сдался лишь после того, как его уличил следователь, и не только уличил, а посоветовал покаяться, ибо тогда «сбавка будет».

По плану полагалось, что после преступления Раскольникова станет терзать чувство разомкнутости с человечеством и его потянет «примкнуть опять к людям». Эта мысль проявилась в ином виде: Раскольникова мучительно тянет «разгрузить душу», рассказать об убийстве всем, знакомым и незнакомым, но тихонечко, шепотом. Ему хотелось бы, чтобы все человечество знало о его преступлении, но при том непременно условии, что оно будет это знать по секрету. Вообще же желания примкнуть к людям, имея в виду не Соню, а человечество, у Раскольникова не возникает. Наоборот: «...всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того, — идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования! О, как я их всех ненавижу!»

По плану было задумано, что преступник решает принять муки, «чтобы искупить свое

дело», то есть, попросту говоря, раскаивается. В романе же сказано, что он вовсе «не раскаивался в своем преступлении» и «совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху».

Сравнивая план с окончательным текстом, видишь, насколько далеко оживший под пером персонаж уводит писателя от умозрительной схемы.

Достоевский, наверное, и сам удивлялся этому. До последнего момента его не оставляла мысль изобразить перерождение преступника. Но как дошло до дела, Раскольников заупрямился. И Достоевский с некоторой растерянностью сообщает редакторам «Русского вестника»: «К удивлению моему, Декабрьских глав выйдет не много, всего четыре... и тем закончится весь роман»; и через несколько дней: «...окончание будет еще короче, чем я предполагал».

Истина жизни победила. Раскольникова не привлекала слава великого грешника. Он предпочел остаться грешником обыкновенным.

Жаль, что мы не имеем первоначального варианта главы, в котором Соня читает Раскольникову Евангелие. По мнению неутомимого разыскателя документов, имеющих отношение к Достоевскому, Л. Гроссмана, она останется для нас навсегда неизвестной.

Сохранившиеся письма дают основания полагать, что возражения Раскольникова против ходячей христианской морали были настолько убедительны, что «воскресение» его становилось весьма сомнительным. Словом, произошло то же самое, что впоследствии случилось и с легендой о Великом инквизиторе. Атеистическая сила легенды, по сути дела, исключала опровержение, и К. Победоносцев проницательно заметил: «Мало что я читал столь сильное. Только я ждал — откуда будет отпор, возражение и разъяснение, но еще не дождался».

Редакторы «Русского вестника» заставили Достоевского изменить главу о диспуте между «убийцей» и «блудницей». По мнению М. Каткова и Н. Любимова, глава эта носила явные следы нигилизма и добро в ней было перемешано со злом.

Но и принятый текст оказался недостаточным, чтобы заставить Раскольникова раскаяться, и очередной вариант древнего мифа о возрождении грешного человека остался невыполненным.

О возможности перерождения Раскольникова на каторге Достоевский ограничивает-

ся простой отпиской. Это перерождение «могло бы составить тему нового рассказа».

Но если бы измененная глава и осталась в первоизданном виде, то и тогда Раскольников вряд ли бы раскаялся.

Достоевский упрекал высшие слои за то, что они оторвались от родной почвы, увещевал «унять гордыню», вернуться к народным началам, к христианскому народному духу. Тогда все придет в порядок само собой, без всяких революций: «О, какая бы страшная зиждательная и благословенная сила, новая, совсем уже новая, явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом!.. — восклицал Достоевский, не замечая, что противоречит своему же отрицанию «бесплатного счастья». — Молочные реки потекли бы в царстве, все идеалы ваши были бы достигнуты разом».

Идеология «почвы» при ее расшифровке и углублении оказалась, как и следовало ожидать, типичной «логистикой».

Почему-то при разборе всяческих недостатков великого писателя — истинных и мнимых — опасаются отметить тот несомненный факт, что так называемый «простой народ», в том числе и русское крестьянство, Достоевский знал весьма односторонне. Достаточно сравнить паточного Марая или опереточных мужиков, которых дурачил Коля Красоткин, с настоящими крестьянами той эпохи, изображенными хотя бы в «Анне Карениной», чтобы это увидеть.

Воплощением народного духа в «Преступлении и наказании» должна была стать страдалица Соня. В полном согласии с теорией почвы она уговаривает Раскольникова выйти на площадь, поцеловать землю и поклониться народу.

«Тогда бог опять тебе жизни пошлет», — обещает она ему. Дальше, в журнальном варианте, были такие слова: «...и воскресит тебя. Воскресил же чудом Лазаря, и тебя воскресит».

Почему эти слова Достоевский вычеркнул? Не потому ли, что они слишком обнажают оторванность от жизни, рассудочное происхождение рекомендаций Сони? «Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию», — обронил как-то Достоевский по поводу своих противников. Не думал ли он тогда и о себе?

Цель романа «Преступление и наказание» — противопоставить истину человеческой природы заблуждениям разума, хитро-сплетениям логистики, показать опасности

голового резонерства. «С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион!» — вслед за Достоевским восклицал Разумихин.

Но проповедуемое Соней страдание, да и вся идеология «почвенничества», — разве не теория, не логистика?

Видимо, дело не в теории, а в том, правильна ли теория или ложна. «Почвенничество» было теорией самообманной, ложной. Поэтому и не могла претвориться в художественное произведение основанная на этой теории умозрительная схема «жития великого грешника».

Но Достоевский был упрям. Не совладав с героем «Преступления и наказания», он решил повторить идею «Жития» в других романах, в частности в «Подростке».

Этот роман в черновиках имел подзаголовок «Исповедь великого грешника, писанная для себя». В роман, между прочим, включена вставная новелла — единственное во всем творчестве Достоевского цельное изложение идейной концепции «великого грешника»: переходных состояний (преступление, любовь и жажда раскаяния) и заключительного — смирение. Новелла эта — рассказ Макара Ивановича о купце Скотобойникове.

Написанная «слогом», новелла на фоне реалистических картин романа выглядит сусальной олеографией и убедительнее критических статей доказывает безжизненность фабулы. Видимо, это ощущал и автор. Недаром Аркадий, правдоискатель-подросток, советует новеллу пропустить.

Что касается самого Аркадия, то повествование о его перерождении, так же как в «Преступлении и наказании», откладывается на потом: «...это — уже другая история, — пишет Достоевский, — совсем новая история и даже, может быть, вся она еще в будущем».

Видимо, процесс перерождения неверующего в верующего представлялся Достоевскому до конца его жизни весьма смутно. И о своем-то собственном опыте он не решается поведать. «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений», — признается он в «Дневнике писателя» и заканчивает эту фразу тремя строчками точек. Вот так:

.

Что означают эти точки? «Догадайся, мол, сама»...

Н. Арденс, например, в книге «Достоевский и Толстой» (М. 1970) с явным намеком спрашивает: «Не лишен смысла и иной вопрос: «раскаялся» ли сам Достоевский в свои сибирские годы?»

Но Достоевский не геряет надежды. Он все-таки решает воплотить замысел «Жития» от начала до конца и приступает к грандиозному сооружению «Братьев Карамазовых» Романа должно быть два. Во втором (ненаписанном) романе Достоевский будто бы собирался сделать Алешу революционером, участником политического преступления Л Гроссман с присущей ему смелостью полагает, что прототипом Алеши был Каракозов, стрелявший в 1866 году в Александра I...

Но великий писатель скончался — и мы снова перед обещанием, которое никогда не исполнится.

То же произошло и со Ставрогиным. Сразу после того, как Раскольников заупрямился, Достоевский стал искать более сговорчивого персонажа. Черновые тетради покрываются заметками плана, в которых вырисовывается образ человека, внезапно потерявшего веру преступника, «великого грешника». В 1870 году основа образа стала настолько ясной, что грешнику присваивается фамилия Ставрогин. Но и Ставрогину не суждено было оправдать ожиданий автора. Он всасывается в сюжет романа, становится одним из второстепенных лиц, и Достоевскому снова пришлось ограничиваться обещанием.

Л. Гроссману удалось разыскать в бумагах Достоевского такой набросок: «После Николая Всеволодовича оказались, говорят, какие-то записки, но никому не известные. Я очень ищущу их. Может быть, найду и если возможно будет... Finis».

Из этой заметки, между прочим, следует, что если в дальнейшем и объяснится духовное перерождение Ставрогина (или жажда религиозного перерождения), то рассказ предполагается излагать в форме исповеди. И хроникер в это темное дело ввязываться не собирается.

Пронизанный его пристальным, дотошным, рентгеновским лучом, «принц Гарри» немедленно обнаружит ненадежный каркас надуманной конструкции.

Характерно, что все попытки исследователей пристроить Ставрогина к какому-нибудь живому двойнику (М. Бакунин, Н. Спешнев) были неубедительны. Не пото-

му ля и исчезает почтенный летописец, как только дело касается Ставрогина?

На примере «Бесов» снова обнаруживаются таинственные законы художественной правды. Как только искреннее чувство подменяется умозрительной выдумкой, хроникер уваливает...

Читая романы Достоевского, невозможно отделаться от навязчивой мысли: чем больше Достоевский развивал аргументы «грешников», тем меньше верил в фатальность перехода от страдания к вере — боялся, раздражался и снова и снова бросался в атаку на свое неверие...

Так что о великом грешнике тосковать не стоит. Как это часто случается, черновая схема стала толчком к созданию великих произведений о судьбе человека, измученного безнадежными противоречиями живой действительности и религиозного мировоззрения.

Недавно издательство «Наука» выпустило роман «Преступление и наказание» с иллюстрациями Э. Неизвестного. Одна из них называется «Открытый финал». Лик измученной Сони с отчаянием и надеждой обращен к безответному небу. Эта иллюстрация могла бы замыкать все романы Достоевского, в которых выводятся великие грешники.

11

Изображение Ставрогина не через призму хроникера, а прямо, в лоб, пошло во вред роману. После первой публикации главные упреки обрушились на Достоевского за художественную неубедительность «бесов».

Весьма приблизительной получилась и «неглавная половина» Ставрогина — Петр Верховенский. Почему он представлялся Достоевскому личностью наполовину комической, непонятно. Поведение его необъяснимо. Почему все-таки «Петруша» с маниакальной одержимостью готовил убийство Шатова? Нам втолковывается, что между Верховенским и Шатовым «была когда-то ссора, а Петр Степанович никогда не прощал обиды». Кроме того, Петр Степанович был уверен, что Шатов донесет.

Все это похоже на отговорку. Если Петр Степанович не прощал обид, из этого не следует, что он должен стрелять в каждого обидчика, тем более что о ссоре упомянуто походя и что это за ссора — неизвестно. Если Верховенский опасался доноса, то было верхом безрассудства убивать Шатова при содействии пятерых почти незнакомых людей, каждый из которых мог оказаться

доносчиком. Я понимаю хроникера, который предоставил автору выпутываться из этой неразберихи, а сам сбежал на время из романа. И Достоевский принимается выдумывать причину, по которой Верховенский привлек к убийству пятерку. «Они ему руки связывали: у него уже решено было немедленно скакать за Ставрогиним, а между тем задерживал Шатов, надо было окончательно скрепить пятерку на всякий случай. «Не бросать же ее даром, пожалуй и пригодится».

Невразумительность этого довода, видимо, чувствовал и Достоевский. Поэтому, может быть, последнее рассуждение он приписал хроникеру, заметив от его имени: «Так, я полагаю, он рассуждал».

Чем больше думаешь о Петре Верховенском в связи с убийством, тем более плоским и случайным представляется этот мелкий мошенник. А чем больше ломаешь голову над загадочным преступлением Раскольникова (анализу этого преступления посвящены многие книги), тем глубже и интересней открывается характер бывшего студента-шестидесятника.

Стоит внимательней присмотреться к трехмерному образу Раскольникова-убийцы, чтобы в сравнении с ним острее почувствовать одномерность другого убийцы — Петра Верховенского.

Н. Страхов первым объяснил, что Раскольников прикончил старуху «по теории». И оказалось, что «несчастный убийца-теоретик, этот честный убийца, если можно только сопоставить эти два слова, выходит тысячекратно несчастнее простых убийц».

Перед нами нигилист в крайнем своем проявлении, как его понимал Достоевский, нигилист, отрицающий законы человеческой природы в угоду предвзятой, рассудочной теории. В романе проводится та же мысль, которая публицистически развернута в «Записках из подполья».

Правда, в романе Достоевский несколько смягчил свое отношение к рассудку. Чтобы невзначай не подумали, что писатель ратует за чистый иррационализм и предлагает существование исключительно «по натуре», в романе существует Свидригайлов.

Раскольников и Свидригайлов — два полюса, две крайние односторонности. Они — как писаришки, с которыми пьянствовал Свидригайлов: у одного нос шел криво направо, а у другого криво налево.

Раскольников пытался быть одним рассудком, «без натуры». Свидригайлов — нату-

рой, вовсе не управляемой разумом и моралью. Один попал на каторгу. Другой кончил самоубийством.

Читатель довольно скоро начинает подозревать, что геория нужна Раскольникову только для видимости, для самооправдания. Неспроста за день до убийства он говорил: «...собственную казуистику выдаем, у иезуитов научимся и на время. пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели».

Иногда мотивировка «убийства по теории» дополняется другой, более понятной: будто бы Раскольников хотел воспользоваться деньгами старухи, чтобы выволочь из нищеты себя, мать и любимую сестру.

По замечанию М. Гуса, некоторые исследователи полагают, что Достоевский не пришел к выводу, как же именно мотивировать убийство, и в романе остались две «не согласованные между собой» мотивировки, осталась неопределенность.

М. Гус выходит из затруднения с помощью диалектического метода: «На наш взгляд, такой неопределенности нет. Вначале у Достоевского были колебания, но он их решил, диалектически сочетав обе мотивировки...»

Раскольников вынужден убить, чтобы вырвать мать и сестру из рук Лужина и спасти себя от голодной смерти.

В итоге: Раскольников хочет или ему кажется, что он хочет быть д о б р ы м Н а п о л е о н о м .

Вначале — злодейства, совершаемые по «праву сильного», а затем — добрые дела с помощью средств и власти, приобретенных в результате злодейства.

Казалось бы, дело объяснено ясно, точно и прогрессивно. Однако Раскольников, словно предчувствуя, что о нем будут писать, воскликнул: «Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор!» — и искренность этого восклицания несомненна. Если же его все-таки игнорировать, возникает вопрос: почему Раскольников не воспользовался деньгами процентщицы?

На это отвечает так: у Достоевского были намерения заставить Раскольникова использовать добытые преступлением деньги для «добрых дел» (например, спасение Сони), но он отказался от такого плана, так как «добрые дела» убийцы доказывали бы, что можно быть «добрым Наполеоном», а роман должен был доказать обратное.

А это вовсе непонятно.

Чем сильнее писателя увлекает замысел, тем безнадежнее ждать от него манипуляций, направленных в угоду заранее выдуманной схеме, какой бы заманчивой она ни казалась.

Вживаясь в материал, в души персонажей, писатель все глубже (и иначе, чем перед началом работы) познает и переживает внутренний смысл явлений, ему отчетливей раскрывается сущность героя. И наконец, когда художественный смысл вещи проявляется окончательно, временные подмости первоначально намеченного плана рушатся.

В сущности, сочинение пишется и десятки раз переписывается для того, чтобы в процессе писания осознать смутно мерцающую тревожную мысль.

В той же мере, в какой художник осваивает материал, овладевает им, в той же мере и материал овладевает художником, не позволяет художнику своевольничать.

Все это М. Гусу, конечно, известно. Нелюбили исследовать полагал, что это было неизвестно Достоевскому?

12

Одной из основных проблем, одухотворяющих героев Достоевского, была проблема взаимоотношений человека и окружающей его среды. Философы-идеалисты создали два полярных решения этой проблемы. Одно из них (характерное, между прочим, для современного атеистического экзистенциализма) пессимистическое. Состоит оно в том, что бытие само по себе не содержит ни смысла, ни цели и противостоит человеку как нечто «плотное, массивное, грубое и безразличное» (Сартр). Волею случайных совокуплений заброшенный в это мертвое море, человек не может не испытывать чувства безнадежности. Природа мерещится ему то в виде глухого, темного и немного существа, то в виде громадной машины новейшего устройства, которая бесчувственно захватывает, дробит и поглощает человеческие жизни. При таком положении вещей, пожалуй, лучший выход — смерть, самоубийство. Такой выход и выбирает один из персонажей Достоевского — Ипполит.

Другое представление о бытии — как о чем-то движущемся, по видимости оптимистическое. Оно выражает веру в непрерывный автоматический прогресс. История стремится вперед и вперед, сквозь мор, войны, социальные потрясения — к какой-то неведомой цели, и человек, хочет он того или нет, обречен на грядущее счастье.

Нелишне напомнить, что Гегель, один из творцов оптимистического детерминизма, испытал, взирая на свою грандиозную философскую конструкцию, «чувство беспомощной скорби»³.

Оба эти представления — и пессимистическое и по видимости оптимистическое — предлагают человечеству пассивное ожидание: первое — ожидание смерти, второе — ожидание счастья.

При этом общество, общественная среда выступает как анонимный диктатор, которого, словно в «Замке» Ф. Кафки, никто никогда не видел, но деспотическую власть которого все чувствуют на своей шее. Получается, как сказал А. Грамши, будто «существует абстракция коллективного организма, своего рода самостоятельное божеество, которое не мыслит какой-то конкретной головой и тем не менее все же мыслит, которое не передвигается с помощью определенных человеческих ног и тем не менее все же передвигается».

Как бы ни величали этого диктатора: «Воля неба» (древние китайцы), Трансцендентальный разум (Кант), Мировой дух (Гегель), Воля к власти (Шопенгауэр), — какой бы ни придавали ему научный («Социум») или поэтический («Социальный гений», «Прометей») оттенок, от этого людям не легче. Все эти наименования подразумевают, что человек действует не по своей воле, а является марионеткой в руках загадочных, роковых сил.

Под влиянием философских систем такого рода статут роковой силы получила и среда. Ложное представление о среде как о непреклонном фатуме держится стойко, хотя физиологи, например, считают, что жизнедеятельность — не подчинение, а преодоление среды⁴.

³ Это не удивительно, если всерьез верить, что «мировой дух не обращает внимания даже на то, что он употребляет многочисленные человеческие поколения для... работы своего осознания себя, что он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих человеческих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое дело en grand, у него достаточно народов и индивидуумов для этой траты» (Гегель. Сочинения. 1932, т. IX, стр. 39).

⁴ Н. А. Бернштейн пишет о живом организме следующее: «В самом основном его ведет модель потребного ему будущего, повинуюсь которой организм, так сказать, не придает значения тому, приходится ли ему в направлении к намеченной цели двигаться «по течению» или «против течения» («Вопросы философии», 1965, № 10, стр. 72).

В интересной книге о мировоззрении Достоевского «Бунт или религия» Ю. Кудрявцев пишет, что действия Раскольникова детерминированы исключительно внешней средой.

Это, по-моему, неверно.

Достоевский не принимал ни пессимистического, ни оптимистического варианта всеобщей «среды». Он считал, что решающее слово в определении своей судьбы принадлежит самому человеку. Иначе, писал он, «этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата»...». Ссылаясь на православие, он считал, что христианство «ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается». Его нисколько не смущает, что это утверждение входит в вопиющее противоречие с евангельской догмой о том, что ни один волос не упадет с головы человеческой без воли божией.

Мировоззрение Достоевского отрабатывалось в те годы, когда Россия поворачивала на капиталистический путь. На переломе общественных отношений люди вдруг осознали, что в их воле менять среду, и это вызвало общий подъем чувства личности. В одной из статей, опубликованных в 1861 году, Достоевский писал: «...в наше время все начинают все сильнее и больше чувствовать и даже понежкому сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек, стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек».

Среда, конечно, влияет на становление личности, но вместе с тем сам человек, и никто иной, и творит и изменяет эту среду. В этом смысле и следует понимать слова Маркса о том, что «обстоятельства изменяются именно людьми...»⁵.

Достоевский хоть и пытался верить в бога, понимал, что среда не потусторонняя сила, а порождение человека. Иронически символизируя среду по рецептам «прогрессистов» в виде каменной стены, он обронил замечание, «что даже в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват».

Угадал Достоевский и то, что в капиталистическом обществе человек обречен на нечеловеческое существование. Товарные отношения заставляют людей общаться не

в своем естественном качестве, а под определенной экономической маской.

Экзистенциалисты вывели много любопытных наблюдений о жизни и условиях капиталистической «неподлинности». Хайдеггер, например, считал, что человек скрывает свое естественное лицо и принимает то амплу, которое предписывает окружающая его действительность. Он как бы не живет, а играет роль, которую считает для себя выгодной. На эту тему в записных книжках Достоевского есть удивительная по глубине мысль: «Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется».

Достоевский уверен, что народ русский, «обвиняя себя... тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства».

Выше человеческой личности нет на земном шаре ничего! — провозгласил еще В. Белинский. Это убеждение разделял и подтверждал всей своей деятельностью Н. Чернышевский. Что касается Н. Добролюбова, то он боролся за свободу личности прямо-таки рыцарски (см., например, цитаты из его статьи «О значении авторитета в воспитании» в конце тринадцатого раздела этой статьи).

Тем не менее враги коммунизма (Н. Бердяев, в частности) повторяют вопреки фактам, будто «коммунизм отрицает ценность и значение человеческой личности», будто для Маркса «человек есть функция общества и даже только функция класса».

Между тем именно К. Маркс особенно подчеркивал ценность уникального человеческого существа: «Человек есть некоторый особенный индивид, и именно его особенность делает из него индивида и действительно индивидуальное общественное существо»⁶. Свобода человека, указывал К. Маркс, состоит в возможности «проявлять свою истинную индивидуальность»⁷.

При этом нужно помнить, что личность сможет обнаружить своеобразие только в общении, в коллективе. Н. Бердяев, если бы

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 2.

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 145.

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 2.

он прожил всю жизнь в пустыне, так и не узнал бы, что он персоналист и мистик. Чтобы быть особенным, оригинальным, нужно иметь возможность от чего-то обособляться, нужно общество.

Только коммунистическое общество открывает безграничные возможности развития человеческой личности. Коммунизм не ставит целью выращивание идеальных человек. Уникальность человеческой природы в том и состоит, что человек не имеет и никогда не будет иметь какой бы то ни было заранее установленной, окончательной природы. Он «не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления»⁸.

Это не значит, конечно, что на свете не существует людей «законченных», остановившихся в своем развитии. Таков, например, Порфирий из «Преступления и наказания». Он сам признается, что его, «в сущности, и не за что полюбить-с» и что он считает себя человеком «поконченным», и слово это звучит в его устах так, будто он видит себя покойником и смирился с этим.

С какой удивительной глубиной все-таки чувствовал Достоевский извращенный, поставленный с ног на голову мир капитализма, где «покойники» искренне сожалеют о положении вещей, при котором им приходится ловить, судить и осуждать живых, и все-таки ловят, судят и осуждают...

Читая в связи с Достоевским работы Маркса и Энгельса, удивляешься не заблуждениям Достоевского, а смелости, с которой он стремился проникнуть в загадочные глубины человеческого существования, и необыкновенной способности великого писателя изображать людей как авторов и одновременно актеров драмы жизни.

13

Взаимоотношения личности и среды, пожалуй, самая сложная проблема понятия «феномен человека». Проследить на классических образцах, как проявляется это взаимоотношение,— благодарная задача эстетики. А решается она пока что медленно, и приходится соглашаться с выводом статьи, напечатанной не так давно в журнале «Вопросы философии»: «Человек есть, с одной стороны, продукт социальной системы, а с другой стороны (или в то же самое время),

творец ее. Но с какой одной и с какой другой — вот в чем вопрос».

В работе И. Б. Астахова «Эстетика» (в предисловии эта работа рекомендуется как монументальная и синтезирующая) существует специальный раздел на эту тему. В разделе есть поучительные цитаты, поэтому привожу его полностью.

«ГЕРОЙ И СРЕДА

Определяя реализм как правдивое отражение типических характеров в типических обстоятельствах, Энгельс подчеркивал закономерную связь героя и среды. В «Святом семействе» Маркс замечает: если человек создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеческими. Люди есть продукт обстоятельств и воспитания. Энгельс видит будущее драмы в полном слиянии большой идейной глубины, осознанного исторического смысла с шекспировской живостью и действенностью».

Все.

Вернемся к Раскольникову и попробуем проследить, как выражено двуединство «личность — среда» в его образе.

Раскольников тоже и автор и действующее лицо своей драмы.

Как действующее лицо Раскольников противостоит определенной среде. В то же время, будучи членом сообщества, наряду с другими индивидами он является частью этой среды, в какой-то мере ее творцом, автором.

Раскольникову как личности любой другой человек, например следователь Порфирий, представляется частью враждебной среды. Для Порфирия же как личности Раскольников — составная часть среды, неизбежная и типичная.

По этой причине у них не может не быть разных точек зрения на одно и то же событие, не может не быть разной оценки этого события.

Раскольников-личность воспринимает возникшую в его уме идею убийства как болезненную аномалию своего «я», как вздор и нелепость. Порфирию это же убийство представляется случаем не частным, а социальным, одним из проявлений исторической закономерности. «Тут дело фантастическое, мрачное,— обобщает он,— дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте».

С другой стороны, в процессе расследова-

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 46. ч. I. стр. 476.

ния Порфирий воспринимает себя не частью бюрократического механизма, а отдельной, самостоятельной и чуть ли не оригинальной личностью. Он признается Раскольникову, что почувствовал к нему привязанность и что он не просто следователь, а человек «с сердцем и совестью». Для Раскольникова, наоборот, Порфирий олицетворяет безжалостную, отвратительную среду, и олицетворяет до того типично, что Раскольников был готов в какой-то момент даже убить его.

Раскольников прибыл в Петербург из заштатного городка вскоре после отмены крепостного права, в те горячие годы, когда шла ломка всех старых устоев. Совсем недавно текла чинная, благопристойная жизнь: маленький Родя ходил с кутьей минать бабушку, плакал, обнявшись с маменькой, над могилой отца. А тут вдруг откуда ни возьмись «видимо-невидимо привалило мошенников». В деревне только что отменили рабство, запретили торговать крестьянами, а здесь, в Петербурге, несчастная Соня пошла «по желтому билету», а любимая сестра Дуня добровольно отдавалась в вечное рабство к Лужину. Разврат, чахотка, самоубийства поразили Раскольникова, он не мог принять такой жизни и решил «уединиться». «Пусть их переглодают друг друга живыми — мне-то чего», — сказал он себе, бросил университет, оставил товарищей и по примеру своего собрата из подполья притаился в похожей на гроб камерке.

По первой видимости Раскольников «не вписался» в среду ни в качестве приверженца, ни в качестве антагониста. Однако отъединение не было истинным. Отъединенные, подобно Раскольникову, люди составляли неизбежную, органическую часть социального бытия и в немалой мере определяли общую атмосферу тогдашнего уклада жизни. Как личность Раскольников обдавал мир холодным презрением, а как элемент социального целого сообщал и среде те же свойства. Особенно глубоко он ощущал это, когда смотрел на дворцовую набережную: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...»

Состояние Раскольникова было тем самым отчуждением, которое уже намечалось в отношениях между людьми.

Здесь мы подходим к одному из возможных объяснений антиномии типического и индивидуального в художественном образе.

Если *вдуматься*, понятия «типический» и «оригинальный» исключают друг друга. Типическим называют персонаж, выражающий своей личностью черты, общие для большого социального слоя или класса людей. Оригинальным же считают человека, характер которого резко индивидуален, необыкновенен, то есть нетипичен. А создание писателя должно быть одновременно и типичным и оригинальным.

Наткнувшись на этот парадокс, Лессинг с досадой заявил, что «не обязан решать все трудности» и пусть читатель думает сам...

Раскольников — сложное, пожалуй, самое сложное создание Достоевского. Идея этого образа выражает отношение человека к миру в особых условиях русской действительности. Грубому расщеплению на типическое и оригинальное этот образ не поддается.

Родовыми, природными свойствами натуры Раскольникова были гордость, благородство, сострадание. В этом еще нет никакой оригинальности. Оригинальность заключалась в том, что и гордость, и благородство, и сострадание выражались у него не непосредственно, а шествовали как бы под конвоем разума. Недаром о нем говорил Порфирий: «...хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру иль бога найдет».

Вскоре после приезда в Петербург гордость Раскольникова превратилась в гордыню, благородство — в надменность и заносчивость, сострадание — в жгучую злобу и презрение к людям.

Индивидуальные свойства натуры — черновик. Только откорректированные средой, они становятся истинно оригинальными. Комбинация этих откорректированных, облагоустроенных или изуродованных средой первоначальных качеств, по-моему, и составляет то, что мы называем типическим образом.

Социальный индивид представляет собой не некую замкнутую в себе особенность, а как бы индивидуализированную тотальность общества, сконцентрированный в человеческой единице ансамбль человеческих отношений. И оригинальность всегда типична, потому что она образуется на стыке личность — среда⁹.

⁹ Где-то у Новалиса есть схожая мысль: местоположение души там, где внутренний мир и внешний соприкасаются, ибо никто не знает, индивид ли он только, а не кто-либо другой в то же самое время.

Раскольников, замкнувшись в своем «гробу», пытается искоренить все связи с ненавистной средой. Казалось бы, рассудок его, в спокойной неподвижности одиночества освобожденный от посторонних влияний, станет действовать трезво, ясно и свободно. На самом же деле без направляющих ориентиров среды разум лишается способности оценки и теряет чувство действительности.

Уединение Раскольникова, которое он считал чем-то вроде бунта суверенной личности, на самом деле было своеобразным проявлением отчуждения, то есть проявлением свойства, присущего среде.

При решении жизненных проблем раздвоенная личность действует как бы по равнодействующей двух сил: одна сила — воля личности, ее активный, творческий разум, другая сила — общественный опыт, накопленный индивидом опыт среды, проявляющий себя и помимо разума, автоматически, неосознанно.

«Рассудок знает только то, что успел узнать...— сказано в «Записках из подполья»,— а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно».

Ап. Григорьев сразу почувствовал необыкновенное мастерство Достоевского изображать поведение раздвоенной (то есть отчужденной) личности во всех ее тончайших поворотах. Умирая, он советовал своему другу: «Ты в этом роде и пиши».

И Достоевский всю жизнь писал в этом роде.

Герой повести «Вечный муж» Вельчанинов решает вопрос: хотел ли Павел Павлович его убить обдуманно или пытался зарезать, так сказать, нечаянно? Вопрос этот он решил тем, «что Павел Павлович хотел его убить, но что мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце на ум». Короче: «Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. Это бессмысленно, но это так».

Здесь, на мой взгляд, ключ к проблеме Раскольникова. Раздвоение бывшего студента на две ипостаси, на Раскольников-личность и Раскольников — среда, изображено удивительно. Сперва мысль убить старуху процентщицу представляется ему пустым вздором. Но вот на его пути оказалась дощечка, годная для фальшивого «заклада». Он поднял и припрятал ее. Все с большим беспокойством он ловит себя на том, что нелепое наваждение живет в глубинах его души. Чем отвратительнее оно представлялось, тем более определен-

ные черты принимало. Раскольников возмущается, отгоняет дьявольский соблазн, а между тем как бы сама собой придумалась петля для топора. Он повторяет словно заклинание: «Вздор, нелепость!» — а как-то совсем между прочим припас иголку с ниткой, чтобы пришить петлю к подкладке пальто возле подмышки...

Затаившись в своей каморке, Раскольников быстро понял, что обществу глубоко на него наплевать. Никто его не навещал. Никому он не был нужен. Если его окликали на улице, он был обязан вниманием не своей личности, а драной циммермановской шляпе.

Нет ничего страшней потери чувства причастности к процессу всеобщей жизни, потери того ощущения, что «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается». Ощущать себя ненужным, полным нулем в движении бытия невыносимо, особенно когда тебе двадцать три года и когда ужасно высоко себя ценишь, «и кажется, не без некоторого права на то».

«Это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самому себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг проявляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог,— писал Достоевский в «Записках из мертвого дома».— Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем, колотит в свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уж не до рассудку: тут судороги».

Эта потребность — вовсе не желание встать над толпой, не желание властвовать или командовать. «Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряда вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования»,— объяснял Достоевский и продолжал как бы прямо про Раскольникова, что потребность заявить себя «в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико».

Подпольный парадоксалист пакостничал мелко. Раскольников — натура из разряда байронических — заявил себя иначе: убил старуху процентщицу.

Ожесточившись против ненормальностей среды, Раскольников вершил свой бунт по

рецептам этой самой ненавистной ему среды, по ее правилам, по ее подсказке и своим бунтом не отменял, а утверждал и усугублял эти ненормальности.

Растолковывать причины преступления Раскольникова, оперируя лишь одной «логикой», нельзя.

Преступление Раскольникова может быть объяснено лишь совокупным состоянием среды, «фрубим, неустроенным состоянием общества», в котором он существовал как личность и как часть этого самого грубого, неустроенного общества.

Роман «Преступление и наказание» опубликован в 1866 году. А за девять лет до того — в 1857 году — появилась статья Добролюбова «О значении авторитета в воспитании», в сущности, на ту же самую тему.

Добролюбов требовал, «чтобы воспитатели выказывали более уважения к человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении внутреннего человека в своих воспитанниках».

В результате воспитания «покорности», по мнению Добролюбова, наступает «отсутствие самостоятельности в суждениях и взглядах, вечное недовольство в глубине души, вялость и нерешительность в действиях, недостаток силы воли, чтобы противиться посторонним влияниям, вообще обезличение, а вследствие этого легкомыслие и подлость, недостаток твердого и ясного сознания своего долга и невозможность внести в жизнь что-либо новое».

Дальше Добролюбов пишет:

«Есть натуры, с которыми подобная система не может удалась. Это натуры гордые, сильные, энергические... эти люди или впадают в апатичное бездействие, становясь лишними на белом свете, или делают ярыми, слепыми противниками именно тех начал, по которым их воспитывали. Тогда они становятся несчастны сами и страшны для общества...»

Читая эти строки, мы словно сквозь увеличительное стекло видим несчастного Раскольникова. Добролюбов, как известно, не принадлежал к числу фантазеров — сочинителей на отвлеченные темы...

О причинах преступления Раскольникова написано множество книг. Я ввязался в спор только с той целью, чтобы отчетливой определить разницу авторского подхода при изображении двух убийц — Раскольникова и Петра Верховенского.

Преступление Раскольникова, как его ни объяснять, для многих остается загадочным.

Но вникая в мысли, чувствования и действия бывшего студента, стараясь вслед за автором разобраться в его душевной трагедии, мы одновременно все глубже начинаем ощущать вязкость среды, как бы обволакивающей героя «Преступления и наказания». Загадка героя помогает разгадывать и уяснять особенности социального окружения.

Петр Верховенский в разгадках не нуждается. Он, по замыслу Достоевского, носитель идеи, суть которой сформулирована анархистом Нечаевым как «страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение». Несмотря на примитивность, левацкий авантюризм такого рода весьма живуч и является, видимо, спутником любых социальных потрясений.

Опасности экстремизма Достоевский угадал пророчески и с тревогой предупредил о них. Но одно дело идея, а другое — художественный образ, эту идею воплощающий. Как персонаж Петр Верховенский не более чем злобный шантажист, беспринципный мошенник. Идея политического анархизма, облеченная в «Петрушу», не тревожит, выглядит не стоящей особенного внимания случайностью, почти кукольной комедией. По поводу причин, побудивших «Петрушу» расправиться с Шатовым, тоже не приходится ломать голову. Эти причины, как мы видели, перечислены. Известно, что похожее преступление произошло в действительности. И несмотря на то, что Достоевский перенес в роман выразительные подробности из судебных отчетов, Петр Верховенский не стал живой личностью, а так «Петрушей» и остался. В его поведении не хватает какой-то доли неопределенности, загадочности, не хватает поступков, на первый взгляд нелогичных, но стимулированных средой. Что породило такого «Петрушу», так и остается неизвестным. Сквозь его грубый, словно из жести вырезанный контур невозможно ни увидеть, ни угадать среду, его окружавшую. Признаюсь, меня раздражает даже то, что неизвестно, где этот «Петруша» живет, где ночует (к таким подробностям Достоевский обычно весьма внимателен). Детективная загадочность появлений и исчезновений «Петруши» гораздо ниже сортом, чем психологическая загадочность Раскольникова.

Нетрудно уловить такую закономерность: менее достоверно выглядят те персонажи «Бесов», у которых контакты с хроникером

слабы или вовсе отсутствуют. Речь здесь снова идет о контактах в широком смысле — от степени непосредственного участия Антона Лаврентьевича в событиях и стычках до его комментариев, размышлений и тона, которым описывается то, чего он не мог видеть. К сожалению, внешне серьезный, простодушный тон, настраивающий на ироническое восприятие персонажа, разжигается, а то и вовсе пропадает, как только речь заходит о Ставрогине и Петре Верховенском.

В сценах, наполненных «крупноблочными» философскими или квазифилософскими диалогами, Антон Лаврентьевич не изъявляет желания ни появиться, ни обнаружить себя хотя бы заменой голых разговоров пересказом. Достоевский был уверен, что идеология бесов крайнего толка не нуждается в тенденциозном заострении. Он считал, что если им дать возможность высказаться публично, «они бы насмешили всю Россию». И в записной тетради, в том месте, где определяется особый тон повествования, сказано: «Тон в том, что Нечаева и князя не разъяснять. Нечаев начинает с сплетен и обиденностей, а князь раскрывается постепенно (рассказом) в действии и без всяких объяснений» (Нечаевым здесь обозначен Петр Верховенский, князем — Ставрогин).

Один из действенных способов критики состоит в том, чтобы позволить противнику выступить перед публикой в своем естественном, неприглядном виде.

Убедительность такого способа продемонстрировали К. Маркс и Ф. Энгельс в работе «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих». Воспроизведя полностью нечаевский «Катехизис революционера», К. Маркс и Ф. Энгельс заметили: «Критиковать такой шедевр значило бы затушевывать его шутовской характер. Это значило бы также принять слишком всерьез этого аморфного всеразрушителя, ухитрившегося сочетать в одном лице Родольфа, Монте-Кристо, Карла Моора и Робера Макера»¹⁰.

Примерно так же собирался поступить и Достоевский.

Но когда в «Альянсе...» цитируются такие, например, перлы: «Революционер — человек обреченный... Денно и ночью должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение... Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным

и единственным революционером в России», — читатель понимает, что буквализм цитаты подчеркивает шутовство не выдуманной, а действительной политической программы.

В «Бесах» мнимоневозмутимый прием не срабатывает, и не срабатывает потому, что быстро становится ясно: автор передает сочиненные разговоры сочиненных им персонажей. К тому же сочиненные персонажи эти, лишённые осторожно-иронического буфера хроникера, превращаются в откровенно карикатурные схемы.

Одну из причин удачи романа М. Каутской «Стефан» Энгельс видел в том, что писательница сумела «относиться к своим героям с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением»¹¹. А Ставрогин непонятен Достоевскому и не освоен им. Писатель видит его рассудочно, снаружи. Это становится особенно ясным, если сравнить Ставрогина со Степаном Трофимовичем. Степан Трофимович тоже выражает идею, которая Достоевскому весьма не по душе. Но в Степане Трофимовиче Достоевский увидел не только голую идею, но и человека, понял его и, поняв, полюбил. (Александр Блок, наверное, сказал бы: «...полюбил его сатирически».) Перед нами оригинальная, смешная и трогательная личность, рассказ о которой непрерывно аккомпанируется иронией, свидетельствующей о полной власти писателя над своим творением.

Достоевский понял Степана Трофимовича «насквозь»: «Сгоряча, — и признаюсь, от скуки быть конфидентом, — я, может быть, слишком обвинял его, — пишет хроникер про Степана Трофимовича. — По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь».

Такая глубина понимания и рождает творческую иронию. Хроникер пытается убедить читателя, что и Ставрогин ему также ясен: «Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов». Но знание фактов для художника далеко не означает полного зна-

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 419, 416, 418.

¹¹ Там же, т. 38, стр. 334.

ния. И в конце концов хроникер признается: «...разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи». При описании поступков Степана Трофимовича такие оговорки не нужны.

Степан Трофимович художественно прорабатывался субъективностью хроникера. А при появлении Ставрогина или Верховенского-сына хроникер терялся, и Достоевскому приходилось брать власть в свои руки. Это выражалось прежде всего в изменении стиля.

Короткий пример поясняет сказанное.

Поначалу в рассказе хроникера слово «наши» звучит почти безобидно: «Все наши еще с самого начала были официально предупреждены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет». Затем в устах Петра Верховенского это слово преобразуется, приобретает таинственный, темный смысл. «А о нашем деле не заикнись», — говорит он Ставрогину. И дальше: «Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к нашим, а то вы опять лыко в строку», «...вы словцо наше не любите». Здесь все понятно: в устах Петра Верховенского слово «наши» выражает презрение к одуроченным «любителям». «Вы заранее смеетесь, что увидите «наших»?» — веселился Петр Верховенский, когда он со Ставрогиным отправлялся на сборище.

В дальнейшем с легкой руки Верховенского то же словцо перенимает рассказчик. Подробно описывается, как перед убийством Шатова «собрались наши в полном комплекте», как «наши и предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения», как «наши были возбуждены»¹².

Но здесь рассказ ведет уже не хроникер, не Антон Лаврентьевич, с характером которого мы освоились, к которому привыкли. Антон Лаврентьевич не умел наполнять самые обыкновенные слова язвительным, грубым сарказмом, превращать их в эмблему и злобный символ.

Это умел делать Достоевский.

15

Когда реакционеры и враги нашего строя видят в персонажах «Бесов» социалистов и революционеров, это понятно и просто объяснимо. Когда эмигрант-антисоветчик С. Франк, разыскивая причины «катастрофы», постигшей Россию (так он называет

¹² Слово «наши» всюду выделил Достоевский.

Беликую Октябрьскую социалистическую революцию), обращается к «пророчески предугаданным «Бесам», тоже понятно.

Но я не могу понять, почему некоторые наши советские исследователи упорно старались заставить меня видеть в Ставрогине и Петре Верховенском злобное изображение социалистов, революционеров (не обращая внимания на то, что сам Петр Верховенский объявлял, что он не социалист, а мошенник), а роман в целом представляли как «злобный памфлет на революцию и социализм» (не смущаясь тем, что ни революции, ни социализма в романе автор не показывал и показывать не собирался)? Зачем вопреки истине меня пытались убедить, что роман «Бесы» — произведение художественно слабое (в то время как М. Горький объявил «Бесов» сильным и злым романом)? Повторялось все это часто и долго — вплоть до празднования столетия пятидесятилетней даты со дня рождения великого писателя в 1971 году.

У меня нет охоты перечислять фамилии этих исследователей. Приятнее вспомнить талантливые, смелые труды о Достоевском А. Долинина, Л. Гроссмана, М. Бахтина, В. Кирпотина, Ф. Евнина, Г. Фридлендера, Ю. Кудрявцева, читанные мной в свое время, которые учили меня понимать мысль романа так, как понимал ее сам писатель, создавая свое произведение.

Ясно, что Достоевский был противником всяких революций, противником социалистического строя. Однако также ясно, что истинных деятелей освободительного движения он не видел и истинного социализма не понимал. Силлогизмы Достоевского вроде «все нигилисты суть социалисты», или «атеизм, который называется у них покамест социализмом», или даже «чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник...» показывают, что в слове «социализм» писатель видел особый, чуждый нам смысл. Какой это был смысл, тоже ясно: «...главная мысль социализма—это механизм. Там человек делается человеком-механикой. На все правила. Сам человек устраняется. Душу живу отняли... Господи! Если это прогресс, то что же значит китайщина!»

Достоевский совершал невольную подмену: он считал, что разоблачает социализм, а на самом деле разоблачал извращения социализма. Обличения его звучали убедительно. Научная теория социализма еще только рождалась, мелкобуржуазные эксцессы были у всех на виду, и, главное, глу-

бочайший талант сердцеведа позволил писателю предугадать формы, в которые будут рваться анархизм и экстремизм в будущем.

В центре внимания в «Бесах» оказался не творец социалистической революции — пролетарий, а обыватель, анархист, «„взбесившийся“ от ужасов капитализма мелкий буржуа»¹³.

Достоевский и сам ощущал это. Один из его «мелких бесов», пройдоха Липутин, заявлял прямо: «Это в Европе натурально желать, чтобы все провалилось, потому что там пролетариат, а мы здесь всего только любители и, по-моему, только пылим-с».

На мой взгляд, «мелкие бесы» выписаны экономно, живо и выглядят естественней, чем их вожаки. Но кто о них рассказывает — Достоевский или Антон Лаврентьевич? На этот вопрос трудно ответить. Как только сцену занимают «мелкие бесы», между гневным автором и деликатным хроникером наступает перемирие, основанное на том, что оба они питали к заблудшим нечто вроде сочувствия, а может быть, и жалости. В этом смысле между ними не было разногласий и им ничто не мешало вести рассказ, так сказать, дуэтом.

Вспомним Виргинских. Сущность «недоделанных» людей этого рода Достоевский обрисовал в одной из своих статей резкими штрихами: «Умалчивая о своих убеждениях, они охотно и с яростью будут поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются,— и все это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами... Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и даже боясь доказывать), верна она или нет?» В романе Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь: «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд»,— говорил он мне с сияющими глазами». Торопливо прочитав великое творение Чернышевского «Что делать?» и не разобравшись, что же все-таки следует делать, они ограничились самым простым: стали жить «под копирку». Правда, когда мадам Виргинская по образцу романа объявила мужу об отставке и приняла в дом капитана Лебядкина, Виргинский по образцу того же романа будто бы произнес: «...друг мой, до сих пор я

только любил тебя, теперь уважаю». Однако, сказано далее, «вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал».

Другая разновидность нигилиста, еще более трогательного, представлена восемнадцатилетним юношей Эркемом. Это «был такой «дурачок», у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости». И дальше: «Если б он встретился с каким-нибудь преждевременным развращенным монстром, и тот под каким-нибудь социально-романтическим предлогом подбил его основать разбойничью шайку, и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы пошел и послушался. У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалованья,— и как, должно быть, она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за нее, как молилась о ней! Я потому так много о нем распространяюсь, что мне его очень жаль».

Вряд ли найдется смельчак, который возьмется доказать, кто в этом отрывке распространяется об Эркеме—Достоевский или Антон Лаврентьевич (если, конечно, не привлекать в качестве доказательства ту формальность, что роман написан «от лица хроникера»). Оба они искренне жалеют мальчугана-убийцу, который и на суде не раскался. О таких живущих чужим умом эркемлях, видимо, думал Достоевский, когда писал в «Дневнике»: «В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть не мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость,— вот в чем наша современная беда!»

Явственной звучит голос хроникера, когда речь заходит о другом «дурачке», капитане Лебядкине. Но и тут, в общем, дуэт «автор—хроникер» выступает вполне гармонично. Необходимо отметить, что, изображая разных близоруких «дурачков», Достоевский верно угадал одну из причин живучести левацкого авантюризма. Недаром Ленин выписал слова К. Маркса: «...теперь мы уже знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать»¹⁴.

Среди представителей «нигилятины» Достоевский разглядел не только дураков. Одна из самых любопытных фигур этой галереи

¹³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 41, стр. 14.

¹⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 30, стр. 266.

реи — ловкач Липутин, преданный «сектатор» будущей социальной гармонии. Расчет таких «сектаторов» прост: они лелеют мечту поживиться за счет новой гармонии: когда все станет общим, легче будет хапать народное добро. Ради своей сладенькой мечты Липутин готов на любые пакости. Степан Трофимович, предрекая, что липутины везде уживутся, по-своему был прав. Этих «сектаторов» и имел в виду Достоевский, когда писал: «...мы ненавидим пустых, безмозглых крикунов, позорящих все, до чего они ни дотронутся, марающих иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют... Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются им убеждения. Они их тотчас же и продадут, за что купили».

Рисовать подобного господина акварельной кисточкой хроникера было, конечно, невозможно. А бесцеремонно подменять рассказчика в первых главах Достоевский еще не решался. Он скрупулезно следил за единством тона. В конце концов был найден остроумный выход: обличить Липутина было поручено Ставрогину. И Достоевскому не могло не понравиться, как «принц Гарри» расправился с сектатором-фурьеристом: «О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновнички, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами прѣд фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование».

16

Подведем итоги.

Как рассказчик Антон Лаврентьевич ведет себя неодинаково.

Пока в поле его зрения представители губернской знати, администрации и прочие господа, потакавшие «бесовству», он работает уверенно и прилежно. Превосходные сцены последнего странствования Степана Трофимовича, в которых Антон Лаврентьевич не участвовал и которых не мог видеть,

выписаны так, что за скорбно-ироническим слогом отчетливо ощущается присутствие очевидца. В сценах такого рода Антон Лаврентьевич ведет себя, как чеширский кот: сам исчезает, а улыбка его остается.

Но как только являются лидеры заговора «Петруша» и Ставрогин, хроникер исчезает целиком вместе с улыбкой.

Что касается «мелких бесов», то, как мы видели, чаще всего Антон Лаврентьевич и автор действуют согласно. Когда речь заходит, например, о Шатове или Кириллове, трудно отделить голос автора от голоса хроникера.

Перед нами три вида отношения Антона Лаврентьевича к исполнению своих хроникерских обязанностей. Границы здесь, конечно, размыты, но привести образцы каждого вида нетрудно.

Переменчивая позиция хроникера находится в какой-то зависимости от творческого освоения материала. Там, где материал достоверен, художественно пристрастно проработан в душе, там хроникер на виду, болтовня его оживляет всякую строчку. Степан Трофимович освоен с такой исчерпывающей глубиной, что даже в чистом диалоге вырисовывается его типический облик. А изуродованный в угоду предвзятой идеи «Петруша» смутен, как призрак. Хроникер пробует подойти к нему и так и эдак, но в конце концов машет рукой и дезертирует.

Не всегда, конечно, активность второстепенного рассказчика может служить чем-то вроде кронциркуля, замеряющего степень постижения жизни и глубину авторской концепции. Но для «Бесов» причина отлынивания хроникера от своих обязанностей очевидна и весьма поучительна.

Ведь, если вдуматься, хроникер — это не что иное, как манера писания, определенный стиль изложения событий, облаченный Достоевским в сюртук и брюки.

А стиль, как только он утвердился, становится привередливым: он не позволяет своевольничать с материалом, не позволяет измываться над персонажами как заблагорассудится. И это понятно: стиль формируется не только талантом писателя, но и бытием, окружающей писателя действительностью. И если писатель все-таки упорствует, нарушает предписанные самому себе законы стиля в угоду чуждой стилистической конструкции, тон повествования ломается.

Оскорбленный Антон Лаврентьевич удаляется и хлопает дверью...



СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

П. БАЖОВ. «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»

Иногда достаточно прочесть одну фразу, чтобы облик автора или рассказчика, сотворившего эту фразу, увиделся как нарисованный.

При чтении бажовской «Малахитовой шкатулки» передо мной почему-то вырисовывался не образ дедушки Слышко, от имени которого ведутся рассказы (что было бы естественно), а внешность, как мне казалось, самого Павла Петровича Бажова. Он представлялся статным, плечистым уральским богатырем. А потом я с удивлением узнал, что Бажов был старичок ниже среднего роста.

Почему воображаемый облик писателя то прямо-таки фотографически верен, то противоречит истине? Почему этот облик у большинства читателей сходен? Каковы здесь закономерности? Что влияет — сюжет ли, фантазия (авторская или читательская) или способ повествования?

Эти вопросы существуют хотя бы потому, что ощущение творца всегда входит в сложный комплекс, который мы называем эстетическим восприятием.

По словам сотрудницы толстовского музея, Лев Николаевич был сухонький мужчина обыкновенного среднего роста. Когда она это говорила, нас в музее было человек десять. Почти все удивились. Оказалось, что творец «Войны и мира» всем представлялся если не гигантом, то человеком, во всяком случае, высоким.

Чтобы сломить наше недоверие, сотрудница (девушка, которой удалось повидать лишь правнуков Толстого) принесла деревянный костыль. Его смастерили для великого писателя, когда он повредил ногу. Замирая от странного чувства, я примерился. Костыль пришелся в самый раз к моему весьма невысокому росту. Но и это очевидное доказательство не всех убедило.

В сказах «Малахитовой шкатулки» так называемая «авторская индивидуальность» зарыта довольно глубоко. Вслед за Глинкой Бажов подчеркивал народную основу своих творений: «Не нужно забывать, что я только исполнитель, а основной творец — рабочий».

Бывальщины, написанные в 1936—1938 го-

дах, сказывал, как известно, старый рудничный сторож. Персонаж этот не выдуман. Он жил на свете и назывался Василием Алексеевичем Хмелининым. Хмелинин попал на Гумешевский рудник еще мальчиком, в 30-е годы прошлого столетия. В рассказе «Тяжелая витушка» изображается его горькое житье-бытье, свирепая эксплуатация рабочих, упоминается, как докатилась до Урала царская «воля».

Беседа с литературоведом М. Батиным, Бажов вспоминал: «Хмелинин был просто краснобай, он умел ярко, хорошо рассказывать. Были и другие старики, тоже рассказывали о прошлом, но они не достигали такой увлекательности изложения... От него, по существу говоря, вся «Малахитовая шкатулка» и шла, по крайней мере, первое издание. Там было 14 сказов, и все они связаны с Хмелининым, с Гумешевским рудником».

Может быть, за обликом рассказчика «Малахитовой шкатулки» мне и чудится сторож Хмелинин, переименованный в дедушку Слышко? Вряд ли. Хотя сказы, как им на роду положено, написаны от первого лица, едва ли это первое лицо полностью покрывается образом дедушки. Тяжелую фигуру высушенного временем и тяжелым житьем «старичонки» никак не приспособить к образу могучего богатыря, возникающего в воображении. Кроме того, мне вовсе не кажется, что Слышко, как пишет М. Батин в книге «П. Бажов» (М. 1963), «становится одним из главных героев произведения». Во многих сказах он и не напоминает о себе ничем, кроме словечек «слышь-ко» и «протча». Да и Бажов, кажется, не очень-то навязывал своего рассказчика в главные герои. Пропустившие предисловие так и не узнают, что писатель поручил сказывать побывальщины какому-то неведомому дедушке.

Эпический образ, постепенно выдвигающийся на первый план по мере чтения сказов и обретающий монументальную стать и форму, не похож ни на Хмелинина, ни на дедушку Слышко, ни на самого Бажова.

Кто же такой этот призрак первого лица? Какие силы его сотворили?

Чтобы ответить на это, придется присмотреться к своеобразной литературной и словесной основе бажовского сказа.

При чтении «Малахитовой шкатулки» с первых строк бросается в глаза подчеркнутая устность повествования. Отметим, что сказы Бажова тяготеют к устной речи, недостаточно. Его сказы и есть устная речь, закрепленная на бумаге со всеми особенностями обыденного говора, жеста, модуляций голоса и с приметам личного общения, недоступными иному виду литературы.

Прежде всего рассказчик устанавливает контакт со слушателем и заодно выказывает свою бывалость и стариковскую опытность.

«Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел? Куда никто из наших не бывал, туда он со всем войском по рекам проплыл?

Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на веслах да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любю».

Представляя слушателю действующих лиц, рассказчик не отвлекается на второстепенности и сразу объясняет, кто беден, а кто богат. Достатком обуславливаются и человеческие качества: богатеи злы, скупы, глупы и жестоки, бедняки смелы, щедры и талантливый. Суть человека, как это и свойственно устному повествованию, определяется коротко и ясно: «...надзиратель рудничный — тоже собака не последняя». Иногда достаточно одного слова вроде «забавуха», чтобы не только выразить нрав девочки, но и заявить о своем отношении к ней.

Побывальщины рассказывает мужчина, поэтому естественно, что женщины оцениваются в первую очередь с точки зрения пригожести. Любопытно, что, как только речь заходит о фантастических женских образах, в повествовании проскальзывает этикет и сказочная традиция. Хозяйка медной горы изображается как «девица красоты неописанной», а Синюшка «пригожая... сказать нельзя. Глаза — звездой, брови — дугой, губы — малина и руса коса трубчатая через плечо перекинута». Сказитель словно немного робеет перед нездешней силой, боится ненароком сболтнуть не то. Зато для своих, рудничных девчат и женщин он находит слова простые и искренние: Таюшка красивая, «ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко

е видно». В оборотах «она, конечно, всплакнула, женским делом», «зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется» звучат уважительность и снисхождение к невинным женским слабостям. Положительный женский образ бажовских сказов — верная подруга любимого. В сказе «Кошачьи уши» приведен гордый ответ «птахи Дуняхи» на вопрос «что баба знает?». «То,— отвечает,— и знает, что мужику ведомо, а когда и больше». И сказитель, видимо, с этим вполне согласен.

Любуясь женской красотой, сказитель и тут не забывает основного: стоящая ли она женщина, трудовая ли, или любительница прожить на даровщинку. Туняедек, хотя бы и из рабочей семьи, он не жалуется. Одну из них, жену фискала Соchnя, он называет «женёшкой» и завершает презрительную характеристику ее такой фразой: «Ребят, конечно, у их вовсе не было. Где уж таким-то». А барыня из сказа «Марков камень» никак не описана. Оказалось достаточным фамилии Колтовчиха да упоминания о барском звании.

Нередко характеристика власть имущего приправлена едва заметной усмешкой, напоминающей о «тайности» сказа. Владелец рудника поминается так: «Он, слышь-ко, малоумный был, мотоватый. Однем словом, наследник». В насмешку добавлено «наследник» или всерьез? Как хочешь, так и понимай.

Тайную лукавость широко применял в «Записках охотника» Тургенев¹⁵. Здесь, у Бажова, в устной народной речи лукавость эта достигает тонкости, которой может позавидовать самый изощренный литератор. Вот, например: «Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку — платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось». Сколько здесь презрения ко всяческому холопству и холуйству!

Сказы «Малахитовой шкатулки» утверждают главную красоту человека — его рабочее мастерство, радость труда. Индивидуальным тонкостям сказитель не придает особого значения; цену человека определяет его трудовая хватка. Умелец, мастер своего дела — всегда герой положительный.

Следуя законам устной речи, сказы лишены развернутых пейзажных картин. О погоде или природе упоминается лишь тогда, когда нужно объяснить поведение героев.

¹⁵ См. статью первую, «Новый мир», 1972, № 10.

Диалог бажовских сказов тоже мало похож на диалог современного литературного повествования. Сказ от начала до конца представляет собой монолог, единый поток устной речи. Реплики персонажей невозможно выделить как особый художественный элемент, как невозможно выделить из речного потока отдельные струи. Разговоры пересказываются в «Малахитовой шкатулке» по законам живой речи.

Каждому известно: когда увлечешься пересказом чужого разговора, невольно начинаешь разыгрывать диалог, превращаться то в одного собеседника, то в другого. Этот простейший способ — способ читательной передачи диалога — встречается в «Малахитовой шкатулке» реже, чем можно было бы ожидать, очевидно потому, что он вплотную примыкает к письменной литературной традиции.

Бажовскому рассказчику по душе передавать чужую речь от себя, а когда это трудно, он спасается от прямой цитации добавками вроде «мол» или «де»: «Пушай-де переймут все до тонкости». Если же цитатность подчеркивается, если речь персонажа подается с нарочитой объективностью, то это делается с умыслом: «Никому те камни не продавай... Сразу снеси все приказчику... На всю жизнь будешь доволен. Столь отсыплет, что самому и домой не донести», — говорит Хозяйка медной горы фискалу Сочню. И вскоре оплошавшему наушнику «отсыпали» столько розог, «что на своих ногах донести не смог — на рогожке в лазарет стащили».

Пересказ часто довольствуется примерным наброском чужой речи. И эту особенность уловил автор «Малахитовой шкатулки»: «Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику режут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул,— и протча тако...»

Иногда, пересказывая думы хорошо известного человека, перемешивают его речь с мыслью и мысль с речью. В сказах Бажова освоена и эта особенность.

«Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопчыч.— Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну, и глазок! Ну, и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!»

Что Прокопчыч говорит, а что думает, оп-

ределить трудно. Особенно если это место не читать глазами, а слушать без подсказки знаков, выделяющих прямую речь.

Как правило, язык бажовского персонажа не отличается от языка сказителя. Так, например, преобразуются в уста рассказчика разговоры столичных вельмож: «Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!» Такие фразы передаются всерьез, без малейшего следа ерничества или райка. Так же всерьез они и воспринимаются.

Может показаться, что прикованность сказа к закону живой речи обедняет возможности жанра: пейзажные вкрапления ограничены, характеры упрощены, диалог сведен к авторской повадке...

Такое впечатление обманчиво. Перечисленные элементы художественного повествования не обеднены, а изменены. Они подчинены главной особенности сказа. Особенность эта, не доступная в такой полной мере никакому другому жанру, кроме фольклорного, заключается в яркой, выраженной с музыкальной интенсивностью интонации.

Воздействием своим музыка сказа с лихвой окупает ограничения, которым ради нее приходится подчиниться. Она одухотворяет фразу, делает ее певучей, углубляет мысль, вскрывает под шутивными речениями подспудные, потайные смыслы. Музыка сказа как бы наполняет слово народной мудростью.

В сказе «Дорогое имячко» повествуется о давних временах, когда на месте Гумешевского рудника жили «старые люди». Отношение их к золоту передается так: «Крупинки желтеньки, да песок, а куда их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда лежит, примерно, на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторону — только и заботы».

Все это сказано словно под музыку. «Только и заботы», — тоном мудрого равнодушия к золотому камню произносит сказитель, превратившись на минуту в одного из «старых людей». А сколько спокойного пренебрежения в словах «куда их?»!

Все изменилось, как только в этих местах появились казаки. «Время, конечно, военное — Сибирь — покоренье-то... Только золото, оно и золото. Хоть веско, а само кверху лезет... Раскрошили самородки на мелочь да и понесли кучцам продавать. А уж таиться стали один от другого. Известно, золото».

«Только золото, оно и золото» — фраза тяжела, как самородный слиток, тяжела и зловеща. И сказана она тяжело, со вздохом, сказана бывалым человеком, который из ведал не только коварную приманчивость и роковую силу «золотишка», но и беды, которые оно приносит. Охотников до уральского сокровища становится все больше и больше. «Золото-то человеку, как мухе патока», — с печальной иронией произносит сказитель. Но к концу печаль словно испаряется и слово наполняется мажором: «Ваше дело другое. Вы молоденькие. Может, вам и посчастливит — доживете до той поры.

Отнимут, поди-ка, люди у золота его силу. Помяни мое слово, отнимут!»

В коротком сказе воспроизведена народная философия отношения к презренному металлу, и воспроизведена она главным образом музыкой фразы.

Выразительная сила этой музыки огромна. Бывает, что в беседе для передачи сложной, запутанной мысли проговариваются нелепые, сами по себе ничего не выражающие слова, проговариваются только как повод, только для того, чтобы музыкой этих слов донести до слушателя невыразимое чувство, эмоцию. Так, в одном из сказов, например, точно схвачено и передано сложное чувство длительности, течения времени, долгого, тоскливого ожидания: «В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет...»

Музыка живой речи, своевольничая, доходит иногда до того, что на своей собственной, звуковой основе рождает новое выразительное слово. От горестного вздыхания «ох ти мне» в «Малахитовой шкатулке» появилось уральское словечко «охтимнеченьки». «Не охтимнеченьки прожил», — поясняет Бажов: значит, жил без горя и без забот.

Читателя почему-то не удивляет то, что, хотя в тексте и не расставлено нотных знаков, мелодия фразы воспроизводится им верно.

Бажовский сказитель никогда не вещает в пространство. Он адресует рассказ определенному, реальному слушателю. Не удивительно, что возле рассказчика постепенно вырисовывается и фигура внимающего слушателя.

Сказитель чрезвычайно чуток. Слушателя он не только видит, но чувствует его отношение к событиям, предвосхищает его вопросы, его реплики, его согласия и несогласия и на все это немедленно отзывается. Од-

но из мест сказа «Кошачьи уши» можно записать так.

Рассказчик. Поговорили так, разошлись.

Слушатель. А Дуныха?

Рассказчик. А Дуныха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сысерти дошла.

Слушатель. И никого не встретила?

Рассказчик. Раз только и видела на дороге полевских стражников. Домой из Сысерти ехали.

Слушатель. А она что?

Рассказчик. Прихоронилась она, а как разминовались, опять пошла...

Если убрать реплики слушателя, перед нами точная цитата, выписанная из сказа.

Основные черты слушателя легко просматриваются. Это человек местный, «нашенский». Северушка, Рябиновка, Гумешки ему известны. Места эти упоминаются запросто, без пояснений. Кроме того, он сказителю свой и по общественному положению, не начальник и не подчиненный. Вернее всего — рудничный рабочий. Упомянув, что пещеру «соком завалило», рассказчик называет металлургический шлак профессионально — «соком», уверенный, что его поймут. А кое-что касательно истории или прежнего уклада жизни приходится разъяснять: «...велел в пожарную отправить — пороть, значит». Видимо, слушатель моложе сказителя, и сильно моложе. А самое главное, оба они — классовые единомышленники: оба с одинаковой ненавистью относятся к притеснителям и с одинаковым сочувствием — к трудовому народу. Сказитель без опаски открывает рабочие «тайности» и откровенно насмехается над барами и холоуями. Он знает, что встретит сочувствие и верное понимание.

«Я думаю, что в понимании рабочих в сказы, которые мне приходилось слышать, вводились элементы какой-то серьезности», — говорил Бажов, и, воспроизводя сказ на бумаге в виде полноправного литературно-художественного повествования, он всем строем и тоном его старался подчеркнуть, что повествование — это не досужий вымысел, не выдумка, а правдивая, классово направленная бывальщина, быть, несущая рабочему человеку, говоря современным языком, необходимую информацию.

Сказ величав и серьезен. Цель его — не пустое языкоболтание, а передача житейского опыта и мудрости, добытого дорогой ценой горя и страданий многих поколений рабочих.

Сказ должен быть убедительным, а убедительность требует достоверности.

Место, где действуют персонажи «Малахитовой шкатулки», — не безликие, безмянные пункты, заброшенные куда-то, в некоторое царство, в некоторое государство. Это свое, близкое, всем известное гнездовье, имеющее свой особый лик, свою биографию, свое социальное происхождение. Это Южный Урал, Полевские и Сысертские горные заводы, расположенные километрах в сорока — пятидесяти от бывшего Екатеринбурга. «Деревню-то Горный Цит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались».

Все это рассказывается уверенно, без оговорок, без напряжения памяти, рассказывается прямым свидетелем происшедшего. Достоверность изложения прямо-таки очерковая. А между тем речь идет о делах двухсотлетней давности, о временах царствования Екатерины Второй. Сказ не рассказывает, а пересказывает, а память народа надежней и правдивей памяти отдельного человека. В ней сохраняется все — от мельчайших деталей рудничного быта до повадок старика Турчанинова, одного из первых русских заводчиков.

Бажов считал, что «художественная правда полноценна лишь при условии, что она дается с основными признаками места и времени». Такая установка родственна принципам народного сказа.

Уральский сказ насквозь историчен, и не только потому, что судьбы героев прикреплены к исторической ситуации, но и в том смысле, что сказ отражает исторический процесс становления рабочей идеологии, рабочего мировоззрения.

История не только объясняет прошлое — она освещает будущее. Поэтому к фактам истории сказ относится особенно серьезно. Извращение исторической правды сказитель посчитал бы кощунством. Сказ послушен ходу времен. История, как и жизнь, не имеет конца — и сказ, как правило, конца не имеет (что также резко отличает его от сказки или современной новеллы («с развязкой»). В конце, в сущности, должна бы стоять ремарка «продолжение следует». И нас не раздражают и не удивляют окончания такого типа: «Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет» («Про Великого Полоза»); или: «На деле по-другому вышло. Про то дальше

сказ будет» («Каменный цветок»). Сказитель спокойно останавливается у новой загадки, у нового поворота событий. Пройдет время — загадка будет разгадана, а о судьбе героя поведают другие.

Так же, как и произведения древнерусской литературы, сказ не стремится замкнуться в нечто завершенное, законченное. Он лишь небольшая часть бесконечного жизненного потока¹⁶. Сказы — опять-таки вслед за древними письменными сочинениями — непринужденно складываются в циклы, из тьмы времен прорубаются все вперед и вперед, к свету и солнцу...

Величаво, спокойно шествует сказ сквозь годы и столетия. Фраза его мудра и долговечна, словно выточена из камня лазурита. Она создана не одним, отдельным человеком. Она из года в год проверяется и шлифуется народом. Сказитель то и дело ссылается на мудрость стариков, на прошлое: «Недаром, видно, говорится — на смелого и собаки не лают», «Не нами сказано — вор собаку переждет, не то что хозяина».

Пословицы и поговорки Бажов использует скупко, целомудренно. Народные речения не виньетки, не цацки, а органическая составная часть его текста.

Не меньше, чем от места и времени, степень художественной правды зависит от профессиональной определенности сюжета. Герой уральского сказа — горный рабочий, мастер по добыче и обработке ценного камня, старатель и рудобой. Он же, рабочий, и первый автор сказа. Рассказать о своем ремесле ему важно и интересно. И всюду, где есть возможность, Бажов старается подчеркнуть это. Подробно, со знанием дела рассказывается о том, как Костыка мыл на огороде золото («Змеинный след»), как Данилушка тесал чашу («Каменный цветок»). С особенным удовольствием выхваливается сноровка рабочего умельца, радость при виде удачного творения рабочих рук.

Уральский сказ — дело основательное, рабочее, мужское. Не удивительно, что, почитая историческую достоверность, сказ решительно отмежевывается от сказки. По свидетельству Е. Блиновой, автора книги «Тайные сказы рабочих Урала» (М. 1941), один из сказителей говорил: «Сказок я не знаю. За сказками по женскому делу обращайся, те знают». Бажов тоже избегал

¹⁶ См. об этом в книге В. Д. Лихачевой. Д. С. Лихачева «Художественное наследие древней Руси и современность». Л. 1971. стр. 68—70.

малейшего намека на сказочность и если вводил сказочный оборот, то для шутки или насмешки: «Жили-поживали, добра много не наживали», «И было у него, ровно в сказке, три сына, только дурака ни одного».

За долгую свою жизнь сказка присвоила такое богатство словесного обряда и сюжетных стандартов, что в сказе, идущем от первого лица да еще наполненном фантастическими образами, отделаться от навязчивого сказочного тона почти невозможно. Пытаться перевесить сказочную традицию может только тот писатель, для которого бытовая диалект определенного места и времени, говор людей определенного общественного слоя были и оставались бы своими, родными. А это нелегко, потому что писатель одновременно должен вполне освоить достижения современной письменной литературы.

Бажову это удалось. Он умел говорить так, как говорили уральские рабочие XIX века, думать и чувствовать так, как думали и чувствовали они.

Отмежевать сказ от сказки трудно еще и потому, что и сказу не отделаться от фантастики: Хозяйка медной горы превращается в ящерку, Великий Полоз уводит подземные богатства. Без этих традиционных образов не обойтись: они выражают социальную установку угнетенных масс. О Полозе, например, говорится: «...не любит, вишь, он, чтоб около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял». О Хозяйке медной горы: «...не любит будто она, как под землей над человеком измываются».

Бажов преодолевает трудности, связанные со сказочной демонологией, двумя путями.

Во-первых, в его сказе невозможно установить, совершались ли чудеса в действительности или действующему лицу только поблазнилось, померещилось. Когда над костром запрыгала огневушка-поскакушка, «каждый, видишь, подумал: «Вот до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило... Неведомо что померещится с устатку-то».

Во-вторых, фантастические персонажи уральского сказа — не бесплотные духи, а нечто осязаемое, материальное. У Хозяйки медной горы «коса сиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты — не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь». А Полоз является ребятам в виде старика бородача с зелеными глазами настолько

материального, что «на котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась».

Сказ неспроста окутывается тайной. Он рассказывается секретно, доверительно, только «своим». Это тайное, корпоративное произведение, предназначенное другу и направленное против врага. Сказ вдохновляет трудовой народ на борьбу с угнетателями, на борьбу со злом и несправедливостью; тайная мудрость его драгоценнее золотого слитка.

Сказ Бажова двулик. Повествование зачастую не завершено и случайно. А вместе с тем события совершаются на отчетливом социально-историческом фоне, персонаж живет и действует в окружении истории, каждая побывальщина занимает законное место в бесконечной цепи прошедшего и последующего.

Так же двулико и сказовое слово. В нем явственно проступают вечное, неизблемое материальное ядро и временное, преходящее, иногда случайное, легучее значение.

Сказ «Две ящерки» от начала и до самого конца построен на вариациях вечных и преходящих иносказательных значений понятия «соль». Начинается с того, как барин уговаривал мастеров-плавильщиков ехать к нему в завод, обещал веселую жизнь и хорошие доходы. Дело было в том, что мастера при варке меди использовали в качестве флюса соль, и этот секретный способ сулил заводчику громадные барыши. Мастера поверили барину, приехали в Гумешки, стали работать. А жить становилось хуже и хуже. Начальство лютовало, выжимало из людей последние соки. Когда же стало все невмоготу, рабочие пошли к барину. Один из них, молодой Андрюха, кричит:

«— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?»

— Как,— отвечает барин, — не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько!»

Другого бы забили насмерть, а Андрюху, наказавши, вернули обратно в завод — видно, умелый был мастер.

Барские холоуи встретили его насмешками — прозвали Соленым. Он не обиделся, а отшутился: «Солено-то мяско крепче».

Однако барину отомстил — заморозил две печи. Дознались, чья вина, посадили Андрюху в шахту на цепь. Сидел он там полгода ли, год ли. А как стал помирать, сжалилась над ним Хозяйка медной горы, приняла в свои подземные хоромы. Очнулся Андрюха в бане: «Огланулся, а по лавкам

рубахи новые разложены и одежи на спицах сколь хошь навешано. Всякая одежда: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрюха и думать не стал, залез на полок и отвел душеньку, — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно». Последняя деталь весьма характерна: Андрюха не позарился ни на барскую, ни на купеческую одежду. Набрал Андрюха сил и говорит: «Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать». Пошел в завод и все печи заморозил. «Посолил он Турчанинову-то!» — удовлетворенно заканчивает сказитель.

Здесь целое соцветие смысловых оттенков простого слова: и соль как приправа к руде, и соль со значением наказания («насолил»), и кличка Солёный — с одной стороны, презрительная, с другой, надежная, со значением добротности, долголетия (солонина долго не портится), и «посолил» в смысле отмщения.

Сказителю чужда всякого рода пустопорожня болтовня. Он не терпит слова смутного, вылущенного, непонятного. Немецкое сочетание Санкт-Петербург превращается у него в ясное и выразительное «Сам-Петербург», а греческое название динамита стало диамитом — видимо, по созвучию с хорошо известной на Урале горной породой диоритом. Сказитель постоянно держит в уме ядро слова, его первый побег; из него развиваются впоследствии все смысловые отпрыски. Это становится особенно заметным, как только речь касается имен, кличек и географических названий. Был, например, такой парень Кузька Двоерылко, нечистый на руку. «Одним словом, ворина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черкнул. Скользом пришлось, а все же зарубка на память осталась — нос да губы пополам развалило. По этой приметке Кузьку величали Двоерылком».

Хотя речь сказителя в основе своей не отличается от привычной общерусской речи, в структуре ее все же нельзя не уловить некоторые особые признаки, характерные для говора старых уральских фабричных. Даже привычное слово «завод» имеет особый оттенок. «„Завод“ — это то, что заведено, — объяснял как-то Бажов, — тут и рудники, тут и шахты, тут и лесное хозяйство с выжигом древесного угля, тут и металлургия с ее домнами и «фабриками», где шел передел чугуна в изделия, тут и сплав металлов по уральским рекам в по-

ловодье». К этому следует добавить, что и бытовые постройки, жилье, бани, кабаки тоже входили в понятие завода. Таким образом, исходное понятие «завод» примыкает к значению, которое передается фразой: «Домишек у них либо обзаведенья какого — банешек там, погребушек — ничего такого и в заводе не было». Сказитель твердо держит в уме это первоначальное значение, связанное с хлопотами обзаведенья, с оживлением пустого места; поэтому в сказах обычен такой, например, оборот: «уйдем в завод» (а не на завод) — так же, как мы говорим: уйдем в дерезню либо в город.

Голос рабочего слышен на каждой странице.

Такие профессиональные слова, как «обманка» или «откат» (пустая порода), непринужденно применяются в качестве нравственных характеристик. Не только профессия и классовое сознание, но и особенности сурового, тяжелого быта рудничных людей отразились в выборе слова. Так, несколько неожиданно для современного уха в сказе «Каменный цветок» звучит глагол «учить»: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет!»

Особое пристрастие сказитель испытывает к глаголу. Он знает, что от глагола во многом зависит энергия и активность фразы, и смело превращает в глаголы и существительные и наречия («Давай опять строжить Федюньку», «Барин к той поре отутовел — отошел от страха»).

Глагол, как правило, выбирается конкретный, точный, отражающий не следствие, а причину. Сказителю кажется недостаточным сообщить о том, что человек умер. Он говорил: «захлестали старика». А барина вскорости «жиром задавило».

Чувство родного языка проявляется и в редкой способности украшать слова затейливыми, словно кокошники, префиксами вроде «утурили», «домекнули», «обсказали» и даже «запокапывало», «запотряхивало», помогающими передать тонкость и глубину человеческих чувствований.

Попробуем теперь, сводя воедино наблюдения над особенностями бажовского сказа, хотя бы приблизительно определить, кто же такой этот рассказчик, образ которого произвольно возникает в нашем сознании при чтении «Малахитовой шкатулки».

Пока ясно, что дедушка Слышко име-

ет к этому образу весьма отдаленное отношение. Талантливый сказитель, так же как и его невдуманый двойник Хмелинин, не создатель побывальщины, не сочинитель, а пересказчик того, что «старики от дедов своих слышали». А перед нами — образ монументальный, собирательный, лишенный черт определенной личности. Мне он мерещится молодым, синееким, крутоплечим великаном-мастеровым в длинной домотканой рубахе, с подстриженными скобкой русыми волосами, прихваченными тесемкой.

Образ этот глубоко национален. Мудрая, лукавая речь его смело ломает традиции сказки, былины, легенды и вместе с тем опирается на эти традиции. Он не раб своего языка, а творец и властелин его, фраза его исполнена уверенности и силы.

Образ этот народен. Рассказчик сознает свое положение в мире, разделенном на угнетенных и угнетателей, и определяет свою позицию с точки зрения человека труда. Как бы ни различались люди по характерам и повадкам, он прежде всего определяет главное: кто перед ним — барин или рабочий. Напомнив, что у заводчиков Турчаниновых имена Петро да Марко вперемежку давали: «Отец, например, Петро Маркыч, а сын Марко Петрович», — рассказчик замечает: «Ну, это их дело. Рабочему человеку в том сласти мало. Петро ли, Марко, а все барин».

Рассказчик не просто «отображает» окружающую его действительность, не только изображает беды фабричных людей. Он вскрывает причины каторжной жизни и клеймит виновника такой жизни. Виновник этот — жадность к богатству, принявшая в условиях крепостничества особенно уродливые, дикие формы. Недаром Полоз, хранитель подземных сокровищ, говорит в назидание: «Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякую погони налипнет».

Баре бажовского сказа жадны, трусливы и похотливы. Рассказ о них ведется со сдержанной усмешкой. В одном только случае рассказчик сбивается с мерного тона — когда речь заходит о подонках, которые из трусости, за лишнюю копейку или просто из любви к холуйству (и такие бывают) переметнулись на хозяйские харчи и стали истязателями, шпиками, притеснителями своих же рудничных — отцов и братьев.

Как только не величает барских холуез рассказчик — и убийцами, и нюхалками, и откатыю последней, и наушниками, и уха-

чами, и собаками, и прихвостнями, и охлестышами. «Не любил их народ, пожарников-то. Они, вишь, первые прихвостни у начальства были и народ в пожарной пороли».

Хозяйка медной горы, выступающая в сказах как верховный судья человеческого поведения, выразительница нравственных норм трудового народа, наказывая одного такого прихвостня, промолвила: «Эх ты, — говорит, — погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит».

Конечная цель рассказчика — внушить забитому, отчаявшемуся рудокопу веру в освобождение, в неизбежность справедливости и счастья. Он смело призывает не задраться на золотишко, учит понимать, что самое высшее существо — не бог, не царь, не барин, а человек труда, и призывает этого человека постоянно хранить честь и достоинство. Настоящий, нормальный человек бескорыстен. Ему известны ценности гораздо более необходимые и значительные, чем богатство: творческий совместный труд, свобода, любовь. И Хозяйка медной горы хвалила Степанушку за то, что он приказчика не испугался, и вдвое — за то, что он не позарился на ее богатства, не променял на них свою Катерину.

Значительную, если не решающую, роль в кодексе нравственности трудового человека играет смелость, бесстрашие, твердость характера перед лицом притеснителя. Рассказчик не упускает случая подчеркнуть необходимость воспитания этих качеств: «...смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет»; заставляет Хозяйку медной горы вернуть Катерине ее возлюбленного «за удалость да твердость», проявленные девушкой.

Так с каждым сказом все выпуклей проступает облик, который я сначала приписывал автору, Павлу Петровичу Бажову, облик, чем-то сходный с русским былинным богатырем, с ведуним-прорицателем, призывающим притесненных к отважной, мужественной борьбе, к активному действию.

Этот облик — нечто собирательное, обобщенное, совокупность всех тех русских уральских сказителей, которые в течение веков терпеливо обтачивали и гранили чудесные побывальщины и бережно передавали их из поколения в поколение. Невидимо, вроде призрака отца Гамлета, витает этот образ где-то возле текста, оказывая влияние и на ход событий, и на то, как эти события понимать. Однако хоть он и неви-

дим, не назван по имени и ни разу не появляется в качестве персонажа — именно он является главным героем сказов Бажова.

Создать идеальный, совокупный, типичный образ такого рода чрезвычайно трудно.

Природу этой трудности можно понять на примере частушки. Подлинную частушку, как правило, легко отличить от частушки-имитации, от частушки, сочиненной единолично даже талантливым, чутким к народной песне поэтом.

Народная частушка от момента своего случайного создания до конечной, алмазно-граненой формы проходит длинный путь стихийной редактуры, и на этом полном приключений и превращений пути она в одно и то же время и обезличивается, и выправляется, обогащается, украшается коллективным народным мирознанием.

Редкому гению по плечу равняться с безупречными образцами народного искусства. К таким редким гениям принадлежал Пушкин. Передавая Киреевскому пачку записанных песен, он сказал: «Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». И тончайший знаток народного творчества Киреевский не мог разрешить эту задачу.

По поводу самого Киреевского имеется замечательный отзыв исследователя: «Поддав в себе, так рано, последние остатки индивидуальности, он стал безличен, но вместе и удивительно целен, как воплощение народной стихии. Этой стихией были всецело пропитаны его чувства и его мысли. Он обладал беспримерным чутьем народного, сильнее всего на свете любил русский народ и все, им созданное, истину и красоту понимал только в тех формах, какие придал им русский ум; и без сомнения, и чувствовал он и мыслил по-народному и даже в самом этом добровольном обезличении невольно следовал какому-то тайному закону русского национального духа».

Если бы не слово «безличен», этот отзыв подошел бы и к Бажову. Но Бажов, обладая тончайшим чутьем реальности, скрытой под покровом коллективной фантазии, был вовсе не безличен. Он был яркой и оригинальной личностью.

Тем удивительней представляется его способность доносить народный эпос до читателя, не разбавляя его своей индивидуаль-

ностью. Удивительно, что Бажов сумел сделать уральский сказ явлением литературы, что он бережно донес бесплотный образ «первого лица» сказа до читателя.

Все это удивительно потому, что писательская работа существенно отличается от творчества сказителя. Сказитель, как бы волюно он ни относился к материалу, как бы ни играл с сюжетом, как бы ни украшал его цветами своей фантазии, в конце концов пересказывает слышанное.

Писатель подбирается к сказу с другой стороны — через парадные врата художественной литературы. Ему приходится соотносываться с господствующим стилем, осваивать бродяжную профессию фольклориста, изучать старину, рыться в архивах, заводить карточки редких слов и речений, словом, проводить кропотливую работу и литератора и исследователя.

В сказах Бажова мы встретились с рассказчиком особенным. Этот рассказчик — и не автор, и не главное действующее лицо, и не второстепенное. Этот рассказчик — аноним.

Аноним здесь следует понимать не в смысле загадочности, а наоборот — в смысле всеобщей, типической отчетливости характера, доведенной до такой степени сверхиндивидуальности, когда своеобразные черты кажутся случайными и ненужными.

Рассказчик в сказе, «первое лицо», выступает как анонимная типичность.

Анонимность рассказчика, дающего о себе знать лишь манерой разговорного языка, особым канонем изложения, и является, по-моему, главным признаком настоящего, чистого сказа, отличающим его от бесчисленного количества сочинений, написанных от первого лица.

Упомянуть об этом приходится потому, что часто к сказу относят самые различные литературные произведения — лишь бы повествование напоминало устную речь. Так, к сказам по инерции отнесли и обыкновенный, не очень выразительный рассказ из той же «Малахитовой шкатулки», в котором дедушка Слышко плачется о своей горемычной жизни («Тяжелая витушка»).

Вряд ли надо добавлять, что образы анонимного рассказчика в сказе бывают самые различные — и величавый, былинный рассказчик Бажова так же своеобразен, как сюжеты его уральских сказов.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лебедева. Время творчества. — **А. Марченко.** Вопросы больше, чем ответов.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Вл. Канторович. Анализ процессов миграции. — **Марк Поповский.** Погода номер четыре. — **С. Десятков.** Трезвый взгляд на миражи Форин оффиса.

Литература и искусство

★

ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА

Мирмухсин. Умид. Роман. Авторизованный перевод с узбекского Эмиля Амита. М. «Советский писатель». 1972. 495 стр.

В развитии большинства среднеазиатских литератур нашей страны давно уже наступил тот период, когда они перестали быть замкнутыми в собственных пределах. Формы взаимовлияния литератур многочисленны и разнообразны. Здесь хочется особо подчеркнуть, сколь серьезное влияние оказывает процесс выхода литературы в «широкий мир» на ее собственное развитие. Осваиваются новые художественные приемы и формы, развиваются новые жанры и — едва ли не самое существенное — масштабней становится социальная проблематика, углубленней гуманистическое звучание произведений.

Чрезвычайно ярким и характерным в этом плане выглядит, в частности, сегодняшний день узбекской советской литературы. Узбекская проза развивается по пути плодотворных творческих поисков, свидетельством их успешности стали новые произведения многих писателей, в частности Аскада Мухтара, Пиримкула Кадырова, Рахмата Файзи, Адыла Якубова. Один из шагов на этом пути — и роман Мирмухсина «Умид». Произведение это примечательное во мно-

гих отношениях. Автор его по первой своей «литературной специальности» — поэт, и, скажем, в «Умиде» Ташкент, этот огромный столичный город, живущий сложной, разнообразной жизнью, увиден в такой его сложности, несомненно, глазами поэта. Тысячу раз пройдет человек мимо дерева, ничего особенного в нем не заметив, а поэт разглядит и цвет его листьев, и поворот его ветвей в ту сторону, откуда по утрам появляется солнце. Так и Мирмухсин, не давая пространных описаний или общих оценок, насыщает повествование такими остро подмеченными черточками и деталями, с которыми современный Ташкент предстает во всем своеобразии...

Взгляд автора часто неожидан: в описаниях, казалось бы, традиционных для произведений о Средней Азии, он «смещает акценты» и привычное выглядит как бы освобожденным от налипших на него долголетних представлений. Таково его отношение, между прочим, и к житейским традициям, сложившимся в течение десятилетий и даже столетий. — среди них, увы, немало косных. (Скажу в скобках, им так много воз-

дано и в публицистике и в художественной литературе, что порой не хватало внимания для того положительного, здорового бытового опыта, который накоплен народом и упрочен.)

Мирмухсин не раз упоминает в своей книге махаллю (городской квартал) с ее бытовыми традициями. Казалось бы, в современном городе отмирать должно все это, переплавляться в «общем котле». Но вот страницы романа, на которых речь идет о последнем ташкентском землетрясении. Профессор Салимхан Абида уехал с семьей из города — подальше от опасности. В доме осталось ценное имущество, надо бы вывезти что можно. Абида приезжает на своей машине. На улице встречает он одну из соседок по махалле, пожилую женщину, которая ведет за руку внука. Абида убеждает ее, что надо уехать: «...хоть о внуках позаботьтесь». И она отвечает так: «О моих внуках вы не беспокойтесь, домулла. Еернее будет, коль себя возьмете в руки. Я видела, как вы в панике убежали отсюда. И на других страху нагнали. А ведь махаллинцы наши всегда вас уважали, гордились вами, за самого авторитетного и умного человека в округе считали. А как увидели, что вы сбежали-то, так страх всех и обуял. Ведь исстари ведомо: когда люди друг дружки держатся, любое несчастье не таким страшным кажется. Живи сейчас вы в своем доме, и нам бы вроде полегче было бы. А то словно из крепкой стальной цепи колечко выпало, цепь наша махаллинская распалась...»

Наверное, есть и такие обитатели, для которых махалли — нечто противопоставляемое остальному миру. Но для большинства это лишь первая форма, первая ступень связи с людьми, как для собеседницы Абида. Новое время — новые человеческие отношения, по-новому осмысляются и старые традиции.

Эпизодов, где вот так, с неожиданной стороны, «высвечивается» какое-то явление, в романе немало. И пожалуй, тот же прием нередко использует автор, представляя читателям действующих лиц. «Умид» — роман одной судьбы, одного героя, но герою этому приходится соприкасаться более или менее тесно с большим количеством других людей. Именно так знакомимся мы с отцом студентки Хафизы, крупным партийным работником. Никаких подробностей о его руководящей деятельности автор не сообщает — в этом нет сюжетной необходимости.

Но отношение Пулатджана-ака к такому, например, факту, как поступление его дочери в институт, а точнее сказать — отсутствие к этому всякого иного отношения, кроме естественного для отца волнения, категорический отказ с кем-то «поговорить», на кого-то «повлиять» уже есть своеобразная художественная характеристика. То же можно сказать о старухе Чотирхола, о бабушке Хафизы, о старике хлопкоробе Кошчи-бобо, о шофере Абида Инагамджане, о руководителе института селекции Шукуре Каримовиче...

Определяющей удачей автора является, без сомнения, образ самого Умида, молодого ученого, именем которого писатель называл роман. Сильные и слабые стороны его натуры, его чувства и мысли раскрыты перед читателем с подкупающими непосредственностью и правдивостью.

Умид — аспирант научно-исследовательского института селекции и семеноводства. Он недавно принят в аспирантуру, его научный руководитель профессор Салимхан Абида быстро оценил хорошие способности и покладистый характер своего ученика. И начал самым беспардонным образом пользоваться этим. Умид читал для профессора, собирал научную информацию и ничего недостойного либо незаконного в этом не находил. В простоте душевной он не подумал, что растрчивает себя как личность. Странно? Только на первый взгляд, а на самом деле естественно и вполне вытекает из характера героя.

Вот Умид впервые приглашен домой к Абида. Здесь с л и ш к о м много дорогих и красивых вещей. Назойливо лезут в глаза хрустальные и фарфоровые вазы, многочисленные ковры, люстры, столики...

В доме профессора привычка использовать аспиранта в качестве «мальчика на научных побегушках» переключается на область домашнего хозяйства, и Умид получает ряд сугубо ненаучных поручений — раскатать тесто, съездить за вином, встретить гостей у ворот... По нормам существующих отношений между людьми пожилыми и молодыми, такие поручения не задевают чести аспиранта, но, конечно, и не прибавляют ему ее. Впрочем, принимают Умида хорошо — приветливо и уважительно, что замечено и остальными гостями. Доволен и он сам, ни тени критического отношения к увиденному впервые в жизни «роскошеству» не возникает в нем. Ему не очень ловко, он не чувствует себя «своим», но он

совсем не относит это за счет хозяев. Засыпая в доме Абида, где его гостеприимно оставили ночевать, Умид с удовольствием думает о том, как все хорошо получилось. И только во сне... Во сне увидел он девушку, которую полюбил или почти полюбил, — Хафизу. Чистое, честное существо. Он с гордостью говорит ей о том, как принимали его у Абида. «Почему ты опустила голову и плачешь? Ты не рада этому?.. Хафиза!»

Умид вступает на ложный путь, и автор не оправдывает его. Мирмухсин сумел так показать нам своего Умида, такое рассказать о его жизни и о его внутреннем мире, что мы вместе с автором прежде всего сожалеем об ошибках молодого человека. По серьезному счету главной жертвой этих ошибок и заблуждений оказывается сам Умид. А причина или причины их? В них не так просто разобраться.

Умид родился перед войной. Детство у него было нелегким. Отец воевал, мать, надорвавшая здоровье в годы войны, умерла вскоре после возвращения мужа с фронта. Умид был еще совсем мальчишкой, когда умер и отец, оставив сына на попечении мачехи, женщины неумной и озлобленной. Недоедание, грязь, отсутствие человеческого отношения у себя дома, возня и беготня по хозяйству, никаких радостей детства — быть может, все это породило в Умиде некую «восточную покорность судьбе»? Нет. Он стал несколько замкнутым, сдержанным, но веру в жизнь и в людей не потерял, да и само социальное содержание действительности не давало на то оснований.

Быть может, бедное детство и породило тягу Умида к современному особняку Абида? Не совсем так... Он ведь понимает, что в особняке современно привлекательным была только антураж: мебель, магнитофон, телевизор. Даже книги в библиотеке Салимхана Абида сделались частью антуража. Не случайно вводит Мирмухсин в роман, казалось бы, не столь уж важную сцену — супругу Абида навещают ее старозаветные родственницы. Профессорша заболела, вернее, ей захотелось поболеть, и вот пожилые тетушки степенно попивают у ее изголовья чаек, расспрашивают о здоровье, сообщают «городские новости», а одна из них «разожгла гармол, принесенный с собой, дабы его дымом, освященным всемогущей молитвой, изгнать из бедняжки Сунбулхон сатану...».

Откуда взялась старозаветность в доме у

Абида? Ведь и она есть следствие чего-то, это ясно. Абида не так уж стар, и, конечно, не возраст сделал его накопителем, оторвал от времени.

Все дальше и дальше заходит Умид по пути сближения с Абида и его семейством, и тем не менее мы все время ясно ощущаем неизбежность их разрыва. Неизбежность, predeterminedенную в конечном итоге теми социальными условиями, в которых существует и развивается наша наука. Люди, стремящиеся в первую очередь нечто урвать для себя, не знающие, что такое самоотдача, науке не нужны. Это балласт, и, как показывает история Абида, балласт далеко не безобидный. Ошибка и глубокое заблуждение Умида, способного на самоотдачу так, как должен быть способен настоящий человек и подлинный ученый, с самого начала состояла в том, что он уверовал в тождество Абида с наукой. Умид шел по неверному пути, теряя многие моральные ценности (самой большой потерей было чувство к Хафизе, преданное Умидом нелепо и легкомысленно), но основа его отношения к жизни, к людям, к науке оставалась честной. И потому, будучи «донором» для Абида и тогда, когда стал его зятем, Умид не согласился (нелепо само предположение, что он мог согласиться!) на прямые обман и клевету. Без раздумий, прямо и недвусмысленно отказался он поступиться научной совестью. Недолговечным оказался его «союз» с Абида, столь же непрочным и недолговечным — брак с профессорской дочерью, пустельгой и лгуньей... Он приобрел опыт, которого ему раньше не хватало, научился разбираться в людях и по достоинству оценивать их, но потери велики, а где-то и невозможны. И тем не менее конец его сосуществования с Абида есть начало нового, надо надеяться, по-настоящему творческого времени в его жизни.

Эта устремленность в будущее — одна из привлекательных черт романа. Она как бы оправдывает и некую символику имени главного героя (Умид значит в переводе на русский язык «надежда»).

Устремленность в будущее заявляет о себе в романе и в более широком, более обобщенном смысле. В принципе любое реалистическое произведение отражает в большей или в меньшей степени полноту жизнь народа в ее национальном своеобразии, те связи, которые делают один народ частью всего человечества. Это приложимо и к роману Мирмухсина, находит своеобразное претво-

рение даже в самом развитии и в трактовке писателем конфликта, составившего основу сюжета. Построив свою жизнь по принципу «все только для себя», тот же Салимхан Абиди легко и просто впускает в свой дом ветхозаветные национальные традиции — они не мешают его взгляду на мир, а составляют одну из опор обывательского мировоззрения. А вот старый хлопкороб Кошчи-бобо, хотя и не получил высшего образования, озабочен тем, чтобы успеть передать людям свой трудовой опыт, свои знания, он куда более интеллигентен и современен, нежели Салимхан Абиди. Люди такого склада, такого отношения к жизни, как Кошчи-бобо, независимо от того, в деревне ли они живут или в городе, — суть звенья связи с грядущим.

Роман Мирмухсина действительно сложен в своей множественности проблем. Непростой, конечно, была задача переводчика такого произведения; в поисках стилистически адекватного оригиналу выражения Э. Амиту пришлось обращаться к различ-

ным лексическим пластам и уровням. Работа серьезная, но в чем-то не доведенная до конца, и хотелось бы, чтобы переводчик вновь перечитал роман с карандашом в руке и отредактировал некоторые его места. Сейчас же здесь можно прочесть: «Если случилось, что ее не оказывалось на месте, ему казалось даже, будто уже что-то не так»; «...было заметно, что он испытывает неловкость за своего коллегу перед молодым человеком, который еще не знает всех причуд этого человека»; «...она ощутила тыльной стороной руки, как сильно колотится его сердце» и т. д.

Выход книги национального писателя в переводе на русский язык — важное явление в процессе осуществления литературных связей, о котором говорилось в начале нашей рецензии. В укреплении этих связей на переводчика книги ложатся серьезные обязанности, в его труде должно быть все совершенно — до фразы, до слова...

Л. ЛЕБЕДЕВА.



ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

И. Велембовская. Сладкая женщина. Повесть. «Знамя», 1973, № 3.

В отличие от классиков иные наши прозаики не ломают голову, определяя жанр своей вещи. Что длиннее рассказа? Повесть. Что длиннее повести? Роман. Повестью называет свое новое произведение и Ирина Велембовская, хотя для «Сладкой женщины», на мой взгляд, куда более подходящим оказалось бы другое определение: или что-нибудь очень модное, вроде «опыт социально-психологического анализа», или, наоборот, сугубо старомодное — «истинное событие». С события, даже с происшествия, описанного с холодноватой, но интригующей лаконичностью судебного очерка, «Сладкая женщина» и начинается.

8 марта 1971 года в одну из московских больниц в «тяжелом реактивном состоянии», осложненном переломом ключицы, была доставлена работница кондитерской фабрики — некая Доброхотова Анна Александровна, еще довольно молодая и видная женщина. На вопросы следователя, почему и с какой целью она очутилась в полупустой черкизовской развалюхе, пострадавшая отвечать отказалась, а свое падение и перелом объяснила тем, что споткнулась на темной лестнице. Было начато судебное расследова-

ние, но за отсутствием состава преступления и по настоянию самой Доброхотовой прекращено.

Судебный очерк не состоялся, но очерковый ход сыграл свою роль: читатель успел настроиться на житейский лад и приготовился следить за развитием действия, вернее — д о с л е д о в а н и я, не столько обливаясь «слезами над вымыслом», сколько радуясь точно переданному сходству, жизненности «списанного с натуры» характера. Порой эта дотошная до фотографизма натуральность начинает утомлять, и не только тех, кто предпочитает иметь дело с героями-сентенциями, героями-выводами, но и саму Велембовскую. Чем ближе к развязке, тем чаще упрощает она и технику мотивировок и приемы живописания. Но тогда, когда Велембовская не торопится настроить общественное мнение против Анны, когда не мешает себе н а б л ю д а т ь, ей удается подметить в поведении героини такие черты, а в ее жизни такие подробности, которые придают повествованию характер любопытного социального исследования.

Исследование это начинается как бы с середины: деревенское детство Анны оста-

ется, по существу, за границами повести. Нет в героине и стандартных добродетелей «естественного человека», примелькавшихся в рассуждениях на деревенскую тему, ни его доверчивости, ни его простоты, ни пресловутой враждебности к издержкам цивилизации. Несмотря на «неполное семилетнее», ассимиляция в городе дается Анне на редкость легко: она и бойка, и «схватчива», и начисто свободна от «тоски по истокам». Недаром в связи со «Сладкой женщиной» критики вспомнили не ее многочисленных деревенских (литературных) «родственников», а произведения о городском мещанстве. «Литературная газета» («Цветы из колленкора», 25 апреля 1973 года), например, отрецензировала «Сладкую женщину» в одной критической «кассете» с «Пустошью» С. Крутилина, да еще с подзаголовком: две повести на одну тему. Тему эту автор рецензии И. Янская определяет как тему развенчания пошлости: «...обе повести о человеческом ничтожестве, о цинизме в отношении к миру, о мелкости целей и средств для их достижения. Пустошь — вот что такое эти люди, сорняк». Что касается «Пустошли», то это в принципе верно, хотя, на мой взгляд, С. Крутилин сильно смягчил силу удара, перенес внимание с очень интересного героя на совсем неинтересную героиню. Может быть, ассоциация несколько произвольна, но мне показалось, что в главном герое «Пустошли» — бывшем целиннике, бывшем передовике, а ныне женихе — умер современный Присыпкин. А вот с трактовкой образа Анны, в связи с которой И. Янская вспоминает даже бальзаковского Растиньяка, никак не могу согласиться, особенно если не забывать о тех вполне конкретных обстоятельствах, какими была вызвана массовая «миграция» из деревни в первые послевоенные годы. Замеченный И. Велембовской характер, несомненно, многозначнее, чем тысяча сто первый вариант «хищницы среднего калибра», как сказано у И. Янской, честолюбивой, холодной и хитрой.

Конечно, Анна расчетлива, да и как вырасти иной дочери «бабы Ньюхи», которая и кринки сыворотки никому задаром не нальет... Но какая же она хищница, если в ее поступках часто нет не то что волчьей хватки, но и элементарной цепкости? Взять хотя бы историю ее первого безлюбого и странного романа с Мариком Шубкиным, профессорским сыном и интеллектуалом. Анне Шубкин-младший не нравится — ры-

жий, носатый, — но она и не «отшивает» его с той категорической решительностью, с какой привыкла расправляться с многочисленными своими «ухажерами». Расчет? Надежда на выгодное замужество? Но замуж за Марика Аня не хочет, и положение матери-одиночки не урезонивает ее, и уговоры бабы Ньюхи не помогают. А ведь очутись на ее месте не то чтобы Растиньяк в юбке, а хотя бы хваткая и расчетливая девица, уж наверное сумела бы использовать этот «шанс»: и в профессорской квартире бы прописалась, и Марика бы приспособила. Анна же предпочла «карамельную» свободу и ни разу об этой своей промашке не пожалела.

Но может быть, тут и проблемы-то никакой нет? Может, Анна Доброхотова просто глупа и легкомысленна, как полагает, например, высокоинтеллектуальный Марик? В том-то и дело, что не просто... Вспомните их первое tête-à-tête в неухоженной и неуютной профессорской квартире: «В ней зародилось волнение, но не от Марикова поцелуя, а от необычных слов, необычного обращения». И еще: «Есть для этого дела какие-то тихие, приятные замашки, которых ни Мишка, ни Валька, ни Колька не знали, а этот рыжий невзрачный студентик знал». Подробность, по-моему, важная для понимания самой сути характера Анны. Если необычные слова, пусть произнесенные «не тем мужчиной», смогли до такой степени взволновать вовсе не мечтательную девчонку, что она «потеряла себя», значит, жила в ее душе тоска по какой-то иной, необычной, красивой жизни. И кто знает, как сложились бы дальнейшие отношения незадачливых любовников, если бы Ане каким-то чудом удалось отделить «приятные замашки» рыжего Марика от домашнего уклада Шубкиных, не только ей неприятного, но и оскорбляющего ее представления о б л а г о л е п и и. Но Аня этого разделения произвести не может:

«Пока Марик ее неуверенно ласкал, она искоса поглядывала на обстановку комнаты, такую для нее чужую и непривычную: избитую пылью резьбу на шкафу и буфете, исцарапанную, облупленную крышку пианино, дорогую, но очень тусклую посуду, пятна на узорном паркете.

— У вас что же, никто и не прибирается? — спросила она».

Ведь для нее без благообразия и порядка и красота не красота и богатство не богатство, чего, кстати, никак не может понять

ее практичная мать, считающая, что грязь — всего лишь грязь и ее «соскрести можно». Но Анна-то думает иначе! Она и театр-то любит за благообразие, за плюшевый уют, за иллюзию приобщения к красоте и культуре — из всех иллюзорных «сладостей», из всех столичных приманок именно эта кажется ей самой «сладкой»...

А главное, несмотря на бойкость, героиня «Сладкой женщины» отнюдь не завоевательница: захватить «чужой монастырь» да заставить его жить по своему «уставу» — такая задача ей и не по вкусу и не по силам. Да и зачем, если уверена: богатая столичная жизнь так сладка и обильна, что на ее, Анину, долю хватит и общедоступных «сладостей». Надо только уметь и свою «жизнь составить». Не выиграть в борьбе за существование, а именно составить — не торопясь, не особенно жадничая, но и своего не упуская. Конечно, ее аппетиты растут: сначала было достаточно сдобных белых булок и чистенькой койки в «приличном» общежитии кондитерской фабрики, потом понадобилась отдельная комната, а затем и квартира с полированной мебелью и телевизором. Но ничего патологического в этих желаниях нет. Даже простодушный цинизм Анны, связывающей свои надежды на квартиру с продвижением по профсоюзной линии, не кажется таким уж отвратительным. Хотя И. Велембовская, объясняя общественную активность Анны, как раз и выдвигает «квартирный вопрос» в первопричины, самой Анне жилаплощадь не кажется главным призом, ради которого стоит становиться на «ковровую дорожку». На профсоюзных высотах Доброхотова добирается, так сказать, моральный престиж, получает «демонстрационную площадку», где можно показать себя — свою вальяжную, с достоинством красоту, свои обильные волосы, свой досток и свои «блоньки». Эту странность в поведении героини замечает, конечно, и Велембовская. И объясняет непомерным Аниным тщеславием. Но похоже, что имеются причины и более серьезные.

Вот ведь героиню нового романа С. Залыгина Ирину Мансурову ни в непомерном тщеславии, ни в мелочной расчетливости обвинить нельзя, но и для нее НИИ-9 — «служебное собрание», где все тебя знают, где могут целый день обсуждать твою новую прическу и целый год — твои любовные переживания. И для нее, при всем ее уме, работа — лишь замена светской жизни, а главное — более легкое и приятное по

сравнению с домашней «поденщиной» и воспитанием ребенка времяпрепровождение. И то, что обе более чем сносно справляются с «домашними обязанностями», сути дела не меняет: лишь налаженный быт да наличие приличного, хорошо зарабатывающего мужа может дать уверенность и спокойствие, без которых приятная игра в работу превращается в малоприятную необходимость. Конфликт этот (между двумя разными женскими жизнями — декоративно-служебной и домашней, интимной) еще «новорожденный», но с явной тенденцией к быстрому росту: чем богаче мы становимся, тем для большего числа женщин служба перестает быть осознанной необходимостью и превращается в привычку, а то и в узаконенный общественным мнением бессрочный «отдых» от неубывающих трудностей домашней работы и унижающей — черной, физической, и возвышающей — духовной, душевной, творческой, той, что ни механизации, ни автоматизации не поддается и, следовательно, никаких облегчений не обещает ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем...

Разумеется, ни С. Залыгин, ни И. Велембовская специально этой проблемой не интересуются. По всей вероятности, они ее и как проблему для себя не формулируют, у них «заботы другие». Но так как их сорокалетние героини принадлежат к поколению, сформировавшемуся в самый разгар «движения из дома в мир» (прошу прощения за некоторую вольность термина), то история их жизни дает, на мой взгляд, очень интересный материал для раздумий на эту тему. Больше того, жесткость, с какой и в «Сладкой женщине» и в «Южно-американском варианте» воссоздан самый «дух» казенного семейного дома — дома без хозяйки, дома, где дети только мешают, — наводит на мысль, что авторы этих произведений, может быть, бессознательно, но учитывают изменения, происходящие на наших глазах во взглядах на «женский вопрос».

Это особенно ощутимо, если сравнить «Сладкую женщину» с каким-нибудь типичным произведением середины 30-х годов, хотя бы с «Тоней» Ильфа и Петрова. Сюжет комического рассказа о молодой женщине, очень скучавшей в Нью-Йорке, потому что маленький ребенок мешал ей обучаться танцам и английскому языку, изложен, как известно, в «Записных книжках» Ильфа. При реализации замысла тон повествования изменился: скучающая Тоня превратилась в «новую женщину», а ее «комическая» тоска

по самостоятельным успехам и интересной жизни, какую она вела, будучи работницей расфасовочной фабрики, а главное, по фабричным яслям, куда она могла бы сдать своего Вовку, чтобы без помех расфасовывать черный перец и блистать на клубной сцене, подается вполне серьезно, с учетом тогдашних представлений об «идеальной» женщине. Сегодня, тридцать шесть лет спустя, рассказ читается иначе: снятый комизм проступает сквозь лирику, мы уже не улыбаемся сентиментально, мы смеемся, и отнюдь не сочувственно; у нас определенно перестала вызывать симпатию женщина, душа которой не хочет ни стареть, ни расти. Мы уже не видим в ней ничего, кроме инфантильной куколки, из которой вот-вот выльются попрыгунья. Нет, мы не разочаровались в эмансипации. Но мы осознали, что равноправие, отменив или разрешив старые драмы и противоречия, принесло новые. Литература не могла не заметить этих противоречий, проблема отношений внутри семьи перестала казаться узкой и бытовой, и традиционный любовный роман, который, как писал когда-то Симонов, «на свадьбе кончали недаром, потому что не знали, что делать с героем потом», подвинулся, уступая место роману семейному. Даже писатели, казалось бы пожизненно прочно связанные с тематикой совсем другого плана (С. Залыгин, Д. Гранин, С. Крутилин), и те, словно бы получив социальный заказ, вернулись лицом к домашней, семейной жизни и, повернувшись, обнаружили: отношения внутри семьи сложнее и напряженнее, чем отношения влюбленных, их гораздо труднее освоить художнически.

В самой прямой связи с этим всеобщим интересом к произведениям на семейные темы надо, очевидно, поставить и внимание критики к повести И. Велембовской, прежние вещи которой, хотя и пользовались неизменным читательским спросом, никогда не попадали в центр критических дискуссий. Однако, на мой взгляд, преувеличенный резонанс, как это ни парадоксально, не прояснил, а затемнил истинный смысл произведения. По моему глубокому убеждению, проблема семьи как таковой вовсе не главная в «Сладкой женщине», хотя Велембовская, учитывая спрос, и пытается уложить сюжет в рамки традиционной, со страстями и переживаниями, семейной повести. Данью беллетристическим стандартам представляется мне и просветленная (со слезами и нежизнью к сыну) концовка, однознач-

ность психологического комментария, и стремление автора расставить персонажей так, чтобы «плохой» в конпе концов оказалась одна Анна. В результате таких беллетристических подтасовок расследование превращается в показательный суд с заранее заготовленным обвинительным приговором, а героиня — в морального уroda, ничего, кроме общественного порицания, не заслуживающего. Начинает даже казаться, что Велембовская не понимает, как сильно обедняет ее повесть эта «ненатуральная» расстановка.

Но дело, конечно, не в «недопонимании» — дело в привычке к беллетристическим стандартам. Ведь если копнуть поглубже, задуматься посерьезней, да посмотреть пошире, да усилить «документальный» момент, читательной, легкой, обреченной на успех книги уже не получится...

Никто не оспаривает право автора на «симфонизм», на соединение в одном произведении различных жанровых начал — в таком соединении С. Залыгин, судя по всему, видит одну из характерных особенностей нынешней крупноформатной прозы (см. «Вопросы литературы», 1973, № 4). В данном конкретном случае речь идет о соединении в «Сладкой женщине» несоединимого: «физиологического», «натурального» очерка, стремящегося в идеале освободиться от литературных условностей, и развлекательной повести со всеми ее предрассудками, и эстетическими и этическими.

Вопрос этот отнюдь не формальный и не о жанровой чистоте забота: ведь беллетризм, с одной стороны, преувеличивает масштаб явления, возводя его в ранг типологический, с другой — преуменьшает, обесценивает серьезность тех социологических наблюдений, которые-делает автор по ходу исследования «дела Доброхотовой». Жизненный материал, систематизированный и дотошно описанный, сообщает проблеме «укоренения деревенского человека в городе» неожиданный, и притом далеко не романтический, поворот: а как встречает город деревенских мальчиков и девочек, что предлагает, кроме «сладкой жизни», чем заполняет вакуум, образующийся в результате отрыва от «истоков», а главное — учитываем ли мы, какими трагедиями чревата видимая легкость, с которой новоявленные горожане завоевывают себе место под столичным солнцем?

Но Велембовская, то ли не придавая значения этому открытию, то ли не умея найти

адекватную форму выражения, пытается доказать, что все неудачи «сладкой женщины» — дело сугубо частное, сугубо личное, с поразительным упорством не замечая, как непоправимо виновны перед Анной те городские духовно богатые и значительные люди, с которыми судьба связывает ее. Интеллигентный Марик, вежливый и порядочный Николай Егорович, широкая натура — Тихон — такие вроде бы разные, но по отношению к Анне ведут они себя одинаково потребительски, так, словно бы эта женщина не человек, а действительно «конфетка» в экзотической обертке: попробовал, не понравилось — бросил... С безразличностью барчука, согрешившего со смазливой горничной, держится при встречах с Анной умный и незаурядный Марик, а женившись, и о существовании-то сына забывает. Сильный, волевой, победительный Тихон предъявляет ей как обвинение: «Я с тобой не поднимусь»; ему и в голову не приходит, что в любви можно не только брать, но и давать и что не Анна ему, а он Анне может и должен помочь «подняться». А тихий, вежливый Николай Егорович, которому Анна с растерянной доверчивостью «вручила себя», полагая, что такой не обидит, не предаст? Пятнадцать лет прожил он с Анной и все ждал молча: а вдруг в его жене человек проснется. Но сам что для этого сделал? Учебники для седьмого класса купил — только и всего. И не понимает он, при всем своем жизненном опыте, что Анину душу учебниками не «выпрямить», что тут нужен иной, более серьезный, более индивидуальный подход. Однако Велембовская целиком на стороне Николая Егоровича, как и он, она видит в нежелании героини продолжать образование лишь доказательство ее бездухов-

ности и пустоты. Анна действительно не хочет учиться, но почему? Да потому, что ни «карамельный аппарат», ни профсоюзные поручения, ни семейная жизнь с Николаем Егоровичем, включая телевизор, большего от нее не требуют, а в практической жизни Анне с лихвой хватает ее шестилетки. По сути дела, только встреча с Тихоном заставила Анну трудиться душой. Что же удивительного в том, что это первое (на сорок третьем-то году!) духовное усилие дается ей с такой натугой, физически изнуряет ее, разрушает всю ее старательно «составленную» жизнь.

В рамках беллетристической повести финал этот выглядит как возмездие за грехи, но прочитанный в ином, очерковом ключе (а повесть И. Велембовской, повторяю, дает основание и для такого прочтения), он заставляет читателя, не удовлетворенного выводами Велембовской, задать себе и такой вопрос: как и по каким причинам могло случиться, что город, живущий столь напряженной интеллектуальной жизнью, быстро и ловко «обтесав» краснощекую ярославочку, позволил лениться ее душе, душе, конечно, небогатой, близкого и обильного урожая не обещающей, но не безнадежной — живой?!

В том, что у читателя оказывается больше вопросов, чем у автора ответов, ничего предосудительного, разумеется, нет. Дело тут в другом — в желании автора погасить непредусмотренные вопросы. Главная же беда — в навыках мышления на уровне беллетристики. Навыков, испортивших в угоду мелодраматизму трезвый «очерк нравов», так нужный нам сегодня.

А. МАРЧЕНКО.



Политика и наука

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ

Н. А. Аитов. Технический прогресс и движение рабочих кадров. М. «Экономика». 1972.

В. И. Староверов. Город или деревня? М. Политиздат. 1972.

Ж. А. Зайончковская. Новоселы в городах. «Статистика». 1972.

Работы В. И. Переведенцева: Население СССР. М. «Знание». 1972; «Миграция населения и изменение социальной структуры советского общества», статья в сборнике Института международного рабочего движения. 1971; «Из деревни в город», статья в № 11 журнала «Наш современник» за 1972 год.

Перечисленные четыре книги и две статьи написаны учеными: демографом, экономистами, социологами. Почти все эти работы увидели свет в прошлом году. Они

продолжают ряд опубликованных ранее серьезных исследований на ту же тему, из которых можно составить ценную библиотечку. Особое место на этой полке займут

труды по Сибири Т. Заславской — ныне члена-корреспондента Академии наук СССР — и социолога В. Шубкина. Давно разрабатывают эти проблемы В. Переведенцев и Н. Аитов, в 1972 году они выступили с новыми исследованиями.

К трудам по вопросам миграции можно причислить горячие, несущие свежую информацию выступления таких публицистов, как Г. Радов, Ю. Черниченко и другие. Но неправильно было бы оставлять в стороне и произведения художественной литературы — назову в первую очередь В. Шукшина, Ф. Абрамова, А. Ткаченко, В. Липатова, В. Распутина. Эти писатели пристально вглядываются в социальное явление, которое ученые называют миграцией, сезонничеством, а хозяйственники — бытующими в их среде словечками «шабашничество», «текучесть рабочей силы» и т. д.

Ученые, публицисты и художники стремятся сегодня разобраться в направлениях миграционных потоков, в причинах, вызывающих их, разгадать психологию переселенцев разных типов, понять их побуждения, представить себе их тревоги и трудности, с которыми они сталкиваются, переехав, скажем, из Молдавии в Сибирь или просто сменив место работы. Всеми этими проблемами живо интересуется массовый читатель. Недаром литературный журнал «Наш современник» не только опубликовал на своих страницах статью демографа В. Переведенцева «Из деревни в город», но даже присудил автору годовую премию за лучшее публицистическое произведение.

Миграционные процессы вносят — это бесспорно! — неожиданные и нежелательные поправки в планируемое распределение производительных сил страны.

В. Переведенцев, опираясь на статистику ЦСУ за 1967 год, определяет общее число переселений в 14—15 миллионов в год. Из них 5,5 миллиона переехали из одних городов в другие, 3,1 миллиона — из сел в города, 1,5 миллиона — из городов в села и т. д. В миграционных процессах участвует около пяти процентов населения страны. Казалось бы, не так уж велики цифры. Но сложите их за десять лет, а тем более за срок жизни целого поколения, да одновременно учтите встречные потоки и связанные со всем этим потери рабочего времени. К тому же глобальные цифры еще не раскрывают суть дела. Ведь миграция **выхватывает из числа «стабильного» насе-**

ления прежде всего людей молодых, преимущественно образованных и имеющих специальности, в большинстве своем мужчин, надо думать, наиболее жизнедеятельных. В результате этих процессов, в значительной степени стихийных, нормальные демографические структуры деревень, городов, целых районов — по возрастному, половому, профессиональному и иным признакам — оказываются нарушенными на длительные периоды.

В. Староверов приводит в своей книге данные лишь по Старорусскому району Новгородской области, но, пожалуй, эти цифры характерны для всей средней полосы России. Оказывается, средний возраст убывающих из села — двадцать четыре года, прибывающих — тридцать шесть. Девушки стремятся покинуть деревню в пятнадцать лет, чтобы получить паспорт, учась в городской школе. Парни дожидаются призыва в армию, и у них оказывается мало сверстниц в деревне. Напротив, у девятнадцати-двадцатичетырехлетних девушек мало однолеток — юношей: после армии те, как правило, в деревню не возвращаются. Многим молодым женщинам только и остается, чтобы выйти замуж, перебраться в город или в северные районы страны.

Впрочем, Староверов подмечает и такое явление: в селе участились браки с большой разницей в возрасте (женихи — совсем юные, невесты — зрелого возраста).

На страницах журнала «Наш современник» (№ 9 за 1972 год) секретарь одного из сельских райкомов Сибири рассказывал, как умные председатели колхозов, действуя в контакте с сельсоветом, выдавали паспорта всем ученикам сельских школ по достижении ими шестнадцатилетнего возраста, и такая мера приостановила отток молодежи из этих мест.

Село теряет наиболее образованных людей — крайне нужных ему механизаторов. По данным Переведенцева, за трехлетие после 1965 года число занятых в сельском хозяйстве механизаторов выросло с 3 094 тысяч до 3 357 тысяч человек, но за тот же срок подготовлено было 2 950 тысяч механизаторов. Выходит, село потеряло за три года 2,5 миллиона представителей дефицитной профессии (среди них, наверно, много людей с опытом).

Не подсчитано, во что обходится так называемое организованное переселение из трудоизбыточных районов на восток и на север (через оргнабор, по комсомольским

путевкам и т. п.), но конечное saldo переселенческих потоков, в которых преобладает стихийное начало, складывается с положительным знаком как раз для юго-восточных и южных районов. Между тем здесь и своих колхозников не удастся занять круглый год в общественном секторе. В 1965 году каждый колхозник в Грузии отработал 135 дней, в Молдавии — 153, в Таджикистане — 173, на Северном Кавказе — 197 (а в Сибири и 300 дней не редкость!). За период 1959—1970 годы из сел РСФСР ушло вдвое больше молодых людей, чем дал естественный прирост, тогда как сельская миграция в Узбекистане затронула лишь 0,1 процента огромного естественного прироста. За этот период сельское население Ивановской, Калининской, Кировской и еще семи областей РСФСР сократилось более чем на четверть.

Но не только сельское хозяйство разных районов обеспечивается рабочей силой столь неравномерно. За одиннадцать лет, прошедших между двумя последними переписями, произошло заметное смещение всего населения на юг, несмотря на то, что большая доля капиталовложений в соответствии с планом размещения производительных сил пришлось на Урал, Сибирь, Дальний Восток. За одиннадцать лет, сообщает В. Переведенцев, население юго-восточного региона страны увеличилось на 34,6 процента, а его удельный вес в стране на 3,4 пункта; население западного региона выросло на 10 процентов (удельный вес + 3,1); население восточного региона (за Уралом) возросло, правда на 12,4 процента, но удельный вес его в стране даже снизился (—0,3).

Во всех книгах и статьях, о которых идет речь, тщательно изучаются причины слабой «приживаемости» новоселов. Некоторые рекомендации социологов уже отражены в правительственных решениях. Например, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке введены (или восстановлены) поясные надбавки к заработной плате, увеличены ассигнования на жилищное и бытовое строительство. Нельзя ждать немедленного эффекта от этих решений: жилье нужно еще построить, а поясные надбавки, как я сам убедился при поездках своих по Сахалину и Камчатке, проявляют свою притягательную силу лишь через несколько лет, когда достигают 40—50 процентов основной заработной платы.

Впрочем, при нынешнем высоком уров-

не жизни населения размер заработка перестал играть роль единственного или хотя бы главного побудителя к смене места жительства или работы. Напротив, выдвинулись иные причины перемещений — целый комплекс бытовых, культурных, материальных, организационно-престижных условий. Все они тщательно изучаются в рецензируемых книгах. Авторы делают вывод, что невозможно прекратить нежелательный отток рабочей силы, скажем, из сибирской деревни, не учитывая всего комплекса социальных потребностей труженика. «Пытаться изменить отдельный миграционный поток, не затрагивая остальных, — пишет В. Переведенцев, — дело столь же необыкновенное, как пытаться изменить одно из течений Мирового океана, полагая, что все остальные останутся прежними».

Все наши авторы убеждены, что с помощью административных мер направить потоки переселенцев по нужным стране направлениям немислимо. Ограничения выезда из деревень и вообще из районов, где не хватает рабочей силы, показали свою неэффективность, а в ряде случаев эти меры приводят к последствиям, противоположным тем целям, которыми они продиктованы.

Углубление и развитие процессов, связанных с научно-технической революцией, неминуемо вызовут новые миграционные потоки, приведут к тому, что часть тружеников будет вынуждена поменять место работы. Сельское хозяйство по мере его механизации и впрямь будет отдавать излишки рабочей силы промышленным городам. Но крайне важно, чтобы эта общая перспектива была разумно реализована в разных географических и экономических районах. Рецензируемые работы содержат богатый материал для обоснования делового вмешательства в процессы миграции.

Но вопрос не сводится к перераспределению населения между селом и городом. В конечном счете это только одна из сторон кардинальной проблемы управления производством. Потоки переселенцев из деревень непосредственно связаны с движением кадров в индустрии и в сфере обслуживания. Н. Аитов, как, впрочем, и Зайончковская и Переведенцев, решительно отбросил предвзятую характеристику «текучести кадров» как чистой потери для народного хозяйства.

ЦСУ определило, что размер потерь промышленности и строительства, вызванных текучестью кадров, — три миллиарда

рублей. Аитов доказывает, что только треть этой суммы может быть отнесена к потерям от неупорядоченной организации производства. Движение кадров вызывается различными причинами, скажем такой, как необходимость замещать должности умерших или ушедших на пенсию работников, увольнением юношей, призванных в армию, и т. д. Затем следуют сугубо социальные факторы, как, например, отток работников из деревни в индустрию, уход молодежи на учебу, передвижения, связанные с изменением характера труда, заменой физического труда умственным и пр. Научно-технический прогресс вызывает движение кадров. Например, быстрее других развиваются новые отрасли промышленности (электроника), отмирают одни профессии, возникают другие. Все это объективные факторы, и связанные с ними перемены рабочего места или миграционные потоки нельзя относить к «потерям». Наконец, остается «текучесть кадров» в узком смысле слова, зависящая большей частью от воли самого работника, — эту текучесть хотелось бы всячески ограничить, если не свести к нулю.

Но здесь для социологов, притом не только советских, но и ученых из других социалистических стран, не все просто, не все однозначно. Н. Аитов и В. Переведенцев так же, как польский социолог А. Сарапата и К. Браунройтер из ГДР, считают, что во многих случаях «самовольные увольнения» и зависящие от них передвижки в кадрах играют роль «регулятора», к которому администрация предприятия и высшие планирующие органы должны внимательно приглядываться. Н. Аитов видит в праве работника на увольнение (при соблюдении таких условий, как предупреждение администрации за две недели, отработка полученного образования и пр.) одну из гарантий свободы личности, причем «в условиях социализма принципиально недопустимо ограничение этой свободы». В текучести кадров, утверждает Аитов, проявляется подчас «механизм регулирования оптимального соответствия между содержанием труда и образованием работника» и требованиями, которые личность предъявляет к труду.

Особое внимание обращено Н. Аитовым на два фактора, определяющих нежелательную текучесть кадров: «социальный климат», поддерживаемый на предприятиях, и уровень «содержания труда», которым заняты работники.

На уфимских предприятиях, например, увольнения за год колеблются на уровне 5—25 процентов от численности рабочих. Эти показатели служат сигналом того, что социальный климат на предприятиях, где увольняются 10—25 процентов рабочих в год, по меньшей мере нездоровый. Аитов и Зайончковская выделяют среди других факторов, вызывающих увольнение, настроение рабочего. Оно во многом зависит от взаимоотношений с непосредственными (цеховыми) начальниками. Массовый опрос показал, что 45 процентов работающих, недовольных своими взаимоотношениями с руководителями, уже помышляют об уходе с предприятия. Математическая обработка нескольких тысяч анкет, распространенных среди рабочих, показала прямую корреляцию между «хорошим настроением» работника и такими факторами, как справедливое (по мнению работника) распределение конкретной работы — 0,34, хорошая организация труда — 0,23, нормальные взаимоотношения с администрацией — 0,21, создание необходимых условий для продолжения образования — 0,12. Худшие из руководителей вместо реальной заботы о рабочем вызывают к его сознательности, но социолог отвечает на это: нужно еще подумать, кто сознательнее — рабочий, не желающий трудиться в плохих по сравнению с соседним предприятием условиях, или руководитель, который не создал у себя на предприятии по меньшей мере таких же условий. Во всяком случае, наше общество заинтересовано в хорошем отношении к труду наибольшего количества участников производства, видя в этом не только способ увеличения выпуска продукции, но и условие для расцвета личности.

В конкретных исследованиях Н. Аитова особое место занимает проблема удовлетворения работника содержанием того труда, в котором он участвует. По мере повышения уровня благосостояния народа и под влиянием научно-технической революции именно этот критерий приобретает особое важное значение.

Социолог изучил отношение к труду в 18 группах машиностроителей, работающих на станках разных типов. Эти люди отличались друг от друга возрастом, полом, образованием. Затем, воспользовавшись гипотезой Госплана о структуре и численности рабочего класса к 1980 году, он рассчитал, какие требования пришлось бы предъявить

к станочному парку, чтобы удовлетворить пожелания каждой обследованной группы. Выясняется, что удельный вес станков с программным автоматическим управлением **понадобилось бы довести до 7,5 процента** (ныне их удельный вес — 0,4), автоматических машин и блоков — до 19,6 вместо 3,4 процента, полуавтоматов — 12,5 вместо 1,5 процента. В то же время распространенный сегодня механический и электрифицированный инструмент пришлось бы в основном сдать в металлолом, поскольку удельный вес рабочих мест, оборудованных им, **понадобилось бы снизить с 64,2 до 19,1 процента**.

Думается, сам Н. Аитов не стал бы настаивать на количественной стороне своих выводов, хотя они и опираются на тщательно разработанный математический аппарат. Но постановка вопроса о том, что необходимость изменения технологии диктуется не только требованиями производства, но и потребностью рабочего, несомненно, интересна. Сегодня рабочие со средним образованием тяготеют к монотонной работе на конвейере или на универсальных станках, когда оператору приходится в течение восьми часов повторять одни и те же пять — восемь движений. Ясно, что именно социалистическая система должна ставить перед собой задачу возможно быстрого перехода на передовую технологию, которая обеспечит интеллектуальный труд огромной массе будущих образованных рабочих.

Планы социального развития, которые разрабатываются теперь в первую очередь в масштабах предприятия, должны ориентироваться на существенное изменение технологии (естественно, с учетом реальных возможностей страны, отрасли, предприятия).

Очевидно, выбор такой технологии потребует дополнительных затрат. Иначе говоря, придется отыскать оптимальную форму производства, обеспечивающую постоянное увеличение выпуска ее продукции, снижение себестоимости и в то же время удовлетворяющую потребности массового рабочего в интеллектуализации труда.

Характерно, что и Ж. Зайончковская обращается к проектантам новостроек и городов примерно с такими же рекомендациями. На возведение крупных промышленных объектов нередко затрачивается десять — пятнадцать лет, хотя первые очереди предприятий вводятся в строй меньше чем за треть этого срока. Видимо, необходимо в проектах предусматривать ввод жилья, транспортных магистралей, обслуживания в расчете не на будущих эксплуатационников (как это нередко делается сегодня), а учитывать и нужды строителей. Тут опять требуется если не общее увеличение капиталовложений, то сдвиги в характере затрат. Зато увеличится «приживаемость» строителей. К примеру, сегодня в города Сибири прибывает в четыре раза больше новоселов, чем оседает. Девять обследованных городов и строек показали, что в первый год после прибытия уезжает 27 процентов новоселов, во второй год — 16, в третий 7,5 процента. Вряд ли это положение можно считать нормальным.

Работы, включенные в обзор, полезно и интересно прочесть не только специалистам и хозяйственникам, не только публицистам и литераторам, они заинтересуют многих читателей, которые хотят самостоятельно разобраться в актуальных проблемах современности.

Вл. КАНТОРОВИЧ.



ПОГОДА НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Феликс Зигель. **Виновато солнце.** Редакторы М. А. Зубнов и Э. П. Микоян. М. «Детская литература». 1972. 190 стр.

Из этой книги узнаешь поразительно много: о причинах хорошей и плохой погоды, о том, почему в некоторые дни в городах увеличивается число автомобильных катастроф и инфарктов, из-за чего возникают губительные атаки саранчи на крестьянские поля и какие опасности поджидают космонавта в межпланетном полете. Все эти факты, казалось бы совершен-

но не соприкасающиеся между собой, прочно увязывает название книги — «Виновато солнце». Перед нами популярная книжка о Солнце, о молодой науке гелиобиологии, о ее творце профессоре А. Л. Чижевском. Предназначена она, как оговаривают издатели, для детей «старшего возраста». Но мне кажется, что перед нами одно из тех «безвозрастных» изданий, с которым по-

лезно познакомиться всем. Очень уж важные, поистине насущные проблемы бытия и мировоззрения поднимает книга.

Податель света, тепла и в конечном счете самой жизни, Солнце, оказывается, не так добродушно, как думают многие. Уже не раз его золотой лик оборачивался к человечеству черной гримасой смерти. Наука показала, что в четком соответствии с циклами солнечной активности на Земле возникают эпидемии гриппа, чумы, холеры. Исследователям удалось вычертить кривые роста и падения числа больных полиомиелитом, дифтерией, возвратным тифом, и графики эти всякий раз повторяли графики меняющейся активности нашего светила. Солнечным ритмам подвластны самые глубокие, самые интимные процессы человеческого организма. Так, врач Н. А. Шульц из Сочи открыл в 1957 году удивительный феномен — связь между состоянием солнечных пятен и количеством лейкоцитов в крови человека. Активизация солнечных процессов ведет, оказывается, к падению числа лейкоцитов, к лейкопении. Влияет Солнце и на способность нашей крови свертываться при входе из сосудов. Повышение солнечной активности каким-то образом мешает образованию тромба. Чутким барометром, тонко регистрирующим каждое потрясение на поверхности Солнца, является и наша нервная система. Еще в 1928 году английский врач Моррель выступил на международном конгрессе медиков в Дублине с докладом «О влиянии солнечных бурь на убийства, эпилепсию и самоубийства». Такая зависимость может показаться недостоверной, но она реально существует и вызывается изменениями в нервно-психическом аппарате человека под влиянием соответствующих излучений. Через сорок лет после Морреля судебный медик из Томска В. П. Десятов на основании многолетнего опыта подтвердил: «Люди со слабым типом нервной системы, а также хронические алкоголики после взрывов на Солнце чувствуют себя крайне подавленными. В результате число самоубийств на вторые сутки после солнечных взрывов возрастает в 4—5 раз по сравнению с днями «спокойного» Солнца. Поводы для самоубийства, которые в дни спокойного Солнца кажутся несущественными, в дни после солнечных взрывов кажутся непреодолимыми».

Феликс Зигель подробно рассказывает о пятнах на Солнце — этих возмутителях спо-

койствия земной жизни. Как и взрывы, пятна возникают не хаотично. Мы узнаем о ритмах, в которых живет наше светило, об одиннадцатилетних, тридцатитрехлетних, столетних и еще более длительных во времени колебаниях в недрах солнечного вещества. Воздействие этих ритмов испытывают на себе не только люди, но и животные и даже растения. В связи с этим время от времени как будто безо всякой причины невероятно размножаются грызуны и некоторые виды насекомых, в полях торжествуют грибки — возбудители болезней сельскохозяйственных растений. Меняется режим боровых болот, сменяются породы деревьев в лесу. В строгих повторах чередуются на нашей планете климаты, возникают оледенения, увлажнения, высыхания гигантских территорий. Пустыня Сахара была когда-то цветущим краем; в IV и I тысячелетиях до нашей эры там текли многоводные реки и почва орошалась обильными дождями. В те времена на месте нынешних песков жили земледельцы и охотники. Теперь там мертво. И опять виновато Солнце.

Достоинством книги Ф. Зигеля кажется мне то, что автор не остановился на описании пассивного, страдательного состояния, в коем пребывает человек по отношению к Солнцу. Он сообщил о первых, хотя и робких пока шагах Службы Солнца, которая становится на защиту человечества от губительных лучей. Такая Служба уже теперь кое-где оповещает врачей и больных о предстоящем ухудшении «погоды номер четыре» — усилении солнечной активности. Благодаря таким прогнозам врачи могут лекарствами и соответствующим режимом помогать наиболее ранимым больным легче перенести трудный период. В прогнозах Службы Солнца заинтересованы и агрономы, защитники растений, охотники и, как это ни странно, ОРУД — Отдел регулирования уличного движения: сотрудники милиции давно заметили, что в дни, следующие за периодом повышенной активности Солнца, в городах, на дорогах увеличивается число аварий и катастроф.

«Виногато солнце» — книга письма весьма плотного, количество информации (чаще всего оригинальной и интересной) на ее страницах порой превышает то, которое читатель может воспринять без излишнего напряжения. Столь большая «концентрация» материала, очевидно, вызвана тем, что перед нами, по существу, первая

обращенная к широкому читателю книга о гелиобиологии и автору не терпелось сообщить как можно больше фактов о молодой науке. Чувство это естественное, и тем не менее можно пожалеть о том, что Ф. Зигель не использовал до конца законного своего права — права литератора на отторжение несущественных, необязательных деталей. Их, таких деталей, в книге изрядно.

Хочется выразить еще одно пожелание. Впервые столкнувшись с новой и столь серьезной проблемой, как гелиобиология, читатель, как мне кажется, нуждается в более обстоятельном комментарии автора. Авторские отступления, раздумья над фактами чисто научными и общественно-научными оживили бы книгу, облегчили ее понимание, а главное, они могли бы наполнить ее столь необходимым, особенно для молодого читателя, эмоциональным элементом. На некоторых страницах от писателя ждешь публицистического голоса. Известно, что в 30-е годы предложенная профессором А. Л. Чижевским ионизация воздуха, о которой рассказывает Ф. Зигель, получила высокую оценку в отечественном животноводстве. Тогда же с помощью простейших дешевых ионизаторов ученый предложил освежать воздух заводских цехов, шахт, конструкторских бюро и других мест, где трудовой человек проводит многие часы своего времени. Было доказано, что такая обработка воздуха значительно повышает его благотворность. Между тем ионизация как массовое оздоравливающее мероприятие у нас забыта. Кому же и вступить за это преданное бесосновательному забвению открытие, как не литератору, восстанавливающему в своей книге историю и практику гелиобиологии?

Более личного, я бы даже сказал — более душевного звучания ждешь и от тех страниц, где речь заходит о творце гелиобиологии Александре Леонидовиче Чижевском (1897—1964). Профессор Чижевский занимает в науке совершенно особое положение: это, по существу, один из последних в XX веке ученых-энциклопедис-

тов. В его трудах пересекаются астрономия и медицина, история, философия, физика. Быть энциклопедистом в эпоху все более сужающихся и замыкающихся областей науки — нелегкий крест. Жизнь Чижевского сложилась негладко, она сопровождалась серьезными спорами, борьбой. Ф. Зигель счел необходимым коснуться лишь одной дискуссии, проигранной его героем. Между тем время, этот лучший судья в делах науки, показало, что Александр Леонидович в конечном счете выиграл большинство тех споров, которые вел он в 30-х и 40-х годах. Многие его идеи сейчас получили безоговорочное признание новых поколений ученых. О Чижевском, богато одаренном исследователе и мужественном человеке, пора уже заговорить во весь голос, тем более что его биография несет в себе огромный воспитательный заряд: речь идет о человеке высоких нравственных качеств. Ф. Зигель, к сожалению, от подробного жизнеописания своего героя отказался. Мы не узнали из книги и о творческой лаборатории ученого, о том, как шел он к своим основным открытиям. Единственный эпизод, раскрывающий характер мышления исследователя (раздумье молодого Чижевского над картой фронтов первой мировой войны), относится к далекому прошлому. Мне вспоминается в связи с этим то требование, которое предъявлял своим пишущим книги сотрудникам академик Николай Иванович Вавилов: «Вы должны писать так, чтобы после вас не было смысла читать сто других книг на ту же тему». Отказавшись в произведении, посвященном гелиобиологии и А. Л. Чижевскому, выстроить полный творческий облик своего героя, писатель не только сам упустил большие литературные возможности, но и принудил читателей искать эти факты в других изданиях.

И все же мне хочется завершить свою заметку тем же, чем я ее начал: прочтите книгу Ф. Зигеля «Виновато солнце». Прочтите, не пожалеете!

Марк ПОПОВСКИЙ.



ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА МИРАЖИ ФОРИН ОФФИСА

Дональд Маклэйн. Внешняя политика Англии после Суэца.
М. «Прогресс». 1972. 461 стр.

Вылет самолета задерживался, и я открыл книгу. Оказалось, что она тоже была путешественницей. Написанная в

Москве, книга была издана сначала в Лондоне и вот теперь снова вернулась в Москву.

Широкая эрудиция автора, ученого марксиста, оказалась в счастливом сочетании с большим опытом дипломата, прекрасно знающего всю механику дел Форин офиса. Ибо перед тем, как стать сотрудником Института мировой экономики и международных отношений в Москве, Дональд Маклэйн шестнадцать лет проработал в министерстве иностранных дел Великобритании.

Его книга вызвала при своем появлении отклики не только в Англии, но и во многих других странах. Буржуазные газеты называли ее «посланием Западу», говорили о «закате, увиденном из Москвы». Но если оставить в стороне сенсационные газетные заголовки, то несомненно, что и серьезные комментаторы на Западе не обошли ее своим вниманием и одни охотно, другие с большой дозой недоброжелательства признали и глубокий научный характер этого исследования, и его строгое соответствие фактам. «Эта книга блестящая, очень умная», — писал «Таймс» после выхода первого издания в Лондоне. «Перспективная, захватывающая», — дал ей оценку лорд Батлер в «Санди таймс». «Эта книга — хороший путеводитель для нашего времени», — заявил о ней обозреватель «Дейли телеграф». Книга вызвала комментарии прессы и в США, Индии, Ирландии и в некоторых странах Африки.

Успех работы Маклэйна, основанный на марксистско-ленинской методологии, особо отметили и английские коммунисты.

«Это работа марксистской школы в лучшем смысле этого слова», — писал, например, Деннис Огден в «Коммент».

Перед тем как книга вышла в издательстве «Прогресс», она была расширена автором и анализ событий в ней доведен до 1971 года.

О главном замысле своего труда сам автор пишет так: «...мне казалось... что было бы весьма важно попытаться нарисовать вполне точную картину того, к чему стремятся британские политические стратеги, а также определить воздействующие на политику Англии факторы».

Общая концепция внешней политики, которой руководствовался Форин оффис накануне суэцкого кризиса 1956 года, была в основных чертах сформулирована еще У. Черчиллем в 1948 году на ежегодной конференции консервативной партии, где он провозгласил теорию так называемых «трех окружностей». Согласно этой теории,

Англия обладает исключительными возможностями для воздействия на международные дела в силу выполнения ею тройственной роли: главного партнера США, главной западноевропейской державы и, наконец, лидера Содружества наций.

Автор признает, что в 1948 году это была реальная концепция — Англия действительно являлась тогда главным союзником США, установивших с ней «особые отношения», ее промышленная продукция превосходила промышленную продукцию Западной Германии, Франции и Италии, вместе взятых, а ее армия была самой сильной в Западной Европе, и, наконец, Содружество по праву называлось в 1948 году Британским, поскольку система преференций и стерлинговая зона обеспечивали Англии роль экономического, военного и политического лидера среди стран Содружества.

Но уже к середине 50-х годов эта реальность сменяется другой. Во-первых, усиливаются позиции социалистического лагеря, во-вторых, растет национально-освободительное движение, в-третьих, падает роль самой Англии среди стран капиталистического мира.

Известный французский историк Пьер Ренувен как-то писал, что «есть история дипломатии и есть история международных отношений». Дональд Маклэйн не ограничился узкой дипломатической канвой. Как историк международных отношений он анализирует самые различные факторы, определяющие в конечном счете внешнюю политику страны. Тут и анализ причин экономического отставания Англии от других стран капиталистического мира (по выпуску промышленной продукции ее обгоняют в 60-х годах ФРГ и Япония), и ослабление ее сравнительной военной мощи (тут ее обгоняют Франция и ФРГ), и как следствие — падение ее политического влияния.

В этих новых условиях продолжение прежней стратегии неизбежно вело к политическим провалам. Одним из самых крупных поражений британской дипломатии и стала суэцкая авантюра 1956 года.

Суэц привел к смене правительства и заставил правящие круги Англии начать невольный пересмотр своих стратегических планов. Поэтому представляется вполне правомерным, что автор начинает свой непосредственный анализ с суэцкого кризиса как своеобразного водораздела между двумя этапами во внешней послевоенной политике Англии.

Этот анализ носит региональный характер. Дональд Маклэйн последовательно рассматривает взаимоотношения Англии с США и Западной Европой, затем со странами так называемого «третьего мира» и, наконец, со странами социалистического лагеря и с Китаем.

В сложном комплексе взаимоотношений Англии с США несомненный интерес у читателя вызывает анализ так называемых «особых отношений» Англии и США. Этот термин, пущенный впервые в оборот У. Черчиллем, был подхвачен многими английскими буржуазными историками, которые и поныне пишут о «постоянном и неумолимом развитии от недоверия к сердечности» между двумя странами чуть ли не с конца XVIII века. На самом деле, как убедительно показывает автор, никакого «незафиксированного альянса» между Англией и США до 1940 года не было, а если с начала XX века у Англии и был с кем «альянс», так с Францией, а не с США. И только критические события лета 1940 года — разгром Франции и непосредственная угроза фашистского вторжения, вступление в войну Италии — заставили английское правительство обратиться за помощью к США. С другой стороны, эти события заставили и США отказаться от политики нейтралитета и пойти на союз с Англией. Так что, подчеркивает автор, в результате внешних, а не внутренних факторов возникли «особые отношения».

В книге рассматривается поэтапное развитие англо-американских отношений, роль и значение для них экономического фактора, их оценка главными политическими партиями Англии и США, соперничество двух стран в рамках этих «особых отношений», частые уступки английской дипломатии в разных уголках мира своему более сильному сопернику. Автор в отличие от буржуазных историков не склонен преувеличивать фактор культурной близости, хотя и признает, что «общность языка, глубокое взаимное проникновение двух культур, обширная сеть дружеских и личных связей, перекрестных браков между представителями семей правящих кругов обеих государств ускоряют и облегчают взаимопонимание в буквальном смысле слова. Более того, осознание общего культурного наследия, а для большего числа американских и британских граждан и общего этнического происхождения предрас-

полагает многих людей, принадлежащих ко всем классам общества, считать дружбу и союз Великобритании и Соединенных Штатов естественным и оправданным явлением».

И все же, считает автор, внешние факторы остаются определяющими для этого союза. Поворот Англии к Европе должен, по его мнению, в скором времени привести к новой фазе в отношениях с США.

Анализируя политику Англии по отношению к другим странам, Дональд Маклэйн приходит к выводу, что «европейская безопасность», с точки зрения правящих кругов Англии, определялась двумя самостоятельными, хотя и взаимозависимыми элементами. Первый — и главный — это предотвращение распространения коммунизма, второй — подчиненный — ограничение роста мощи и свободы действий ФРГ.

До середины 50-х годов английские кабинеты были одержимы идеей создания массивного военного фронта против Советского Союза и поэтому энергично добивались вооружения Западной Германии. И не кто иной, как Иден был творцом Парижских соглашений, узаконивших вооружение Западной Германии и ее вступление в НАТО.

Однако уже к концу 50-х — началу 60-х годов мало кто в Англии верил в мифическую советскую угрозу и даже Уайтхолл отказался от избитого тезиса о том, что «присущая Советскому Союзу агрессивность» могла стать причиной возникновения войны в Европе.

В то же время как на дрожжах вырос бундесвер, ФРГ стала ведущей экономической силой в «Общем рынке», куда Англию в начале 60-х годов просто не пустили (переговорам о вступлении в «Общий рынок» посвящен отдельный анализ). В этой обстановке английские правящие круги выступили против предоставления ФРГ ядерного оружия.

Однако подобная независимая и реалистическая позиция вообще-то редкость для английской дипломатии. Гораздо чаще Англия шла в своей европейской политике за американским партнером, а то и опережала его «справа». Названные тенденции особенно заметны стали в последние годы, когда правительство Хита ратует за так называемую «европейскую индивидуальность» в рамках НАТО. Под этим термином скрывается призыв к западноевропейским участникам НАТО **увеличить свои военные**

вклады в эту организацию, создать предпосылки для образования Европейского оборонительного сообщества в рамках НАТО.

Значительное место в книге уделено взаимоотношениям Англии со странами «третьего мира». Буржуазные политические деятели и историки утверждают, как правило, что все английские кабинеты сами стремились предоставить своим бывшим колониям независимость, что это, по словам лорда Стрэнга, «либеральный эксперимент, к проведению которого Великобритания сознательно приступила, сделав его главным моментом своей внешней политики».

Автор опровергает эти построения, убедительно показывая, как растущая мощь социалистического лагеря и рост национально-освободительного движения заставили правящие круги идти на новые и новые уступки, лавировать, пытаться перетянуть на свою сторону деятелей национального освобождения и т. д. В одних зонах, как это было в арабских странах во время краха так называемого британского халифата, эта политика терпит провал сразу, в других может дать временные и непрочные успехи. Но в любом случае это вынужденная, а не добровольная политика. Именно под этим углом автор анализирует и получившую широкую известность речь Макмиллана «о ветре перемен», произнесенную в 1960 году в Кейптауне.

Дональд Маклэйн останавливается и на борьбе в правящих классах Англии по колониальному вопросу. Показывает, что далеко не все разделяли неоколониалистские взгляды Макмиллана, что ультраколониализм еще живуч не только в ЮАР и Южной Родезии, но и в самой Англии. И все же в 60-е годы Англия была вынуждена предоставить независимость большинству своих колоний. При этом отмечается, что старый лозунг времен древнего Рима «разделяй и властвуй» трансформировался в политике английского неоколониализма в лозунг «объединяй и властвуй». Уходя, Англия стремится создать такие федерации и объединения, в которых стояли бы у власти ее сторонники (белые поселенцы в Федерации Северной и Южной Родезии, феодальная малайская знать в Малайзии и т. д.).

Особо рассмотрен и вопрос о Содружестве наций. Еще в 1956 году в Британское содружество входило всего три государства «третьего мира», а к 1971 году в нем, кроме Англии, Канады, Австралии и Новой Зелан-

дии, насчитывалось уже 27 государств Азии, Африки и Латинской Америки. Внешним выражением роста влияния стран «третьего мира» в Содружестве является уже то, что конференции стран Содружества собираются с 1965 года не английским правительством, а специальным секретариатом. Первая же конференция, собранная этим органом, состоялась не в Лондоне, а в Лагосе, и председательствовал на ней премьер-министр Нигерии, а не премьер-министр Англии. Известно, что афро-азиатские страны заставили ЮАР, проводившую политику апартеида, оставить Содружество, несмотря на все возражения Лондона. Памятен и тот нажим, какой оказали эти страны Содружества на Англию в родезийском вопросе. В этой ситуации, указывает автор, некоторые политические стратеги, особенно те, кто выступает за усиление влияния Англии в Европе, вообще выступают против любых мер, направленных на сохранение Содружества. Так, один из лидеров правого крыла лейбористов, Кристофер Мэйхью, писал, что «если серьезно оценить выгоды и убытки, которые приносят нам отношения со всеми странами Содружества, то стало бы совершенно ясно, что мы даем им больше, нежели получаем от них».

Однако, считает автор, в данный период эти политики остаются пока в меньшинстве. В целом правящая верхушка Англии по-прежнему выступала и выступает за сохранение Содружества. И неудивительно. Как показывает анализ, во всех странах Содружества английский частный капитал занимает важные, а в ряде случаев и господствующие позиции.

В третьей части книги рассматривается политика Англии в отношении социалистического лагеря и Китая.

Говоря об отношениях Англии с Советским Союзом, Д. Маклэйн отмечает две стороны в британской политике: во-первых, ее антикоммунистическую направленность, во-вторых, стремление установить «модус вивенди» с Советским Союзом. На практике такая политика вела к вооруженному сосуществованию.

Причем на различных этапах то одна, то другая сторона брала верх. И если в конце 50-х годов Англия среди западных стран была своеобразным первопроходцем в смягчении отношений с Советским Союзом и визит Макмиллана в Москву, по мнению автора, явился ключевым событием для того периода, то в конце 60-х годов Англии

взяла на себя среди западных стран роль «дстреба».

«Но при всем этом,— пишет автор,— несмотря на все оттепели и заморозки, возникшие на протяжении последних пятнадцати лет в отношениях между Востоком и Западом в целом и Советским Союзом и Великобританией в частности, сочетание глубинных факторов вынуждает британскую политику двигаться по пути к стабильному „модус вивенди“».

Эти политические и экономические факторы, ведущие к стабилизации англо-советских отношений, рассмотрены в книге.

Отношения с социалистическим лагерем и отношения с Китаем, по мнению автора, всегда рассматривались как две существенно отличающиеся друг от друга, хотя и взаимосвязанные проблемы. Позиция Англии по отношению к Китаю несколько отличалась и от позиции США. Она первой среди ведущих западных держав признала КНР. Во время войны в Корее Эттли убеждал Трумэна, что «было бы равнозначно самоубийству позволить нашим вооруженным силам увязнуть в Китае... Пытаться напасть на Китай, эту огромную аморфную массу, было бы ошибкой». В 1954 году кабинет Черчилля, несмотря на сильный нажим Вашингтона, отклонил план Даллеса о военной интервенции во Вьетнаме. Англия сыграла также ведущую роль в снятии эмбарго, наложенного Западом на торговлю с Китаем, Лондон выступал за прием КНР в ООН. Все это, по мнению автора, объяснялось тем, что Лондон твердо убедился в одном — что с точки зрения английских интересов маоисты больше лают, чем кусают. По мнению английских экспер-

тов, китайская экспансия в буквальном смысле этого слова маловероятна. Речь идет «лишь о подрывной деятельности, провокациях и прежде всего о пропаганде и блефе». События «культурной революции», в общем-то, подтвердили эти оценки. Китай не решился потребовать назад даже Гонконг, одну из последних английских колоний в Азии. Все ограничилось хулиганским погромом английской миссии в Пекине.

В заключение своей книги Дональд Маклэйн дает суммарную оценку внешней политике Англии в 1956—1971 годах.

Он приходит к выводу, что «внешняя политика Англии все еще проходит через стадию приспособления к миру, в котором она по-прежнему остается одним из центров цивилизации, но в котором возможности ее правящих кругов подчинять себе другие народы и другие страны резко уменьшились».

Три процесса предопределили это изменение. Первые два (расширение и упрочение социалистической системы и появление молодых государств в Азии и Африке) автор считает необратимыми, третий (непрерывное сокращение экономической мощи Англии в сравнении с другими капиталистическими державами), по мнению Д. Маклэйна, может претерпеть обратное развитие.

В книге анализируется внешняя политика одной страны, но при ее чтении перед глазами встает весь изменяющийся мир, ставший уже для нас историей 60-х годов. И эта история заставляет нас думать о будущем.

С. ДЕСЯТСКОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ. Сказать не желаю... Повесть о Викторе Обнорском. М. Политиздат. 1973. 415 стр.

«Разве то, что было полито целым потоком страданий, легко забывается? Разве мысль чувствующего человека не гонится назад к тем годам, в которые Вы проявили мужество борца? Разве человеку, потрудившемуся в меру своих сил, а временами и выше всяких сил, на поприще блага общественного, не обеспечена прочная и благородная память?» — этими несколько патетическими строчками неизвестного письма, найденного среди немногих вещей, оставшихся после смерти Виктора Обнорского, заканчивает свое историческое произведение В. Корнилов.

Память. Это понятие применительно к событиям столетней давности приобретает значение особое. Оглянуться на историческое прошлое, воскресить голоса людей большой нравственной силы, разобраться в сущности былого, придать событиям далекой слышимости характер сиюминутной необходимости, иметь право обратиться к социальной памяти общества можно только при своем собственном философском постижении действительности.

Поэт Корнилов со свойственной ему раздумчивостью и требовательным отношением к внутреннему миру своих героев предлагает и помогает прозаику Корнилову реставрировать события 70-х годов минувшего столетия — времени смутного, сложного, отмеченного печатью жестокого самодержавия и репрессий.

Писатель рассказывает о том, как разрывались, то затухая, то вновь разгораясь, события вокруг создания в 1878 году одной из первых революционных организаций в России, «Северного союза русских рабочих», о его основателе и руководителе Викторе Обнорском.

Моральный потенциал личности Обнорского, его понимание добра и зла, готовность исполнить свой долг, драматизм его судьбы и составляет ту нравственную ценность былого, ту духовную силу, без которых немислима преемственность поколений и созидательная история народа.

Герои повести — простые мастеровые, студенты, представители передовой интеллигенции — видят смысл жизни в борьбе за лучшие идеалы. При всей разноликости, их объединяет душевная чистота, максимализм

молодости, отсутствие нравственной пассивности.

Семнадцатилетним Обнорский пришел работать на Патронный завод в Петербурге. Именно здесь, на Патронном, в Викторе зарождается тот «антиполюс», который он противопоставит существующей атмосфере эксплуатации на заводе и который вскоре послужит основой, зародышем революционного сознания, приведет молодого слесаря с пока еще «полуфабрикатным» революционным сознанием в кружки первых народников России — «чайковцев». Наивное в начале повести умозаключение Обнорского о том, что «забыть об истине и справедливости все равно не удастся. И потому остается один выход — в революцию. И сворачивать больше некуда», обретет в результате четкую форму неизбежности своей причастности к революционной деятельности, собственного понимания слабых и сильных сторон народничества. Агитатор среди рабочих Петербурга и Одессы, Обнорский, скрываясь от царской охраны, вынужден уехать за границу. Женева, Париж, Лондон, опять Женева. Там, в Европе, Обнорский знакомится с деятельностью социал-демократических партий и I Интернационала. Пройдя большую школу революционной нравственности, используя отпущенную ему природой выдержку, Обнорский вместе со Степаном Халтуриным создает в 1878 году «Северный союз русских рабочих».

Интерес к прошлому нельзя лишить классового содержания. Корнилов воссоздает это прошлое без небрежения реальными историческими фактами, с четким пониманием перемен в социальной структуре общества. Автор нашел необходимую, исторически верную точку зрения, показав читателю всю силу и всю слабость утопических взглядов интеллигентов-демократов.

Художественная ценность, познавательное и воспитательное значение повести несомненны. Еще одна книга серии «Пламенные революционеры». Еще одна общественная благодарность потомков.

С. Почивалова.



ИВАН КАСАТКИН. Путь-дорога. Избранные рассказы. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1972. 256 стр.

Среди крестьянских прозаиков начала XX века Иван Касаткин занимает видное

место. Он принадлежит к числу тех русских писателей, кто полностью подчинил свое творчество изображению жизни и быта крестьянства. Однако было бы неверно рассматривать его лишь в рамках истории русской крестьянской прозы. Творчество И. Касаткина — одна из страниц большой русской литературы. Сборник «Путь-дорога», куда включены произведения, написанные прозаиком в разное время, дает достаточно ясное, хотя далеко не исчерпывающее представление о своеобразии его таланта.

Перед читателем рассказов И. Касаткина постепенно, от одного произведения к другому вырисовывается обобщенный характер крестьянина — жителя русской дореволюционной деревни. Противоречив, сложен этот характер, не вдруг поддается он разгадке. Деревенский мужик у И. Касаткина простоват немного («Мужик»), в нем бродят, иногда вырываясь наружу, и темные, звериные силы («Лесовица», «Так было»), но он же и крепок духом, есть в нем неисчерпаемая энергия, цепко держится он за жизнь («Осенний ветер»); тянется крестьянин в поисках истины и к знаниям, к книгам («С докукой»), встречаются среди мужиков и весьма дальновидные, «думающие» люди: Варухин, Григорий Куманьков из рассказа «Село Микульское» и другие.

Противоречия в мировоззрении писателя, смутенность его политических взглядов вызвали к жизни произведения различные по настроению, характеру. Но и в мрачных, безысходных и в светлых, жизнеутверждающих рассказах И. Касаткин неизменно бережно и нерасчетливо относился к слову, из многих красок богатой своей палитры выбирая одну, не случайную. Писатель не был поклонником орнаментальной, расцветистой прозы; его рассказам был чужд ложный, надуманный «колорит» в описании крестьянских обычаев, крестьянского быта и в передаче крестьянской разговорной речи, которыми часто страдали деревенские произведения начала века и которыми порой еще грешит и современная деревенская проза. Простота и сдержанность характеризуют стиль рассказов И. Касаткина, достигался этот стиль нелегким, упорным трудом. Писал И. Касаткин медленно. Собрание его сочинений, вышедшее в издательстве «Земля и фабрика» в 1928 году и включившее в себя почти все, им написанное, представляло собой три нетолстые книжки.

И. Касаткин следовал в своем творчестве традициям русской классической литературы. Рассказ «Петрунькина жизнь» и автобиографическая повесть «Тюли-Тюли» (не вошедшая в рецензируемую здесь книгу) напоминают нам мотивы чеховской «Степи». В рассказе «Мужик» используется сюжет, известный по рассказу В. Короленко «Река играет». Но в творчестве И. Касаткина не было и намека на эпигонство. Рассказ «Мужик», например, совершенно оригинальное произведение и, по мнению Вс. Иванова, «вполне может считаться одним из первоклассных рассказов русской

литературы». Произведения И. Касаткина были высоко оценены современниками писателя. Его рассказ «Петрунькина жизнь» — о судьбе маленького крестьянского мальчика — в 1911 году был удостоен одной из ежегодных литературных премий. Талант крестьянского прозаика горячо поддерживал М. Горький. Книга И. Касаткина «Лесная быль» с автографом писателя лежит на столе в музее-квартире В. И. Ленина в Кремле.

Выход в свет книги избранных рассказов Ивана Касаткина — событие доброе. Оно говорит о бережном отношении к русской литературе, ее истории.

В. Каменев.

Вологда.



АНДРЕЙ НИКИТИН. Цветок папоротника. М. «Мысль». 1972. 190 стр.

Книга А. Никитина имеет подзаголовок «Возвращение к Северу». Давняя привязанность к северному краю, желание по-настоящему понять его, лучше узнать людей — их быт, их заботы, судьбы — и повело писателя в места, которые хотя и были ему знакомы, но, очевидно, не столь близко, как того хотелось бы. Да и сейчас, когда родилась книжка (жанр ее на титульном листе не обозначен, думается, ее можно было бы назвать очерком-эссе), автор редко дает однозначные ответы на им же поставленные вопросы, а, раздумывая, прикидывая так и этак, заставляет и читателя поразмыслить над проблемами самого разного толка. На одной из страниц книги А. Никитин так характеризует своего случайного собеседника: он был «в этот вечер не столько объясняющим, сколько рассуждающим вслух, поминутно отклоняясь от темы и подчеркивая неожиданный возврат к ней чуть заметным движением руки...». Такова и манера письма самого А. Никитина — не «объясняющая», как это бывает в иных книгах, напоминающих путеводители (хотя их авторы уверены, что пишут совсем в другом жанре), а именно р а с с у ж д а ю щ а я, неожиданная по ассоциациям, сопоставлениям, по внезапным переходам от далекого прошлого к будущему, но внутренне сцементированная единым замыслом.

«Свой» Север автор ограничивает географическими рамками — от Вологды до Онежского озера. Кусок земли небольшой, но зато «выношенный и выстрадавший» им. Он любит эту землю и любит ее. Но отдавая дань описанию природы Севера, автор не остается простым созерцателем. Он рассматривает глубинные связи человека с природой, оставившие отчетливый след в искусстве Севера, выразившиеся и в своеобразии северных поселений. Писатель старается понять, что же снова свяжет человека с природой «естественной и органической связью, способной преодолеть равнодушие городской цивилизации, под влияние которой мы попадаем».

А. Никитин много размышляет о судьбах искусства Севера: прослеживает историю народного искусства, его роль в жизни деревни, его положение в системе сегодняшнего деревенского хозяйства. Он побывал в Гриневе, маленькой, уже полупустой деревеньке, расположенной по дороге из города Каргополя в Лядины, что когда-то славилась своими художниками-игрушечниками и где теперь доживает век их последняя представительница Ульяна Ивановна Бабкина. Обеспокоенный исчезновением этого интересного вида искусства, писатель смог, думается, найти достаточно реальное решение вопроса о том, как заинтересовать мастеров-художников, чтобы они снова взялись за брошенное, но не забытое ими дело. Или другая проблема — маленьких городков. В чем сегодняшняя суть и будущая хотя бы такого города, как Каргополь, где нет ни крупной промышленности, ни научно-исследовательских институтов, ни перекрестных путей? Но есть зато люди, одаренные великолепным художественным чутьем, энтузиасты, любящие и хранящие традиции народного искусства (о многих из них рассказано на страницах книги); здесь, в Каргополе, русская национальная история, по словам А. Никитина, сконцентрирована с поразительной щедростью... «Каждая изба, каждый храм может стать не просто музеем, а школой большого художественного вкуса». Так почему бы этому городу, спрашивает автор, не быть городом-художником, городом — Меккой туристов? Конечно, существуют разные точки зрения на это. Вот и некоторые каргопольцы считают свое наследство лишним грузом, от которого им лучше поскорее избавиться...

Авторская позиция активна и наступательна и не только тогда, когда рассматриваются особо близкие писателю проблемы, — такое ощущаешь постоянно. Это и архитектура северных городов, где важно, как говорит А. Никитин, соблюсти «закон совместности». Это и хозяйство и быт сегодняшней деревни, вставшей на путь широкой механизации и остро нуждающейся в людях — специалистах своего дела, в своих кадровых шоферах, зоотехниках, агрономах и просто в земледельцах. В книге есть размышления и даже предложения автора, связанные со строительством дорог, с мелиорацией, с судоходством и рыболовством на Онеге, с лесосплавом...

Существенно, что автор живет не одним сегодняшним днем или днем вчерашним, он постоянно заглядывает в будущее, стараясь предугадать его черты. «Настоящее и есть та точка перелома, в которой будущее становится прошедшим, — пишет А. Никитин. — Не потому ли мы так и ценим это единство? Отбросив прошлое, мы потеряем содержание и самих себя, и нашей жизни, отбросив будущее, мы потеряем ее смысл». Цельность авторской мысли создает единство книги, преодолевает калейдоскопичность отдельных глав.

Г. Койранская.



БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК. П. Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту. Тартуский государственный университет. 1972. 590 стр.

Не только сборники, в самом названии которых присутствует магическое для множества читателей имя Александра Блока, но даже те, которые обряжены в однообразную униформу «трудо» и «ученых записок», уже немало лет находят себе широкую читательскую аудиторию, если эти издания появляются под грифом «Тартуский государственный университет». Говоря о работе местной кафедры русской литературы, один из рецензентов справедливо заметил, что «это своего рода научное общество, работа которого ведется с редкой основательностью и целеустремленностью».

Названные качества, может быть, особенно выпукло проявляются именно в изучении жизни и творчества Блока. Тартуские исследователи и сами ведут это изучение широким фронтом, и охотно привечают на страницах университетских изданий работающих в том же духе коллег — от маститых до дебютантов.

Так, одной из значительнейших статей нового сборника является «Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока» Д. Максимова. Трагтуя избранную тему на огромном материале не только творчества самого поэта, но и его современников, автор показывает, что творчество Блока — это «глубочайший процесс духовного саморасширения и самопреодоления, приобщения к исторической действительности, демократизации» и что «поэзия Блока является постепенной, очень сложной, отнюдь не прямолинейной реализацией этих тенденций».

Заслугой Д. Максимова кажется мне и то, что он более объективно, чем это часто бывает в нашем литературоведении, рассматривает символизм, а это в свою очередь позволило ему справедливее и вернее понять идейную генеалогию Блока, логику его поэтического развития.

Статья З. Минц «Блок и Гоголь» — очередное звено в цепи ее работ, посвященных исследованию связей поэта с русской реалистической литературой, таких, как «Ал. Блок и Л. Н. Толстой» и «Блок и Достоевский». В своих исследованиях З. Минц предпринимает весьма плодотворную попытку установить общие закономерности логики обращения поэта к своим великим предшественникам и самого характера этого обращения. Говоря о целых периодах литературной биографии Блока, которые отмечены тяготением к тому или иному из названных имен, З. Минц верно писала, что «в соответствии с природой художественного мышления поэта такое имя превращалось для него в глубокий историко-культурный символ, отождествляемый то с будущим России, то с ее темным и противоречивым настоящим или же с такими широкими и емкими обобщениями, как творчество, история и т. п.».

В ныне публикуемой статье высказано

много очень интересных наблюдений и соображений: об отголосках «Невского проспекта» в драме «Незнакомка» и в стихотворении «Унижение», о преображении образа тройки в блоковской публицистике, о мотиве «дома» у обоих писателей. Особенного внимания заслуживает кропотливое прослеживание тех неожиданных метаморфоз, которые претерпели в творчестве Блока некоторые идеи «Выбранных мест из переписки с друзьями». Автор рассматривает такой идейный аспект этой книги, как «глубокая неудовлетворенность современной жизнью, то «беспокойство»... которое доходит порой до чувства катастрофичности», и устанавливает определенное родство Гоголя и Блока в этом смысле.

С обстоятельными стиховедческими исследованиями выступили в сборнике П. Руднев («Метрический репертуар А. Блока») и Р. Папаян («К вопросу о соотношении стихотворных размеров и интенсивности тропов в лирике А. Блока»).

Очень разнообразен раздел публикаций и сообщений. Здесь читатель найдет значительную часть эпистолярного наследия поэта — письма к друзьям, где почти за каждым именем стоят знаменательные события блоковской биографии, или к «эпизодическим» корреспондентам, позволяющие, однако, тоже несколько прояснить отдельные ее страницы. В публикации Е. Пастернак «Пастернак о Блоке» собраны и систематизированы черновые наброски оставшейся незавершенной статьи. Покойный ныне К. Чуковский предоставил тартускому сборнику записи Блока в знаменитой «Чукоккале» и прокомментировал их.

Особый интерес для изучающих жизнь и творчество поэта имеют свидетельства его матери А. Кублицкой-Пиоттух, ее письма к родителям, Бекетовым, что вместе с другой публикацией, «Рукописные журналы Блока-ребенка», позволяет читателю живо представить своеобразную обстановку его детства и юности.

А. Турков.



КАРА ЛИБКНЕХТ. Мысли об искусстве. М. «Художественная литература». 1971. 360 стр.

В истории марксистской эстетической мысли Либкнехту как теоретика искусства до сих пор должно места не было уделено. Тем большее внимание привлекает сборник, включающий в себя письма Либкнехта, его речи и выступления в прусском ландтаге, тюремные конспекты и особенно трактат «Искусство». Либкнехт раскрывается как мыслитель, обладающий цельной и многогранной системой эстетических воззрений, как художественный критик, отстаивающий на практике и в теории демократическое, революционное искусство.

«Мысли об искусстве» Карла Либкнехта показывают глубокое единство эстетических взглядов основателей «Союза Спартака», организаторов компартии Германии

К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехта, которых Ленин называл «наиболее вдумчивыми и выдающимися вожаками мысли немецких социал-демократов».

Социальный подход художественной культуры для Либкнехта исключительно важен: «Искусство — социальное явление не только по своему происхождению, не только в силу определяющих его причин и условий, но и по своим целям и задачам». В трактате, откуда взяты эти строки, рассматриваются такие проблемы, как сущность искусства, его нравственно-воспитательное значение, своеобразие художественного изображения действительности, трагическое и комическое... Трактат завершается разделами «Аполлония тенденциозного искусства», «„Народ“ и искусство».

Одна из существенных его тем — проблема реализма. Карл Либкнехт против натуралистической трактовки реализма в духе «внешнего правдоподобия». «Тенденцией искусства, даже заложенной в нем необходимостью является освобождение сырого материала от всего случайного, его стилизация, обобщение, превращение индивидуального в типичное». Либкнехт, таким образом, и против модернистского произвола в обращении с жизненным материалом.

Он обогащает понимание реализма, включая в него критерий реальности эстетического успеха, иными словами, силы воздействия произведения, неотделимой в трактате от понятия тенденциозности. Требуя тенденциозности, он не сужает, а расширяет границы искусства: «Те, кто отвергает тенденцию, — пишет Либкнехт, — ошибаются потому, что произвольно разделяют «допустимые» и «недопустимые» в искусстве темы — между тем искусству доступна любая тема, только каждая требует своей трактовки, соответственно своим внутренним законам».

В качестве приложения к трактату в книгу включены публикуемые впервые по архивным источникам выписки из произведений Лессинга и Шиллера, подтверждающие классические истоки художественной концепции Либкнехта и вводящие в суть его читательского восприятия. Важны для понимания его живого и страстного отношения к искусству те конспекты из Мильтона, Гёте, Тика, Лензу — полный перечень здесь невозможен, — которые использованы во вступительных статьях к разделам и в предисловии к сборнику.

По своему значению эпистолярное наследие Либкнехта не уступает его речам и статьям. В письмах видны и нравственное обаяние, и сила духа, и энциклопедическая широта мыслей Либкнехта, и его способность тонко чувствовать красоту поэзии, живописи, музыки. Особое место в переписке занимает русское искусство. Толстой, Достоевский, Некрасов, Чехов — имена русских писателей часто встречаются в письмах. «Горький прислал мне свою книгу «Мать» с очень сердечным посвящением («...с большой любовью и глубоким уваже-

низм»). Мне это приятно», — пишет Либкнехт из крепости Глац, где отбывал свое первое тюремное заключение.

Конечно, практика искусства истекших десятилетий внесла свои поправки в некоторые высказывания Либкнехта.

С позиций историзма и партийности под-ходит к ответственной теме М. Кораллов, давший в своем предисловии и примечаниях интересный и объективный анализ эстетических воззрений Либкнехта. Наконец, последнее. Отлично оформленная А. Лепяским, эта книга радует и эстетически, когда берешь ее в руки.

В. Скатерщиков,

доктор философских наук, профессор.



ХУЛИО КОРТАСАР. Другое небо. Рассказы. Составление и предисловие Э. Брагинской. М. «Художественная литература». 1971. 270 стр.

«Второе открытие Америки» — говорили еще недавно, желая кратко охарактеризовать творчество латиноамериканских писателей XX века, воссоздавших реальный облик своего континента. Сегодня эта образная формула кажется недостаточной. За последние десятилетия выдвинулись и такие мастера, в книгах которых пробудившаяся к новой жизни Латинская Америка открывает уже не только себя, но и западный мир с его мучительными противоречиями, с его тревогами и надеждами.

Впервые изданный на русском языке сборник рассказов аргентинца Хулио Кортасара знакомит нас с художником подчеркнуто интеллектуального склада, исходная позиция которого — индивидуальное сознание, главная тема — духовный кризис буржуазного общества, а заветная цель — освобождение человека.

В первых же его рассказах, опубликованных больше двадцати лет назад, покоряющая достоверность, бытовая и психологическая, служит трамплином дерзкому воображению, которое отнюдь не убегает от жизни, но стремится проникнуть в потайные ее глубины. «Фантастика вплетается здесь в сугубо правдоподобный и добросовестно обыденный контекст», — отмечает Э. Брагинская в содержательном предисловии к книге «Другое небо». Наблюдение это можно развить: фантастика у Кортасара не только вплетается в житейский контекст, но зачастую и вырастает из самого контекста, способствуя его художественному осмыслению.

«Сон разума порождает чудовищ» — так назвал один из своих офертов Франсиско Гойя. Сон разума, сон совести, паралич воли нередко порождают чудовищ и призраков в рассказах Кортасара. Возьмем хотя бы «Мамины письма». Счастливые молодожены ведут суетную жизнь в Париже, позавыв о покинутой родине, об умершем Нико, которого они оба предали и толкнули навстречу гибели. Однако мертвый Нико воскресает в письмах его матери. Все настойчивей овладевает мыслями супругов,

взрывает их иллюзорное благополучие и под конец обретает черты реального человека, являющегося в Париж.

Впрочем, Кортасар вовсе не требует, чтобы читатель поверил в существование призраков — может быть, они только чудятся его героям. Писателю важно другое: заставить самодовольную повседневность «выйти из себя», заставить ее выдать свои секреты. В рассказе «Заколоченная дверь» заурядный делец Петроне, остановившийся в отеле, просыпается ночью, разбуженный плачем ребенка в соседнем номере. Наутро управляющий заверяет гостя, что никакого ребенка в соседнем номере нет, там одинокая женщина. Но после того как соседка покидает отель, долгожданная тишина уже не радует Петроне. Ему — странное дело! — не хватает детского плача, и когда вопреки всем законам логики плач за дверью все-таки раздастся снова, мы начинаем понимать, что и ребенок и убаюкивающий его женский голос — все это как бы вынесенное вовне другое, ночное «я» Петроне, его собственное одиночество, его неосознанная тоска по бескорыстному человеческому общению.

К фантастике писатель прибегает и затем, чтобы продемонстрировать безграничные возможности самого воображения, показать, как именно творит оно свои обыкновенные чудеса. Об этом, в частности, рассказ «Слюни дьявола», по мотивам которого итальянский кинорежиссер Антониони поставил свой нашумевший фильм «Блю-ап». Вернее, Антониони позимствовал лишь исходный мотив, решительно переосмыслив его на добрый лад. В фильме герой, так и не доискавшись правды, в конце концов принимает условия игры, согласно которым и не следует пытаться понять, что истинно, а что мнимо в этом мире. Кортасару случалось отдавать дань подобному релятивизму, но как раз в рассказ «Слюни дьявола» он вложил прямо противоположный смысл. Человек здесь оказывается способным сначала предотвратить готовое совершиться злодеяние, а потом с помощью художественной интуиции восстановить исчерпывающую картину события, участником которого был.

Избирая своими героями людей, наделенных художественным даром, Кортасар отдает особое предпочтение тем, для кого искусство — сила, призванная отыскать точку опоры посреди всеобщего неустойчивости, пробиться к подлинным ценностям. Таков негр-саксофонист Джонни Картер, повесть о котором — «Преследователь» — занимает центральное место в сборнике. В музыке — смысл и оправдание всей подвижнической и грешной жизни Джонни и в ней же — источник его терзаний. Гениальный самородок, перевернувший историю джаза, «как рука переворачивает страницу», он не желает удовлетвориться достигнутым, жаждет узнать, что скрывается «по ту сторону двери» (запертая дверь для Джонни, как и для Кортасара, — символ впрощенных представлений о действительности, которыми пробавляются обыватели), жаждет свою

музыкой проникнуть в сокровенную суть бытия и сделать эту суть внятной всем людям.

Но и сам Джонни смутно догадывается, что цель, которую он так неутомимо преследует, не может быть достигнута исключительно средствами искусства. Вынужденный творить на потребу довольных и сытых, он беспрестанно бунтует против них, отчаянными, а порой и дикими выходками пытается подорвать их слепую веру в устойчивость окружающего мира. А враждебное общество преспокойно присваивает себе творчество музыканта, погребает под лживой маской его настоящее лицо.

Быть может, горестный опыт Джонни помог самому Кортасару несколько шире взглянуть на жизнь и в поисках точки опоры выйти за пределы, в которых он оставался прежде. И после рассказа «Преследователь», написанного в конце 50-х годов, писатель не отказывается от того, что сам называет «изобретательством». Но порой его обращение к повседневной человеческой практике приобретает более непосредственный характер, автор стремится застичь действительность как бы врасплох, на изломе, когда разрывается ее обманчивый внешний покров.

Ситуация, положенная в основу рассказа «Южное шоссе», не включает в себе ничего фантастического — обычная, правда, затянущаяся сверх обыкновения пробка на автостраде, ведущей в Париж. Чуждые поначалу друг другу люди в машинах, на несколько дней выключенные из того хода жизни, который казался им нормальным, убеждаются, что продержаться они могут только совместно. Возникают естественные связи, рождается крохотное человеческое содружество. Беспощадный разоблачитель сил зла, таящихся в окружающем мире, Кортасар на этот раз обнаруживает в нем и скрытые силы добра, подспудные резервы людской солидарности.

Переводить Кортасара на русский язык — дело исключительно трудное. Сделано оно, надо сказать, превосходно. И стоит назвать поименно всех, кто на совесть потрудились над сборником «Другое небо»: переводчиков М. Абезгауз, Е. Бинева, Э. Брагинскую, М. Былинкину, С. Змеева, Г. Полонскую, В. Спасскую, Н. Трауберг, редакторов Г. Полонскую и А. Шлейфер. Ведь это благодаря им мы открыли для себя удивительную страну, имя которой — Хулио Кортасар.

Л. Осповат.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- Хосе Мигель Варас.** Жизнь коммуниста. Повесть-хроника. Перевод с испанского. 192 стр. Цена 31 к.
- В. Горбунов.** Рабочие университета. 72 стр. Цена 19 к.
- М. Горбунов.** Солдат, полководец (О Маршале Советского Союза Р. Я. Малиновском). 120 стр. Цена 16 к.
- А. Кубышкин.** В обстановке деловой, творческой. 80 стр. Цена 12 к.
- Н. Минешин.** История против антиистории. 176 стр. Цена 78 к.
- Ю. Трифонов.** Нетерпение. Повесть об А. Желязове. 543 стр. Цена 95 к.
- А. Щербанов.** Духом окрепнув в борьбе. 120 стр. Цена 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Бикченгаев.** Лебеди остаются на Урале.— Я не сулю тебе рая. Романы. Перевод с башкирского. 480 стр. Цена 84 к.
- Б. Брайнина.** Память и время. Статьи. 608 стр. Цена 1 р. 57 к.
- Б. Бялик.** Подвиг литературы. Сборник статей. 488 стр. Цена 1 р. 23 к.
- К. Ваншенкин.** Характер. Лирика. 143 стр. Цена 31 к.
- И. Велембовская.** Третий семестр. Повести. 294 стр. Цена 63 к.
- Г. Гулна.** Фараон Эхнатон.— Человек из Афин.— Сулла. Историческая трилогия. 783 стр. Цена 1 р. 58 к.
- Б. Егоров.** Ангел в командировке. Юмористические рассказы и фельетоны. 432 стр. Цена 80 к.
- С. Нариньяни.** Звонок из 1930 года. Повесть в семи вопросах и семи ответах. 270 стр. Цена 49 к.
- К. Некрасова.** Стихи. 160 стр. Цена 48 к.
- Д. Паттерсон.** Рождение ливня. Стихи и поэма. 79 стр. Цена 25 к.
- П. Радимов.** Перелески. Стихи. 192 стр. Цена 53 к.
- А. Чичерин.** Ритм образа. Стилистические проблемы. 278 стр. Цена 69 к.
- И. Эвентов.** Сила сарказма. Сатира и юмор в творчестве М. Горького. 431 стр. Цена 1 р. 19 к.
- Л. Якименко.** Все впереди. Повесть и рассказы. 279 стр. Цена 37 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Ж. Амаду.** Жубиба.— Мертвое море. Романы. 542 стр. Цена 1 р. 77 к.
- И. Бунин.** Стихотворения.— Рассказы.— Повести. («Библиотека всемирной литературы») 526 стр. Цена 1 р. 80 к.
- Т. Гарди.** Джуд незаметный. Роман. 415 стр. Цена 96 к.
- Т. Манн.** Новеллы. Перевод с немецкого. 382 стр. Цена 1 р. 30 к.
- Д. Мур.** Эстер Уотерс. Роман. Перевод с английского. 419 стр. Цена 86 к.
- Р. Тагор.** Стихотворения.— Рассказы.— Гора. Роман. Перевод с бенгальского. («Библиотека всемирной литературы») 783 стр. Цена 2 р. 27 к.
- М. Урбан.** Живой бич. Роман. Перевод со словацкого. 335 стр. Цена 80 к.
- Т. Яворов.** Лирика. Перевод с болгарского. 159 стр. Цена 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. Бондарев.** Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. Батальоны просят огня. Последние залпы. Повести.— Рассказы. 526 стр. Цена 1 р. 16 к.
- П. Валё и М. Шёвалл.** Негодяй из Сефлё. Роман. Перевод со шведского. 205 стр. Цена 53 к.
- С. Васильев.** Время ведет разговор. Невыдуманные поэмы. 112 стр. Цена 50 к.
- П. Вегин.** Переплыви Лету. Лирика. 95 стр. Цена 23 к.
- Л. Григорьян.** Друг. Стихи. 31 стр. Цена 11 к.
- О. Дмитриев.** Белый час рассвета. Книга лирики. 96 стр. Цена 33 к.
- Л. Ошанин.** Мы с одного земного шара. Стихи и песни фестивалей молодежи. 240 стр. Цена 79 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- А. Громова и Р. Нудельман.** В институте Времени идет расследование. Фантастический роман. 367 стр. Цена 69 к.
- С. Иванов.** Хлеб и снег. Рассказы. 126 стр. Цена 75 к.
- В. Катаев.** Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона. 526 стр. Цена 1 р. 25 к.
- Ю. Пиляр.** Талая земля. Повесть. 176 стр. Цена 76 к.
- По дорогам сказки.** Сказки писателей разных стран в пересказах Т. Габбе и А. Лютарской. 399 стр. Цена 93 к.
- Рассказы русских летописей XII—XIV вв.** Перевод с древнерусского. Составление и предисловие Т. Михельсон. 256 стр. Цена 64 к.
- А. Ренемчук.** Мальчики. Повесть. 175 стр. Цена 44 к.
- Г. Фиш.** Падение Кимас-озера. Повести. 383 стр. Цена 83 к.
- Чжан-Тянь-и.** Линь Большой и Линь Маленький. Повесть-сказка. С китайского пересказал А. Гатов. 175 стр. Цена 40 к.
- З. Шишова.** Год вступления 1918. Повесть 416 стр. Цена 83 к.

ВОЕНИЗДАТ

- Вихрь.** Повести и рассказы венгерских писателей. Перевод с венгерского. 525 стр. Цена 1 р. 65 к.
- И. Вишняков.** На крутых виражах. Военные мемуары. 223 стр. Цена 51 к.
- В. Калайда.** Методика проведения занятий по инженерной подготовке. 116 стр. Цена 22 к.
- Научно-технический прогресс и революция в военном деле.** 280 стр. Цена 1 р. 49 к.
- Ш. Радо.** Под псевдонимом Дора. Воспоминания. 320 стр. Цена 76 к.
- В. Шиманский.** Позывные наших сердец. Воспоминания. 160 стр. Цена 23 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- В. Гусев.** Огонь в синеве. Повести и рассказы. 320 стр. Цена 66 к.
- Е. Евтушенко.** Поэт в России — больше, чем поэт. Поэмы. 335 стр. Цена 1 р. 50 к.
- В. Клепов.** Четверо из России. Приключенческие повести. 384 стр. Цена 85 к.
- А. Моро.** Поздняя любовь. Стихи и поэма. Перевод с мордовского. 95 стр. Цена 26 к.

Несущие факел. Сборник статей. Составитель П. Свечников. 174 стр. Цена 39 к.
Подвиг освобождения. Сборник очерков и воспоминаний. Предисловие А. А. Гречко. 446 стр. Цена 93 к.

В. Полторацкий. В действующей армии. Из записок военного корреспондента. 191 стр. Цена 46 к.

А. Тараданкин и И. Фесенко. Второй раунд. Повесть. 351 стр. Цена 68 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Белов. Холмы. Повести, рассказы и очерки. 544 стр. Цена 1 р. 71 к.

О. Власенко. Иначе быть не могло.. Книга одной жизни. 560 стр. Цена 1 р. 19 к.

М. Львов. Живу сегодня. Книга стихов. 117 стр. Цена 59 к.

Ю. Панкратов. Месяц июль. Новая книга лирики. 136 стр. Цена 63 к.

Я. Смелянов. Мое поколение. Книга стихотворений. 207 стр. Цена 1 р. 13 к.

А. Фадеев. Молодая гвардия. Роман. 717 стр. Цена 1 р. 51 к.

В. Федоров. Войцы моей земли, Встречи и раздумья. 381 стр. Цена 99 к.

«ИСКУССТВО»

Антеры советского кино. Выпуск 9. 303 стр. Цена 1 р. 82 к.

Ф. Брукнер. «Елизавета Английская» и другие пьесы. Перевод с немецкого. 584 стр. Цена 1 р. 55 к.

Зарубежные киносценарии. Выпуск 5. Составитель Л. Завьялова. Предисловие А. Караганова. 415 стр. Цена 1 р. 62 к.

Искусство и научно-технический прогресс. Сборник статей. Редакторы-составители Л. Новикова и В. Соколов. 463 стр. Цена 1 р. 98 к.

М. Лебедянский. Гравер петровской эпохи Алексей Зубов. 88 стр. Цена 2 р. 35 к.

Рембрандт. 1606—1669. Альбом. Автор текста и составитель Л. Ефремова. 112 стр. Цена 3 р. 69 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Вайзенборн. Мемориал. Роман. Перевод с немецкого В. Розанова. 202 стр. Цена 45 к.

Э. Куэнна. Военные в Аргентине. Перевод с испанского. 86 стр. Цена 16 к.

В. Мах. Агнешка, дочь «Колумба». Роман. Т. Конвицкий. Современный сонник. Роман. Перевод с польского. 696 стр. Цена 2 р. 46 к.

Н. Мулад. Современный структурализм. Перевод с французского. 376 стр. Цена 1 р. 52 к.

В. Мутафчиева. Дело султана Джема. Роман. Перевод с болгарского М. Михелевич. 414 стр. Цена 1 р. 37 к.

К. Оберманн. Иосиф Вейдемейер. Его жизнь и деятельность. Монография о друге и соратнике К. Маркса и Ф. Энгельса. Перевод с немецкого. 346 стр. Цена 2 р. 1 к.

«НАУКА»

Атеизм, религия, современность. Сборник статей. 226 стр. Цена 1 р. 25 к.

Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1918—1936. Часть 2. 296 стр. Цена 1 р. 32 к.

Грузинские народные предания и легенды. Составление, перевод и предисловие Е. Вирсаладзе. 368 стр. Цена 1 р. 40 к.

Деятельность международных экономических организаций в Африке. 232 стр. Цена 96 к.

Л. Залеская. О романтическом течении в советской литературе. 272 стр. Цена 1 р. 15 к.

Р. Исмагилова. Этнические проблемы современной тропической Африки. 416 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Каждан. Книга и писатель в Византии. 152 стр. Цена 50 к.

Г. Комков. Издательству «Наука» 50 лет. 1923—1973. 44 стр. Цена 34 к.

Ю. Королев. Чили: проблемы единства демократических и антиимпериалистических сил (1956—1970 гг.). 199 стр. Цена 62 к.

З. Михайлова. Иностранный капитал в современной Индонезии (1966—1971). 159 стр. Цена 85 к.

Б. Никифоров. Куба: крах буржуазных политических партий. 1945—1958. 415 стр. Цена 1 р. 58 к.

Просветительство в литературах Востока. Сборник статей. 319 стр. Цена 1 р. 80 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Авагян. Когда в жару смеются. Рассказы. Перевод с армянского. Ереван. «Айастан». 144 стр. Цена 25 к.

Ю. Алянский. Театральные легенды. М. Всероссийское театральное общество. 303 стр. Цена 1 р. 15 к.

Э. Бээнман. Глухие бубенцы. Последние дни супружества Вениты и Иосса с хутора Рихвы. Роман. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 320 стр. Цена 82 к.

Н. Думбадзе. Не бойся, мама! Роман. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 192 стр. Цена 34 к.

Кочечек нежного сердца. Современная западноармянская проза. Переводы. Ереван. «Айастан». 227 стр. Цена 37 к.

К. Коничев. Петр Первый на Севере. Повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано. Лениздат. 288 стр. Цена 57 к.

Е. Кучборская. Реализм Эмиля Золя. «Рюгон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции. М. Издательство Московского университета. 426 стр. Цена 1 р. 72 к.

А. Янобсон. Октябрьский ветер. Роман. Книга 2. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 323 стр. Цена 64 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 31/V 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/VIII 1973 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8} мм. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 02154. Тираж 170.000 экз. (в т.ч. перевод 1—70.000 экз.) Звк. 1847.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

«НОВЫЙ МИР» В 1974 ГОДУ

В 1974 году редакция журнала «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать следующие произведения:

- Ч. Айтматов** — «Пока вернутся птицы перелетные», повесть;
- Г. Бакланов** — «Современная мудрость», роман;
- В. Быков** — «Две ночи», повесть;
- Г. Владимов** — «А земля пребывает вовеки», роман;
- Н. Воронов** — «Котел», роман;
- Р. Гамзатов** — «Мой Дагестан», книга третья;
- Ю. Крелин** — «Переливание сил», повесть;
- Б. Можаяев** — «Мужики и бабы», роман;
- А. Рекемчук** — «Пророк в своем отечестве», повесть;
- В. Семин** — «Право на жизнь», повесть;
- В. Тендряков** — новая повесть;
- Ю. Трифонов** — новая повесть;
- А. Яшин** — из литературного наследия.

Б. Брехт — «Турандот, или Конгресс обелителей», пьеса, перевод с немецкого И. Фрадкина.

Над новыми произведениями для «Нового мира» работают:

Ф. Абрамов, В. Амлинский, А. Ананьев, С. Антонов, Ю. Бондарев, А. Борщаговский, В. Бубнис, М. Ганина, Л. Гинзбург, О. Гончар, Д. Гранин, Ю. Домбровский, Е. Драбкина, Н. Дубов, Ф. Искандер, В. Катаев, Г. Комраков, Г. Коновалов, В. Лихоносов, Ю. Нагибин, Г. Немченко, П. Нилин, Е. Носов, Б. Полевой, Г. Радов, Е. Ржевская, В. Росляков, А. Рыбаков, Д. Сергеев, Л. Славин, И. Соколов-Микитов, К. Федин, В. Фоменко, В. Шукшин и другие.

В журнале будут напечатаны очерки и воспоминания **Н. Любимова** «Записки театрала», **А. Маринова** «Государственные дети», **А. Микояна** «Из воспоминаний» (продолжение), **Н. Смелякова** «Что видно из окна Министерства внешней торговли», дважды Героя Советского Союза **А. Федорова** «Подпольный обком действует» (новые главы), **М. Шагинян** «Человек и время» (продолжение).

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи **Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, О. Берггольц, П. Бровки, Д. Вааранди, К. Ваншенкина, О. Вациетиса, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Зульфии, М. Исаковского, Р. Казаковой, В. Казина, С. Капутикян, М. Карима, В. Корнилова, В. Коротича, Д. Кугультинова, А. Кулешова, Ю. Левитанского, М. Луконина, С. Маркова, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, С. Наровчатова, С. Орлова, П. Панченко, Л. Первомайского, Р. Рзы, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, В. Соколова, М. Танка, А. Тарковского, Н. Тихонова, В. Цыбина, О. Чиладзе, В. Шефнера, И. Шкляревского и других.**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

12 мес.	6 мес.	3 мес.
8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.

ПОДПИСКА НА «НОВЫЙ МИР» ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ И АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ ПРОСИМ СООБЩАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА.

Цена 70 коп.

70636